ЛЕВ ТОЛСТОЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 2

ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ

Лев Николаевич

ТОЛСТОЙ

Полное собрание сочинений. Том 2.
Отрочество. Юность

Государственное издательство
«Художественная литература»
Москва — 1935

LÉON TOLSTOÏ

OEUVRES COMPLÈTES

SOUS LA RÉDACTION GÉNÉRALE
de V. TCHERTKOFF

AVEC LA COLLABORATION DU COMITÉ DE RÉDACTION:
K. CHOKHOR-TROTSKY, N. GOUDZY, N. GOUSSEFF, A. GROUSINSKY,
N. PIKSANOFF, N. RODIONOFF, P. SAKOULINE, V. SRESNEVSKY,
A. TOLSTAÏA et M. TSIAVLOVSKY

SANCTIONNÉ PAR LA COMMISSION DE RÉDACTION D'ÉTAT:
V. BONTCH-BROUÏÉVITCH, J. LOUPPOL
et M. SAVELIEFF

PREMIÈRE SÉRIE
OEUVRES

TOME
2

ÉDITION D'ÉTAT
MOSCOU — 1935

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Ц 99
47

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Ж 113
90

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
В. Г. ЧЕРТКОВА

ПРИ УЧАСТИИ РЕДАКТОРСКОГО КОМИТЕТА В СОСТАВЕ
А. Е. ГРУЗИНСКОГО, Н. К. ГУДЗИЯ, Н. Н. ГУСЕВА, Н. К. ПИКСАНОВА,
Н. С. РОДИОНОВА, П. Н. САКУЛИНА, В. И. СРЕЗНЕВСКОГО,
А. Л. ТОЛСТОЙ, М. А. ЦЯВЛОВСКОГО и К. С. ШОХОР-ТРОЦКОГО

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ
В СОСТАВЕ В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧА, И. К. ЛУППОЛА
и М. А. САВЕЛЬЕВА

СЕРИЯ ПЕРВАЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМ
2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА — 1935

Перепечатка разрешается безвозмездно.

Reproduction libre pour tous les pays.

35-13516

ОТРОЧЕСТВО

ЮНОСТЬ

РЕДАКТОР
М. А. ЦЯВЛОВСКИЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ТОМУ.

Содержание второго тома составляют «Отрочество» и «Юность».

Рукописный материал, относящийся к этим произведениям, довольно значителен.

Кроме общеизвестного текста окончательной редакции «Отрочества», в настоящем томе впервые печатаются находящиеся в архиве Л. Толстого два «плана» романа «Четыре эпохи развития» и два отрывка, представляющие собою первоначальные (до «первой» редакции) наброски «Отрочества».

Из печатаемых нами двадцати отрывков («вариантов») так называемой «первой» редакции «Отрочества» лишь пять опубликованы в 1912 году П. И. Бирюковым. Кроме этого, из неиспользованной П. И. Бирюковым «второй» редакции в настоящем томе печатаются семь отрывков.

Впервые нами печатается и глава из «Отрочества», названная в рукописи «Странная новость», не вошедшая ни в одну из сохранившихся редакций «Отрочества».

Что касается рукописного наследия «Юности», то, кроме опубликованного в 1912 г. П. И. Бирюковым «плана» повести, в архиве Л. Толстого оказалась «первая» редакция «Юности», впервые печатаемая нами (полностью). Из «второй» редакции до сих пор было опубликовано П. И. Бирюковым лишь два отрывка, нами же печатается четырнадцать.

Наконец, имеется перечень глав «Юности» с оценкой их, сделанной автором после того, как повесть была окончена. Перечень этот впервые печатается в настоящем томе.

Напечатанная в «Современнике» «Юность» имела подзаголовок «Первая половина». «Вторая половина», как известно, не была написана, но в архиве Л. Толстого имеются рукописи,

указывающие, что автор начинал работать над «второй половиной». — Это помещаемые нами два ее «плана», из которых один напечатан П. И. Бирюковым, и впервые печатаемая нами первая глава с началом второй.

М. Цявловский.

Москва. 23 января 1928 г.

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ.

Тексты произведений, печатавшихся при жизни Л. Толстого, печатаются по новой орфографии, но с воспроизведением больших букв, когда в воспроизводимом тексте Толстого стоит большая буква, и с воспроизведением начертаний до-Гротовской орфографии в тех случаях, когда эти начертания отражают произношение Л. Толстого и лиц его круга (целовать, скрыпеть).

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Л. Толстого (произведения, окончательно не отделанные, не оконченные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются следующие правила:

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного написания одного и того же слова, все эти различия воспроизводятся («этаго» и «этого», «тетенька» и «тетинька»).

Слова, не написанные явно по рассеянности, дополняются в прямых скобках.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это «ударение» не оговаривается в сноске.

Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим Толстым, воспроизводятся, и это оговаривается в сноске.

На месте слов, недопустимых в печати, ставится в двойных прямых скобках цыфра, обозначающая число не воспроизводящихся слов: [[1]].

Неполно написанные конечные буквы (как напр., крючок вниз, вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» в глагольных формах) воспроизводятся полностью без каких-либо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «абревиатуры») типа «кый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый» и «т[акъ] к[акъ]» лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова для экономии времени и сил писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?].

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [*1 неразобр.*] или [*2 неразобр.*], где цыфры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что признает редактор важным в том или другом отношении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест-на-крест и т. п., воспроизводятся *не* в сноске и ставятся в ломаных 〈 〉 скобках, но в отдельных случаях допускается воспроизведение и зачеркнутых слов в ломаных 〈 〉 скобках в тексте, а не в сноске.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое воспроизводится курсивом. Дважды подчеркнутое — курсивом с оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия (кроме случаев явно ошибочного написания); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении «многоточий» Толстого ставится столько же точек, сколько стоит у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых редких случаях — с оговоркой в сноске: *Абзац редактора.*

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу страницы), печатаются (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых [ ] скобках.

Обозначения: *, **, **, *** в оглавлении томов, на шмуцтитулах и в тексте, как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означают: *—что печатается впервые, **—что напечатано после смерти Толстого, **—что не вошло ни в одно из собраний сочинений Толстого и ***—что печаталось со значительными сокращениями и искажениями текста.

Л. Н. ТОЛСТОЙ
1855 (?) г.

Размер подлинника

ОТРОЧЕСТВО

(1852-1854)

ГЛАВА I.

ПОЕЗДКА НА ДОЛГИХ.

Снова поданы два экипажа к крыльцу Петровского дома; один — карета, в которую садятся Мими, Катенька, Любочка, горничная и *сам* приказчик Яков, на козлах; другой — бричка, в которой едем мы с Володей и недавно взятый с оброка лакей Василий.

Папа, который несколько дней после нас должен тоже приехать в Москву, без шапки стоит на крыльце и крестит окно кареты и брычку.

«Ну Христос с вами! трогай!» Яков и кучера (мы едем на своих) снимают шапки и крестятся. «Но, но! с Богом!» Кузов кареты и бричка начинают подпрыгивать по неровной дороге, и березы большой аллеи, одна за другой, бегут мимо нас. Мне нисколько не грустно: умственный взор мой обращен не на то, что я оставляю, а на то, что ожидает меня. По мере удаления от предметов, связанных с тяжелыми воспоминаниями, наполнявшими до сей поры мое воображение, воспоминания эти теряют свою силу и быстро заменяются отрадным чувством сознания жизни, полной силы, свежести и надежды.

Редко провел я несколько дней — не скажу весело: мне еще как-то совестно было предаваться веселью — но так приятно, хорошо, как четыре дня нашего путешествия. У меня перед глазами не было ни затворенной двери комнаты матушки, мимо которой я не мог проходить без содрогания, ни закрытого рояля, к которому не только не подходили, но на который и смотрели с какою-то боязнью, ни траурных одежд (на всех нас были простые дорожные платья), ни всех тех вещей, которые, живо напоминая мне невозвратимую потерю, заставляли меня остерегаться каждого проявления жизни из страха оскорбить

как-нибудь *ее* память. Здесь, напротив, беспрестанно новые живописные места и предметы останавливают и развлекают мое внимание, а весенняя природа вселяет в душу отрадные чувства — довольства настоящим и светлой надежды на будущее.

Рано, рано утром безжалостный и, как всегда бывают люди в новой должности, слишком усердный Василий сдергивает одеяло и уверяет, что пора ехать и всё уже готово. Как ни жмешься, ни хитришь, ни сердишься, чтобы хоть еще на четверть часа продлить сладкий утренний сон, по решительному лицу Василья видишь, что он неумолим и готов еще двадцать раз сдернуть одеяло, вскакиваешь и бежишь на двор умываться.

В сенях уже кипит самовар, который, раскрасневшись, как рак, раздувает Митька форейтор: на дворе сыро и туманно, как будто пар подымается от пахучего навоза; солнышко веселым, ярким светом освещает восточную часть неба и соломенные крыши просторных навесов, окружающих двор, глянцевитые от росы, покрывающей их. Под ними виднеются наши лошади, привязанные около кормяг, и слышно их мерное жевание. Какая-нибудь мохнатая Жучка, прикорнувшая перед зарей на сухой куче навоза, лениво потягивается и, помахивая хвостом, мелкой рысцей отправляется в другую сторону двора. Хлопотунья хозяйка отворяет скрыпящие ворота, выгоняет задумчивых коров на улицу, по которой уже слышны топот, мычание и блеяние стада, и перекидывается словечком с сонной соседкой. Филипп, с засученными рукавами рубашки, вытягивает колесом бадью из глубокого колодца, плеская светлую воду, выливает ее в дубовую колоду, около которой в луже уже полощутся проснувшиеся утки; и я с удовольствием смотрю на значительное, с окладистой бородой, лицо Филиппа и на толстые жилы и мускулы, которые резко обозначаются на его голых мощных руках, когда он делает какое-нибудь усилие.

За перегородкой, где спала Мими с девочками, и из-за которой мы переговаривались вечером, слышно движенье. Маша с различными предметами, которые она платьем старается скрыть от нашего любопытства, чаще и чаще перебегает мимо нас, наконец, отворяется дверь, и нас зовут пить чай.

Василий, в припадке излишнего усердия, беспрестанно вбегает в комнату, выносит то то, то другое, подмигивает нам и всячески упрашивает Марью Ивановну выезжать ранее. Лошади заложены и выражают свое нетерпение, изредка побряки-

вая бубенчиками; чемоданы, сундуки, шкатулки и шкатулочки снова укладываются, и мы садимся по местам. Но каждый раз в бричке мы находим гору вместо сидения, так что никак не можем понять, как всё это было уложено накануне и как теперь мы будем сидеть; особенно один ореховый чайный ящик с треугольной крышкой, который отдают к нам в бричку и ставят под меня, приводит меня в сильнейшее негодование. Но Василий говорит, что это обомнется, и я принужден верить ему.

Солнце только-что поднялось над сплошным белым облаком, покрывающим восток, и вся окрестность озарилась спокойно-радостным светом. Всё так прекрасно вокруг меня, а на душе так легко и спокойно.... Дорога широкой, дикой лентой вьется впереди, между полями засохшего жнивья и блестящей росою зелени; кое-где при дороге попадается угрюмая ракита, или молодая березка с мелкими клейкими листьями, бросая длинную неподвижную тень на засохшие глинистые колеи и мелкую зеленую траву дороги.... Однообразный шум колес и бубенчиков не заглушает песен жаворонков, которые вьются около самой дороги. Запах съеденного молью сукна, пыли и какой-то кислоты, которым отличается наша бричка, покрывается запахом утра, и я чувствую в душе отрадное беспокойство, желание что-то сделать — признак истинного наслаждения.

Я не успел помолиться на постоялом дворе; но так как уже не раз замечено мною, что в тот день, в который я, по каким-нибудь обстоятельствам, забываю исполнить этот обряд, со мною случается какое-нибудь несчастие, я стараюсь исправить свою ошибку: снимаю фуражку, поворачиваясь в угол брички, читаю молитвы и крещусь под курточкой так, чтобы никто не видал этого. Но тысячи различных предметов отвлекают мое внимание, и я несколько раз сряду в рассеянности повторяю одни и те же слова молитвы.

Вот на пешеходной тропинке, вьющейся около дороги, виднеются какие-то медленно движущиеся фигуры: это богомолки. Головы их закутаны грязными платками, за спинами берестовые котомки, ноги обмотаны грязными, оборванными онучами и обуты в тяжелые лапти. Равномерно размахивая палками и едва оглядываясь на нас, они медленным тяжелым шагом подвигаются вперед одна за другою, и меня занимают вопросы: куда, зачем они идут? долго ли продолжится их путешествие, и скоро ли длинные тени, которые они бросают на

дорогу, соединятся с тенью ракиты, мимо которой они должны пройти. Вот коляска, четверкой, на почтовых быстро несется навстречу. Две секунды, и лица, на расстоянии двух аршин приветливо, любопытно смотревшие на нас, уже промелькнули, и как-то странно кажется, что эти лица не имеют со мной ничего общего, и что их никогда, может быть, не увидишь больше.

Вот стороной дороги бегут две потные, косматые лошади в хомутах с захлестнутыми за шлеи постромками, и сзади, свесив длинные ноги в больших сапогах по обеим сторонам лошади, у которой на холке висит дуга и изредка чуть слышно побрякивает колокольчиком, едет молодой парень ямщик и, сбив на одно ухо поярковую шляпу, тянет какую-то протяжную песню. Лицо и поза его выражают так много ленивого, беспечного довольства, что мне кажется, верх счастия быть ямщиком, ездить обратным и петь грустные песни. Вон далеко за оврагом виднеется на светло-голубом небе деревенская церковь с зеленой крышей; вон село, красная крыша барского дома и зеленый сад. Кто живет в этом доме? есть ли в нем дети, отец, мать, учитель? Отчего бы нам не поехать в этот дом и не познакомиться с хозяевами? Вот длинный обоз огромных возов, запряженных тройками сытых толстоногих лошадей, который мы принуждены объезжать стороною. «Что везете?» спрашивает Василий у первого извозчика, который, спустив огромные ноги с грядок и помахивая кнутиком, долго пристально-бессмысленным взором следит за нами и отвечает что-то только тогда, когда его невозможно слышать. «С каким товаром?» обращается Василий к другому возу, на огороженном передке которого, под новой рогожей, лежит другой извозчик. Русая голова с красным лицом и рыжеватой бородкой на минуту высовывается из-под рогожи, равнодушно-презрительным взглядом окидывает нашу бричку и снова скрывается — и мне приходят мысли, что верно эти извозчики не знают, кто мы такие и откуда и куда едем?...

Часа полтора углубленный в разнообразные наблюдения, я не обращаю внимания на кривые цыфры, выставленные на верстах. Но вот солнце начинает жарче печь мне голову и спину, дорога становится пыльнее, треугольная крышка чайницы начинает сильно беспокоить меня, я несколько раз переменяю положение: мне становится жарко, неловко и скучно. Всё мое внимание обращается на верстовые столбы и на цыфры, вы-

ставленные на них; я делаю различные математические вычисления насчет времени, в которое мы можем приехать на станцию. «Двенадцать верст составляют треть тридцати шести, а до Липец сорок одна, следовательно мы проехали одну треть и сколько?» и т. д.

— Василий,— говорю я, когда замечаю, что он начинает *удить рыбу* на козлах — пусти меня на козлы, голубчик. — Василий соглашается. Мы переменяемся местами: он тотчас же начинает храпеть и разваливается так, что в бричке уже не остается больше ни для кого места; а передо мной открывается с высоты, которую я занимаю, самая приятная картина: наши четыре лошади, Неручинская, Дьячок, Левая коренная и Аптекарь, все изученные мною до малейших подробностей и оттенков свойств каждой.

— Отчего это нынче Дьячок на правой пристяжке, а не на левой, Филипп? — несколько робко спрашиваю я.

— Дьячок?

— А Неручинская ничего не везет, — говорю я.

— Дьячка нельзя налево впрягать, — говорит Филипп, не обращая внимания на мое последнее замечание: — не такая лошадь, чтоб его на левую пристяжку запрягать. Налево уж нужно такую лошадь, чтоб, одно слово, была лошадь, а это не такая лошадь.

И Филипп с этими словами нагибается на правую сторону и, подергивая вожжой из всех сил, принимается стегать бедного Дьячка по хвосту и по ногам, как-то особенным манером, снизу, и несмотря на то, что Дьячок старается из всех сил и воротит всю бричку, Филипп прекращает этот маневр только тогда, когда чувствует необходимость отдохнуть и сдвинуть неизвестно для чего свою шляпу на один бок, хотя она до этого очень хорошо и плотно сидела на его голове. Я пользуюсь такой счастливой минутой и прошу Филиппа дать мне *поправить*. Филипп дает мне сначала одну вожжу, потом другую; наконец все шесть вожжей и кнут переходят в мои руки, и я совершенно счастлив. Я стараюсь всячески подражать Филиппу, спрашиваю у него, хорошо ли? но обыкновенно кончается тем, что он остается мною недоволен: говорит, что та много везет, а та ничего не везет, высовывает локоть из-за моей груди и отнимает у меня вожжи. Жар всё усиливается, барашки начинают вздуваться, как мыльные пузыри, выше и выше, сходиться и

принимать темно-серые тени. В окно кареты высовывается рука с бутылкой и узелком; Василий, с удивительной ловкостью, на ходу соскакивает с козел и приносит нам ватрушек и квасу.

На крутом спуске мы все выходим из экипажей и иногда в перегонки бежим до моста, между тем как Василий и Яков, подтормозив колеса, с обеих сторон руками поддерживают карету, как будто они в состоянии удержать ее, ежели бы она упала. Потом, с позволения Мими, я или Володя отправляемся в карету, а Любочка или Катенька садятся в бричку. Перемещения эти доставляют большое удовольствие девочкам, потому что они справедливо находят, что в бричке гораздо веселей. Иногда во время жара, проезжая через рощу, мы отстаем от кареты, нарываем зеленых веток и устроиваем в бричке беседку. Движущаяся беседка во весь дух догоняет карету, и Любочка пищит при этом самым пронзительным голосом, чего она никогда не забывает делать, при каждом случае, доставляющем ей большое удовольствие.

Но вот и деревня, в которой мы будем обедать и отдыхать. Вот уж запахло деревней — дымом, дегтем, баранками, послышались звуки говора, шагов и колес; бубенчики уже звенят не так, как в чистом поле, и с обеих сторон мелькают избы, с соломенными кровлями, резными тесовыми крылечками и маленькими окнами с красными и зелеными ставнями, в которые кое-где просовывается лицо любопытной бабы. Вот крестьянские мальчики и девочки в одних рубашонках: широко раскрыв глаза и растопырив руки, неподвижно стоят они на одном месте или, быстро семеня в пыли босыми ножонками, несмотря на угрожающие жесты Филиппа, бегут за экипажами и стараются взобраться на чемоданы, привязанные сзади. Вот и рыжеватые дворники с обеих сторон подбегают к экипажам и привлекательными словами и жестами один перед другим стараются заманить проезжающих. Тпрру! ворота скрипят, вальки цепляют за воротища, и мы въезжаем на двор. Четыре часа отдыха и свободы!

ГЛАВА II.

ГРОЗА.

Солнце склонялось к западу и косыми жаркими лучами невыносимо жгло мне шею и щеки; невозможно было дотронуться до раскаленных краев брички; густая пыль поднима-

лась по дороге и наполняла воздух. Не было ни малейшего ветерка, который бы относил ее. Впереди нас, на одинаковом расстоянии, мерно покачивался высокий, запыленный кузов кареты с важами, из-за которого виднелся изредка кнут, которым помахивал кучер, его шляпа и фуражка Якова. Я не знал, куда деваться: ни черное от пыли лицо Володи, дремавшего подле меня, ни движения спины Филиппа, ни длинная тень нашей брички, под косым углом бежавшая за нами, не доставляли мне развлечения. Всё мое внимание было обращено на верстовые столбы, которые я замечал издалека, и на облака, прежде рассыпанные по небосклону, которые, приняв зловещие, черные тени, теперь собирались в одну большую, мрачную тучу. Изредка погромыхивал дальний гром. Это последнее обстоятельство более всего усиливало мое нетерпение скорее приехать на постоялый двор. Гроза наводила на меня невыразимо тяжелое чувство тоски и страха.

До ближайшей деревни оставалось еще верст десять, а большая темно-лиловая туча, взявшаяся Бог знает откуда, без малейшего ветра, но быстро подвигалась к нам. Солнце, еще не скрытое облаками, ярко освещает ее мрачную фигуру и серые полосы, которые от нее идут до самого горизонта. Изредка, вдалеке, вспыхивает молния, и слышится слабый гул, постепенно усиливающийся, приближающийся и переходящий в прерывистые раскаты, обнимающие весь небосклон. Василий приподнимается с козел и поднимает верх брички; кучера надевают армяки и при каждом ударе грома снимают шапки и крестятся; лошади насторожиьают уши, раздувают ноздри, как будто принюхиваясь к свежему воздуху, которым пахнет от приближающейся тучи, и бричка скорее катит по пыльной дороге. Мне становится жутко, и я чувствую, как кровь быстрее обращается в моих жилах. Но вот передовые облака уже начинают закрывать солнце; вот оно выглянуло в последний раз, осветило страшно-мрачную сторону горизонта и скрылось.Вся окрестность вдруг изменяется и принимает мрачный характер. Вот задрожала осиновая роща; листья становятся какого-то бело-мутного цвета, ярко выдающегося на лиловом фоне тучи, шумят и вертятся; макушки больших берез начинают раскачиваться, и пучки сухой травы летят через дорогу. Стрижи и белогрудые ласточки, как будто с намерением остановить нас, реют вокруг брички и пролетают под самой грудью лошадей;

галки с растрепанными крыльями как-то боком летают по ветру; края кожаного фартука, которым мы застегнулись, начинают подниматься, пропускать к нам порывы влажного ветра и, размахиваясь, биться о кузов брички. Молния вспыхивает как будто в самой бричке, ослепляет зрение и на одно мгновение освещает серое сукно, басон и прижавшуюся к углу фигуру Володи. В ту же секунду над самой головой раздается величественный гул, который, как будто поднимаясь всё выше и выше, шире и шире, по огромной спиральной линии, постепенно усиливается и переходит в оглушительный треск, невольно заставляющий трепетать и сдерживать дыхание. Гнев Божий! как много поэзии в этой простонародной мысли!

Колеса вертятся скорее и скорее; по спинам Василия и Филиппа, который нетерпеливо помахивает вожжами, я замечаю, что и они боятся. Бричка шибко катится под гору и стучит по досчатому мосту; я боюсь пошевелиться и с минуты на минуту ожидаю нашей общей погибели.

Тпру! оторвался валек, и на мосту, несмотря на беспрерывные оглушительные удары, мы принуждены остановиться.

Прислонив голову к краю брички, я, с захватывающим дыхание замиранием сердца, безнадежно слежу за движениями толстых черных пальцев Филиппа, который медлительно захлестывает петлю и выравнивает постромки, толкая пристяжную ладонью и кнутовищем.

Тревожные чувства тоски и страха увеличивались во мне вместе с усилением грозы, но когда пришла величественная минута безмолвия, обыкновенно предшествующая разражению грозы, чувства эти дошли до такой степени, что, продолжись это состояние еще четверть часа, я уверен, что умер бы от волнения. В это самое время из-под моста вдруг появляется, в одной грязной дырявой рубахе, какое-то человеческое существо с опухшим бессмысленным лицом, качающейся, ничем не покрытой, обстриженной головой, кривыми безмускульными ногами и с какой-то красной, глянцевитой культяпкой, вместо руки, которую он сует прямо в бричку.

«Ба-а-шка! убо-го-му Хри-ста-ради», звучит болезненный голос, и нищий с каждым словом крестится и кланяется в пояс.

Не могу выразить чувства холодного ужаса, охватившего

мою душу в эту минуту. Дрожь пробегала по моим волосам, а глаза с бессмыслием страха были устремлены на нищего...

Василий, в дороге подающий милостыню, дает наставления Филиппу насчет укрепления валька и, только когда всё уже готово, и Филипп, собирая вожжи, лезет на козлы, начинает что-то доставать из бокового кармана. Но только-что мы трогаемся, ослепительная молния, мгновенно наполняя огненным светом всю лощину, заставляет лошадей остановиться и, без малейшего промежутка, сопровождается таким оглушительным треском грома, что кажется, весь свод небес рушится над нами. Ветер еще усиливается: гривы и хвосты лошадей, шинель Василья и края фартука принимают одно направление и отчаянно развеваются от порывов неистового ветра. На кожаный верх брички тяжело упала крупная капля дождя... другая, третья, четвертая, и вдруг как будто кто-то забарабанил над нами, и вся окрестность огласилась равномерным шумом падающего дождя. По движениям локтей Василья, я замечаю, что он развязывает кошелек; нищий, продолжая креститься и кланяться, бежит подле самых колес, так что, того и гляди, раздавят его. «Подай Хри-ста-ради». Наконец, медный грош летит мимо нас, и жалкое созданье, в обтянувшем его худые члены, промокшем до нитки рубище, качаясь от ветра, — в недоумении останавливается посреди дороги и исчезает из моих глаз.

Косой дождь, гонимый сильным ветром, лил, как из ведра; с фризовой спины Василья текли потоки в лужу мутной воды, образовавшуюся на фартуке. Сначала сбитая катушками пыль превратилась в жидкую грязь, которую месили колеса, толчки стали меньше, и по глинистым колеям потекли мутные ручьи. Молния светила шире и бледнее, и раскаты грома уже были не так поразительны за равномерным шумом дождя.

Но вот дождь становится мельче; туча начинает разделяться на волнистые облака, светлеть в том месте, в котором должно быть солнце, и сквозь серовато-белые края тучи чуть виднеется клочек ясной лазури. Через минуту робкий луч солнца уже блестит в лужах дороги, на полосах падающего, как сквозь сито, мелкого, прямого дождя и на обмытой, блестящей зелени дорожной травы. Черная туча также грозно застилает противоположную сторону небосклона, но я уже не боюсь ее. Я испытываю невыразимо-отрадное чувство надежды в жизни, быстро заменяющее во мне тяжелое чувство страха. Душа моя улыбается

так же, как и освеженная, повеселевшая природа. Василий откидывает воротник шинели, снимает фуражку и отряхивает ее; Володя откидывает фартук; я высовываюсь из брички и жадно вдыхаю в себя освеженный, душистый воздух. Блестящий, обмытый кузов кареты с важами и чемоданами покачивается перед нами, спины лошадей, шлеи, вожжи, шины колес — всё мокро и блестит на солнце, как покрытое лаком. С одной стороны дороги — необозримое озимое поле, кое-где перерезанное неглубокими овражками, блестит мокрой землею и зеленью и расстилается тенистым ковром до самого горизонта; с другой стороны — осиновая роща, поросшая ореховым и черемушным подседом, как бы в избытке счастия стоит, не шелохнется и медленно роняет с своих обмытых ветвей светлые капли дождя на сухие прошлогодние листья. Со всех сторон вьются с веселой песнью и быстро падают хохлатые жаворонки; в мокрых кустах слышно хлопотливое движение маленьких птичек и из середины рощи ясно долетают звуки кукушки. Так обаятелен этот чудный запах леса, после весенней грозы, запах березы, фиялки, прелого листа, сморчков, черемухи, что я не могу усидеть в бричке, соскакиваю с подножки, бегу к кустам и, несмотря на то, что меня осыпает дождевыми каплями, рву мокрые ветки распустившейся черемухи, бью себя ими по лицу и упиваюсь их чудным запахом. Не обращая даже внимания на то, что к сапогам моим липнут огромные комки грязи, и чулки мои давно уже мокры, я, шлепая по грязи, бегу к окну кареты.

— Любочка! Катенька! — кричу я, подавая туда несколько веток черемухи: — посмотри, как хорошо!

Девочки пищат, ахают; Мими кричит, чтобы я ушел, а то меня непременно раздавят.

— Да ты понюхай, как пахнет! — кричу я.

ГЛАВА III.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД.

Катенька сидела подле меня в бричке и, склонив свою хорошенькую головку, задумчиво следила за убегающей под колесами пыльной дорогой. Я молча смотрел на нее и удивлялся тому не детски грустному выражению, которое в первый раз встречал на ее розовеньком личике.

— А вот скоро мы и приедем в Москву, — сказал я: — как ты думаешь, какая она?

— Не знаю, — отвечала она нехотя.

— Ну всё-таки как ты думаешь: больше Серпухова или нет?...

— Что?

— Я ничего.

Но по тому инстинктивному чувству, которым один человек угадывает мысли другого, и которое служит путеводною нитью разговора, Катенька поняла, что мне больно ее равнодушие; она подняла голову и обратилась ко мне:

— Папа говорил вам, что мы будем жить у бабушки?

— Говорил; бабушка хочет совсем с нами жить.

— И все будем жить?

— Разумеется; мы будем жить наверху в одной половине; вы в другой половине; а папа во флигеле; а обедать будем все вместе, внизу у бабушки.

— Maman говорит, что бабушка такая важная — сердитая?

— Не-ет! Это только так кажется сначала. Она важная, но совсем не сердитая; напротив, очень добрая, веселая. Коли бы ты видела, какой бал был в ее именины!

— Всё-таки я боюсь ее; да, впрочем, Бог знает, будем ли мы...

Катенька вдруг замолчала и опять задумалась.

— Что-о? — спросил я с беспокойством.

— Ничего, я так.

— Нет, ты что-то сказала: «Бог знает...»

— Так ты говорил, какой был бал у бабушки.

— Да вот жалко, что вас не было; гостей было пропасть, человек тысяча, музыка, генералы, и я танцовал.... Катенька! — сказал я вдруг, останавливаясь в середине своего описания: — ты не слушаешь?

— Нет, слышу; ты говорил, что ты танцовал.

— Отчего ты такая скучная?

— Не всегда же веселой быть.

— Нет, ты очень переменилась с тех пор, как мы приехали из Москвы. Скажи, по правде,— прибавил я с решительным видом, поворачиваясь к ней: — отчего ты стала какая-то странная?

— Будто я странная? — отвечала Катенька с одушевлением, которое доказывало, что мое замечание интересовало ее: — я совсем не странная.

— Нет, ты уж не такая, как прежде,— продолжал я: — прежде видно было, что ты во всем с нами за одно, что ты нас считаешь как родными и любишь так же, как и мы тебя, а теперь ты стала такая серьезная, удаляешься от нас...

— Совсем нет....

— Нет, дай мне договорить, — перебил я, уже начиная ощущать легкое щекотанье в носу, предшествующее слезам, которые всегда навертывались мне на глаза, когда я высказывал давно сдержанную задушевную мысль: — ты удаляешься от нас, разговариваешь только с Мими, как будто не хочешь нас знать.

— Да ведь нельзя же всегда оставаться одинаковыми; надобно когда-нибудь и перемениться, — отвечала Катенька, которая имела привычку объяснять всё какою-то фаталистическою необходимостью, когда не знала, что говорить.

Я помню, что раз, поссорившись с Любочкой, которая назвала ее *глупой девочкой*, она отвечала: не всем же умным быть, надо и глупым быть; но меня не удовлетворил ответ, что надо же и перемениться когда-нибудь, и я продолжал допрашивать:

— Для чего же это надо?

— Ведь не всегда же мы будем жить вместе,— отвечала Катенька, слегка краснея и пристально вглядываясь в спину Филиппа. — Маменька могла жить у покойницы вашей маменьки, которая была ее другом; а с графиней, которая, говорят, такая сердитая, еще, Бог знает, сойдутся ли они? Кроме того, всё-таки когда-нибудь да мы разойдемся: вы богаты — у вас есть Петровское, а мы бедные — у маменьки ничего нет.

Вы богаты — мы бедны: эти слова и понятия, связанные с ними, показались мне необыкновенно странны. Бедными по моим тогдашним понятиям могли быть только нищие и мужики, и это понятие бедности я никак не мог соединить в своем воображении с грациозной, хорошенькой Катей. Мне казалось, что Мими и Катенька, ежели всегда жили, то всегда и будут жить с нами и делить всё поровну. Иначе и быть не могло. Теперь же тысячи новых, неясных мыслей, касательно одинокого положения их, зароилось в моей голове, и мне стало так совестно, что мы богаты, а они бедны, что я покраснел и не мог решиться взглянуть на Катеньку.

«Что ж такое, что мы богаты, а они бедны? — думал я,— и каким образом из этого вытекает необходимость разлуки? От-

чего ж нам не разделить поровну того, что имеем?» Но я понимал, что с Катенькой не годится говорить об этом, и какой-то практический инстинкт, в противность этим логическим размышлениям, уже говорил мне, что она права, и что неуместно бы было объяснять ей свою мысль.

— Неужели точно ты уедешь от нас? — сказал я: — как же это мы будем жить врозь?

— Что же делать, мне самой больно; только ежели это случится, я знаю, что я сделаю...

— В актрисы пойдешь.... вот глупости! — подхватил я, зная, что быть актрисой было всегда любимой мечтой ее.

— Нет, это я говорила, когда была маленькой...

— Так что же ты сделаешь?

— Пойду в монастырь и буду там жить, буду ходить в черненьком платьице, в бархатной шапочке.

Катенька заплакала.

Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни, вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другой, неизвестной еще стороной? Такого рода моральная перемена произошла во мне в первый раз, во время нашего путешествия, с которого я и считаю начало моего отрочества.

Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, т. е. наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал всё это; но знал не так, как я это узнал теперь, не сознавал, не чувствовал.

Мысль переходит в убеждение только одним известным путем, часто совершенно неожиданным и особенным от путей, которые, чтобы приобрести то же убеждение, проходят другие умы. Разговор с Катенькой, сильно тронувший меня и заставивший задуматься над ее будущим положением, был для меня этим путем. Когда я глядел на деревни и города, которые мы проезжали, в которых в каждом доме жило по крайней мере такое же семейство, как наше, на женщин, детей, которые с минутным любопытством смотрели на экипаж и навсегда исчезали из глаз, на лавочников, мужиков, которые не только не

кланялись нам, как я привык видеть это в Петровском, но не удостоивали нас даже взглядом, мне в первый раз пришел в голову вопрос: что же их может занимать, ежели они нисколько не заботятся о нас? и из этого вопроса возникли другие: как и чем они живут, как воспитывают своих детей, учат ли их, пускают ли играть, как наказывают? и т. д.

ГЛАВА IV.

В МОСКВЕ.

С приездом в Москву перемена моего взгляда на предметы, лица и свое отношение к ним стала еще ощутительнее.

При первом свидании с бабушкой, когда я увидал ее худое морщинистое лицо и потухшие глаза, чувство подобострастного уважения и страха, которые я к ней испытывал, заменились состраданием; а когда она, припав лицом к голове Любочки, зарыдала так, как будто перед ее глазами был труп ее любимой дочери, даже чувством любви заменилось во мне сострадание. Мне было неловко видеть ее печаль при свидании с нами; я сознавал, что мы сами по себе ничто в ее глазах, что мы ей дороги только как воспоминание, я чувствовал, что в каждом поцалуе, которыми она покрывала мои щеки, выражалась одна мысль: ее нет, она умерла, я не увижу ее больше!

Папа, который в Москве почти совсем не занимался нами, и с вечно озабоченным лицом только к обеду приходил к нам, в черном сюртуке или фраке, — вместе с своими большими выпущенными воротничками рубашки, халатом, старостами, приказчиками, прогулками на гумно и охотой, много потерял в моих глазах. Карл Иваныч, которого бабушка называла *дядькой*, и который вдруг, Бог знает зачем, вздумал заменить свою почтенную, знакомую мне лысину рыжим париком с нитяным пробором почти по середине головы, показался мне так странен и смешон, что я удивлялся, как мог я прежде не замечать этого.

Между девочками и нами тоже появилась какая-то невидимая преграда; у них и у нас были уж свои секреты; как будто они гордились перед нами своими юбками, которые становились длиннее, а мы своими панталонами со штрипками. Мими же в первое воскресение вышла к обеду в таком пышном платье и с такими лентами на голове, что уж сейчас видно было, что мы не в деревне, и теперь всё пойдет иначе.

ГЛАВА V.

СТАРШИЙ БРАТ.

Я был только годом и несколькими месяцами моложе Володи; мы росли, учились и играли всегда вместе. Между нами не делали различия старшего и младшего; но именно около того времени, о котором я говорю, я начал понимать, что Володя не товарищ мне по годам, наклонностям и способностям. Мне даже казалось, что Володя сам сознает свое первенство и гордится им. Такое убеждение, может быть, и ложное, внушало мне самолюбие, страдавшее при каждом столкновении с ним. Он во всем стоял выше меня: в забавах, в учении, в ссорах, в умении держать себя, и всё это отдаляло меня от него и заставляло испытывать непонятные для меня моральные страдания. Ежели бы, когда Володе в первый раз сделали голландские рубашки со складками, я сказал прямо, что мне весьма досадно не иметь таких, я уверен, что мне стало бы легче и не казалось бы всякий раз, когда он оправлял воротнички, что он делает это для того только, чтобы оскорбить меня.

Меня мучило больше всего то, что Володя, как мне иногда казалось, понимал меня, но старался скрывать это.

Кто не замечал тех таинственных бессловесных отношений, проявляющихся в незаметной улыбке, движении или взгляде между людьми, живущими постоянно вместе: братьями, друзьями, мужем и женой, господином и слугой, в особенности когда люди эти не во всем откровенны между собой. Сколько не досказанных желаний, мыслей и страха — быть понятым — выражается в одном случайном взгляде, когда робко и нерешительно встречаются ваши глаза!

Но может быть меня обманывала в этом отношении моя излишняя восприимчивость и склонность к анализу; может быть, Володя совсем и не чувствовал того же, что я. Он был пылок, откровенен и непостоянен в своих увлечениях. Увлекаясь самыми разнородными предметами, он предавался им всей душой.

То вдруг на него находила страсть к картинкам: он сам принимался рисовать, покупал на все свои деньги, выпрашивал у рисовального учителя, у папа, у бабушки; то страсть к вещам, которыми он украшал свой столик, собирая их по всему дому, то страсть к романам, которые он доставал потихоньку и читал

по целым дням и ночам... Я невольно увлекался его страстями; но был слишком горд, чтобы итти по его следам, и слишком молод и несамостоятелен, чтобы избрать новую дорогу. Но ничему я не завидовал столько, как счастливому, благороднооткровенному характеру Володи, особенно резко выражавшемуся в ссорах, случавшихся между нами. Я чувствовал, что он поступает хорошо, но не мог подражать ему.

Однажды, во время сильнейшего пыла его страсти к вещам, я подошел к его столу и разбил нечаянно пустой разноцветный флакончик.

— Кто тебя просил трогать мои вещи? — сказал вошедший в комнату Володя, заметив расстройство, произведенное мною в симметрии разнообразных украшений его столика: — а где флакончик? непременно ты...

— Нечаянно уронил; он и разбился, что ж за беда?

— Сделай милость, никогда *не смей* прикасаться к моим вещам, — сказал он, составляя куски разбитого флакончика и с сокрушением глядя на них.

— Пожалуйста *не командуй*, — отвечал я. — Разбил, так разбил; что ж тут говорить!

И я улыбнулся, хотя мне совсем не хотелось улыбаться.

— Да, тебе ничего, а мне *чего*,— продолжал Володя, делая жест подергивания плечом, который он наследовал от папа: — разбил, да еще и смеется, этакой несносный *мальчишка!*

— Я мальчишка; а ты большой да глупый.

— Не намерен с тобой браниться,— сказал Володя, слегка отталкивая меня: — убирайся.

— Не толкайся!

— Убирайся!

— Я тебе говорю, не толкайся!

Володя взял меня за руку и хотел оттащить от стола; но я уже был раздражен до последней степени: схватил стол за ножку и опрокинул его. «Так вот же тебе!», и все фарфоровые и хрустальные украшения с дребезгом полетели на пол.

— Отвратительный мальчишка!... — закричал Володя, стараясь поддержать падающие вещи.

«Ну теперь всё кончено между нами, — думал я, выходя из комнаты: — мы на век поссорились».

До вечера мы не говорили друг с другом; я чувствовал себя виноватым, боялся взглянуть на него и целый день не мог ни-

чем заняться; Володя, напротив, учился хорошо и, как всегда после обеда разговаривал и смеялся с девочками.

Как только учитель кончал класс, я выходил из комнаты: мне страшно, неловко и совестно было оставаться одному с братом. После вечернего класса истории, я взял тетради и направился к двери. Проходя мимо Володи, несмотря на то, что мне хотелось подойти и помириться с ним, я надулся и старался сделать сердитое лицо. Володя в это самое время поднял голову и с чуть заметной, добродушно-насмешливой улыбкой смело посмотрел на меня. Глаза наши встретились, и я понял, что он понимает меня, и то, что я понимаю, что он понимает меня; но какое-то непреодолимое чувство заставило меня отвернуться.

— Николенька! — сказал он мне самым простым, нисколько не патетическим голосом: — полно сердиться. Извини меня, ежели я тебя обидел.

И он подал мне руку.

Как будто, поднимаясь всё выше и выше, что-то вдруг стало давить меня в груди и захватывать дыхание; но это продолжалось только одну секунду: на глазах показались слезы, и мне стало легче.

— Прости... ме...ня, Вол....дя! — сказал я, пожимая его руку.

Володя смотрел на меня однако так, как будто никак не понимал, отчего у меня слезы на глазах....

ГЛАВА VI.

МАША.

Но ни одна из перемен, происшедших в моем взгляде на вещи, не была так поразительна для самого меня, как та, вследствие которой в одной из наших горничных я перестал видеть слугу женского пола, а стал видеть *женщину*, от которой могли зависеть, в некоторой степени, мое спокойствие и счастие.

С тех пор, как помню себя, помню я и Машу в нашем доме, и никогда, до случая, переменившего совершенно мой взгляд на нее, и про который я расскажу сейчас — я не обращал на нее ни малейшего внимания. Маше было лет двадцать пять, когда мне было четырнадцать; она была очень хороша; но я боюсь описывать ее, боюсь, чтобы воображение снова не представило мне обворожительный и обманчивый образ, составившийся

в нем во время моей страсти. Чтобы не ошибиться, скажу только, что она была необыкновенно бела, роскошно развита и была женщина; а мне было четырнадцать лет.

В одну из тех минут, когда, с уроком в руке, занимаешься прогулкой по комнате, стараясь ступать только по одним щелям половиц, или пением какого-нибудь несообразного мотива, или размазыванием чернил по краю стола, или повторением без всякой мысли какого-нибудь изречения — одним словом, в одну из тех минут, когда ум отказывается от работы, и воображение, взяв верх, ищет впечатлений, я вышел из классной и без всякой цели спустился к площадке.

Кто-то в башмаках шел вверх по другому повороту лестницы. Разумеется мне захотелось знать, кто это, но вдруг шум шагов замолк, и я услышал голос Маши: «ну вас, что вы балуетесь, а как Мария Ивановна прийдет — разве хорошо будет?»

«Не прийдет»,— шопотом сказал голос Володи, и вслед за этим что-то зашевелилось, как будто Володя хотел удержать ее.

«Ну, куда руки суете? Бесстыдник!», и Маша, с сдернутой на бок косынкой, из-под которой виднелась белая, полная шея, пробежала мимо меня.

Не могу выразить, до какой степени меня изумило это открытие, однако чувство изумления скоро уступило место сочувствия поступку Володи: меня уже не удивлял самый его поступок, но то, каким образом он постиг, что приятно так поступать. И мне невольно захотелось подражать ему.

Я по целым часам проводил иногда на площадке, без всякой мысли, с напряженным вниманием, прислушиваясь к малейшим движениям, происходившим наверху; но никогда не мог принудить себя подражать Володе, несмотря на то, что мне этого хотелось больше всего на свете. Иногда, притаившись за дверью, я с тяжелым чувством зависти и ревности слушал возню, которая поднималась в девичьей, и мне приходило в голову: каково бы было мое положение, ежели бы я пришел наверх и так же, как Володя, захотел бы поцаловать Машу? что бы я сказал с своим широким носом и торчавшими вихрами, когда бы она спросила у меня, чего мне нужно? Иногда я слышал, как Маша говорила Володе: «вот наказанье! что же вы в самом деле пристали ко мне, идите отсюда, шалун этакой..... отчего Николай Петрович никогда не ходит сюда и не дурачится....» Она не знала, что Николай Петрович сидит

в эту минуту под лестницею и всё на свете готов отдать, чтобы только быть на месте шалуна Володи.

Я был стыдлив от природы, но стыдливость моя еще увеличивалась убеждением в моей уродливости. А я убежден, что ничто не имеет такого разительного влияния на направление человека, как наружность его, и не столько самая наружность, сколько убеждение в привлекательности или непривлекательности ее.

Я был слишком самолюбив, чтобы привыкнуть к своему положению, утешался, как лисица, уверяя себя, что виноград еще зелен, т. е. старался презирать все удовольствия, доставляемые приятной наружностью, которыми на моих глазах пользовался Володя, и которым я от души завидовал, и напрягал все силы своего ума и воображения, чтобы находить наслаждения в гордом одиночестве.

ГЛАВА VII.

ДРОБЬ.

— Боже мой, порох!... — воскликнула Мими задыхающимся от волнения голосом. — Что вы делаете? Вы хотите сжечь дом, погубить всех нас....

И с неописанным выражением твердости духа, Мими приказала всем посторониться, большими, решительными шагами подошла к рассыпанной дроби и, презирая опасность, могущую произойти от неожиданного взрыва, начала топтать ее ногами. Когда по ее мнению опасность уже миновалась, она позвала Михея и приказала ему выбросить весь этот *порох* куда-нибудь подальше или, всего лучше, в воду, и, гордо встряхивая чепцом, направилась к гостиной. «Очень хорошо за ними смотрят, нечего сказать», — проворчала она.

Когда папа пришел из флигеля, и мы вместе с ним пошли к бабушке, в комнате ее уже сидела Мими около окна и с каким-то таинственно-официальным выражением грозно смотрела мимо двери. В руке ее находилось что-то завернутое в несколько бумажек. Я догадался, что это была дробь, и что бабушке уже всё известно.

Кроме Мими, в комнате бабушки находились еще горничная Гаша, которая, как заметно было по ее гневному, раскрасневшемуся лицу, была сильно расстроена, и доктор Блюменталь,

маленький, рябоватый человечек, который тщетно старался успокоить Гашу, делая ей глазами и головой таинственные, миротворные знаки.

Сама бабушка сидела несколько боком и раскладывала пасьянс — *Путешественник*, что всегда означало весьма неблагоприятное расположение духа.

— Как себя чувствуете нынче, maman? хорошо ли почивали? — сказал папа, почтительно целуя ее руку.

— Прекрасно, мой милый; кажется знаете, что я всегда совершенно здорова, — отвечала бабушка таким тоном, как будто вопрос папа был самый неуместный и оскорбительный вопрос. — Что ж, хотите вы мне дать чистый платок? — продолжала она, обращаясь к Гаше.

— Я вам подала, — отвечала Гаша, указывая на белый, как снег, батистовый платок, лежавший на ручке кресел.

— Возьмите эту грязную ветошку и дайте мне чистый, моя милая.

Гаша подошла к шифоньерке, выдвинула ящик и так сильно хлопнула им, что стекла задрожали в комнате. Бабушка грозно оглянулась на всех нас и продолжала пристально следить за всеми движениями горничной. Когда она подала ей, как мне показалось, тот же самый платок, бабушка сказала:

— Когда же вы мне натрете табак, моя милая?

— Время будет, так натру.

— Что вы говорите?

— Натру нынче.

— Ежели вы не хотите мне служить, моя милая, вы бы так и сказали: я бы давно вас отпустила.

— И отпустите, не заплачут, — проворчала вполголоса горничная.

В это время доктор начал было мигать ей; но она так гневно и решительно посмотрела на него, что он тотчас же потупился и занялся ключиком своих часов.

— Видите, мой милый, — сказала бабушка, обращаясь к папа, когда Гаша, продолжая ворчать, вышла из комнаты: — как со мной говорят в моем доме?

— Позвольте, maman, я сам натру вам табак, — сказал папа, приведенный, повидимому, в большое затруднение этим неожиданным обращением.

— Нет уж, благодарю вас: она ведь оттого так и груба, что

знает, никто, кроме нее, не умеет стереть табак, как я люблю Вы знаете, мой милый, — продолжала бабушка, после минутного молчания: — что ваши дети нынче чуть было дом не сожгли?

Папа с почтительным любопытством смотрел на бабушку.

— Да, они вот чем играют. Покажите им, — сказала она, обращаясь к Мими.

Папа взял в руки дробь и не мог не улыбнуться.

— Да это дробь, maman,— сказал он: — это совсем не опасно.

— Очень вам благодарна, мой милый, что вы меня учите, только уж я стара слишком....

— Нервы, нервы! — прошептал доктор.

И папа тотчас обратился к нам:

— Где вы это взяли? и как смеете шалить такими вещами?

— Нечего их спрашивать, а надо спросить их *дядьку*, — сказала бабушка, особенно презрительно выговаривая слово *дядька*: — что́ он смотрит?

— Вольдемар сказал, что сам Карл Иваныч дал ему этот *порох*, — подхватила Мими.

— Ну вот видите, какой он хороший, — продолжала бабушка: — и где он, этот *дядька*, как бишь его? пошлите его сюда.

— Я его отпустил в гости, — сказал папа.

— Это не резон; он всегда должен быть здесь. Дети не мои, а ваши, и я не имею права советовать вам, потому что вы умнее меня, — продолжала бабушка: — но кажется, пора бы для них нанять гувернера, а не *дядьку*, немецкого мужика. Да, глупого мужика, который их ничему научить не может, кроме дурным манерам и тирольским песням. Очень нужно, я вас спрашиваю, детям уметь петь тирольские песни. Впрочем, *теперь* некому об этом подумать, и вы можете делать, как хотите.

Слово «теперь» значило: когда у них нет матери, и вызвало грустные воспоминания в сердце бабушки — она опустила глаза на табакерку с портретом и задумалась.

— Я давно уже думал об этом,— поспешил сказать папа: — и хотел посоветоваться с вами, maman: не пригласить ли нам St.-Jérôme, который теперь по билетам дает им уроки?

— И прекрасно сделаешь, мой друг,— сказала бабушка уже не тем недовольным голосом, которым говорила прежде: — St.-Jérôme по крайней мере gouverneur, который поймет, как

нужно вести des enfants de bonne maison,[1] а не простой menin, *дядька*, который годен только на то, чтобы водить их гулять.

— Я завтра же поговорю с ним, — сказал папа.

И действительно, через два дня после этого разговора, Карл Иваныч уступил свое место молодому щеголю французу.

ГЛАВА VIII.

ИСТОРИЯ КАРЛА ИВАНЫЧА.

Поздно вечером накануне того дня, в который Карл Иваныч должен был навсегда уехать от нас, он стоял в своем ваточном халате и красной шапочке подле кровати и, нагнувшись над чемоданом, тщательно укладывал в него свои вещи.

Обращение с нами Карла Иваныча в последнее время было как-то особенно сухо: он как будто избегал всяких с нами сношений. Вот и теперь, когда я вошел в комнату, он взглянул на меня исподлобья и снова принялся за дело. Я прилег на свою постель, но Карл Иваныч, прежде строго запрещавший делать это, ничего не сказал мне, и мысль, что он больше не будет ни бранить, ни останавливать нас, что ему нет теперь до нас никакого дела, живо припомнила мне предстоящую разлуку. Мне стало грустно, что он разлюбил нас, и хотелось выразить ему это чувство.

— Позвольте, я помогу вам, Карл Иваныч,— сказал я, подходя к нему.

Карл Иваныч взглянул на меня и снова отвернулся, но в беглом взгляде, который он бросил на меня, я прочел не равнодушие, которым объяснял его холодность, но искреннюю, сосредоточенную печаль.

— Бог всё видит и всё знает, и на всё Его святая воля,— сказал он, выпрямляясь во весь рост и тяжело вздыхая.— Да, Николенька,— продолжал он, заметив выражение непритворного участия, с которым я смотрел на него:— моя судьба быть несчастливым с самого моего детства и по гробовую доску. Мне всегда платили злом за добро, которое я делал людям, и моя награда не здесь, а оттуда,— сказал он, указывая на небо.— Когда б вы знали мою историю и всё, что я перенес в этой жизни!... Я был сапожник, я был солдат, я был *дезер-*

[1] [детей из хорошей семьи,]

тир, я был фабрикант, я был учитель, и теперь я нуль! и мне, как сыну Божию, некуда преклонить свою голову, — заключил он, и, закрыв глаза, опустился в свое кресло.

Заметив, что Карл Иваныч находился в том чувствительном расположении духа, в котором он, не обращая внимания на слушателей, высказывал для самого себя свои задушевные мысли, я, молча и не спуская глаз с его доброго лица, сел на кровать.

— Вы не дитя, вы можете понимать. Я вам скажу свою историю и всё, что я перенес в этой жизни. Когда-нибудь вы вспомните старого друга, который вас очень любил, дети!...

Карл Иваныч облокотился рукою о столик, стоявший подле него, понюхал табаку и, закатив глаза к небу, тем особенным, мерным, горловым голосом, которым он обыкновенно диктовал нам, начал так свое повествование:

— *Я был нешаслив ишо во чрева моей матрри.* Das Unglück verfolgte mich schon im Schosse meiner Mutter! — повторил он еще с бо́льшим чувством.

Так как Карл Иваныч не один раз, в одинаковом порядке, одних и тех же выражениях и с постоянно-неизменяемыми интонациями, рассказывал мне впоследствии свою историю, я надеюсь передать ее почти слово в слово; разумеется, исключая неправильности языка, о которой читатель может судить по первой фразе. Была ли это действительно его история, или произведение фантазии, родившееся во время его одинокой жизни в нашем доме, которому он и сам начал верить от частого повторения, или он только украсил фантастическими фактами действительные события своей жизни — не решил еще я до сих пор. С одной стороны, он с слишком живым чувством и методическою последовательностью, составляющими главные признаки правдоподобности, рассказывал свою историю, чтобы можно было не верить ей; с другой стороны, слишком много было поэтических красот в его истории; так что именно красоты эти вызывали сомнения.

«В жилах моих течет благородная кровь графов фон Зомерблат! In meinen Adern fliesst das edle Blut des Grafen von Sommerblat! Я родился шесть недель после сватьбы. Муж моей матери (я звал его папенька) был арендатор у графа Зомерблат. Он не мог позабыть стыда моей матери и не любил меня.

У меня был маленький брат Johann и две сестры; но я был чужой в своем собственном семействе! Ich war ein Fremder in meiner eigenen Familie! Когда Johann делал глупости, папенька говорил: «с этим ребенком Карлом мне не будет минуты покоя!», меня бранили и наказывали. Когда сестры сердились между собой, папенька говорил: «Карл никогда не будет послушный мальчик!», меня бранили и наказывали. Одна моя добрая маменька любила и ласкала меня. Часто она говорила мне: «Карл! подите сюда в мою комнату», и она потихоньку целовала меня. «Бедный, бедный Карл! — сказала она,— никто тебя не любит, но я ни на кого тебя не променяю. Об одном тебя просит твоя маменька — говорила она мне: — учись хорошенько и будь всегда честным человеком, Бог не оставит тебя! Trachte nur ein ehrlicher Deutscher zu werden — sagte sie — und der liebe Gott wird dich nicht verlassen!» И я старался. Когда мне минуло четырнадцать лет, и я мог итти к причастию, моя маменька сказала моему папеньке: «Карл стал большой мальчик, Густав; что̀ мы будем с ним делать?» И папенька сказал: «я не знаю». Тогда маменька сказала: «отдадим его в город к г. Шульц, пускай он будет сапожник!», и папенька сказал «хорошо», und mein Vater sagte «gut». Шесть лет и семь месяцев я жил в городе у сапожного мастера, и хозяин любил меня. Он сказал: «Карл хороший работник, и скоро он будет моим Geselle!»,[1] но.... человек предполагает, а Бог располагает.... в 1796 году была назначена Conscription,[2] и все, кто мог служить, от восемнадцати до двадцать первого года должны были собраться в город.

«Папенька и брат Johann приехали в город, и мы вместе пошли бросить Loos,[3] кому быть Soldat и кому не быть Soldat. Johann вытащил дурной нумеро — он должен быть Soldat, я вытащил хороший нумеро — я не должен быть Soldat. И папенька сказал: «у меня был один сын, и с тем я должен расстаться! Ich hatte einen einzigen Sohn und von diesem muss ich mich trennen!»

«Я взял его за руку и сказал: «зачем вы сказали так, папенька? Пойдемте со мной, я вам скажу что-нибудь». И папенька пошел. Папенька пошел, и мы сели в трактир за малень-

[1] [подмастерьем!]
[2] [рекрутский набор,]
[3] [жребий,]

кий столик. «Дайте нам пару Bierkrug»,[1] — я сказал, и нам принесли. Мы выпили по стаканчик, и брат Johann тоже выпил.

«— Папенька! — я сказал: — не говорите так, что «у вас был один сын, и вы с тем должны расстаться», у меня сердце хочет *выпрыгнуть*, когда я *этого* слышу. Брат Johann не будет служить — я буду Soldat!.. Карл здесь никому не нужен, и Карл будет Soldat.

«— Вы честный человек, Карл Иваныч! — сказал мне папенька и поцаловал меня. — Du bist ein braver Bursche! — sagte mir mein Vater und küsste mich.

«И я был Soldat!»

ГЛАВА IX.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ.

«Тогда было страшное время, Николенька, — продолжал Карл Иваныч, — тогда был Наполеон. Он хотел завоевать Германию, и мы защищали свое отечество до последней капли крови! und wir vertheidigten unser Vaterland bis auf den letzten Tropfen Blut!

«Я был под Ульм, я был под Аустерлиц! я был под Ваграм! ich war bei Wagram!»

— Неужели вы тоже воевали? — спросил я, с удивлением глядя на него. — Неужели вы тоже убивали людей?

Карл Иваныч тотчас же успокоил меня на этот счет.

«Один раз французский Grenadir отстал от своих и упал на дороге. Я прибежал с ружьем и хотел проколоть его, aber der Franzose warf sein Gewehr und rief pardon,[2] и я пустил его!

«Под Ваграм Наполеон загнал нас на остров и окружил так, что никуда не было спасенья. Трое суток у нас не было провианта, и мы стояли в воде по коленки. Злодей Наполеон не брал и не пускал нас! und der Bösewicht Napoleon wollte uns nicht gefangen nehmen und auch nicht freilassen!

«На четвертые сутки нас, слава Богу, взяли в плен и отвели в крепость. На мне был синий панталон, мундир из хорошего сукна, пятнадцать талеров денег и серебряные часы — подарок моего папеньки. Французский Soldat всё взял у меня. На мое счастье у меня было три червонца, которые маменька зашила мне под фуфайку. Их никто не нашел!

---

[1] [кружек пива,]

[2] [но француз бросил свое ружье и запросил пардону,]

«В крепости я не хотел долго оставаться и решился бежать. Один раз, в большой праздник, я сказал сержанту, который смотрел за нами: «Г. сержант, нынче большой праздник, я хочу вспомнить его. Принесите пожалуйста две бутылочки мадер, и мы вместе выпьем ее». И сержант сказал: «хорошо». Когда сержант принес мадер, и мы выпили по рюмочке, я взял его за руку и сказал: «Г. сержант, может быть у вас есть отец и мать?..» Он сказал: «есть, г. Мауер...» — «Мой отец и мать — я сказал — восемь лет не видали меня и не знают, жив ли я, или кости мои давно лежат в сырой земле. О, г. сержант! у меня есть два червонца, которые были под моей фуфайкой, возьмите их и пустите меня. Будьте моим благодетелем, и моя маменька всю жизнь будет молить за вас всемогущего Бога».

«Сержант выпил рюмочку мадеры и сказал: «Г. Мауер, я очень люблю и жалею вас, но вы пленный, а я Soldat!» Я пожал его за руку и сказал: «г. сержант!» ich drückte ihm die Hand und sagte: «Herr Sergeant!»

«И сержант сказал: «Вы бедный человек, и я не возьму ваши деньги, но помогу вам. Когда я пойду спать, купите ведро водки солдатам, и они будут спать. Я не буду смотреть на вас».

«Он был добрый человек. Я купил ведро водки, и когда Soldat были пьяны, я надел сапоги, старый шинель и потихонько вышел за дверь. Я пошел на вал и хотел прыгнуть, но там была вода, и я не хотел спортить последнее платье: я пошел в ворота.

«Часовой ходил с ружьем auf und ab [1] и смотрел на меня. «Qui vive?» sagte er auf einmal,[2] и я молчал. «Qui vive?» sagte er zum zweiten Mal, и я молчал. «Qui vive?» sagte er zum dritten Mal, *и я бегал. Я пригнул в вода, влезал на другой сторона и пустил.* Ich sprang in's Wasser, kletterte auf die andere Seite und machte mich aus dem Staube.

«Целую ночь я бежал по дороге, но когда рассвело, я боялся, чтобы меня не узнали, и спрятался в высокую рожь. Там я стал на коленки, сложил руки, поблагодарил Отца Небесного за свое спасение и с покойным чувством заснул. Ich dankte dem Allmächtigen Gott für Seine Barmherzigkeit und mit beruhigtem Gefühl schlief ich ein.

«Я проснулся вечером и пошел дальше. Вдруг большая не-

[1] [взад и вперед]

[2] [Кто идет? — спросил он вдруг,]

мецкая фура в две вороные лошади догнала меня. В фуре сидел хорошо одетый человек, курил трубочку и смотрел на меня. Я пошел потихоньку, чтобы фура обогнала меня, но я шел потихоньку, и фура ехала потихоньку, и человек смотрел на меня; я шел поскорее, и фура ехала поскорее, и человек смотрел на меня. Я сел на дороге; человек остановил своих лошадей и смотрел на меня. «Молодой человек — он сказал — куда вы идете так поздно?» Я сказал: «я иду в Франкфурт». — «Садитесь в мою фуру, место есть, и я довезу вас.... Отчего у вас ничего нет с собой, борода ваша не брита, и платье ваше в грязи?»—сказал он мне, когда я сел с ним. «Я бедный человек— я сказал — хочу наняться где-нибудь на *фабрик*; а платье мое в грязи оттого, что я упал на дороге». — «Вы говорите неправду, молодой человек, — сказал он, — по дороге теперь сухо».

«И я молчал.

«— Скажите мне всю правду, — сказал мне добрый человек: — кто вы и откуда идете? лицо ваше мне понравилось, и ежели вы честный человек, я помогу вам.

«И я всё сказал ему. Он сказал: «хорошо, молодой человек, поедемте на мою канатную фабрик. Я дам вам работу, платье, деньги, и вы будете жить у меня».

«И я сказал: «хорошо».

«Мы приехали на канатную фабрику, и добрый человек сказал своей жене: «вот молодой человек, который сражался за свое отечество и бежал из плена; у него нет ни дома, ни платья, ни хлеба. Он будет жить у меня. Дайте ему чистое белье и покормите его».

«Я полтора года жил на канатной фабрике, и мой хозяин так полюбил меня, что не хотел пустить. И мне было хорошо. Я был тогда красивый мужчина, я был молодой, высокий рост, голубые глаза, римский нос.... и Madame L.... (я не могу сказать ее имени), жена моего хозяина, была молоденькая, хорошенькая дама. И она полюбила меня.

«Когда она *видела* меня, она *сказала*: «Г. Мауер, как вас зовет ваша маменька?» Я сказал: «Karlchen».

«И она сказала: «Karlchen! сядьте подле меня».

«Я сел подле ней, и она сказала: «Karlchen! поцалуйте меня».

«Я *его* поцаловал, и он сказал: «Karlchen! я так люблю вас, что не могу больше терпеть», и он весь задрожал».

Тут Карл Иваныч сделал продолжительную паузу и, закатив

свои добрые голубые глаза, слегка покачивая головой, принялся улыбаться так, как улыбаются люди под влиянием приятных воспоминаний.

«Да,—начал он опять, поправляясь в кресле и запахивая свой халат, — много я испытал и хорошего и дурного в своей жизни; но вот мой свидетель,—сказал он, указывая на шитый по канве образок Спасителя, висевший над его кроватью, — никто не может сказать, чтоб Карл Иваныч был нечестный человек! Я не хотел черной неблагодарностью платить за добро, которое мне сделал г. L..., и решился бежать от него. Вечерком, когда все шли спать, я написал письмо своему хозяину и положил его на столе в своей комнате, взял свое платье, три талер денег и потихоньку вышел на улицу. Никто не видал меня, и я пошел по дороге».

ГЛАВА X.

ПРОДОЛЖЕНИЕ.

«Я девять лет не видал своей маменьки и не знал, жива ли она, или кости ее лежат уже в сырой земле. Я пошел в свое отечество. Когда я пришел в город, я спрашивал, где живет Густав Мауер, который был арендатором у графа Зомерблат? И мне сказали: «граф Зомерблат умер, и Густав Мауер живет теперь в большой улице и держит лавку *ликер*». Я надел свой новый жилет, хороший сюртук—подарок фабриканта, хорошенько причесал волосы и пошел в ликерную лавку моего папеньки. Сестра Mariechen сидела в лавочке и спросила, что мне нужно? Я сказал: «можно выпить рюмочку ликер?», и она сказала: «Vater! молодой человек просит рюмочку ликер». И папенька сказал: «подай молодому человеку рюмочку ликер». Я сел подле столика, пил свою рюмочку ликер, курил трубочку и смотрел на папеньку, Mariechen и Johann, который тоже вошел в лавку. Между разговором папенька сказал мне: «вы верно знаете, молодой человек, где стоит теперь наше *арме*». Я сказал: «я сам иду из *арме*, и она стоит подле Wien». — «Наш сын,—сказал папенька,—был Soldat, и вот девять лет он не писал нам, и мы не знаем, жив он или умер. Моя жена всегда плачет об нем...» Я курил свою трубочку и сказал: «как звали вашего сына, и где он служил? может быть я знаю его...» — «Его звали Карл Мауер, и он служил в Австрийских егерях»,

сказал мой папенька. «Он высокий ростом и красивый мужчина, как вы», сказала сестра Mariechen. Я сказал: «я знаю вашего Karl». — Amalia! — sagte auf einmal mein Vater [1] — подите сюда, здесь есть молодой человек, он знает нашего Karl». *И мое милы маменька выходит из задня дверью. Я сейчас узнал его. «Вы знаете наша Karl», он сказал, посмотрил на мене и весь бледны за... дро...жал!...* «Да, я видел его», я сказал, и не смел поднять глаза на нее; сердце у меня *пригнуть* хотело. «Karl мой жив! — сказала маменька, — слава Богу. Где он, мой милый Karl? Я бы умерла спокойно, ежели бы еще раз посмотреть на него, на моего любимого сына; но Бог не хочет этого», и *он* заплакал... *Я не мог терпейть...* Маменька! — я сказал, — я ваш Карл! *И он упал мне на рука....»*

Карл Иваныч закрыл глаза, и губы его задрожали.

«Mutter! — sagte ich, — ich bin ihr Sohn, ich bin ihr Karl! und sie stürzte mir in die Arme»,[2] повторил он, успокоившись немного и утирая крупные слезы, катившиеся по его щекам.

«Но Богу не угодно было, чтобы я кончил дни на своей родине. Мне суждено было несчастие! das Unglück verfolgte mich überall!...[3] Я жил на своей родине только три месяца. В одно воскресенье я был в кофейном доме, купил кружку пива, курил свою трубочку и разговаривал с своими знакомыми про Politik, про император Франц, про Napoleon, про войну, и каждый говорил свое мнение. Подле нас сидел незнакомый господин в сером Ueberrock,[4] пил кофе, курил трубочку и ничего не говорил с нами. Er rauchte sein Pfeifchen und schwieg still. Когда Nachtwächter [5] прокричал десять часов, я взял свою шляпу, заплатил деньги и пошел домой. В половине ночи кто-то застучал в двери. Я проснулся и сказал: «кто там?» «Macht auf!» [6] Я сказал: «скажите, кто там, и я отворю». Ich sagte: «sagt, wer ihr seid, und ich werde aufmachen». «Macht auf im Namen des Gesetzes!» [7] сказал за дверью. И я отворил. Два

---

[1] [сказал вдруг мой отец]

[2] [«Маменька! — сказал я, — я ваш сын, ваш Карл!» и она бросилась в мои объятия,]

[3] [несчастье повсюду меня преследовало!]

[4] [сюртуке,]

[5] [ночной сторож]

[6] [Отворите!]

[7] [Отворите именем закона!]

Soldat с ружьями стояли за дверью, и в комнату вошел незнакомый человек в сером Ueberrock,[1] который сидел подле нас в кофейном доме. Он был шпион! Es war ein Spion!... «Пойдемте со мной!» сказал шпион. «Хорошо», я сказал.... Я надел сапоги und Pantalon, надевал подтяжки и ходил по комнате. В сердце у меня кипело: я сказал — он подлец! Когда я подошел к стенке, где висела моя шпага, я вдруг схватил ее и сказал: *«ты шпион; защищайся!* du bist ein Spion, vertheidige dich!» Ich gab ein Hieb[2] направо, ein Hieb налево *и один на галава. Шпион упал!* Я схватил чемодан и деньги и прыгнул за окошко. Ich nahm meinen Mantelsack und Beutel und sprang zum Fenster hinaus. Ich kam nach Ems,[3] там я познакомился с *енерал Сазин.* Он полюбил меня, достал у посланника паспорт и взял меня с собой в Россию учить детей. Когда *енерал Сазин* умер, ваша маменька позвала меня к себе. Она сказала: «Карл Иваныч! отдаю вам своих детей, любите их, и я никогда не оставлю вас, я успокою вашу старость». Теперь ее не стало, и всё забыто. За свою двадцатилетнюю службу я должен теперь на старости лет итти на улицу искать свой черствый кусок хлеба... *Бог сей видит и сей знает и на сей Его святое воля, только вас жалько мне, детьи!»* заключил Карл Иваныч, притягивая меня к себе за руку и цалуя в голову.

ГЛАВА XI.

ЕДИНИЦА.

По окончании годичного траура, бабушка оправилась несколько от печали, поразившей ее, и стала изредка принимать гостей, в особенности детей — наших сверстников и сверстниц.

В день рождения Любочки, 13 декабря, еще перед обедом приехали к нам княгиня Корнакова с дочерьми, Валахина с Сонечкой, Иленька Грап и два меньших брата Ивиных.

Уже звуки говора, смеху и беготни долетали к нам снизу, где собралось всё это общество, но мы не могли присоединиться к нему прежде окончания утренних классов. На таблице, висевшей в классной, значилось: Lundi, de 2 à 3, Maître

[1] [сюртуке,]
[2] [Я нанес один удар]
[3] [Я пришел в Эмс,]

d'Histoire et de Géographie;[1] и вот этого-то Maître d'Histoire мы должны были дождаться, выслушать и проводить прежде, чем быть свободными. Было уже двадцать минут третьего, а учителя истории не было еще ни слышно, ни видно даже на улице, по которой он должен был прийти, и на которую я смотрел с сильным желанием никогда не видать его.

— Кажется, Лебедев нынче не придет, — сказал Володя, отрываясь на минуту от книги Смарагдова, по которой он готовил урок.

— Дай Бог, дай Бог.... а то я ровно ничего не знаю.... однако, кажется, вон он идет, — прибавил я печальным голосом.

Володя встал и подошел к окну.

— Нет, это не он, это какой-то *барин*, — сказал он. — Подождем еще до половины третьего, — прибавил он, потягиваясь и в то же время почесывая маковку, как он это обыкновенно делал, на минуту отдыхая от занятий. — Ежели не придет и в половине третьего, тогда можно будет сказать St.-Jérôme'у, чтобы убрать тетради.

— И охота ему хо-о-о-о-дить, — сказал я, тоже потягиваясь и потрясая над головой книгу Кайданова, которую держал в обеих руках.

От нечего делать я раскрыл книгу на том месте, где был задан урок, и стал прочитывать его. Урок был большой и трудный, я ничего не знал и видел, что уже никак не успею хоть что-нибудь запомнить из него, тем более, что находился в том раздраженном состоянии, в котором мысли отказываются остановиться на каком-бы то ни было предмете.

За прошедший урок истории, которая всегда казалась мне самым скучным, тяжелым предметом, Лебедев жаловался на меня St.-Jérôme'у и в тетради баллов поставил мне два, что считалось очень дурным. St.-Jérôme тогда еще сказал мне, что ежели в следующий урок я получу меньше трех, то буду строго наказан. Теперь-то предстоял этот следующий урок, и, признаюсь, я сильно трусил.

Я так увлекся перечитыванием незнакомого мне урока, что послышавшийся в передней стук снимания калош внезапно поразил меня. Едва успел я оглянуться, как в дверях пожалось рябое, отвратительное для меня лицо и слишком знакомая

---

[1] [Понедельник от 2 до 3 — учитель истории и географии;]

неуклюжая фигура учителя в синем застегнутом фраке с учеными пуговицами.

Учитель медленно положил шапку на окно, тетради на стол, раздвинул обеими руками фалды своего фрака (как будто это было очень нужно) и отдуваясь сел на свое место.

— Ну-с, господа,— сказал он, потирая одну о другую свои потные руки: — пройдемте-с сперва то, что было сказано в прошедший класс, а потом я постараюсь познакомить вас с дальнейшими событиями средних веков.

Это значило: сказывайте уроки.

В то время как Володя отвечал ему с свободой и уверенностью, свойственною тем, кто хорошо знает предмет, я без всякой цели вышел на лестницу, и так как вниз нельзя мне было итти, весьма естественно, что я незаметно для самого себя очутился на площадке. Но только-что я хотел поместиться на обыкновенном посте своих наблюдений — за дверью, как вдруг Мими, всегда бывшая причиною моих несчастий, наткнулась на меня. «Вы здесь?» сказала она, грозно посмотрев на меня, потом на дверь девичьей и потом опять на меня.

Я чувствовал себя кругом виноватым и за то, что был не в классе, и за то, что находился в таком неуказанном месте, поэтому молчал и, опустив голову, являл в своей особе самое трогательное выражение раскаяния.

— Нет, это уж ни на что не похоже!— сказала Мими,— что вы здесь делали? — Я помолчал. — Нет, это так не останется, — повторила она, постукивая щиколками пальцев о перила лестницы, — я всё расскажу графине.

Было уже без пяти минут три, когда я вернулся в класс. Учитель, как будто не замечая ни моего отсутствия, ни моего присутствия, объяснял Володе следующий урок. Когда он, окончив свои толкования, начал складывать тетради, и Володя вышел в другую комнату, чтобы принести билетик, мне пришла отрадная мысль, что всё кончено, и про меня забудут.

Но вдруг учитель с злодейской полу-улыбкой обратился ко мне.

— Надеюсь, вы выучили свой урок-с,— сказал он, потирая руки.

— Выучил-с,— отвечал я

— Потрудитесь мне сказать что-нибудь о крестовом походе Людовика Святого,— сказал он, покачиваясь на стуле и задум-

чиво глядя себе под ноги. — Сначала вы мне скажете о причинах, побудивших короля французского взять крест, — сказал он, поднимая брови и указывая пальцем на чернильницу; — потом объясните мне общие характеристические черты этого похода, — прибавил он, делая всей кистью движение такое, как будто хотел поймать что-нибудь; — и, наконец, влияние этого похода на европейские государства вообще, — сказал он, ударяя тетрадями по левой стороне стола, — и на французское королевство в особенности, — заключил он, ударяя по правой стороне стола и склоняя голову направо.

Я проглотил несколько раз слюни, прокашлялся, склонил голову на бок и молчал. Потом, взяв перо, лежавшее на столе, начал обрывать его и всё молчал.

— Позвольте перышко, — сказал мне учитель, протягивая руку. — Оно пригодится. Ну-с.

— Людо.... кар.... Лудовик Святой был.... был.... был.... добрый и умный царь....

— Кто-с?

— Царь. Он вздумал пойти в Иерусалим и *передал бразды правления* своей матери.

— Как ее звали-с?

— Б.... б....ланка.

— Как-с? буланка?

Я усмехнулся как-то криво и неловко.

— Ну-с, не знаете ли еще чего-нибудь? — сказал он с усмешкой.

Мне нечего было терять, я прокашлялся и начал врать всё, что только мне приходило в голову. Учитель молчал, сметая со стола пыль перышком, которое он у меня отнял, пристально смотрел мимо моего уха и приговаривал: «хорошо-с, очень хорошо-с». Я чувствовал, что ничего не знаю, выражаюсь совсем не так, как следует, и мне страшно больно было видеть, что учитель не останавливает и не поправляет меня.

— Зачем же он вздумал итти в Иерусалим? — сказал он, повторяя мои слова.

— Затем... потому... оттого, затем что...

Я решительно замялся, не сказал ни слова больше и чувствовал, что ежели этот злодей-учитель хоть год целый будет молчать и вопросительно смотреть на меня, я всё-таки не в состоянии буду произнести более ни одного звука. Учитель

минуты три смотрел на меня, потом вдруг проявил в своем лице выражение глубокой печали и чувствительным голосом сказал Володе, который в это время вошел в комнату:

— Позвольте мне тетрадку: проставить баллы.

Володя подал ему тетрадь и осторожно положил билетик подле нее.

Учитель развернул тетрадь и, бережно обмокнув перо, красивым почерком написал Володе пять в графе успехов и поведения. Потом, остановив перо над графою, в которой означались мои баллы, он посмотрел на меня, стряхнул чернила и задумался.

Вдруг рука его сделала чуть заметное движение, и в графе появилась красиво начерченная единица и точка; другое движение — и в графе поведения другая единица и точка.

Бережно сложив тетрадь баллов, учитель встал и подошел к двери, как будто не замечая моего взгляда, в котором выражались отчаяние, мольба и упрек.

— Михаил Ларионыч! — сказал я.

— Нет,—отвечал он, понимая уже, что я хотел сказать ему: — так нельзя учиться. Я не хочу даром денег брать.

Учитель надел калоши, камлотовую шинель, с большим тщанием повязался шарфом. Как будто можно было о чем-нибудь заботиться после того, что случилось со мной? Для него движение пера, а для меня величайшее несчастие.

— Класс кончен?—спросил St.-Jérôme, входя в комнату.

— Да.

— Учитель доволен вами?

— Да, — сказал Володя.

— Сколько вы получили?

— Пять.

— A Nicolas?

Я молчал.

— Кажется, четыре, — сказал Володя.

Он понимал, что меня нужно было спасти, хотя на нынешний день. Пускай накажут, только бы не нынче, когда у нас гости.

— Voyons, Messieurs[1] (St.-Jérôme имел привычку ко всякому слову говорить: voyons)! faites votre toilette et descendons.[2]

[1] [Ну же, господа]

[2] [займитесь вашим туалетом, и идемте вниз.]

ГЛАВА XII.

КЛЮЧИК

Едва успели мы, сойдя вниз, поздороваться со всеми гостями, как нас позвали к столу. Папа был очень весел (он был в выигрыше в это время), подарил Любочке дорогой серебряный сервиз и за обедом вспомнил, что у него во флигеле осталась еще бомбоньерка, приготовленная для именинницы.

— Чем человека посылать, поди-ка лучше ты, Коко, — сказал он мне. — Ключи лежат на большом столе в раковине, знаешь?... Так возьми их и самым большим ключом отопри второй ящик направо. Там найдешь коробочку, конфекты в бумаге и принесешь всё сюда.

— А сигары принести тебе? — спросил я, зная, что он всегда после обеда посылал за ними.

— Принеси, да смотри у меня ничего не трогать! — сказал он мне вслед.

Найдя ключи на указанном месте, я хотел уже отпирать ящик, как меня остановило желание узнать, какую вещь отпирал крошечный ключик, висевший на той же связке.

На столе, между тысячью разнообразных вещей, стоял около перилец шитый портфель с висячим замочком, и мне захотелось попробовать, придется ли к нему маленький ключик. Испытание увенчалось полным успехом, портфель открылся, и я нашел в нем целую кучу бумаг. Чувство любопытства с таким убеждением советовало мне узнать, какие были эти бумаги, что я не успел прислушаться к голосу совести и принялся рассматривать то, что находилось в портфеле....

. . . . . .

Детское чувство безусловного уважения ко всем старшим, и в особенности к папа, было так сильно во мне, что ум мой бессознательно отказывался выводить какие бы то ни было заключения из того, что я видел. Я чувствовал, что папа должен жить в сфере совершенно особенной, прекрасной, недоступной и непостижимой для меня, и что стараться проникать тайны его жизни было бы с моей стороны чем-то в роде святотатства.

Поэтому открытия, почти нечаянно сделанные мною в портфеле папа, не оставили во мне никакого ясного понятия, исключая темного сознания, что я поступил нехорошо. Мне было стыдно и неловко.

Под влиянием этого чувства, я как можно скорее хотел закрыть портфель, но мне видно суждено было испытать всевозможные несчастия в этот достопамятный день: вложив ключик в замочную скважину, я повернул его не в ту сторону; воображая, что замок заперт, я вынул ключ и — о ужас! — у меня в руках была только головка ключика. Тщетно я старался соединить ее с оставшейся в замке половиной и посредством какого-то волшебства высвободить ее оттуда; надо было, наконец, привыкнуть к ужасной мысли, что я совершил новое преступление, которое нынче же по возвращении папа в кабинет должно будет открыться.

Жалоба Мими, единица и ключик! Хуже ничего не могло со мной случиться. Бабушка — за жалобу Мими, St.-Jérôme — за единицу, папа — за ключик.... и всё это обрушится на меня не позже как нынче вечером.

— Что со мной будет?! А-а-ах! что я наделал?! — говорил я вслух, прохаживаясь по мягкому ковру кабинета. — Э! — сказал я сам себе, доставая конфекты и сигары: — *чему быть, тому не миновать*.... И побежал в дом.

Это фаталистическое изречение, в детстве подслушанное мною у Николая, во все трудные минуты моей жизни производило на меня благотворное, временно-успокоивающее влияние. Входя в залу, я находился в несколько раздраженном и неестественном, но чрезвычайно веселом состоянии духа.

ГЛАВА XIII.

ИЗМЕННИЦА.

После обеда начались petits jeux, и я принимал в них живейшее участие. Играя в «кошку мышку», как-то неловко разбежавшись на гувернантку Корнаковых, которая играла с нами, я нечаянно наступил ей на платье и оборвал его. Заметив, что всем девочкам, и в особенности Сонечке, доставляло большое удовольствие видеть, как гувернантка с расстроенным лицом пошла в девичью зашивать свое платье, я решился доставить им это удовольствие еще раз. Вследствие такого любезного намерения, как только гувернантка вернулась в комнату, я принялся галопировать вокруг нее и продолжал эти эволюции до тех пор, пока не нашел удобной минуты снова зацепить каблуком за ее юбку и оборвать. Сонечка и княжны едва могли удер-

жаться от смеха, что весьма приятно польстило моему самолюбию; но St.-Jérôme, заметив, должно быть, мои проделки, подошел ко мне и, нахмурив брови (чего я терпеть не мог), сказал, что я, кажется, не к добру развеселился, и что ежели я не буду скромнее, то, несмотря на праздник, он заставит меня раскаяться.

Но я находился в раздраженном состоянии человека, проигравшего более того, что у него есть в кармане, который боится счесть свою запись и продолжает ставить отчаянные карты уже без надежды отыграться, а только для того, чтобы не давать самому себе времени опомниться. Я дерзко улыбнулся и ушел от него.

После «кошки мышки» кто-то затеял игру, которая называлась у нас, кажется, *Lange Nase.*[1] Сущность игры состояла в том, что ставили два ряда стульев, один против другого, и дамы и кавалеры разделялись на две партии и по переменкам выбирали одна другую.

Младшая княжна каждый раз выбирала меньшого Ивина, Катенька выбирала или Володю, или Иленьку, а Сонечка каждый раз Сережу, и нисколько не стыдилась, к моему крайнему удивлению, когда Сережа прямо шел и садился против нее. Она смеялась своим милым звонким смехом и делала ему головкой знак, что он угадал. Меня же никто не выбирал. К крайнему оскорблению моего самолюбия, я понимал, что я лишний, *остающийся*, что про меня всякий раз должны были говорить: *Кто еще остается? «Да Николенька; ну вот ты его и возьми».* Поэтому, когда мне приходилось выходить, я прямо подходил или к сестре, или к одной из некрасивых княжен и, к несчастию, никогда не ошибался. Сонечка же, казалось, так была занята Сережей Ивиным, что я не существовал для нее вовсе. Не знаю, на каком основании называл я ее мысленно *изменницею*, так как она никогда не давала мне обещания выбирать меня, а не Сережу; но я твердо был убежден, что она самым гнусным образом поступила со мною.

После игры я заметил, что *изменница*, которую я презирал, но с которой, однако, не мог спустить глаз, вместе с Сережей и Катенькой отошли в угол и о чем-то таинственно разговаривали. Подкравшись из-за фортепьян, чтобы открыть их

---

[1] [Длинный нос.]

секреты, я увидал следующее: Катенька держала за два конца батистовый платочек в виде ширм, заслоняя им головы Сережи и Сонечки. «Нет, проиграли, теперь расплачивайтесь!»— говорил Сережа. Сонечка, опустив руки, стояла перед ним точно виноватая и, краснея, говорила: «Нет, я не проиграла, не правда ли, m-lle Catherine?» — «Я люблю правду, — отвечала Катенька, — проиграла пари, ma chère».

Едва успела Катенька произнести эти слова, как Сережа нагнулся и поцаловал Сонечку. Так прямо и поцаловал в ее розовые губки. И Сонечка засмеялась, как будто это ничего, как будто это очень весело. Ужасно!!! О, *коварная изменница!*

ГЛАВА XIV.

ЗАТМЕНИЕ.

Я вдруг почувствовал презрение ко всему женскому полу вообще и к Сонечке в особенности; начал уверять себя, что ничего веселого нет в этих играх, что они приличны только *девчонкам*, и мне чрезвычайно захотелось буянить и сделать какую-нибудь такую молодецкую штуку, которая бы всех удивила. Случай не замедлил представиться.

St.-Jérôme, поговорив о чем-то с Мими, вышел из комнаты; звуки его шагов послышались сначала на лестнице, а потом над нами, по направлению классной. Мне пришла мысль, что Мими сказала ему, где она видела меня во время класса, и что он пошел посмотреть журнал. Я не предполагал в это время у St.-Jérôme'а другой цели в жизни, как желания наказать меня. Я читал где-то, что дети от 12 до 14 лет, т.-е. находящиеся в переходном возрасте отрочества, бывают особенно склонны к поджигательству и даже убийству. Вспоминая свое отрочество и особенно то состояние духа, в котором я находился в этот несчастный для меня день, я весьма ясно понимаю возможность самого ужасного преступления, без цели, без желания вредить; но *так* — из любопытства, из бессознательной потребности деятельности. Бывают минуты, когда будущее представляется человеку в столь мрачном свете, что он боится останавливать на нем свои умственные взоры, прекращает в себе совершенно деятельность ума и старается убедить себя, что будущего не будет и прошедшего не было. В такие минуты, когда мысль не обсуживает вперед каждого определения воли,

а единственными пружинами жизни остаются плотские инстинкты, я понимаю, что ребенок, по неопытности, особенно склонный к такому состоянию, без малейшего колебания и страха, с улыбкой любопытства, раскладывает и раздувает огонь под собственным домом, в котором спят его братья, отец, мать, которых он нежно любит. — Под влиянием этого же временного отсутствия мысли, — рассеянности почти, — крестьянский парень лет семнадцати, осматривая лезвие только-что отточенного топора подле лавки, на которой лицом вниз спит его старик отец, вдруг размахивается топором и с тупым любопытством смотрит, как сочится под лавку кровь из разрубленной шеи; под влиянием этого же отсутствия мысли и инстинктивного любопытства, человек находит какое-то наслаждение остановиться на самом краю обрыва и думать: а что если туда броситься? или приставить ко лбу заряженный пистолет и думать: а что ежели пожать гашетку? или смотреть на какое-нибудь очень важное лицо, к которому всё общество чувствует подобострастное уважение и думать: а что ежели подойти к нему, взять его за нос и сказать: «а ну-ка, любезный, пойдем»?

Под влиянием такого же внутреннего волнения и отсутствия размышления, когда St.-Jérôme сошел вниз и сказал мне, что я не имею права здесь быть нынче за то, что так дурно вел себя и учился, чтобы я сейчас же шел наверх, я показал ему язык и сказал, что не пойду отсюда.

В первую минуту St.-Jérôme не мог слова произнести от удивления и злости

— C'est bien,[1] — сказал он, догоняя меня: — я уже несколько раз обещал вам наказание, от которого вас хотела избавить ваша бабушка; но теперь я вижу, что, кроме розог, вас ничем не заставишь повиноваться, и нынче вы их вполне заслужили.

Он сказал это так громко, что все слышали его слова. Кровь с необыкновенной силой прилила к моему сердцу; я почувствовал, как крепко оно билось, как краска сходила с моего лица, и как совершенно невольно затряслись мои губы. Я должен был быть страшен в эту минуту, потому что St.-Jérôme, избегая моего взгляда, быстро подошел ко мне и схватил за руку; но только-что я почувствовал прикосновение его руки, мне

[1] [Хорошо,]

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА СССР ИМЕНИ

сделалось так дурно, что я, не помня себя от злобы, вырвал руку и из всех моих детских сил ударил его.

— Что с тобой делается? — сказал, подходя ко мне, Володя, с ужасом и удивлением видевший мой поступок.

— Оставь меня! — закричал я на него сквозь слезы: — никто вы не любите меня, не понимаете, как я несчастлив! Все вы гадки, отвратительны, — прибавил я с каким-то исступлением, обращаясь ко всему обществу.

Но в это время St.-Jérôme, с решительным и бледным лицом, снова подошел ко мне и, не успел я приготовиться к защите, как он уже сильным движением, как тисками, сжал мои обе руки и потащил куда-то. Голова моя закружилась от волнения; помню только, что я отчаянно бился головой и коленками до тех пор, пока во мне были еще силы; помню, что нос мой несколько раз натыкался на чьи-то ляжки, что в рот мне попадал чей-то сюртук, что вокруг себя со всех сторон я слышал присутствие чьих-то ног, запах пыли и violette,[1] которой душился St.-Jérôme.

Через пять минут за мной затворилась дверь чулана.

— Василь! — сказал *он* отвратительным, торжествующим голосом: — принеси розог . . . . . .

ГЛАВА XV.

МЕЧТЫ.

Неужели в то время я мог бы думать, что останусь жив после всех несчастий, постигших меня, и что придет время, когда я спокойно буду вспоминать о них?...

Припоминая то, что я сделал, я не мог вообразить себе, что со мной будет; но смутно предчувствовал, что пропал безвозвратно.

Сначала внизу и вокруг меня царствовала совершенная тишина, или по крайней мере мне так казалось, от слишком сильного внутреннего волнения, но мало-по-малу я стал разбирать различные звуки. Василий пришел снизу и, бросив на окно какую-то вещь, похожую на метлу, зевая, улегся на ларь. Внизу послышался громкий голос Августа Антоныча (должно быть он говорил про меня), потом детские голоса, потом смех,

[1] [фиалок,]

беготня, а через несколько минут в доме всё пришло в прежнее движение, как будто никто не знал и не думал о том, что я сижу в темном чулане.

Я не плакал, но что-то тяжелое как камень лежало у меня на сердце. Мысли и представления с усиленной быстротой проходили в моем расстроенном воображении; но воспоминание о несчастии, постигшем меня, беспрестанно прерывало их причудливую цепь, и я снова входил в безвыходный лабиринт неизвестности о предстоящей мне участи, отчаяния и страха.

То мне приходит в голову, что должна существовать какая-нибудь неизвестная причина общей ко мне нелюбви и даже ненависти. (В то время я был твердо убежден, что все, начиная от бабушки и до Филиппа кучера, ненавидят меня и находят наслаждение в моих страданиях.) Я должен быть не сын моей матери и моего отца, не брат Володи, а несчастный сирота, подкидыш, взятый из милости, говорю я сам себе, и нелепая мысль эта не только доставляет мне какое-то грустное утешение, но даже кажется совершенно правдоподобною. Мне отрадно думать, что я несчастен не потому, что виноват, но потому, что такова моя судьба с самого моего рождения, и что участь моя похожа на участь несчастного Карла Иваныча.

«Но зачем дальше скрывать эту тайну, когда я сам уже успел проникнуть ее? — говорю я сам себе, — завтра же пойду к папа и скажу ему: «Папа! напрасно ты от меня скрываешь тайну моего рождения; я знаю ее». Он скажет: «что ж делать, мой друг, рано или поздно ты узнал бы это, — ты не мой сын, но я усыновил тебя, и ежели ты будешь достоин моей любви, то я никогда не оставлю тебя», и я скажу ему: «папа, хотя я не имею права называть тебя этим именем, но я теперь произношу его в последний раз, я всегда любил тебя и буду любить, никогда не забуду, что ты мой благодетель, но не могу больше оставаться в твоем доме. Здесь никто не любит меня, а St.-Jérôme поклялся в моей погибели. Он или я должны оставить твой дом, потому что я не отвечаю за себя, я до такой степени ненавижу этого человека, что готов на всё. Я убью его», так и сказать: «папа! я убью его». Папа станет просить меня, но я махну рукой, скажу ему — «нет, мой друг, мой благодетель, мы не можем жить вместе, а отпусти меня», и я обниму его и скажу ему, почему-то по-французски: «Oh mon père, oh mon bienfaiteur, donne moi pour la dernière fois ta bénédiction et que

la volonté de Dieu soit faite!»[1] И я, сидя на сундуке, в темном чулане, плачу навзрыд при этой мысли. Но вдруг я вспоминаю постыдное наказание, ожидающее меня, действительность представляется мне в настоящем свете, и мечты мгновенно разлетаются.

То я воображаю себя уже на свободе, вне нашего дома. Я поступаю в гусары и иду на войну. Со всех сторон на меня несутся враги, я размахиваюсь саблей и убиваю одного, другой взмах — убиваю другого, третьего. Наконец, в изнурении от ран и усталости, я падаю на землю и кричу: «победа!» Генерал подъезжает ко мне и спрашивает: «где он — наш спаситель?» Ему указывают на меня, он бросается мне на шею и с радостными слезами кричит: «победа!» Я выздоравливаю и, с подвязанной черным платком рукою, гуляю по Тверскому бульвару. Я генерал! Но вот *Государь* встречает меня и спрашивает, кто этот израненный молодой человек? Ему говорят, что это известный герой Николай. Государь подходит ко мне и говорит: «благодарю тебя. Я всё сделаю, что бы ты ни просил у меня». Я почтительно кланяюсь и, опираясь на саблю, говорю: «я счастлив, великий Государь, что мог пролить кровь за свое отечество, и желал бы умереть за него; но ежели ты так милостив, что позволяешь мне просить тебя, прошу об одном — позволь мне уничтожить врага моего, иностранца St.-Jérôme'a. Мне хочется уничтожить врага моего St.-Jérôme'a». Я грозно останавливаюсь перед St.-Jérôme'ом и говорю ему: «ты сделал мое несчастие, à genoux!»[2] Но вдруг мне приходит мысль, что с минуты на минуту может войти настоящий St.-Jérôme с розгами, и я снова вижу себя не генералом, спасающим отечество, а самым жалким, плачевным созданием.

То мне приходит мысль о Боге, и я дерзко спрашиваю Его, за что он наказывает меня? «Я кажется не забывал молиться утром и вечером, так за что же я страдаю?» Положительно могу сказать, что первый шаг к религиозным сомнениям, тревожившим меня во время отрочества, был сделан мною теперь, не потому, что бы несчастие побудило меня к ропоту и неверию, но потому, что мысль о несправедливости Провидения, пришед-

[1] [О мой отец, о мой благодетель, дай мне в последний раз свое благословление, и да совершится воля божия!]

[2] [на колени!]

шая мне в голову в эту пору совершенного душевного расстройства и суточного уединения, как дурное зерно, после дождя, упавшее на рыхлую землю, с быстротой стало разрастаться и пускать корни. То я воображал, что я непременно умру, и живо представлял себе удивление St.-Jérôme'а, находящего в чулане, вместо меня, безжизненное тело. Вспоминая рассказы Натальи Савишны о том, что душа усопшего до сорока дней не оставляет дома, я мысленно после смерти ношусь невидимкой по всем комнатам бабушкиного дома и подслушиваю искренние слезы Любочки, сожаления бабушки и разговор папа с Августом Антонычем. «Он славный был мальчик», скажет папа со слезами на глазах — «Да — скажет St.-Jérôme — но большой повеса». — «Вы бы должны уважать мертвых — скажет папа — вы были причиной его смерти, вы запугали его, он не мог перенести унижения, которое вы готовили ему... Вон отсюда, злодей!»

И St.-Jérôme упадет на колени, будет плакать и просить прощения. После сорока дней, душа моя улетает на небо; я вижу там что-то удивительно прекрасное, белое, прозрачное, длинное и чувствую, что это моя мать. Это что-то белое окружает, ласкает меня; но я чувствую беспокойство и как будто не узнаю ее. Ежели это точно ты, говорю я, то покажись мне лучше, чтобы я мог обнять тебя. И мне отвечает ее голос: «здесь мы все такие, я не могу лучше обнять тебя. Разве тебе не хорошо так?» Нет, мне очень хорошо, но ты не можешь щекотать меня, и я не могу целовать твоих рук... «Не надо этого, здесь и так прекрасно», говорит она, и я чувствую, что точно прекрасно, и мы вместе с ней летим всё выше и выше. Тут я как будто просыпаюсь и нахожу себя опять на сундуке, в темном чулане, с мокрыми от слез щеками, без всякой мысли, твердящего слова: *и мы всё летим выше и выше.* Я долго употребляю всевозможные усилия, чтобы уяснить свое положение; но умственному взору моему представляется в настоящем только одна страшно мрачная, непроницаемая даль. Я стараюсь снова возвратиться к тем отрадным, счастливым мечтам, которые прервало сознание действительности; но, к удивлению моему, как скоро вхожу в колею прежних мечтаний, я вижу, что продолжение их невозможно и, что всего удивительнее, не доставляет уже мне никакого удовольствия.

ГЛАВА XVI.

ПЕРЕМЕЛЕТСЯ, МУКА БУДЕТ.

Я ночевал в чулане, и никто не приходил ко мне; только на другой день, т. е. в воскресенье, меня перевели в маленькую комнатку, подле классной, и опять заперли. Я начинал надеяться, что наказание мое ограничится заточением, и мысли мои, под влиянием сладкого, крепительного сна, яркого солнца, игравшего на морозных узорах окон, и дневного обыкновенного шума на улицах, начинали успокоиваться. Но уединение всё-таки было очень тяжело: мне хотелось двигаться, рассказать кому-нибудь всё, что накопилось у меня на душе, и не было вокруг меня живого создания. Положение это было еще более неприятно потому, что, как мне ни противно было, я не мог не слышать, как St.-Jérôme, прогуливаясь по своей комнате, насвистывал совершенно спокойно какие-то веселые мотивы. Я был вполне убежден, что ему вовсе не хотелось свистать, но что он делал это единственно для того, чтобы мучить меня.

В два часа St.-Jérôme и Володя сошли вниз, а Николай принес мне обед, и когда я разговорился с ним о том, что я наделал, и что ожидает меня, он сказал:

— Эх, сударь! не тужите, перемелется, мука будет.

Хотя это изречение, не раз и впоследствии поддерживавшее твердость моего духа, несколько утешило меня, но именно то обстоятельство, что мне прислали не один хлеб и воду, а весь обед, даже и пирожное розанчики, заставило меня сильно призадуматься. Ежели бы мне не прислали розанчиков, то значило бы, что меня наказывают заточением, но теперь выходило, что я еще не наказан, что я только удален от других, как вредный человек, а что наказание впереди. В то время, как я был углублен в разрешение этого вопроса, в замке моей темницы повернулся ключ, и St.-Jérôme с суровым и официальным лицом вошел в комнату.

— Пойдемте к бабушке, — сказал он, не глядя на меня.

Я хотел было почистить рукава курточки, запачкавшиеся мелом, прежде, чем выйти из комнаты, но St.-Jérôme сказал мне, что это совершенно бесполезно, как будто я находился уже в таком жалком нравственном положении, что о наружном своем виде не стоило и заботиться.

Катенька, Любочка и Володя посмотрели на меня в то время,

как St.-Jérôme за руку проводил меня чрез залу, точно с тем же выражением, с которым мы обыкновенно смотрели на колодников, проводимых по понедельникам мимо наших окон. Когда же я подошел к креслу бабушки, с намерением поцаловать ее руку, она отвернулась от меня и спрятала руку под мантилью.

— Да, мой милый, — сказала она, после довольно продолжительного молчания, во время которого она осмотрела меня с ног до головы таким взглядом, что я не знал, куда девать свои глаза и руки: — могу сказать, что вы очень цените мою любовь и составляете для меня истинное утешение. Mr St.-Jérôme, который по моей просьбе, — прибавила она, растягивая каждое слово: — взялся за ваше воспитание, не хочет теперь оставаться в моем доме. Отчего? От вас, мой милый. Я надеялась, что вы будете благодарны,—продолжала она, помолчав немного и тоном, который доказывал, что речь ее была приготовлена заблаговременно: — за попечения и труды его, что вы будете уметь ценить его заслуги, а вы, молокосос, мальчишка, решились поднять на него руку. Очень хорошо! Прекрасно!! Я тоже начинаю думать, что вы не способны понимать благородного обращения, что на вас нужны другие, низкие средства... Проси сейчас прощения, — прибавила она строго-повелительным тоном, указывая на St.-Jérôme'а: — слышишь?

Я посмотрел по направлению руки бабушки и, увидев сюртук St.-Jérôme'а, отвернулся и не трогался с места, снова начиная ощущать замирание сердца.

— Что же? вы не слышите разве, что я вам говорю?

Я дрожал всем телом, но не трогался с места.

— Коко! — сказала бабушка, должно быть заметив внутренние страдания, которые я испытывал. — Коко, — сказала она уже не столько повелительным, сколько нежным голосом: — ты ли это?

— Бабушка! я не буду просить у него прощения ни за что...— сказал я, вдруг останавливаясь, чувствуя, что не в состоянии буду удержать слез, давивших меня, ежели скажу еще одно слово.

— Я приказываю тебе, я прошу тебя. Что же ты?

— Я... я... не... хочу... я не могу, — проговорил я, и сдержанные рыдания, накопившиеся в моей груди, вдруг опрокинули преграду, удерживавшую их, и разразились отчаянным потоком.

— C'est ainsi que vous obéissez à votre seconde mère, c'est ainsi que vous reconnaissez ses bontés,[1] сказал St.-Jérôme трагическим голосом: — à genoux![2]

— Боже мой, ежели бы она видела это! — сказала бабушка, отворачиваясь от меня и отирая показавшиеся слезы. — Ежели бы она видела... всё к лучшему. Да, она не перенесла бы этого горя, не перенесла бы.

И бабушка плакала всё сильней и сильней. Я плакал тоже, но и не думал просить прощения.

— Tranquillisez-vous au nom du ciel, M-me la comtesse,[3] — говорил St.-Jérôme.

Но бабушка уже не слушала его, она закрыла лицо руками, и рыдания ее скоро перешли в икоту и истерику. В комнату с испуганными лицами вбежали Мими и Гаша, запахло какими-то спиртами, и по всему дому вдруг поднялись беготня и шептанье.

— Любуйтесь на ваше дело, — сказал St.-Jérôme, уводя меня наверх.

— Боже мой, что я наделал! какой я ужасный преступник!

Только-что St.-Jérôme, сказав мне, чтобы я шел в свою комнату, спустился вниз, — я, не отдавая себе отчета в том, что я делаю, побежал по большой лестнице, ведущей на улицу.

Хотел ли я убежать совсем из дома или утопиться, не помню; знаю только, что, закрыв лицо руками, чтобы не видать никого, я бежал всё дальше и дальше по лестнице.

— Ты куда? — спросил меня вдруг знакомый голос. — Тебя-то мне и нужно, голубчик.

Я хотел было пробежать мимо, но папа схватил меня за руку и строго сказал:

— Пойдем-ка со мной, любезный! — Как ты смел трогать портфель в моем кабинете, — сказал он, вводя меня за собой в маленькую диванную. — А? что ж ты молчишь? А? — прибавил он, взяв меня за ухо.

— Виноват, — сказал я: — я сам не знаю, что на меня нашло.

— А, не знаешь, что на тебя нашло, не знаешь, не знаешь, не знаешь, не знаешь, — повторял он, с каждым словом по-

[1] [Так-то вы повинуетесь своей второй матери, так-то вы отплачиваете за ее доброту,]

[2] [на колени!]

[3] [Ради бога, успокойтесь, графиня,]

трясая мое ухо: — будешь вперед совать нос, куда не следует, будешь? будешь?

Несмотря на то, что я ощущал сильнейшую боль в ухе, я не плакал, а испытывал приятное моральное чувство. Только-что папа выпустил мое ухо, я схватил его руку и со слезами принялся покрывать ее поцалуями.

— Бей меня еще, — говорил я сквозь слезы: — крепче, больнее, я негодный, я гадкий, я несчастный человек!

— Что с тобой? — сказал он, слегка отталкивая меня.

— Нет, ни за что не пойду, — сказал я, цепляясь за его сюртук. — Все ненавидят меня, я это знаю, но, ради Бога, ты выслушай меня, защити меня или выгони из дома. Я не могу с ним жить, *он* всячески старается унизить меня, велит становиться на колени перед собой, хочет высечь меня. Я не могу этого, я не маленький, я не перенесу этого, я умру, убью себя. *Он* сказал бабушке, что я негодный; она теперь больна, она умрет от меня, я... с... ним... ради Бога, высеки... за... что... му...чат.

Слезы душили меня, я сел на диван и, не в силах говорить более, упал головой ему на колена, рыдая так, что мне казалось, я должен был умереть в ту же минуту.

— Об чем ты, пузырь? — сказал папа с участием, наклоняясь ко мне.

— *Он* мой тиран... мучитель... умру... никто меня не любит! — едва мог проговорить я, и со мной сделались конвульсии.

Папа взял меня на руки и отнес в спальню. Я заснул.

Когда я проснулся, было уже очень поздно, одна свечка горела около моей кровати, и в комнате сидели наш домашний доктор, Мими и Любочка. По лицам их заметно было, что боялись за мое здоровье. Я же чувствовал себя так хорошо и легко после двенадцатичасового сна, что сейчас бы вскочил с постели, ежели бы мне не неприятно было расстроить их уверенность в том, что я очень болен.

ГЛАВА XVII.

НЕНАВИСТЬ.

Да, это было настоящее чувство ненависти, не той ненависти, про которую только пишут в романах, и в которую я не верю, ненависти, которая будто находит наслаждение в делании зла человеку, но той ненависти, которая внушает вам не-

преодолимое отвращение к человеку, заслуживающему, однако, ваше уважение, делает для вас противными его волоса, шею, походку, звук голоса, все его члены, все его движения и, вместе с тем, какой-то непонятной силой притягивает вас к нему и с беспокойным вниманием заставляет следить за малейшими его поступками. Я испытывал это чувство к St.-Jérôme.

St.-Jérôme жил у нас уже полтора года. Обсуживая теперь хладнокровно этого человека, я нахожу, что он был хороший француз, но француз в высшей степени. Он был не глуп, довольно хорошо учен и добросовестно исполнял в отношении нас свою обязанность, но он имел общие всем его землякам и столь противоположные русскому характеру отличительные черты легкомысленного эгоизма, тщеславия, дерзости и невежественной самоуверенности. Всё это мне очень не нравилось. Само собою разумеется, что бабушка объяснила ему свое мнение насчет телесного наказания, и он не смел бить нас; но несмотря на это, он часто угрожал, в особенности мне, розгами и выговаривал слово fouetter [1] (как-то fouatter) так отвратительно и с такой интонацией, как будто высечь меня доставило бы ему величайшее удовольствие.

Я нисколько не боялся боли наказания, никогда не испытывал ее, но одна мысль, что St.-Jérôme может ударить меня, приводила меня в тяжелое состояние подавленного отчаяния и злобы.

Случалось, что Карл Иваныч, в минуту досады, лично расправлялся с нами линейкой или помочами; но я без малейшей досады вспоминаю об этом. Даже в то время, о котором я говорю (когда мне было четырнадцать лет), ежели бы Карлу Иванычу случилось приколотить меня, я хладнокровно перенес бы его побои. Карла Иваныча я любил, помнил его с тех пор, как самого себя, и привык считать членом своего семейства; но St.-Jérôme был человек гордый, самодовольный, к которому я ничего не чувствовал, кроме того невольного уважения, которое внушали мне все *большие*. Карл Иваныч был смешной старик-*дядька*, которого я любил от души; но ставил всё-таки ниже себя в моем детском понимании общественного положения.

St.-Jérôme, напротив, был образованный, красивый молодой

---

[1] [сечь]

щеголь, старающийся стать наравне со всеми. Карл Иваныч бранил и наказывал нас всегда хладнокровно, видно было, что он считал это хотя необходимою, но неприятною обязанностью. St.-Jérôme, напротив, любил драпироваться в роль наставника; видно было, когда он наказывал нас, что он делал это более для собственного удовольствия, чем для нашей пользы. Он увлекался своим величием. Его пышные французские фразы, которые он говорил с сильными ударениями на последнем слоге, accent circonflex'ами, были для меня невыразимо противны. Карл Иваныч, рассердившись, говорил «кукольная комедия, шалунья мальшик, шампанская мушка». St.-Jérôme называл нас mauvais sujet, vilain garnement [1] и т. п. названиями, которые оскорбляли мое самолюбие.

Карл Иваныч ставил нас на колени лицом в угол, и наказание состояло в физической боли, происходившей от такого положения; St.-Jérôme, выпрямляя грудь и делая величественный жест рукою, трагическим голосом кричал: «à genoux, mauvais sujet!», приказывал становиться на колени лицом к себе и просить прощения. Наказание состояло в унижении.

Меня не наказывали, и никто даже не напоминал мне о том, что со мной случилось; но я не мог забыть всего, что испытал: отчаяния, стыда, страха и ненависти в эти два дня. Несмотря на то, что с того времени St.-Jérôme, как казалось, махнул на меня рукою, почти не занимался мною, я не мог привыкнуть смотреть на него равнодушно. Всякий раз, когда случайно встречались наши глаза, мне казалось, что во взгляде моем выражается слишком явная неприязнь, и я спешил принять выражение равнодушия, но тогда мне казалось, что он понимает мое притворство, я краснел и вовсе отворачивался.

Одним словом, мне невыразимо тяжело было иметь с ним какие бы то ни было отношения.

ГЛАВА XVIII.

ДЕВИЧЬЯ.

Я чувствовал себя всё более и более одиноким, и главными моими удовольствиями были уединенные размышления и наблюдения. О предмете моих размышлений расскажу в сле-

[1] [негодяй, мерзавец]

дующей главе; театром же моих наблюдений преимущественно была девичья, в которой происходил весьма для меня занимательный и трогательный роман. Героиней этого романа, самособой разумеется, была Маша. Она была влюблена в Василья, знавшего ее еще тогда, когда она жила на воле, и обещавшего еще тогда на ней жениться. Судьба, разлучившая их пять лет тому назад, снова соединила их в бабушкином доме, но положила преграду их взаимной любви в лице Николая (родного дяди Маши), не хотевшего и слышать о замужестве своей племянницы с Васильем, которого он называл человеком *несообразным* и *необузданным*.

Преграда эта сделала то, что прежде довольно хладнокровный и небрежный в обращении Василий вдруг влюбился в Машу, влюбился так, как только способен на такое чувство дворовый человек из портных, в розовой рубашке и с напомаженными волосами.

Несмотря на то, что проявления его любви были весьма странны и несообразны (например, встречая Машу, он всегда старался причинить ей боль, или щипал ее, или бил ладонью, или сжимал ее с такой силой, что она едва могла переводить дыхание), но самая любовь его была искренна, что доказывается уже тем, что с той поры, как Николай решительно отказал ему в руке своей племянницы, Василий *запил* с горя, стал шляться по кабакам, буянить, одним словом, вести себя так дурно, что не раз подвергался постыдному наказанию на съезжей. — Но поступки эти и их последствия, казалось, были заслугою в глазах Маши и увеличивали еще ее любовь к нему. Когда Василий *содержался в части*, Маша по целым дням, не осушая глаз, плакала, жаловалась на свою горькую судьбу Гаше (принимавшей живое участие в делах несчастных любовников) и, презирая брань и побои своего дяди, потихоньку бегала в полицию навещать и утешать своего друга.

Не гнушайтесь, читатель, обществом, в которое я ввожу вас. Ежели в душе вашей не ослабли струны любви и участия, то и в девичьей найдутся звуки, на которые они отзовутся. Угодно ли вам, или не угодно будет следовать за мною, я отправляюсь на площадку лестницы, с которой мне видно всё, что происходит в девичьей. — Вот лежанка, на которой стоят утюг, картонная кукла с разбитым носом, лоханка, рукомойник; вот окно, на котором в беспорядке валяются кусочек черного во-

ска, моток шелку, откушенный зеленый огурец и конфектная коробочка, вот и большой красный стол, на котором, на начатом шитье, лежит кирпич, обшитый ситцем, и за которым сидит *она* в моем любимом, розовом холстинковом платье и голубой косынке, особенно привлекающей мое внимание. *Она* шьет, изредка останавливаясь, чтобы почесать иголкой голову, или поправить свечку, а я смотрю и думаю: «отчего она не родилась барыней, с этими светлыми голубыми глазами, огромной русой косой и высокой грудью? Как бы ей пристало сидеть в гостиной, в чепчике с розовыми лентами и в малиновом шелковом капоте, не в таком, какой у Мими, а какой я видел на Тверском бульваре. Она бы шила в пяльцах, а я бы в зеркало смотрел на нее и что бы ни захотела, я всё бы для нее делал; подавал бы ей салоп, кушанье сам бы подавал..»

И что за пьяное лицо и отвратительная фигура у этого Василья в узком сюртуке, надетом сверх грязной розовой рубашки на выпуск! В каждом его телодвижении, в каждом изгибе его спины, мне кажется, что я вижу несомненные признаки отвратительного наказания, постигнувшего его...

— Что Вася? опять, — сказала Маша, втыкая иголку в подушку и не поднимая головы навстречу входившему Василью.

— А что ж? разве от *него* добро будет, — отвечал Василий: — хоть бы решил одним чем-нибудь; а то пропадаю, так ни за что и всё через *него*.

— Чай будете пить? — сказала Надежа, другая горничная

— Благодарю покорно. И ведь за что ненавидит, вор этот, дядя-то твой, за что? за то, что платье себе настоящее имею, за форц за мой, за походку мою. Одно слово. Эх-ма! — заключил Василий, махнув рукой.

— Надо покорным быть, — сказала Маша, скусывая нитку: — а вы так всё....

— Мочи моей не стало, вот что!

В это время, в комнате бабушки, послышался стук дверью и ворчливый голос Гаши, приближавшейся по лестнице.

— Поди тут угоди, когда сама не знает, чего хочет... проклятая *жисть*, каторжная! Хоть бы одно что, прости, Господи, мое согрешение, — бормотала она, размахивая руками.

— Мое почтение, Агафье Михайловне, — сказал Василий, приподнимаясь ей навстречу.

— Ну, вас тут! Не до твоего почтения, — отвечала она грозно, глядя на него: — и зачем ходишь сюда? разве место к девкам мужчине ходить....

— Хотел об вашем здоровьи узнать, — робко сказал Василий.

— Издохну скоро, вот какое мое здоровье, — еще с бо́льшим гневом, во весь рот прокричала Агафья Михайловна.

Василий засмеялся.

— Тут смеяться нечего, а коли говорю, что убирайся, так марш! Вишь, поганец, тоже жениться хочет, подлец! Ну, марш, отправляйся!

И Агафья Михайловна, топая ногами, прошла в свою комнату, так сильно стукнув дверью, что стекла задрожали в окнах.

За перегородкой долго еще слышалось, как, продолжая бранить всё и всех и проклиная свое житье, она швыряла свои вещи и драла за уши свою любимую кошку; наконец, дверь приотворилась, и в нее вылетела брошенная за хвост, жалобно мяукавшая кошка.

— Видно в другой раз прийти чайку напиться, — сказал Василий шопотом: — до приятного свидания.

— Ничего, — сказала подмигивая Надежа: — я вот пойду самовар посмотрю.

— Да и сделаю ж я один конец, — продолжал Василий, ближе подсаживаясь к Маше, как только Надежа вышла из комнаты: — либо пойду прямо к графине, скажу: «так и так», либо уж... брошу всё, бегу на край света, ей-Богу.

— А я как останусь...

— Одну тебя жалею, а то бы уж даа...вно моя головушка на воле была, ей-Богу, ей-Богу.

— Что это ты, Вася, мне свои рубашки не принесешь постирать, — сказала Маша после минутного молчания: — а то, вишь, какая черная, — прибавила она, взяв его за ворот рубашки.

В это время внизу послышался колокольчик бабушки, и Гаша вышла из своей комнаты.

— Ну чего, подлый человек, от нее добиваешься? — сказала она, толкая в дверь Василья, который торопливо встал, увидав ее: — довел девку до евтого, да еще пристаешь, видно весело тебе, оголтелый, на ее слезы смотреть. Вон пошел. Чтобы духу твоего не было. И чего хорошего в нем нашла? — продолжала она, обращаясь к Маше. — Мало тебя колотил нынче

дядя за него? Нет, всё свое: ни за кого не пойду, как за Василья Грускова. Дура!

— Да и не пойду ни за кого, не люблю никого, хоть убей меня до смерти за него, — проговорила Маша, вдруг разливаясь слезами.

Долго я смотрел на Машу, которая, лежа на сундуке, утирала слезы своей косынкой, и, всячески стараясь изменять свой взгляд на Василья, я хотел найти ту точку зрения, с которой он мог казаться ей столь привлекательным. Но, несмотря на то, что я искренно сочувствовал ее печали, я никак не мог постигнуть, каким образом такое очаровательное создание, каким казалась Маша в моих глазах, могло любить Василья.

— Когда я буду большой, — рассуждал я сам с собой, вернувшись к себе наверх, — Петровское достанется мне, и Василий и Маша будут мои крепостные. Я буду сидеть в кабинете и курить трубку, Маша с утюгом пройдет в кухню. Я скажу: «позовите ко мне Машу». Она придет, и никого не будет в комнате..... Вдруг войдет Василий, и когда увидит Машу, скажет: «пропала моя головушка!», и Маша тоже заплачет; а я скажу: «Василий! я знаю, что ты любишь ее, и она тебя любит, на вот тебе тысячу рублей, женись на ней, и дай Бог тебе счастья», а сам уйду в диванную. Между бесчисленным количеством мыслей и мечтаний, без всякого следа проходящих в уме и воображении, есть такие, которые оставляют в них глубокую чувствительную борозду; так что часто, не помня уже сущности мысли, помнишь, что было что-то хорошее в голове, чувствуешь след мысли и стараешься снова воспроизвести ее. Такого рода глубокий след оставила в моей душе мысль о пожертвовании своего чувства в пользу счастья Маши, которое она могла найти только в супружестве с Васильем.

ГЛАВА XIX.

ОТРОЧЕСТВО.

Едва ли мне поверят, какие были любимейшие и постояннейшие предметы моих размышлений во время моего отрочества,— так они были несообразны с моим возрастом и положением. Но, по моему мнению, несообразность между положением человека и его моральной деятельностью есть вернейший признак истины.

В продолжение года, во время которого я вел уединенную, сосредоточенную в самом себе, моральную жизнь, все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представились мне; и детский слабый ум мой со всем жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигать ум человека, но разрешение которых не дано ему.

Мне кажется, что ум человеческий в каждом отдельном лице проходит в своем развитии по тому же пути, по которому он развивается и в целых поколениях, что мысли, служившие основанием различных философских теорий, составляют нераздельные части ума; но что каждый человек более или менее ясно сознавал их еще прежде, чем знал о существовании философских теорий.

Мысли эти представлялись моему уму с такою ясностью и поразительностью, что я даже старался применять их к жизни, воображая, что я *первый* открываю такие великие и полезные истины.

Раз мне пришла мысль, что счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним, что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив, и, чтобы приучить себя к труду, я, несмотря на страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексиконы Татищева, или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине, так больно, что слезы невольно выступали на глазах.

Другой раз, вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем, — и я дня три, под влиянием этой мысли, бросил уроки и занимался только тем, что, лежа на постеле, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским медом, которые я покупал на последние деньги.

То раз, стоя перед черной доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг был поражен мыслью: почему симметрия приятна для глаз? что такое симметрия? Это врожденное чувство, отвечал я сам себе. На чем же оно основано? Разве во всем в жизни симметрия? Напротив, вот жизнь — и я нарисовал на доске овальную фигуру. — После жизни душа перехо-

дит в вечность; вот вечность — и я провел с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нету такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны, мы верно существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминание.

Это рассуждение, казавшееся мне чрезвычайно новым и ясным, и которого связь я с трудом могу уловить теперь, — понравилось мне чрезвычайно, и я, взяв лист бумаги, вздумал письменно изложить его; но при этом в голову мою набралась вдруг такая бездна мыслей, что я принужден был встать и пройтись по комнате. Когда я подошел к окну, внимание мое обратила водовозка, которую запрягал в это время кучер, и все мысли мои сосредоточились на решении вопроса: в какое животное или человека перейдет душа этой водовозки, когда она околеет? В это время Володя, проходя через комнату, улыбнулся, заметив, что я размышлял о чем-то, и этой улыбки мне достаточно было, чтобы понять, что всё то, о чем я думал, была ужаснейшая гиль.

Я рассказал этот почему-то мне памятный случай только затем, чтобы дать понять читателю о том, в каком роде были мои умствования.

Но ни одним из всех философских направлений я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довел меня до состояния близкого сумасшествия. Я воображал, что, кроме меня, никого и ничего не существует во всем мире, что предметы не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание, и что, как скоро я перестаю думать о них, образы эти тотчас же исчезают. Одним словом, я сошелся с Шеллингом в убеждении, что существуют не предметы, а мое отношение к ним. Были минуты, что я, под влиянием этой *постоянной идеи*, доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь, врасплох, застать пустоту (néant) там, где меня не было.

Жалкая, ничтожная пружина моральной деятельности, — ум человека!

Слабый ум мой не мог проникнуть непроницаемого, а в непосильном труде терял одно за другим убеждения, которые для счастья моей жизни я никогда бы не должен был сметь затрогивать.

Из всего этого тяжелого морального труда я не вынес ничего, кроме изворотливости ума, ослабившей во мне силу воли, и привычки к постоянному моральному анализу, уничтожившей свежесть чувства и ясность рассудка.

Отвлеченные мысли образуются вследствие способности человека уловить сознанием в известный момент состояние души и перенести его в воспоминание. Склонность моя к отвлеченным размышлениям до такой степени неестественно развила во мне сознание, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей, я не думал уже о вопросе, занимавшем меня, а думал о том, о чем я думал. Спрашивая себя: о чем я думаю? я отвечал: я думаю, о чем я думаю. А теперь о чем я думаю? Я думаю, что я думаю, о чем я думаю, и так далее. Ум за разум заходил....

Однако философские открытия, которые я делал, чрезвычайно льстили моему самолюбию: я часто воображал себя великим человеком, открывающим для блага всего человечества новые истины, и с гордым сознанием своего достоинства смотрел на остальных смертных; но, странно, приходя в столкновение с этими смертными, я робел перед каждым и чем выше ставил себя в собственном мнении, тем менее был способен с другими не только выказывать сознание собственного достоинства, но не мог даже привыкнуть не стыдиться за каждое свое самое простое слово и движение.

ГЛАВА XX.

ВОЛОДЯ.

Да, чем дальше подвигаюсь я в описании этой поры моей жизни, тем тяжеле и труднее становится оно для меня. Редко, редко между воспоминаниями за это время нахожу я минуты истинного теплого чувства, так ярко и постоянно освещавшего начало моей жизни. Мне невольно хочется пробежать скорее пустыню отрочества и достигнуть той счастливой поры, когда снова истинно нежное, благородное чувство дружбы ярким светом озарило конец этого возраста и положило начало новой, исполненной прелести и поэзии, поре юности.

Не стану час за часом следить за своими воспоминаниями, но брошу быстрый взгляд на главнейшие из них с того времени,

до которого я довел свое повествование, и до сближения моего с необыкновенным человеком, имевшим решительное и благотворное влияние на мой характер и направление.

Володя на днях поступает в университет, учители уже ходят к нему отдельно, и я с завистью и невольным уважением слушаю, как он, бойко постукивая мелом о черную доску, толкует о функциях, синусах, координатах и т. п., которые кажутся мне выражениями недосягаемой премудрости. Но вот в одно воскресенье, после обеда, в комнате бабушки собираются все учители, два профессора и в присутствии папа и некоторых гостей делают репетицию университетского экзамена, в котором Володя, к великой радости бабушки, выказывает необыкновенные познания. Мне тоже делают вопросы из некоторых предметов, но я оказываюсь весьма плох, и профессоры видимо стараются перед бабушкой скрыть мое незнание, что еще более конфузит меня. Впрочем, на меня мало и обращают внимания: мне только пятнадцать лет, следовательно остается еще год до экзамена. Володя только к обеду сходит вниз, а целые дни и даже вечера проводит наверху за занятиями, не по принуждению, а по собственному желанию. Он чрезвычайно самолюбив и не хочет выдержать экзамен посредственно, а отлично.

Но вот наступил день первого экзамена. Володя надевает синий фрак с бронзовыми пуговицами, золотые часы и лакированные сапоги; к крыльцу подают фаэтон папа, Николай откидывает фартук, и Володя с St.-Jérôme'ом едут в университет. Девочки, в особенности Катенька, с радостными, восторженными лицами смотрят в окно на стройную фигуру садящегося в экипаж Володи, папа говорит: «дай Бог, дай Бог», а бабушка, тоже притащившаяся к окну, со слезами на глазах, крестит Володю до тех пор, пока фаэтон не скрывается за углом переулка, и шепчет что-то.

Володя возвращается. Все с нетерпением спрашивают его: «что? хорошо? сколько?», но уже по веселому лицу его видно, что хорошо. Володя получил пять. На другой день с теми же желаниями успеха и страхом провожают его, и встречают с тем же нетерпением и радостию. Так проходит девять дней. На десятый день предстоит последний, самый трудный экзамен — Закона Божьего, все стоят у окна и еще с бо́льшим нетерпением ожидают его. Уже два часа, а Володи нет.

— Боже мой! Батюшки!!! они!! они!! — кричит Любочка, прильнув к стеклу.

И действительно, в фаэтоне рядом с St.-Jérôme'ом сидит Володя, но уже не в синем фраке и серой фуражке, а в студенческом мундире с шитым голубым воротником, в треугольной шляпе и с позолоченной шпагой на боку.

— Что, ежели бы ты была жива! — вскрикивает бабушка, увидав Володю в мундире, и падает в обморок.

Володя с сияющим лицом вбегает в переднюю, целует и обнимает меня, Любочку, Мими и Катеньку, которая при этом краснеет до самых ушей. Володя не помнит себя от радости. И как он хорош в этом мундире! Как идет голубой воротник к его чуть пробивающимся черным усикам! Какая у него тонкая длинная талия и благородная походка! В этот достопамятный день все обедают в комнате бабушки, на всех лицах сияет радость, и за обедом, во время пирожного, дворецкий, с прилично-величавой и вместе веселой физиономией, приносит завернутую в салфетку бутылку шампанского. Бабушка в первый раз после кончины *maman* пьет шампанское, выпивает целый бокал, поздравляя Володю, и снова плачет от радости, глядя на него. Володя уже один в собственном экипаже выезжает со двора, принимает *к себе своих* знакомых, курит табак, ездит на балы, и даже я сам видел, как раз он в своей комнате выпил две бутылки шампанского с своими знакомыми, и как они при каждом бокале называли здоровье каких-то таинственных особ и спорили о том, кому достанется le fond de la bouteille.[1] Он обедает, однако, регулярно дома и после обеда попрежнему усаживается в диванной и о чем-то вечно-таинственно беседует с Катенькой; но сколько я могу слышать — как не принимающий участия в их разговорах, — они толкуют только о героях и героинях прочитанных романов, о ревности, о любви, и я никак не могу понять, что они могут находить занимательного в таких разговорах и почему они так тонко улыбаются и горячо спорят.

Вообще я замечаю, что между Катенькой и Володей, кроме понятной дружбы между товарищами детства, существуют какие-то странные отношения, отдаляющие их от нас и таинственно связывающие их между собой.

---

[1] [дно бутылки.]

ГЛАВА XXI.

КАТЕНЬКА И ЛЮБОЧКА.

Катеньке шестнадцать лет; она выросла; угловатость форм, застенчивость и неловкость движений, свойственные девочке в переходном возрасте, уступили место гармонической свежести и грациозности только-что распустившегося цветка; но она не переменилась. Те же светло-голубые глаза и улыбающийся взгляд, тот же, составляющий почти одну линию со лбом, прямой носик с крепкими ноздрями и ротик с светлой улыбкой, те же крошечные ямочки на розовых прозрачных щечках, те же беленькие ручки... и к ней попрежнему почему-то чрезвычайно идет название *чистенькой* девочки. Нового в ней только густая русая коса, которую она носит как большие, и молодая грудь, появление которой заметно радует и стыдит ее.

Несмотря на то, что Любочка всегда росла и воспитывалась с нею вместе, она во всех отношениях совсем другая девочка.

Любочка невысока ростом и, вследствие английской болезни, у нее ноги до сих пор еще гусем и прегадкая талия. Хорошего во всей ее фигуре только глаза, и глаза эти действительно прекрасны — большие, черные и с таким неопределимо-приятным выражением важности и наивности, что они не могут не остановить внимания. Любочка во всем проста и натуральна; Катенька же как будто хочет быть похожей на кого-то. Любочка смотрит всегда прямо и иногда, остановив на ком-нибудь свои огромные черные глаза, не спускает их так долго, что ее бранят за это, говоря, что это неучтиво; Катенька, напротив, опускает ресницы, щурится и уверяет, что она близорука, тогда как я очень хорошо знаю, что она прекрасно видит. Любочка не любит ломаться при посторонних и, когда кто-нибудь при гостях начинает целовать ее, она дуется и говорит, что терпеть не может *нежностей*; Катенька, напротив, при гостях всегда делается особенно нежна к Мими и любит, обнявшись с какой-нибудь девочкой, ходить по зале. Любочка страшная хохотунья и иногда, в припадке смеха, машет руками и бегает по комнате; Катенька, напротив, закрывает рот платком или руками, когда начинает смеяться. Любочка всегда сидит прямо и ходит, опустив руки; Катенька держит голову несколько на бок и ходит, сложив руки. Любочка всегда ужасно рада, когда ей удается поговорить с большим мужчиной и говорит, что

она непременно выйдет замуж за гусара; Катенька же говорит, что все мужчины ей гадки, что она никогда не выйдет замуж, и делается совсем другая, как будто она боится чего-то, когда мужчина говорит с ней. Любочка вечно негодует на Мими за то, что ее так стягивают корсетами, что «дышать нельзя», и любит покушать; Катенька, напротив, часто, поддевая палец под мыс своего платья, показывает нам, как оно ей широко, и ест чрезвычайно мало. Любочка любит рисовать головки; Катенька же рисует только цветы и бабочек. Любочка играет очень отчетливо фильдовские концерты, некоторые сонаты Бетховена; Катенька играет варьяции и вальсы, задерживает темп, стучит, беспрестанно берет педаль и прежде, чем начинать играть что-нибудь, с чувством берет три аккорда *arpeggio*[1].....

Но Катенька, по моему тогдашнему мнению, больше похожа на большую, и поэтому гораздо больше мне нравится.

ГЛАВА XXII.

ПАПА

Папа особенно весел с тех пор, как Володя поступил в университет, и чаще обыкновенного приходит обедать к бабушке. Впрочем, причина его веселья, как я узнал от Николая, состоит в том, что он в последнее время выиграл чрезвычайно много. Случается даже, что он вечером, перед клубом, заходит к нам, садится за фортепьяно, собирает нас вокруг себя и, притоптывая своими мягкими сапогами (он терпеть не может каблуков и никогда не носит их), поет цыганские песни. И надобно тогда видеть смешной восторг его любимицы Любочки, которая с своей стороны обожает его. Иногда он приходит в классы и с строгим лицом слушает, как я сказываю уроки, но по некоторым словам, которыми он хочет поправить меня, я замечаю, что он плохо знает то, чему меня учат. Иногда он потихоньку мигает и делает нам знаки, когда бабушка начинает ворчать и сердиться на всех без причины. «Ну, досталось же *нам*, дети», говорит он потом. Вообще он понемногу спускается в моих глазах с той недосягаемой высоты, на которую его ставило детское воображение. Я с тем же искренним чувством любви и уважения целую его большую белую руку, но

[Арпеджо — звуки аккорда, следующие один за другим.]

уже позволяю себе думать о нем, обсуживать его поступки, и мне невольно приходят о нем такие мысли, присутствие которых пугает меня. Никогда не забуду я случая, внушившего мне много таких мыслей и доставившего мне много моральных страданий.

Один раз, поздно вечером, он, в черном фраке и белом жилете, вошел в гостиную с тем, чтобы взять с собой на бал Володю, который в это время одевался в своей комнате. Бабушка в спальне дожидалась, чтобы Володя пришел показаться ей (она имела привычку перед каждым балом призывать его к себе, благословлять, осматривать и давать наставления). В зале, освещенной только одной лампой, Мими с Катенькой ходила взад и вперед, а Любочка сидела за роялем и твердила второй концерт Фильда, любимую пьесу maman.

Никогда ни в ком не встречал я такого фамильного сходства, как между сестрой и матушкой. Сходство это заключалось не в лице, не в сложении, но в чем-то неуловимом: в руках, в манере ходить, в особенности в голосе и в некоторых выражениях. Когда Любочка сердилась и говорила: «целый век не пускают», это слово *целый век*, которое имела тоже привычку говорить maman, она выговаривала так, что, казалось, слышал ее, как-то протяжно: це-е-лый век; но необыкновеннее всего было это сходство в игре ее на фортепьяно и во всех приемах при этом: она так же оправляла платье, так же поворачивала листы левой рукой сверху, так же с досады кулаком била по клавишам, когда долго не удавался трудный пассаж, и говорила: «ах, Бог мой!», и та же неуловимая нежность и отчетливость игры, той прекрасной фильдовской игры, так хорошо названной jeu perlé,[1] прелести которой не могли заставить забыть все фокус-покусы новейших пьянистов.

Папа вошел в комнату скорыми маленькими шажками и подошел к Любочке, которая перестала играть, увидев его.

— Нет, играй, Люба, играй, — сказал он, усаживая ее: — ты знаешь, как я люблю тебя слушать....

Любочка продолжала играть, а папа долго, облокотившись на руку, сидел против нее; потом, быстро подернув плечом, он встал и стал ходить по комнате. Подходя к роялю, он всякий раз останавливался и долго пристально смотрел на Любочку.

---

[1] [бисерной игрой,]

По движениям и походке его я замечал, что он был в волнении. Пройдя несколько раз по зале, он, остановившись за стулом Любочки, поцаловал ее в черную голову и потом, быстро поворотившись опять, продолжал свою прогулку. Когда, окончив пьесу, Любочка подошла к нему с вопросом: «хорошо ли?», он молча взял ее за голову и стал цаловать в лоб и глаза с такою нежностию, какой я никогда не видывал от него.

— Ах, Бог мой! ты плачешь! — вдруг сказала Любочка, выпуская из рук цепочку его часов и уставляя на его лицо свои большие удивленные глаза. — Прости меня, голубчик папа, я совсем забыла, что это *мамашина пьеса.*

— Нет, друг мой, играй почаще, — сказал он дрожащим от волнения голосом: — коли бы ты знала, как мне хорошо поплакать с тобой...

Он еще раз поцаловал ее и, стараясь пересилить внутреннее волнение, подергивая плечом, вышел в дверь, ведущую через коридор в комнату Володи.

— Вольдемар! скоро ли ты? — крикнул он, останавливаясь посреди коридора. В это самое время мимо него проходила горничная Маша, которая, увидав барина, потупилась и хотела обойти его. Он остановил ее. «А ты всё хорошеешь», сказал он, наклонясь к ней.

Маша покраснела и еще более опустила голову. «Позвольте», — прошептала она.

— Вольдемар, что ж, скоро ли? — повторил папа, подергиваясь и покашливая, когда Маша прошла мимо, и он увидал меня...

Я люблю отца, но ум человека живет независимо от сердца и часто вмещает в себя мысли, оскорбляющие чувство, непонятные и жестокие для него. И такие мысли, несмотря на то, что я стараюсь удалить их, приходят мне....

ГЛАВА XXIII.

БАБУШКА.

Бабушка со дня на день становится слабее; ее колокольчик, голос ворчливой Гаши и хлопанье дверями чаще слышатся в ее комнате, и она принимает нас уже не в кабинете, в вольтеровском кресле, а в спальне, в высокой постели с подушками, обшитыми кружевами. Здороваясь с нею, я замечаю на ее руке бледно-желтоватую глянцевую опухоль, а в комнате тяжелый

запах, который, пять лет тому назад, слышал в комнате матушки. Доктор три раза в день бывает у нее, и было уже несколько консультаций. Но характер, гордое и церемонное обращение ее со всеми домашними, а в особенности с папа, нисколько не изменились; она точно так же растягивает слова, поднимает брови и говорит: «мой милый».

Но вот несколько дней нас уже не пускают к ней, и раз утром St.-Jérôme, во время классов, предлагает мне ехать кататься с Любочкой и Катенькой. Несмотря на то, что, садясь в сани, я замечаю, что перед бабушкиными окнами улица устлана соломой, и что какие-то люди в синих чуйках стоят около наших ворот, я никак не могу понять, для чего нас посылают кататься в такой неурочный час. В этот день, во всё время катанья, мы с Любочкой находимся почему-то в том особенно веселом расположении духа, в котором каждый простой случай, каждое слово, каждое движение заставляют смеяться.

Разносчик, схватившись за лоток, рысью перебегает через дорогу, и мы смеемся. Оборванный Ванька галопом, помахивая концами вожжей, догоняет наши сани, и мы хохочем. У Филиппа зацепился кнут за полоз саней; он, оборачиваясь, говорит: «эх-ма», и мы помираем со смеху. Мими с недовольным видом говорит, что только *глупые* смеются без причины, и Любочка, вся красная от напряжения сдержанного смеха, исподлобья смотрит на меня. Глаза наши встречаются, и мы заливаемся таким гомерическим хохотом, что у нас на глазах слезы, и мы не в состоянии удержать порывов смеха, который душит нас. Только-что мы немного успокоиваемся, я взглядываю на Любочку и говорю заветное словечко, которое у нас в моде с некоторого времени и которое уже всегда производит смех, и снова мы заливаемся.

Подъезжая назад к дому, я только открываю рот, чтоб сделать Любочке одну прекрасную гримасу, как глаза мои поражает черная крышка гроба, прислоненная к половинке двери нашего подъезда, и рот мой остается в том же искривленном положении.

— Votre grande-mère est morte![1] — говорит St.-Jérôme с бледным лицом, выходя нам навстречу.

Всё время, покуда тело бабушки стоит в доме, я испытываю

---

[1] [Ваша бабушка умерла!]

тяжелое чувство страха смерти, т. е. мертвое тело живо и неприятно напоминает мне то, что и я должен умереть когда-нибудь, чувство, которое почему-то привыкли смешивать с печалью. Я не жалею о бабушке, да едва ли кто-нибудь искренно жалсет о ней. Несмотря на то, что дом полон траурных посетителей, никто не жалеет о ее смерти, исключая одного лица, которого неистовая горесть невыразимо поражает меня. И лицо это — горничная Гаша. Она уходит на чердак, запирается там, не переставая плачет, проклинает самоё себя, рвет на себе волосы, не хочет слышать никаких советов и говорит, что смерть для нее остается единственным утешением после потери любимой госпожи.

Опять повторяю, что неправдоподобность в деле чувства есть вернейший признак истины.

Бабушки уже нет, но еще в нашем доме живут воспоминания и различные толки о ней. Толки эти преимущественно относятся до завещания, которое она сделала перед кончиной, и которого никто не знает, исключая ее душеприказчика, князя Ивана Иваныча. Между бабушкиными людьми я замечаю некоторое волнение, часто слышу толки о том, кто кому достанется, и, признаюсь, невольно и с радостью думаю о том, что мы получаем наследство.

После шести недель, Николай, всегдашняя газета новостей нашего дома, рассказывает мне, что бабушка оставила всё имение Любочке, поручив до ее замужества опеку не папа, а князю Ивану Иванычу.

ГЛАВА XXIV.

Я.

До поступления в университет мне остается уже только несколько месяцев. Я учусь хорошо. Не только без страха ожидаю учителей, но даже чувствую некоторое удовольствие в классе.

Мне весело — ясно и отчетливо сказать выученный урок. Я готовлюсь в математический факультет, и выбор этот, по правде сказать, сделан мной единственно потому, что слова: синусы, тангенсы, диференциалы, интегралы и т. д. чрезвычайно нравятся мне.

Я гораздо ниже ростом Володи, широкоплеч и мясист, попрежнему дурен и попрежнему мучусь этим. Я стараюсь ка-

заться оригиналом. Одно утешает меня: это то, что про меня папа сказал как-то, что у меня *умная рожа*, и я вполне верю в это.

St.-Jérôme доволен мною, хвалит меня, и я не только не ненавижу его, но, когда он иногда говорит, что с *моими способностями*, *с моим умом* стыдно не сделать того-то и того-то, мне кажется даже, что я люблю его.

Наблюдения мои в девичьей давно уже прекратились, мне совестно прятаться за двери, да притом и убеждение в любви Маши к Василью, признаюсь, несколько охладило меня. Окончательно же исцеляет меня от этой несчастной страсти женитьба Василья, для которой я сам, по просьбе его, испрашиваю у папа позволения.

Когда *молодые*, с конфектами на подносе, приходят к папа благодарить его, и Маша, в чепчике с голубыми лентами, тоже за что-то благодарит всех нас, целуя каждого в плечико, я чувствую только запах розовой помады от ее волос, но ни малейшего волнения.

Вообще, я начинаю понемногу исцеляться от моих отроческих недостатков, исключая, впрочем, главного, которому суждено наделать мне еще много вреда в жизни, — склонности к умствованию.

ГЛАВА XXV.

ПРИЯТЕЛИ ВОЛОДИ.

Хотя в обществе знакомых Володи я играл роль, оскорблявшую мое самолюбие, я любил сидеть в его комнате, когда у него бывали гости, и молча наблюдать всё, что там делалось. Чаще других приходили к Володе адъютант Дубков и студент князь Нехлюдов. Дубков был маленький, жилистый брюнет, уже не первой молодости и немного коротконожка, но недурен собой и всегда весел. Он был один из тех ограниченных людей, которые особенно приятны именно своей ограниченностью, которые не в состоянии видеть предметы с различных сторон и которые вечно увлекаются. Суждения этих людей бывают односторонни и ошибочны, но всегда чистосердечны и увлекательны. Даже узкий эгоизм их кажется почему-то простительным и милым. Кроме того, для Володи и меня Дубков имел двоякую прелесть — воинственной наружности и, главное, возраста, с которым молодые люди почему-то имеют привычку смешивать

понятие порядочности (comme il faut), очень высоко ценимую в эти года. Впрочем, Дубков и в самом деле был тем, что называют «un homme comme il faut». Одно, что было мне неприятно — это то, что Володя как будто стыдился иногда перед ним за мои самые невинные поступки, а всего более за мою молодость.

Нехлюдов был нехорош собой: маленькие серые глаза, невысокий крутой лоб, непропорциональная длина рук и ног не могли быть названы красивыми чертами. Хорошего было в нем только — необыкновенно высокий рост, нежный цвет лица и прекрасные зубы. Но лицо это получало такой оригинальный и энергический характер от узких, блестящих глаз и переменчивого, то строгого, то детски-неопределенного выражения улыбки, что нельзя было не заметить его.

Он, казалось, был очень стыдлив, потому что каждая малость заставляла его краснеть до самых ушей; но застенчивость его не походила на мою. Чем больше он краснел, тем больше лицо его выражало решимость. Как будто он сердился на самого себя за свою слабость.

Несмотря на то, что он казался очень дружным с Дубковым и Володей, заметно было, что только случай соединил его с ними. Направления их были совершенно различны: Володя и Дубков как будто боялись всего, что было похоже на серьезные рассуждения и чувствительность; Нехлюдов, напротив, был энтузиаст в высшей степени и часто, несмотря на насмешки, пускался в рассуждения о философских вопросах и о чувствах. Володя и Дубков любили говорить о предметах своей любви (и бывали влюблены вдруг в нескольких и оба в одних и тех же); Нехлюдов, напротив, всегда серьезно сердился, когда ему намекали на его любовь к какой-то *рыженькой*.

Володя и Дубков часто позволяли себе, любя, подтрунивать над своими родными, Нехлюдова, напротив, можно было вывести из себя, с невыгодной стороны намекнув на его тетку, к которой он чувствовал какое-то восторженное обожание. Володя и Дубков после ужина ездили куда-то без Нехлюдова и называли его *красной девушкой*....

Князь Нехлюдов поразил меня с первого раза, как своим разговором, так и наружностью. Но несмотря на то, что в его направлении я находил много общего с своим — или, может быть, именно поэтому, — чувство, которое он внушил мне, когда я в первый раз увидал его, было далеко не приязненное.

Мне не нравились его быстрый взгляд, твердый голос, гордый вид, но более всего совершенное равнодушие, которое он мне оказывал. Часто, во время разговора, мне ужасно хотелось противоречить ему; в наказание за его гордость хотелось переспорить его, доказать ему, что я умен, несмотря на то, что он не хочет обращать на меня никакого внимания. Стыдливость удерживала меня.

ГЛАВА XXVI.

РАССУЖДЕНИЯ.

Володя лежал с ногами на диване и, облокотившись на руку, читал какой-то французский роман, когда я, после вечерних классов, по своему обыкновению, вошел к нему в комнату. Он на секунду приподнял голову, чтобы взглянуть на меня, и снова принялся за чтение — движение самое простое и естественное, но которое заставило меня покраснеть. Мне показалось, что во взгляде его выражался вопрос, зачем я пришел сюда, а в быстром наклонении головы желание скрыть от меня значение взгляда. Эта склонность придавать значение самому простому движению составляла во мне характеристическую черту того возраста. Я подошел к столу и тоже взял книгу; но, прежде чем начал читать ее, мне пришло в голову, что как-то смешно, что мы, не видавшись целый день, ничего не говорим друг другу.

— Что̀, ты дома будешь нынче вечером?

— Не знаю, а что?

— Так, — сказал я и, замечая, что разговор не клеится, взял книгу и начал читать.

Странно, что с глазу на глаз мы по целым часам проводили молча с Володей, но достаточно было только присутствия даже молчаливого третьего лица, чтобы между нами завязывались самые интересные и разнообразные разговоры. Мы чувствовали, что слишком хорошо знаем друг друга. А слишком много или слишком мало знать друг друга одинаково мешает сближению.

— Володя дома? — послышался в передней голос Дубкова.

— Дома, — сказал Володя, спуская ноги и кладя книгу на стол.

Дубков и Нехлюдов, в шинелях и шляпах вошли в комнату.

— Что ж, едем в театр, Володя?

— Нет, мне некогда, — отвечал Володя, краснея.

— Ну, вот еще! — поедем пожалуйста.

— Да у меня и билета нет.

— Билетов сколько хочешь у входа.

— Погоди, я сейчас приду, — уклончиво отвечал Володя и, подергивая плечом, вышел из комнаты.

Я знал, что Володе очень хотелось ехать в театр, куда его звал Дубков; что он отказывался потому только, что у него не было денег, и что он вышел за тем, чтобы у дворецкого достать взаймы пять рублей до будущего жалованья.

— Здравствуйте, *дипломат!* — сказал Дубков, подавая мне руку.

Приятели Володи называли меня *дипломатом*, потому что раз, после обеда у покойницы бабушки, она как-то при них, разговорившись о нашей будущности, сказала, что Володя будет военный, а что меня она надеется видеть *дипломатом*, в черном фраке и с прической à la coq, составлявшей, по ее мнению, необходимое условие дипломатического звания.

— Куда это ушел Володя? — спросил меня Нехлюдов.

— Не знаю, — отвечал я, краснея при мысли, что они верно догадываются, зачем вышел Володя.

— Верно у него денег нет! правда? О! *дипломат!* — прибавил он утвердительно, объясняя мою улыбку. — У меня тоже нет денег, а у тебя есть, Дубков?

— Посмотрим, — сказал Дубков, доставая кошелек и ощупывая в нем весьма тщательно несколько мелких монет своими коротенькими пальцами. — Вот пятачок, вот двугривенничик, а то ффффю! — сказал он, делая комический жест рукою.

В это время Володя вошел в комнату.

— Ну что, едем?

— Нет.

— Как ты смешон! — сказал Нехлюдов: — отчего ты не скажешь, что у тебя нет денег. Возьми мой билет, коли хочешь.

— А ты как же?

— Он поедет к кузинам в ложу, — сказал Дубков.

— Нет, я совсем не поеду

— Отчего?

— Оттого, что, ты знаешь, я не люблю сидеть в ложе.

— Отчего?

— Не люблю, мне неловко.

— Опять старое! не понимаю, отчего тебе может быть неловко там, где все тебе очень рады. Это смешно, mon cher.[1]

— Что ж делать, si je suis timide![2] Я уверен, ты в жизни своей никогда не краснел, а я всякую минуту от малейших пустяков! — сказал он, краснея в это же время.

— Savez vous, d'où vient votre timidité?.. d'un excès d'amour propre, mon cher,[3] — сказал Дубков покровительственным тоном.

— Какой тут excès d'amour propre! — отвечал Нехлюдов, задетый за живое. — Напротив, я стыдлив оттого, что у меня слишком мало amour propre; мне всё кажется, напротив, что со мной неприятно, скучно.... от этого....

— Одевайся же, Володя! — сказал Дубков, схватывая его за плечи и снимая с него сюртук. — Игнат, одеваться барину!

— От этого со мной часто бывает.... — продолжал Нехлюдов.

Но Дубков уже не слушал его. «Трала-ла та-ра-ра-ла-ла», запел он какой-то мотив.

— Ты не отделался, — сказал Нехлюдов: — я тебе докажу, что стыдливость происходит совсем не от самолюбия

— Докажешь, ежели поедешь с нами.

— Я сказал, что не поеду.

— Ну, так оставайся тут и доказывай *дипломату*; а мы приедем, он нам расскажет.

— И докажу, — возразил Нехлюдов с детским своенравием: — только приезжайте скорей.

— Как вы думаете: я самолюбив? — сказал он, подсаживаясь ко мне.

Несмотря на то, что у меня на этот счет было составленное мнение, я так оробел от этого неожиданного обращения, что нескоро мог ответить ему.

— Я думаю, что да, — сказал я, чувствуя, как голос мой дрожит, и краска покрывает лицо при мысли, что пришло время доказать ему, что *я умный*: — я думаю, что всякий человек самолюбив, и всё то, что ни делает человек—всё из самолюбия.

— Так что же, по вашему, самолюбие? — сказал Нехлюдов, улыбаясь несколько презрительно, как мне показалось.

---

[1] [дорогой мой.]

[2] [если я застенчив!]

[3] [Знаете вы, отчего происходит ваша застенчивость?.. от избытка самолюбия, мой дорогой.]

— Самолюбие, — сказал я: — есть убеждение в том, что я лучше и умнее всех людей.

— Да как же могут быть все в этом убеждены?

— Уж я не знаю, справедливо ли или нет, только никто кроме меня не признается; я убежден, что я умнее всех на свете и уверен, что вы тоже уверены в этом.

— Нет, я про себя первого скажу, что я встречал людей, которых признавал умнее себя, — сказал Нехлюдов.

— Не может быть, — отвечал я с убеждением.

— Неужели вы в самом деле так думаете? — сказал Нехлюдов, пристально вглядываясь в меня.

— Серьезно, — отвечал я.

И тут мне вдруг пришла мысль, которую я тотчас же высказал.

— Я вам это докажу. Отчего мы самих себя любим больше других?... Оттого, что мы считаем себя лучше других, более достойными любви. Ежели бы мы находили других лучше себя, то мы бы и любили их больше себя, а этого никогда не бывает. Ежели и бывает, то всё-таки я прав, — прибавил я с невольной улыбкой самодовольствия.

Нехлюдов помолчал с минуту.

— Вот я никак не думал, чтобы вы были так умны! — сказал он мне с такой добродушной, милой улыбкой, что вдруг мне показалось, что я чрезвычайно счастлив.

Похвала так могущественно действует не только на чувство, но и на ум человека, что под ее приятным влиянием мне показалось, что я стал гораздо умнее, и мысли одна за другой с необыкновенной быстротой набирались мне в голову. С самолюбия мы незаметно перешли к любви, и на эту тему разговор казался неистощимым. Несмотря на то, что наши рассуждения для постороннего слушателя могли показаться совершенной бессмыслицею — так они были неясны и односторонни — для нас они имели высокое значение. Души наши так хорошо были настроены на один лад, что малейшее прикосновение к какой-нибудь струне одного находило отголосок в другом. Мы находили удовольствие именно в этом соответственном звучании различных струн, которые мы затрогивали в разговоре. Нам казалось, что недостает слов и времени, чтобы выразить друг другу все те мысли, которые просились наружу.

ГЛАВА XXVII.

НАЧАЛО ДРУЖБЫ.

С той поры, между мной и Дмитрием Нехлюдовым установились довольно странные, но чрезвычайно приятные отношения. При посторонних он не обращал на меня почти никакого внимания; но как только случалось нам быть одним, мы усаживались в уютный уголок и начинали рассуждать, забывая всё и не замечая, как летит время.

Мы толковали и о будущей жизни, и об искусствах, и о службе, и о женитьбе, и о воспитании детей, и никогда нам в голову не приходило, что всё то, что мы говорили, был ужаснейший вздор. Это не приходило нам в голову потому, что вздор, который мы говорили, был умный и милый вздор; а в молодости еще ценишь ум, веришь в него. В молодости все силы души направлены на будущее, и будущее это принимает такие разнообразные, живые и обворожительные формы под влиянием надежды, основанной не на опытности прошедшего, а на воображаемой возможности счастия, что одни понятые и разделенные мечты о будущем счастии составляют уже истинное счастие этого возраста. В метафизических рассуждениях, которые бывали одним из главных предметов наших разговоров, я любил ту минуту, когда мысли быстрее и быстрее следуют одна за другой и, становясь всё более и более отвлеченными, доходят, наконец, до такой степени туманности, что не видишь возможности выразить их и, полагая сказать то, что думаешь, говоришь совсем другое. Я любил эту минуту, когда, возносясь всё выше и выше в области мысли, вдруг постигаешь всю необъятность ее и сознаешь невозможность итти далее.

Как-то раз, во время масленицы, Нехлюдов был так занят разными удовольствиями, что хотя несколько раз на день заезжал к нам, но ни разу не поговорил со мной, и меня это так оскорбило, что снова он мне показался гордым и неприятным человеком. Я ждал только случая, чтобы показать ему, что нисколько не дорожу его обществом и не имею к нему никакой особенной привязанности.

В первый раз, как он после масленицы снова хотел разговориться со мной, я сказал, что мне нужно готовить уроки, и ушел наверх; но через четверть часа кто-то отворил дверь в классную, и Нехлюдов подошел ко мне.

— Я вам мешаю? — сказал он

— Нет,— отвечал я, несмотря на то, что хотел сказать, что у меня действительно есть дело.

— Так отчего же вы ушли от Володи? Ведь мы давно с вами не рассуждали. А уж я так привык, что мне как будто чего-то недостает.

Досада моя прошла в одну минуту, и Дмитрий снова стал в моих глазах тем же добрым и милым человеком.

— Вы, верно, знаете, отчего я ушел? — сказал я.

— Может быть, — отвечал он, усаживаясь подле меня: — но ежели я и догадываюсь, то не могу сказать, отчего, а вы так можете, — сказал он.

— Я и скажу: я ушел потому, что был сердит на вас... не сердит, а мне досадно было. Просто: я всегда боюсь, что вы презираете меня за то, что я еще очень молод.

— Знаете, отчего мы так сошлись с вами, — сказал он, добродушным и умным взглядом отвечая на мое признание: — отчего я вас люблю больше, чем людей, с которыми больше знаком, и с которыми у меня больше общего? Я сейчас решил это. У вас есть удивительное, редкое качество — откровенность.

— Да, я всегда говорю именно те вещи, в которых мне стыдно признаться, — подтвердил я: — но только тем, в ком я уверен.

— Да, но чтобы быть уверенным в человеке, надо быть с ним совершенно дружным, а мы с вами не дружны еще, Nicolas; помните, мы говорили о дружбе: чтобы быть истинными друзьями, нужно быть уверенным друг в друге.

— Быть уверенным в том, что ту вещь, которую я скажу вам, уже вы никому не скажете, — сказал я. — А ведь самые важные, интересные мысли именно те, которые мы ни за что не скажем друг другу.

— И какие гадкие мысли! такие подлые мысли, что ежели бы мы знали, что должны признаваться в них, они никогда не смели бы заходить к нам в голову.

— Знаете, какая пришла мне мысль, Nicolas, — прибавил он, вставая со стула и с улыбкой потирая руки. — *Сделаемте* это, и вы увидите, как это будет полезно для нас обоих: дадим себе слово признаваться во всем друг другу. Мы будем знать друг друга, и нам не будет совестно; а для того, чтобы не бояться посторонних, дадим себе слово *никогда ни с кем и ничего* не говорить друг о друге. Сделаем это.

— Давайте, — сказал я.

И мы действительно *сделали это*. Что вышло из этого, я расскажу после.

Карр сказал, что во всякой привязанности есть две стороны: одна любит, другая позволяет любить себя, одна целует, другая подставляет щеку. Это совершенно справедливо; и в нашей дружбе я целовал, а Дмитрий подставлял щеку; но и он готов был целовать меня. Мы любили ровно, потому что взаимно знали и ценили друг друга; но это не мешало ему оказывать влияние на меня, а мне подчиняться ему.

Само собою разумеется, что под влиянием Нехлюдова я невольно усвоил и его направление, сущность которого составляло восторженное обожание идеала добродетели и убеждение в назначении человека постоянно совершенствоваться. Тогда исправить всё человечество, уничтожить все пороки и несчастия людские казалось удобоисполнимою вещью, — очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить все добродетели и быть счастливым...

А впрочем, Бог один знает, точно ли смешны были эти благородные мечты юности, и кто виноват в том, что они не осуществились?...

ЮНОСТЬ

(1855 - 1856)

ГЛАВА I.

ЧТО Я СЧИТАЮ НАЧАЛОМ ЮНОСТИ.

Я сказал, что дружба моя с Дмитрием открыла мне новый взгляд на жизнь, ее цель и отношения. Сущность этого взгляда состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному усовершенствованию, и что усовершенствование это легко, возможно и вечно. Но до сих пор я наслаждался только открытием новых мыслей, вытекающих из этого убеждения, и составлением блестящих планов нравственной, деятельной будущности; но жизнь моя шла всё тем же мелочным, запутанным и праздным порядком.

Те добродетельные мысли, которые мы в беседах перебирали с обожаемым другом моим Дмитрием, *чудесным Митей*, как я сам с собою шопотом иногда называл его, еще нравились только моему уму, а не чувству. Но пришло время, когда эти мысли с такой свежей силой морального открытия пришли мне в голову, что я испугался, подумав о том, сколько времени я потерял даром, и тотчас же, ту же секунду захотел прилагать эти мысли к жизни, с твердым намерением никогда уже не изменять им.

И с этого времени я считаю начало *юности*.

Мне был в то время шестнадцатый год в исходе. Учителя продолжали ходить ко мне, St.-Jérôme присматривал за моим учением, и я поневоле и неохотно готовился к университету. Вне учения занятия мои состояли: в уединенных, бессвязных мечтах и размышлениях, в деланиях гимнастики, с тем, чтобы сделаться первым силачем в мире, в шлянии без всякой определенной цели и мысли по всем комнатам и особенно коридору девичьей и в разглядывании себя в зеркало, от которого, впрочем, я всегда отходил с тяжелым чувством уныния и даже

отвращения. Наружность моя, я убеждался, не только была некрасива, но я не мог даже утешать себя обыкновенными утешениями в подобных случаях. Я не мог сказать, что у меня выразительное, умное или благородное лицо. Выразительного ничего не было, — самые обыкновенные, грубые и дурные черты; глаза маленькие, серые, особенно в то время, когда я смотрелся в зеркало, были скорее глупые, чем умные. Мужественного было еще меньше: несмотря на то, что я был не мал ростом и очень силен по летам, все черты лица были мягкие, вялые, неопределенные. Даже и благородного ничего не было; напротив, лицо мое было такое, как у простого мужика, и такие же большие ноги и руки; а это в то время мне казалось очень стыдно

ГЛАВА II.

ВЕСНА.

В тот год, как я вступил в университет, Святая была как-то поздно в апреле, так что экзамены были назначены на Фоминой, а на Страстной я должен был и говеть и уже окончательно приготавливаться.

Погода после мокрого снега, который бывало Карл Иваныч называл *«сын за отцом пришел»*, уже дня три стояла тихая, теплая и ясная. На улицах не видно было клочка снега, грязное тесто заменилось мокрой, блестящей мостовой и быстрыми ручьями. С крыш уже на солнце стаивали последние капели, в палисаднике на деревьях надувались почки, на дворе была сухая дорожка, к конюшне мимо замерзлой кучи навоза и около крыльца между камнями зеленелась мшистая травка. Был тот особенный период весны, который сильнее всего действует на душу человека: яркое, на всем блестящее, но не жаркое солнце, ручьи и проталинки, пахучая свежесть в воздухе и нежно-голубое небо с длинными, прозрачными тучками. Не знаю почему, но мне кажется, что в большом городе еще ощутительнее и сильнее на душу влияние этого первого периода рождения весны, — меньше видишь, но больше предчувствуешь. Я стоял около окна, в которое утреннее солнце сквозь двойные рамы бросало пыльные лучи на пол моей невыносимо надоевшей мне классной комнаты, и решал на черной доске какое-то длинное алгебраическое уравнение. В одной руке я держал

изорванную мягкую «Алгебру» Франкера, в другой — маленький кусок мела, которым испачкал уже обе руки, лицо и локти полуфрачка. Николай в фартуке, с засученными рукавами, отбивал клещами замазку и отгибал гвозди окна, которое отворялось в палисадник. Его занятие и стук, который он производил, развлекали мое внимание. Притом я был в весьма дурном, недовольном расположении духа. Всё как-то мне не удавалось: я сделал ошибку в начале вычисления, так что надо было всё начинать сначала, мел я два раза уронил, чувствовал, что лицо и руки мои испачканы, губка где-то пропала, стук, который производил Николай, как-то больно потрясал мои нервы. Мне хотелось рассердиться и поворчать, я бросил мел, Алгебру и стал ходить по комнате. Но мне вспомнилось, что нынче Страстная середа, нынче мы должны исповедываться, и что надо удерживаться от всего дурного; и вдруг я пришел в какое-то особенное, кроткое состояние духа и подошел к Николаю.

— Позволь, я тебе помогу, Николай, — сказал я, стараясь дать своему голосу самое кроткое выражение; и мысль, что я поступаю хорошо, подавив свою досаду и помогая ему, еще более усилила во мне это кроткое настроение духа.

Замазка была отбита, гвозди отогнуты; но несмотря на то, что Николай из всех сил дергал за перекладины, рама не подавалась.

«Если рама выйдет теперь сразу, когда я потяну с ним, — подумал я, — значит грех, и не надо нынче больше заниматься». Рама подалась на бок и вышла.

— Куда отнести ее? — сказал я.

— Позвольте, я сам управлюсь, — отвечал Николай, видимо удивленный и, кажется, недовольный моим усердием: — надо не спутать, а то там, в чулане, они у меня по номерам.

— Я замечу ее, — сказал я, поднимая раму.

Мне кажется, что если бы чулан был версты за две, и рама весила бы вдвое больше, я был бы очень доволен. Мне хотелось измучаться, оказывая эту услугу Николаю. Когда я вернулся в комнату, кирпичики и соляные пирамидки были уже переложены на подоконник, и Николай крылышком сметал песок и сонных мух в растворенное окно. Свежий пахучий воздух уже проник в комнату и наполнял ее. Из окна слышался городской шум и чиликанье воробьев в палисаднике.

Все предметы были освещены ярко, комната повеселела, легкий весенний ветерок шевелил листы моей Алгебры и волоса на голове Николая. Я подошел к окну, сел на него, перегнулся в палисадник и задумался.

Какое-то новое для меня, чрезвычайно сильное и приятное чувство вдруг проникло мне в душу. Мокрая земля, по которой кое-где выбивали ярко-зеленые иглы травы, с желтыми стебельками, блестящие на солнце ручьи, по которым вились кусочки земли и щепки, закрасневшиеся прутья сирени с вспухлыми почками, качавшимися под самым окошком, хлопотливое чиликанье птичек, копошившихся в этом кусте, мокрый от таявшего на нем снега черноватый забор, а главное — этот пахучий сырой воздух и радостное солнце — говорили мне внятно, ясно о чем-то новом и прекрасном, которое, хотя я не могу передать так, как оно сказывалось мне, я постараюсь передать так, как я воспринимал его, — всё мне говорило про красоту, счастье и добродетель, говорило, что как то, так и другое легко и возможно для меня, что одно не может быть без другого, и даже что красота, счастье и добродетель — одно и то же. «Как мог я не понимать этого, как дурен я был прежде, как я мог бы и могу быть хорош и счастлив в будущем!» говорил я сам себе: — «надо скорей, скорей, сию же минуту сделаться другим человеком и начать жить иначе». Несмотря на это, я однако долго еще сидел на окне, мечтая и ничего не делая. Случалось ли вам летом лечь спать днем в пасмурную дождливую погоду и, проснувшись на закате солнца, открыть глаза и в расширяющемся четыреугольнике окна, из-под полотняной сторы, которая, надувшись, бьется прутом об подоконник, увидать мокрую от дождя, тенистую лиловатую сторону липовой аллеи и сырую садовую дорожку, освещенную яркими косыми лучами, услыхать вдруг веселую жизнь птиц в саду и увидать насекомых, которые вьются в отверстии окна, просвечивая на солнце, почувствовать запах последождевого воздуха и подумать: «как мне не стыдно было проспать такой вечер», и торопливо вскочить, чтобы итти в сад порадоваться жизнью? Если случалось, то вот образчик того сильного чувства, которое я испытывал в это время.

ГЛАВА III.

МЕЧТЫ.

«Нынче я исповедаюсь, очищаюсь от всех грехов», думал я: «и больше уж никогда не буду.... (тут я припомнил все грехи, которые больше всего мучили меня). Буду каждое воскресенье ходить непременно в церковь, и еще после целый час читать евангелие, потом из *беленькой*, которую я буду получать каждый месяц, когда поступлю в университет, непременно два с полтиной (одну десятую) я буду отдавать бедным, и так, чтобы никто не знал: и не нищим, а стану отыскивать таких бедных, сироту или старушку, про которых никто не знает.

«У меня будет особенная комната (верно St.-Jérôme'ова), и я буду сам убирать ее и держать в удивительной чистоте; человека же ничего для себя не буду заставлять делать. Ведь он такой же, как и я. Потом буду ходить каждый день в университет пешком (а ежели мне дадут дрожки, то продам их и деньги эти отложу тоже на бедных) и в точности буду исполнять всё (что было это «всё», я никак бы не мог сказать тогда, но я живо понимал и чувствовал это «всё» разумной, нравственной, безупречной жизни). Буду составлять лекции и даже вперед проходить предметы, так что на первом курсе буду первым и напишу диссертацию; на втором курсе уже вперед буду знать всё, и меня могут перевести прямо в третий курс, так что я восемнадцати лет кончу курс первым кандидатом с двумя золотыми медалями, потом выдержу на магистра, на доктора и сделаюсь первым ученым в России... даже в Европе я могу быть первым ученым». Ну, а потом? — спрашивал я сам себя, — но тут я припомнил, что эти мечты — гордость, грех, про который нынче же вечером надо будет сказать духовнику, и возвратился к началу рассуждений. «Для приготовления к лекциям я буду ходить пешком на Воробьевы горы; выберу себе там местечко под деревом и буду читать лекции; иногда возьму с собой что-нибудь закусить: сыру или пирожок от Педотти, или что-нибудь. Отдохну и потом стану читать какую-нибудь хорошую книгу, или буду рисовать виды, или играть на каком-нибудь инструменте (непременно выучусь

играть на флейте). Потом *она* тоже будет ходить гулять на Воробьевы горы и когда-нибудь подойдет ко мне и спросит: кто я такой? Я посмотрю на нее этак печально и скажу, что я сын священника одного и что я счастлив только здесь, когда один, совершенно один одинешенек. Она подаст мне руку, скажет что-нибудь и сядет подле меня. Так каждый день мы будем приходить сюда, будем друзьями, и я буду целовать ее... Нет, это нехорошо. Напротив, с нынешнего дня я уж больше не буду смотреть на женщин. Никогда, никогда не буду ходить в девичью, даже буду стараться не проходить мимо; а через три года выйду из-под опеки и женюсь непременно. — Буду делать нарочно движенья как можно больше, гимнастику каждый день, так что, когда мне будет двадцать пять лет, я буду сильней Раппо. Первый день буду держать по полпуда «вытянутой рукой» пять минут, на другой день двадцать один фунт, на третий день двадцать два фунта и так далее, так что наконец по четыре пуда в каждой руке, и так, что буду сильнее всех в дворне; и когда вдруг кто-нибудь вздумает оскорбить меня или станет отзываться непочтительно об *ней*, я возьму его так, просто, за грудь, подниму аршина на два от земли одной рукой и только подержу, чтоб чувствовал мою силу, и оставлю; но, впрочем, и это нехорошо; — нет, ничего, ведь я ему зла не сделаю, а только докажу, что я...»

Да не упрекнут меня в том, что мечты моей юности так же ребячески, как мечты детства и отрочества. Я убежден в том, что, ежели мне суждено прожить до глубокой старости, и рассказ мой догонит мой возраст, я стариком семидесяти лет буду точно так же невозможно ребячески мечтать, как и теперь. Буду мечтать о какой-нибудь прелестной Марии, которая полюбит меня, беззубого старика, как она полюбила Мазепу, о том, как мой слабоумный сын вдруг сделается министром по какому-нибудь необыкновенному случаю, или о том, как вдруг у меня будет пропасть миллионов денег. Я убежден, что нет человеческого существа и возраста, лишенного этой благодетельной, утешительной способности мечтания. Но, исключая общей черты невозможности — волшебности мечтаний, мечтания каждого человека и каждого возраста имеют свой отличительный характер. В тот период времени, который я считаю пределом отрочества и началом юности, основой моих мечтаний были четыре чувства: любовь к *ней*, к воображаемой

женщине, о которой я мечтал всегда в одном и том же смысле и которую всякую минуту ожидал где-нибудь встретить. Эта *она* была немножко Сонечка, немножко Маша, жена Василья, в то время, как она моет белье в корыте, и немножко женщина с жемчугами на белой шее, которую я видел очень давно в театре, в ложе подле нас. Второе чувство было любовь любви. Мне хотелось, чтобы все меня знали и любили. Мне хотелось сказать свое имя: Николай Иртеньев, и чтобы все были поражены этим известием, обступили меня и благодарили бы за что-нибудь. Третье чувство было — надежда на необыкновенное, тщеславное счастье, — такая сильная и твердая, что она переходила в сумасшествие. Я так был уверен, что очень скоро, вследствие какого-нибудь необыкновенного случая, вдруг сделаюсь самым богатым и самым знатным человеком в мире, что беспрестанно находился в тревожном ожидании чего-то волшебно-счастливого. Я всё ждал, что вот *начнется*, и я достигну всего, чего может желать человек, и всегда повсюду торопился, полагая, что уже *начинается* там, где меня нет. Четвертое и главное чувство было отвращение к самому себе и раскаяние, но раскаяние до такой степени слитое с надеждой на счастие, что оно не имело в себе ничего печального. Мне казалось так легко и естественно оторваться от всего прошедшего, переделать, забыть всё, что было, и начать свою жизнь со всеми ее отношениями совершенно снова, что прошедшее не тяготило, не связывало меня. Я даже наслаждался в отвращении к прошедшему и старался видеть его мрачнее, чем оно было. Чем чернее был круг воспоминаний прошедшего, тем чище и светлее выдавалась из него светлая, чистая точка настоящего, и развивались радужные цвета будущего. Этот-то голос раскаяния и страстного желания совершенства и был главным новым душевным ощущением в ту эпоху моего развития, и он-то положил новые начала моему взгляду на себя, на людей и на мир Божий. Благой, отрадный голос, столько раз с тех пор, в те грустные времена, когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и разврата, вдруг смело восстававший против всякой неправды, злостно обличавший прошедшее, указывавший, заставляя любить ее, ясную точку настоящего и обещавший добро и счастие в будущем, — благой, отрадный голос! Неужели ты перестанешь звучать когда-нибудь?

ГЛАВА IV.

НАШ СЕМЕЙНЫЙ КРУЖОК.

Папа эту весну редко бывал дома. Но зато, когда это случалось, он бывал чрезвычайно весел, бренчал на фортепьянах свои любимые штучки, делал сладенькие глазки и выдумывал про всех нас и Мими шуточки, в роде того, что грузинский царевич видел Мими на катаньи и так влюбился, что подал прошение в Синод об разводной, что меня назначают помощником к венскому посланнику, — и с серьезным лицом сообщал нам эти новости; пугал Катеньку пауками, которых она боялась; был очень ласков с нашими приятелями Дубковым и Нехлюдовым, и беспрестанно рассказывал нам и гостям свои планы на будущий год. Несмотря на то, что планы эти почти каждый день изменялись и противоречили один другому, они были так увлекательны, что мы их заслушивались, и Любочка, не смигивая, смотрела прямо на рот папа, чтобы не проронить ни одного слова. То план состоял в том, чтобы нас оставить в Москве в университете, а самому с Любочкой ехать на два года в Италию, то в том, чтоб купить именье в Крыму, на южном берегу, и ездить туда каждое лето, то в том, чтобы переехать в Петербург со всем семейством, и т. п. Но, кроме особенного веселья, в папа последнее время произошла еще перемена, очень удивлявшая меня. Он сшил себе модное платье — оливковый фрак, модные панталоны со штрипками и длинную бекешу, которая очень шла к нему, и часто от него прекрасно пахло духами, когда он ездил в гости, и особенно к одной даме, про которую Мими не говорила иначе, как со вздохом и с таким лицом, на котором так и читаешь слова: «бедные сироты! Несчастная страсть! Хорошо, что *ее* уж нет» и т. п. Я узнал от Николая, потому что папа ничего не рассказывал нам про свои игорные дела, что он играл особенно счастливо эту зиму; выиграл что-то ужасно много, положил деньги в ломбард и весной не хотел больше играть. Верно от этого, боясь не удержаться, ему так хотелось поскорее уехать в деревню. Он даже решил, не дожидаясь моего вступления в университет, тотчас после Пасхи ехать с девочками в Петровское, куда мы с Володей должны были приехать после.

Володя всю эту зиму и до самой весны был неразлучен с Дубковым (с Дмитрием же они начинали холодно расходиться).

Главные их удовольствия, сколько я мог заключить по разговорам, которые слышал, постоянно заключались в том, что они беспрестанно пили шампанское, ездили в санях под окна барышни, в которую, как кажется, влюблены были вместе, и танцовали визави уже не на детских, а на настоящих балах. Это последнее обстоятельство, несмотря на то, что мы с Володей любили друг друга, очень много разъединило нас. Мы чувствовали слишком большую разницу — между мальчиком, к которому ходят учителя, и человеком, который танцует на больших балах, — чтобы решиться сообщать друг другу свои мысли. Катенька была уже совсем большая, читала очень много романов, и мысль, что она скоро может выйти замуж, уже не казалась мне шуткой; но, несмотря на то, что и Володя был большой, они не сходились с ним и даже, кажется, взаимно презирали друг друга. Вообще, когда Катенька бывала одна дома, ничто, кроме романов, ее не занимало, и она большей частью скучала; когда же бывали посторонние мужчины, то она становилась очень жива и любезна и делала глазами то, что уже я понять никак не мог, что̀ она этим хотела выразить. Потом только, услыхав в разговоре от нее, что одно позволительное для девицы кокетство, это — кокетство глаз, я мог объяснить себе эти странные неестественные гримасы глазами, которые других, кажется, вовсе не удивляли. Любочка тоже уже начинала носить почти длинное платье, так что ее гусиные ноги были почти не видны, но она была такая же плакса, как и прежде. Теперь она мечтала уже выйти замуж не за гусара, а за певца или музыканта и с этой целью усердно занималась музыкой. St.-Jérôme, который, зная, что остается у нас в доме только до окончания моих экзаменов, приискал себе место у какого-то графа, с тех пор как-то презрительно смотрел на наших домашних. Он редко бывал дома, стал курить папиросы, которые были тогда большим щегольством, и беспрестанно свистал через карточку какие-то веселенькие мотивы. Мими становилась с каждым днем всё огорченнее и огорченнее и, казалось, с тех пор, как мы все начинали вырастать большими, ни от кого и ни от чего не ожидала ничего хорошего.

Когда я пришел обедать, я застал в столовой только Мими, Катеньку, Любочку и St.-Jérôme'а; папа не был дома, а Володя готовился к экзамену с товарищами в своей комнате и потребовал обед к себе. Вообще это последнее время большей

частью первое место за столом занимала Мими, которую мы никто не уважали, и обед много потерял своей прелести. Обед уже не был, как при maman или бабушке, каким-то обрядом, соединяющим в известный час всё семейство и разделяющим день на две половины. Мы позволяли себе опаздывать, приходить ко второму блюду, пить вино в стаканах (чему подавал пример сам St.-Jérôme), разваливаться на стуле, вставать не дообедав и тому подобные вольности. С тех пор обед перестал быть, как прежде, ежедневным семейным радостным торжеством. То ли дело бывало в Петровском, когда в два часа все, умытые, одетые к обеду, сидят в гостиной и, весело разговаривая, ждут условленного часа. Именно в то самое время, как хрипят часы в официантской, чтоб бить два, с салфеткой на руке, с достойным и несколько строгим лицом, тихими шагами входит Фока. «Кушанье готово!» провозглашает он громким, протяжным голосом, и все с веселыми, довольными лицами, старшие впереди, младшие сзади, шумя крахмаленными юбками и поскрипывая сапогами и башмаками, идут в столовую и, негромко переговариваясь, рассаживаются на известные места. Или, то ли дело бывало в Москве, когда все, тихо переговариваясь, стоят перед накрытым столом в зале, дожидаясь бабушки, которой Гаврило уже прошел доложить, что кушанье поставлено, — вдруг отворяется дверь, слышен шорох платья, шарканье ног, и бабушка в чепце, с каким-нибудь необыкновенным лиловым бантом, бочком, улыбаясь или мрачно косясь (смотря по состоянию здоровья), выплывает из своей комнаты. Гаврило бросается к ее креслу, стулья шумят, и, чувствуя, как по спине пробегает какой-то холод — предвестник аппетита, берешься за сыроватую крахмаленную салфетку, съедаешь корочку хлеба и с нетерпеливой и радостной жадностью, потирая под столом руки, поглядываешь на дымящие тарелки супа, которые по чинам, годам и вниманию бабушки разливает дворецкий.

Теперь я уже не испытывал никакой ни радости, ни волнения, приходя к обеду.

Болтовня Мими, St.-Jérôme'а и девочек о том, какие ужасные сапоги носит русский учитель, как у княжен Корнаковых платья с воланами и т. д., — болтовня их, прежде внушавшая мне искренное презрение, которое я, особенно в отношении Любочки и Катеньки не старался скрывать, не вывела меня из

моего нового добродетельного расположения духа. Я был необыкновенно кроток; улыбаясь, слушал их особенно ласково, почтительно просил передать мне квасу и согласился с St.-Jérôme'ом, поправившим меня в фразе, которую я сказал за обедом, говоря, что красивее говорить je puis[1], чем je peux.[1] Должен однако сознаться, что мне было несколько неприятно то, что никто не обратил особенного внимания на мою кротость и добродетель. Любочка показала мне после обеда бумажку, на которой она записала все свои грехи; я нашел, что это очень хорошо, но что еще лучше в душе своей записать все свои грехи, и что «всё это не то».

— Отчего же не то? — спросила Любочка.

— Ну, да и это хорошо; ты меня не поймешь. — И я пошел к себе наверх, сказав St.-Jérôme'у, что иду заниматься, но собственно с тем, чтобы до исповеди, до которой оставалось часа полтора, написать себе на всю жизнь расписание своих обязанностей и занятий, изложить на бумаге цель своей жизни и правила, по которым всегда уже, не отступая, действовать.

ГЛАВА V.

ПРАВИЛА

Я достал лист бумаги и прежде всего хотел приняться за расписание обязанностей и занятий на следующий год. Надо было разлиневать бумагу. Но так как линейки у меня не нашлось, я употребил для этого латинский лексикон. Кроме того, что, проведя пером вдоль лексикона и потом отодвинув его, оказалось, что вместо черты я сделал по бумаге продолговатую лужу чернил, — лексикон не хватал на всю бумагу, и черта загнулась по его мягкому углу. Я взял другую бумагу и, передвигая лексикон, разлиневал кое-как. Разделив свои обязанности на три рода: на обязанности к самому себе, к ближним и к Богу, я начал писать первые, но их оказалось так много и столько родов и подразделений, что надо было прежде написать «Правила Жизни», а потом уже приняться за расписание. Я взял шесть листов бумаги, сшил тетрадь и написал сверху: «Правила Жизни». Эти два слова были написаны так криво и неровно, что я долго думал: не переписать ли? и долго мучался, глядя на разорванное расписание и это уродливое заглавие,

[1] [я могу.]

Зачем всё так прекрасно, ясно у меня в душе, и так безобразно выходит на бумаге и вообще в жизни, когда я хочу применять к ней что-нибудь из того, что думаю?...

— Духовник приехали, пожалуйте вниз правила слушать,— пришел доложить Николай.

Я спрятал тетрадь в стол, посмотрел в зеркало, причесал волосы кверху, что, по моему убеждению, давало мне задумчивый вид, и сошел в диванную, где уже стоял накрытый стол с образом и горевшими восковыми свечами. Папа в одно время со мною вошел из другой двери. Духовник, седой монах, с строгим старческим лицом, благословил папа. Папа поцаловал его небольшую, широкую, сухую руку; я сделал то же.

— Позовите Вольдемара, — сказал папа. — Где он? Или нет, ведь он в университете говеет.

— Он занимается с князем, — сказала Катенька и посмотрела на Любочку. Любочка вдруг покраснела от чего-то, сморщилась, притворясь, что ей что-то больно, и вышла из комнаты. Я вышел вслед за нею. Она остановилась в гостиной и что-то снова записала карандашиком на свою бумажку.

— Что, еще новый грех сделала? — спросил я.

— Нет, ничего так, — отвечала она, краснея.

В это время в передней послышался голос Дмитрия, который прощался с Володей.

— Вот, тебе всё искушение, — сказала Катенька, входя в комнату и обращаясь к Любочке

Я не мог понять, что делалось с сестрой: она была сконфужена так, что слезы выступили у нее на глаза, и что смущение ее, дойдя до крайней степени, перешло в досаду на себя и на Катеньку, которая, видимо, дразнила ее.

— Вот видно, что ты *иностранка* (ничего не могло быть обиднее для Катеньки названия иностранки, с этой-то целью и употребила его Любочка), — перед этаким таинством, — продолжала она с важностью в голосе, — и ты меня нарочно расстраиваешь.... ты бы должна понимать.... это совсем не шутка....

— Знаешь, Николенька, что она написала?—сказала Катенька, разобиженная названием *иностранки;* — она написала....

— Не ожидала я, чтоб ты была такая злая, — сказала Любочка, совершенно разнюнившись, уходя от нас: — в такую минуту, и нарочно, целый век, всё вводит в грех. Я к тебе не пристаю с твоими чувствами и страданиями.

ГЛАВА VI.

ИСПОВЕДЬ.

С этими и подобными рассеянными размышлениями я вернулся в диванную, когда все собрались туда, и духовник, встав, приготовился читать молитву перед исповедью. Но как только, посреди общего молчания, раздался выразительный, строгий голос монаха, читавшего молитву, и особенно когда произнес к нам слова: *откройте все ваши прегрешения без стыда, утайки и оправдания, и душа ваша очистится перед Богом, а ежели утаите что-нибудь, большой грех будете иметь*, — ко мне возвратилось чувство благоговейного трепета, которое я испытывал утром при мысли о предстоящем таинстве. Я даже находил наслаждение в сознании этого состояния и старался удержать его, останавливая все мысли, которые мне приходили в голову, и усиливаясь чего-то бояться.

Первый прошел исповедоваться папа. Он очень долго пробыл в бабушкиной комнате, и во всё это время мы все в диванной молчали или шопотом переговаривались о том, кто пойдет прежде. Наконец, опять из двери послышался голос монаха, читавшего молитву, и шаги папа. Дверь скрипнула, и он вышел оттуда, по своей привычке покашливая, подергивая плечом и не глядя ни на кого из нас.

— Ну, теперь ты ступай, Люба, да смотри всё скажи. Ты ведь у меня большая грешница, — весело сказал папа, щипнув ее за щеку.

Любочка побледнела и покраснела, вынула и опять спрятала записочку из фартука и, опустив голову, как-то укоротив шею, как будто ожидая удара сверху, прошла в дверь. Она пробыла там недолго, но, выходя оттуда, у нее плечи подергивались от всхлипываний.

Наконец, после хорошенькой Катеньки, которая, улыбаясь, вышла из двери, настал и мой черед. Я с тем же тупым страхом и желанием умышленно всё больше и больше возбуждать в себе этот страх вошел в полуосвещенную комнату. Духовник стоял перед налоем и медленно обратил ко мне свое лицо.

Я пробыл не более пяти минут в бабушкиной комнате, но вышел оттуда счастливым и, по моему тогдашнему убеждению, совершенно чистым, нравственно переродившимся и новым человеком. Несмотря на то, что меня неприятно поражала вся

старая обстановка жизни, те же комнаты, те же мебели, та же моя фигура (мне бы хотелось, чтоб всё внешнее изменилось так же, как, мне казалось, я сам изменился внутренно), — несмотря на это, я пробыл в этом отрадном настроении духа до самого того времени, как лег в постель.

Я уже засыпал, перебирая воображением все грехи, от которых очистился, как вдруг вспомнил один стыдный грех, который утаил на исповеди. Слова молитвы перед исповедью вспомнились мне и не переставая звучали у меня в ушах. Всё мое спокойствие мгновенно исчезло. «А ежели утаите, большой грех будете иметь....» слышалось мне беспрестанно, и я видел себя таким страшным грешником, что не было для меня достойного наказания. Долго я ворочался с боку на бок, передумывая свое положение и с минуты на минуту ожидая божьего наказания и даже внезапной смерти, — мысль, приводившая меня в неописанный ужас. Но вдруг мне пришла счастливая мысль: чем свет итти или ехать в монастырь к духовнику и снова исповедаться — и я успокоился.

ГЛАВА VII.

ПОЕЗДКА В МОНАСТЫРЬ.

Я несколько раз просыпался ночью, боясь проспать утро, и в шестом часу уж был на ногах. В окнах едва брезжилось. Я надел свое платье и сапоги, которые, скомканные и нечищенные, лежали у постели, потому что Николай еще не успел убрать, и, не молясь Богу, не умываясь, вышел в первый раз в жизни один на улицу.

На противоположной стороне, из-за зеленой крыши большого дома, краснелась туманная, студеная заря. Довольно сильный утренний весенний мороз сковал грязь и ручьи, колол под ногами и щипал мне лицо и руки. В нашем переулке не было еще ни одного извозчика, на которых я рассчитывал, чтобы скорее съездить и вернуться. Только тянулись какие-то возы по Арбату, и два рабочие каменщика, разговаривая, прошли по тротуару. Пройдя шагов тысячу, стали попадаться люди и женщины, шедшие с корзинками на рынок; бочки, едущие за водой; на перекресток вышел пирожник; открылась одна калашная, и у Арбатских ворот попался извозчик, старичок, спавший, покачиваясь, на своих калиберных, облезлых, голу-

бовatеньких и заплатанных дрожках. Он спросонков, должно быть, запросил с меня всего двугривенный до монастыря и назад, но потом вдруг опомнился и, только-что я хотел садиться, захлестал свою лошаденку концами вожжей и совсем было уехал от меня. «Кормить лошадь надо! нельзя, барин», бормотал он.

Насилу я уговорил его остановиться, предложив ему два двугривенных. Он остановил лошадь, внимательно осмотрел меня и сказал: «садись, барин». Признаюсь, я боялся несколько, что он завезет меня в глухой переулок и ограбит. Ухватив его за воротник изорванного армячишка, причем его сморщенная шея над сильно сгорбленной спиной как-то жалобно обнажалась, я влез верхом на волнообразное голубенькое колыхающееся сиденье, и мы затряслись вниз по Воздвиженке. Дорогой я успел заметить, что спинка дрожек была обита кусочком зеленоватенькой материи, из которой был и армяк извозчика; это обстоятельство почему-то успокоило меня, и я уже не боялся, что извозчик завезет меня в глухой переулок и ограбит.

Солнце уже поднялось довольно высоко и ярко золотило куполы церквей, когда мы подъехали к монастырю. В тени еще держался мороз, но по всей дороге текли быстрые, мутные ручьи, и лошадь шлепала по оттаявшей грязи. Войдя в монастырскую ограду, у первого лица, которое я увидал, я спросил, как бы мне найти духовника.

— Вон его келья, — сказал мне проходивший монах, останавливаясь на минуту и указывая на маленький домик с крылечком.

— Покорно вас благодарю, — сказал я....

Но что обо мне могли думать монахи, которые, друг за другом выходя из церкви, все глядели на меня? Я был ни большой, ни ребенок; лицо мое было не умыто, волосы не причесаны, платье в пуху, сапоги не чищены и еще в грязи. К какому разряду людей относили меня мысленно монахи, глядевшие на меня? А они смотрели на меня внимательно. Однако я всё-таки шел по направлению, указанному мне молодым монахом.

Старичок в черной одежде, с густыми седыми бровями, встретился мне на узенькой дорожке, ведущей к кельям, и спросил: «что мне надо?»

Была минута, что я хотел сказать «ничего», бежать назад к извозчику и ехать домой, но, несмотря на надвинутые брови, лицо старика внушало доверие. Я сказал, что мне нужно видеть духовника, назвав его по имени.

— Пойдемте, *барчук*, я вас проведу, — сказал он, поворачиваясь назад и, повидимому, сразу угадав мое положение: — батюшка в утрени — он скоро пожалует.

Он отворил дверь и через чистенькие сени и переднюю, по чистому полотняному половику, провел меня в келью.

— Вот тут и подождите, — сказал он мне с добродушным, успокоительным выражением и вышел.

Комнатка, в которой я находился, была очень невелика и чрезвычайно опрятно убрана. Всю мебель составляли столик, покрытый клеенкой, стоявший между двумя маленькими створчатыми окнами, на которых стояли два горшка герания, стоечка с образами и лампадка, висевшая перед ними, одно кресло и два стула. В углу висели стенные часы с разрисованным цветочками циферблатом и подтянутыми на цепочках медными гирями; на перегородке, соединявшейся с потолком деревянными, выкрашенными известкой, палочками (за которой, верно, стояла кровать), висело на гвоздиках две рясы.

Окна выходили на какую-то белую стену, видневшуюся в двух аршинах от них. Между ими и стеной был маленький куст сирени. Никакой звук снаружи не доходил в комнату, так что в этой тишине равномерное, приятное постукивание маятника казалось сильным звуком. Как только я остался один в этом тихом уголке, вдруг все мои прежние мысли и воспоминания выскочили у меня из головы, как будто их никогда не было, и я весь погрузился в какую-то невыразимо приятную задумчивость. Эта нанковая пожелтевшая ряса с протертой подкладкой, эти истертые кожаные черные переплеты книг с медными застежками, эти мутно-зеленые цветы с тщательно политой землей и обмытыми листьями, а особенно этот однообразно прерывистый звук маятника — говорили мне внятно про какую-то новую, доселе бывшую мне неизвестной, жизнь, про жизнь уединения, молитвы, тихого, спокойного счастия....

«Проходят месяцы, проходят годы, — думал я, — он всё один, он всё спокоен, он всё чувствует, что совесть его чиста пред Богом, и молитва услышана Им». С полчаса я просидел

на стуле, стараясь не двигаться и не дышать громко, чтобы не нарушать гармонию звуков, говоривших мне так много. А маятник всё стучал так же — направо громче, налево тише.

ГЛАВА VIII.

ВТОРАЯ ИСПОВЕДЬ.

Шаги духовника вывели меня из этой задумчивости.

— Здравствуйте, — сказал он, поправляя рукой свои седые волосы. — Что вам угодно?

Я попросил его благословить меня и с особенным удовольствием поцаловал его желтоватую, небольшую руку.

Когда я объяснил ему свою просьбу, он ничего не сказал мне, подошел к иконам и начал исповедь.

Когда исповедь кончилась, и я, преодолев стыд, сказал всё, что было у меня на душе, он положил мне на голову руки и своим звучным, тихим голосом произнес: «да будет, сын мой, над тобою благословение Отца Небесного, да сохранит Он в тебе навсегда веру, кротость и смирение. Аминь».

Я был совершенно счастлив; слезы счастия подступали мне к горлу, я поцаловал складку его прадедамовой рясы и поднял голову. Лицо монаха было совершенно спокойно.

Я чувствовал, что наслаждаюсь чувством умиления, и, боясь чем-нибудь разогнать его, торопливо простился с духовником и, не глядя по сторонам, чтобы не рассеяться, вышел за ограду и снова сел на колыхающиеся полосатые дрожки. Но толчки экипажа, пестрота предметов, мелькавших перед глазами, скоро разогнали это чувство; и я уже думал о том, как теперь духовник, верно, думает, что такой прекрасной души молодого человека, как я, он никогда не встречал в жизни, да и не встретит, что даже и не бывает подобных. Я в этом был убежден; и это убеждение произвело во мне чувство веселья такого рода, которое требовало того, чтобы кому-нибудь сообщить его.

Мне ужасно хотелось поговорить с кем-нибудь; но так как никого под рукой не было, кроме извозчика, я обратился к нему.

— Что, долго я был? — спросил я.

— Ничего-таки, долго, а лошадь давно кормить пора; ведь я *ночной*, — отвечал старичок-извозчик, теперь, повидимому, с солнышком повеселевший сравнительно с прежним.

— А мне показалось, что я был всего одну минуту, — сказал я. — А знаешь, зачем я был в монастыре? — прибавил я, пересаживаясь в углублении, которое было на дрожках ближе к старичку-извозчику.

— Наше дело какое? Куда седок скажет, туда и везем, — отвечал он.

— Нет, всё-таки, как ты думаешь? — продолжал я допрашивать.

— Да, верно, хоронить кого, ездили место покупать, — сказал он.

— Нет, братец; а знаешь, зачем я ездил?

— Не могу знать, барин, — повторил он.

Голос извозчика показался мне таким добрым, что я решился в назидание его рассказать ему причины моей поездки и даже чувство, которое я испытывал.

— Хочешь, я тебе расскажу? Вот видишь ли....

И я рассказал ему всё и описал все свои прекрасные чувства. Я даже теперь краснею при этом воспоминании.

— Так-с, — сказал извозчик недоверчиво.

И долго после этого молчал и сидел недвижно, только изредка поправляя полу армяка, которая всё выбивалась из-под его полосатой ноги, прыгавшей в большом сапоге на подножке калибера. Я уже думал, что и он думает про меня то же, что духовник, то есть, что такого прекрасного молодого человека, как я, другого нет на свете; но он вдруг обратился ко мне.

— А что, барин, ваше дело господское.

— Что? — спросил я.

— Дело-то, дело господское, — повторил он, шамкая беззубыми губами.

«Нет, он меня не понял», подумал я, но уже больше не говорил с ним до самого дома.

Хотя не самое чувство умиления и набожности, но самодовольство в том, что я испытал его, удержалось во мне всю дорогу, несмотря на народ, который при ярком солнечном блеске пестрел везде на улицах; но как только я приехал домой, чувство это совершенно исчезло. У меня не было двух двугривенных, чтоб заплатить извозчику. Дворецкий Гаврило, которому я уже был должен, не давал мне больше взаймы. Извозчик, увидав, как я два раза пробежал по двору, чтоб доставать деньги, должно быть догадавшись, зачем я бегаю,

слез с дрожек и, несмотря на то, что казался мне таким добрым, громко начал говорить, с видимым желанием уколоть меня, о том, как бывают шаромыжники, которые не платят за езду.

Дома еще все спали, так что, кроме людей, мне не у кого было занять двух двугривенных. Наконец Василий под самое честное, честное слово, которому (я по лицу его видел) он не верил нисколько, но так, потому что любил меня и помнил услугу, которую я ему оказал, заплатил за меня извозчику. Так дымом разлетелось это чувство. Когда я стал одеваться в церковь, чтоб со всеми вместе итти причащаться, и оказалось, что мое платье не было перешито и его нельзя было надеть, я пропасть нагрешил. Надев другое платье, я пошел к причастию в каком-то странном положении торопливости мыслей и с совершенным недоверием к своим прекрасным наклонностям.

ГЛАВА IX.

КАК Я ГОТОВЛЮСЬ К ЭКЗАМЕНУ.

В четверг на Святой папа, сестра и Мими с Катенькой уехали в деревню, так что во всем большом бабушкином доме оставались только Володя, я и St.-Jérôme. То настроение духа, в котором я находился в день исповеди и поездки в монастырь, совершенно прошло и оставило по себе только смутное, хотя и приятное, воспоминание, которое всё более и более заглушалось новыми впечатлениями свободной жизни.

Тетрадь с заглавием *Правила жизни* тоже была спрятана с черновыми ученическими тетрадями. Несмотря на то, что мысль о возможности составить себе правила на все обстоятельства жизни и всегда руководиться ими нравилась мне, казалась чрезвычайно простою и вместе великою, и я намеревался всё-таки приложить ее к жизни, я опять как будто забыл, что это нужно было делать сейчас же, и всё откладывал до такого-то времени. Меня утешало однако то, что всякая мысль, которая приходила мне теперь в голову, подходила как раз под какое-нибудь из подразделений моих правил и обязанностей: или к правилам в отношении к ближним, или к себе, или к Богу. «Вот тогда я это отнесу туда и еще много, много мыслей, которые мне придут тогда, по этому предмету», говорил я сам себе. Часто теперь я спрашиваю себя: когда я был лучше и правее: тогда ли, когда верил во всемогущество ума человеческого,

или теперь, когда, потеряв силу развития, сомневаюсь в силе и значении ума человеческого? — и не могу себе дать положительного ответа.

Сознание свободы и то весеннее чувство ожидания чего-то, про которое я говорил уже, до такой степени взволновали меня, что я решительно не мог совладеть с самим собою и приготавливался к экзамену очень плохо. Бывало утром занимаешься в классной комнате и знаешь, что необходимо работать, потому что завтра экзамен из предмета, в котором целых два вопроса еще не прочитаны мной, но вдруг пахнет из окна каким-нибудь весенним духом, — покажется, будто что-то крайне нужно сейчас вспомнить, руки сами собою опускают книгу, ноги сами собой начинают двигаться и ходить взад и вперед, а в голове, как будто кто-нибудь пожал пружинку и пустил в ход машину, в голове так легко и естественно, и с такою быстротою начинают пробегать разные пестрые, веселые мечты, что только успеваешь замечать блеск их. И час, и два проходят незаметно. Или тоже сидишь за книгой и кое-как сосредоточишь всё внимание на то, что читаешь, вдруг по коридору услышишь женские шаги и шум платья, — и всё выскочило из головы, и нет возможности усидеть на месте, хотя очень хорошо знаешь, что, кроме Гаши, старой бабушкиной горничной, никто не мог пройти по коридору. «Ну, а ежели это вдруг *она*?— приходит в голову, — ну, а если теперь-то вот и начнется, а я пропущу?» — и выскакиваешь в коридор, видишь, что это точно Гаша; но уж долго потом не совладеешь с головой. Пружинка пожата, и опять пошла кутерьма страшная. Или вечером сидишь один с сальной свечой в своей комнате; вдруг на секунду, чтоб снять со свечи или поправиться на стуле, отрываешься от книги и видишь, что везде в дверях, по углам темно, и слышишь, что везде в доме тихо, — опять невозможно не остановиться и не слушать этой тишины, и не смотреть на этот мрак отворенной двери в темную комнату, и долго-долго не пробыть в неподвижном положении или не пойти вниз и не пройти по всем пустым комнатам. Часто, тоже, долго по вечерам я просиживал незамеченным в зале, прислушиваясь к звуку «соловья», которого двумя пальцами наигрывала на фортепьянах Гаша, сидя одна при сальной свечке в большой зале. А уж при лунном свете я решительно не мог не вставать с постели и не ложиться на окно в палисадник и, вглядываясь

в освещенную крышу Шапошникова дома, и стройную колокольню нашего прихода, и в вечернюю тень забора и куста, ложившуюся на дорожку садика, не мог не просиживать так долго, что потом просыпался с трудом только в десять часов утра.

Так что ежели бы не учителя, которые продолжали ходить ко мне, не St.-Jérôme, который изредка нехотя подстрекал мое самолюбие, и, главное, не желание показаться дельным малым в глазах моего друга Нехлюдова, т. е. выдержать отлично экзамен, что по его понятиям было очень важною вещью,— ежели бы не это, — то весна и свобода сделали бы то, что я забыл бы даже всё то, что знал прежде, и ни за что бы не выдержал экзамена.

ГЛАВА X.

ЭКЗАМЕН ИСТОРИИ.

16 апреля я в первый раз под покровительством St.-Jérôme'а вошел в большую университетскую залу. Мы приехали с ним в нашем довольно щегольском фаэтоне. Я был во фраке в первый раз в моей жизни, и всё платье, даже белье, чулки, было на мне самое новое и лучшее. Когда швейцар снял с меня внизу шинель, и я предстал пред ним во всей красоте своей одежды, мне даже стало несколько совестно за то, что я так ослепителен. Однако, едва только я вступил в светлую паркетную залу, наполненную народом, и увидел сотни молодых людей в гимназических мундирах и во фраках, из которых некоторые равнодушно взглянули на меня, и в дальнем конце важных профессоров, свободно ходивших около столов и сидевших в больших креслах, как я в ту же минуту разочаровался в надежде обратить на себя общее внимание, и выражение моего лица, означавшее дома и еще в сенях как бы сожаление в том, что я против моей воли имею вид такой благородный и значительный, заменилось выражением сильнейшей робости и некоторого уныния. Я даже впал в другую крайность и обрадовался весьма, увидав на ближайшей лавке одного чрезвычайно дурно, нечистоплотно одетого господина, еще не старого, но почти совсем седого, который, в отдалении от других, сидел на задней лавке. Я тотчас же подсел к нему и стал рассматривать экзаменующихся и делать о них свои

заключения. Много тут было разнообразных фигур и лиц, но все они по моим тогдашним понятиям легко распределялись на три рода.

Были такие же, как я, явившиеся на экзамен с гувернерами или родителями, и в числе их меньшой Ивин с знакомым мне Фростом и Илинька Грап с своим старым отцом. Все таковые были с пушистыми подбородками, имели вышущенное белье и сидели смирно, не раскрывая книг и тетрадей, принесенных с собою, и с видимой робостью смотрели на профессоров и экзаменные столы. Второго рода экзаменующиеся были молодые люди в гимназических мундирах, из которых многие уже брили бороды. Эти были большей частью знакомы между собой, говорили громко, по имени и отчеству называли профессоров, тут же готовили вопросы, передавали друг другу тетради, шагали через скамейки, из сеней приносили пирожки и бутерброды, которые тут же съедали, только немного наклонив голову на уровень лавки. И наконец третьего рода экзаменующиеся, которых, впрочем, было немного, были совсем старые, во фраках, но большей частью в сюртуках и без видимого белья. Эти держали себя весьма серьезно, сидели уединенно и имели вид очень мрачный. Тот, который утешил меня тем, что наверно был одет хуже меня, принадлежал к этому последнему роду. Он, облокотившись на обе руки, сквозь пальцы которых торчали всклокоченные полуседые волосы, читал в книге и, только на мгновенье взглянув на меня не совсем доброжелательно своими блестящими глазами, мрачно нахмурился и еще выставил в мою сторону глянцевитый локоть, чтоб я не мог подвинуться к нему ближе. Гимназисты, напротив, были слишком общительны, и я их немножко боялся. — Один, сунув мне в руку книгу, сказал: «передайте вон ему»; другой, проходя мимо меня, сказал: «пустите-ка, батюшка»; третий, перелезая через лавку, уперся на мое плечо, как на скамейку. Всё это мне было дико и неприятно; я считал себя гораздо выше этих гимназистов и полагал, что они не должны были позволять себе со мною такой фамильярности. Наконец начали вызывать фамилии; гимназисты выходили смело и отвечали большей частью хорошо, возвращались весело; наша братья робела гораздо более, да и, как кажется, отвечала хуже. Из старых некоторые отвечали превосходно, другие очень плохо. Когда вызвали Семенова, то мой сосед с седыми волосами и блестя-

щими глазами, грубо толкнув меня, перелез через мои ноги и пошел к столу. Как было заметно по виду профессоров, он отвечал отлично и смело. Возвратившись к своему месту, он, не узнавая о том, сколько ему поставили, спокойно взял свои тетрадки и вышел. Уж несколько раз я содрогался при звуке голоса, вызывающего фамилии, но еще до меня не доходила очередь по алфавитному списку, хотя уже вызывали фамилии, начинавшиеся с К. «Иконин и Теньев», вдруг прокричал кто-то из профессорского угла. Мороз пробежал у меня по спине и в волосах.

— Кого звали? Кто Бартеньев? — заговорили вокруг меня.

— Иконин, иди, тебя зовут; да кто же Бартеньев, Морденьев? я не знаю, признавайся, — говорил высокий, румяный гимназист, стоявший за мной.

— Вам, — сказал St.-Jérôme.

— Моя фамилия Иртеньев, — сказал я румяному гимназисту. — Разве Иртеньева звали?

— Ну, да; что ж вы нейдете?... «Вишь какой франт!» — прибавил он не громко, но так, что я слышал его слова, выходя из-за скамейки. Впереди меня шел Иконин, высокий молодой человек лет двадцати пяти, принадлежавший к третьему роду, старых. На нем был оливковый узенький фрак, атласный синий галстук, на котором лежали сзади длинные белокурые волосы, тщательно причесанные à la мужик. Я заметил его наружность еще на лавках. Он был недурен собою, разговорчив; и меня особенно поразили в нем странные рыжие волоса, которые он отпустил себе на горле, и еще более странная привычка, которую он имел — беспрестанно расстегивать жилет и чесать себе грудь под рубашкой.

Три профессора сидели за тем столом, к которому я подошел вместе с Икониным; ни один из них не ответил на наш поклон. Молодой профессор тасовал билеты, как колоду карт, другой профессор, с звездой на фраке, смотрел на гимназиста, говорившего что-то очень скоро про Карла Великого, к каждому слову прибавляя «наконец», и третий, старичок в очках, опустив голову, посмотрел на нас через очки и указал на билеты. Я чувствовал, что взгляд его был совокупно обращен на меня и Иконина, и что в нас не понравилось ему что-то (может быть, рыжие волосы Иконина), потому что он сделал, глядя опять-таки на обоих нас вместе, нетерпеливый жест головой, чтоб

мы скорее брали билеты. Мне было досадно и оскорбительно, во-первых, то, что никто не ответил на наш поклон, а во-вторых, то, что меня видимо соединяли с Икониным в одно понятие *экзаменующихся* и уже предубеждены против меня за рыжие волосы Иконина. Я взял билет без робости и готовился отвечать; но профессор указал глазами на Иконина. Я прочел свой билет: он был мне знаком, и я, спокойно ожидая своей очереди, наблюдал то, что происходило передо мной. Иконин нисколько не оробел и даже слишком смело, как-то всем боком двинулся, чтоб взять билет, встряхнул волосами и бойко прочел то, что было написано на билете. Он открыл было рот, как мне казалось, чтобы начать отвечать, как вдруг профессор со звездой, с похвалой отпустив гимназиста, посмотрел на него. Иконин как будто что-то вспомнил и остановился. Общее молчание продолжалось минуты две.

— Ну, — сказал профессор в очках.

Иконин открыл рот и снова замолчал.

— Ведь не вы одни; извольте отвечать, или нет? — сказал молодой профессор, но Иконин даже не взглянул на него. Он пристально смотрел в билет и не произнес ни одного слова. Профессор в очках смотрел на него, и сквозь очки, и через очки, и без очков, потому что успел в это время снять их, тщательно протерсть стекла и снова надеть. Иконин не произнес ни одного слова. Вдруг улыбка блеснула на его лице, он встряхнул волосами, опять всем боком развернувшись к столу, положил билет, взглянул на всех профессоров поочередно, потом на меня, повернулся и бодрым шагом, размахивая руками, вернулся к лавкам. Профессора переглянулись между собой.

— Хорош голубчик! — сказал молодой профессор, — своекоштный!

Я подвинулся ближе к столу, но профессора продолжали почти шопотом говорить между собой, как будто никто из них и не подозревал моего присутствия. Я был тогда твердо убежден, что всех трех профессоров чрезвычайно занимал вопрос о том, выдержу ли я экзамен и хорошо ли я его выдержу, но что они так только, для важности, притворялись, что это им совершенно всё равно, и что они будто бы меня не замечают.

Когда профессор в очках равнодушно обратился ко мне, приглашая отвечать на вопрос, то, взглянув ему в глаза,

мне немножко совестно было за него, что он так лицемерил передо мной, и я несколько замялся в начале ответа; но потом пошло легче и легче, и так как вопрос был из русской истории, которую я знал отлично, то я кончил блистательно и даже до того расходился, что, желая дать почувствовать профессорам, что я не Иконин, и что меня смешивать с ним нельзя, предложил взять еще билет; но профессор, кивнув головой, сказал: «хорошо-с», и отметил что-то в журнале. Возвратившись к лавкам, я тотчас же узнал от гимназистов, которые, Бог их знает как, всё узнавали, что мне было поставлено пять.

ГЛАВА XI.

ЭКЗАМЕН МАТЕМАТИКИ

На следующих экзаменах, кроме Грапа, которого я считал недостойным своего знакомства, и Ивина, который почему-то дичился меня, я уже имел много новых знакомых. Некоторые уже здоровались со мной. Иконин даже обрадовался, увидав меня, и сообщил мне, что он будет переэкзаменовываться из истории, что профессор истории зол на него еще с прошлогоднего экзамена, на котором он будто бы тоже *сбил* его. Семенов, который поступал в один факультет со мной, в математический, до конца экзаменов всё-таки дичился всех, сидел молча один, облокотясь на руки и засунув пальцы в свои седые волосы, и экзаменовался отлично. Он был вторым; первым же был гимназист первой гимназии. Это был высокий худощавый брюнет, весьма бледный, с подвязанной черным галстуком щекой и покрытым прыщами лбом. Руки у него были худые, красные, с чрезвычайно длинными пальцами, и ногти обкусаны так, что концы пальцев его казались перевязаны ниточками. Всё это мне казалось прекрасным и таким, каким должно было быть *у первого гимназиста*. Он говорил со всеми так же, как и все, даже и я с ним познакомился, но всё-таки, как мне казалось, в его походке, движениях губ и черных глазах было заметно что-то необыкновенное, *магнетическое*.

На экзамен математики я пришел раньше обыкновенного. Я знал предмет порядочно, но было два вопроса из алгебры, которые я как-то утаил от учителя, и которые мне были совершенно неизвестны. Это были, как теперь помню: теории сочетаний и бином Ньютона. Я сел на заднюю лавку и просматривал

два незнакомые вопроса; но непривычка заниматься в шумной комнате и недостаточность времени, которую я предчувствовал, мешали мне вникнуть в то, что я читал.

— Вот он, поди сюда, Нехлюдов, — послышался за мной знакомый голос Володи.

Я обернулся и увидал брата и Дмитрия, которые в расстегнутых сюртуках, размахивая руками, проходили ко мне между лавок. Сейчас видны были студенты второго курса, которые в университете, как дома. Один вид их расстегнутых сюртуков выражал презрение к нашему брату поступающему, и нашему брату поступающему внушал зависть и уважение. Мне было весьма лестно думать, что все окружающие могли видеть, что я знаком с двумя студентами второго курса, и я поскорее встал им навстречу.

Володя даже не мог удержаться, чтоб не выразить чувства своего превосходства.

— Эх, ты, горемычный! — сказал он: — что, не экзаменовался еще?

— Нет.

— Что ты читаешь? Разве не приготовил?

— Да, два вопроса не совсем. Тут не понимаю.

— Что? Вот это? — сказал Володя и начал мне объяснять бином Ньютона, но так скоро и неясно, что, в моих глазах прочтя недоверие к своему знанию, он взглянул на Дмитрия и, в его глазах, должно быть, прочтя то же, покраснел, но всё-таки продолжал говорить что-то, чего я не понимал.

— Нет, постой, Володя, дай я с ним пройду, коли успеем, — сказал Дмитрий, взглянув на профессорский угол, и подсел ко мне.

Я сейчас заметил, что друг мой был в том самодовольно-кротком расположении духа, которое всегда на него находило, когда он бывал доволен собой, и которое я особенно любил в нем. Так как математику он знал хорошо и говорил ясно, он так славно прошел со мной вопрос, что до сих пор я его помню. Но едва он кончил, как St.-Jérôme громким шепотом проговорил: «à vous, Nicolas!»[1] — и я вслед за Икониным вышел из-за лавки, не успев пройти другого незнакомого вопроса. Я подошел к столу, у которого сидело два профессора

[1] [вам, Николенька!]

и стоял гимназист перед черной доской. Гимназист бойко выводил какую-то формулу, со стуком ломая мел о доску, и всё писал, несмотря на то, что профессор уже сказал ему: «довольно», и велел нам взять билеты. «Ну, что, ежели достанется теория сочетаний!» подумал я, доставая дрожащими пальцами билет из мягкой кипы нарезанных бумажек. Иконин с тем же смелым жестом, как и в прошедший экзамен, раскачнувшись всем боком, не выбирая, взял верхний билет, взглянул на него и сердито нахмурился.

— Всё этакие черти попадаются! — пробормотал он.

Я посмотрел на свой.

О, ужас! это была теория сочетаний!...

— А у вас какой? — спросил Иконин.

Я показал ему.

— Этот я знаю, — сказал он.

— Хотите меняться?

— Нет, всё равно, я чувствую, что не в духе, — едва успел прошептать Иконин, как профессор уж подозвал нас к доске.

«Ну, всё пропало! — подумал я: — вместо блестящего экзамена, который я думал сделать, я навеки покроюсь срамом, хуже Иконина». Но вдруг Иконин, в глазах профессора, поворотился ко мне, вырвал у меня из рук мой билет и отдал мне свой. Я взглянул на билет. Это был бином Ньютона.

Профессор был не старый человек, с приятным, умным выражением, которое особенно давала ему чрезвычайно выпуклая нижняя часть лба.

— Что это, вы билетами меняетесь, господа? — сказал он.

— Нет, это он так, давал мне свой посмотреть, г. профессор, — нашелся Иконин, — и опять слово *г-н профессор* было последнее слово, которое он произнес на этом месте; и опять, проходя назад мимо меня, он взглянул на профессоров, на меня, улыбнулся и пожал плечами, с выражением, говорившим:

— Ничего, брат! (Я после узнал, что Иконин уже третий год являлся на вступительный экзамен.)

Я отвечал отлично на вопрос, который только-что прошел, — профессор даже сказал мне, что лучше, чем можно требовать, и поставил — 5.

ГЛАВА XII.

ЛАТИНСКИЙ ЭКЗАМЕН.

Всё шло отлично до латинского экзамена. Подвязанный гимназист был первым, Семенов — вторым, я — третьим. Я даже начинал гордиться и серьезно думать, что, несмотря на мою молодость, я совсем не шутка.

Еще с первого экзамена все с трепетом рассказывали про латинского профессора, который был будто бы какой-то зверь, наслаждавшийся гибелью молодых людей, особенно своекоштных, и говоривший будто бы только на латинском или греческом языке. St.-Jérôme, который был моим учителем латинского языка, ободрял меня, да и мне казалось, что, переводя без лексикона Цицерона, несколько од Горация и зная отлично Цумпта, я был приготовлен не хуже других, но вышло иначе. Всё утро только и было слышно, что о погибели тех, которые выходили прежде меня: тому поставил нуль, тому единицу, того еще разбранил и хотел выгнать и т. д., и т. д. Только Семенов и первый гимназист, как всегда, спокойно вышли и вернулись, получив по 5 каждый. Я уже предчувствовал несчастие, когда нас вызвали вместе с Икониным к маленькому столику, против которого страшный профессор сидел совершенно один. Страшный профессор был маленький, худой, желтый человек, с длинными масляными волосами и с весьма задумчивой физиономией.

Он дал Иконину книгу речей Цицерона и заставил переводить его.

К великому удивлению моему, Иконин не только прочел, но и перевел несколько строк с помощью профессора, который ему подсказывал. Чувствуя свое превосходство перед таким слабым соперником, я не мог не улыбнуться и даже несколько презрительно, когда дело дошло до анализа, и Иконин попрежнему погрузился в очевидно безвыходное молчание. Я этой умной, слегка насмешливой улыбкой хотел понравиться профессору, но вышло наоборот.

— Вы, верно, лучше знаете, что улыбаетесь, — сказал мне профессор дурным русским языком: — посмотрим. Ну, скажите вы.

Впоследствии я узнал, что латинский профессор покровительствовал Иконину, и что Иконин даже жил у него. Я отве-

тил тотчас же на вопрос из синтаксиса, который был предложен Иконину, но профессор сделал печальное лицо и отвернулся от меня.

— Хорошо-с, придет и ваш черед, увидим, как вы знаете, — сказал он, не глядя на меня, и стал объяснять Иконину то, об чем его спрашивал.

— Ступайте,—добавил он; и я видел, как он в тетради баллов поставил Иконину 4. «Ну, подумал я, он совсем не так строг, как говорили». После ухода Иконина он верных минут пять, которые мне показались за пять часов, укладывал книги, билеты, сморкался, поправлял кресла, разваливался на них, смотрел в залу, по сторонам и повсюду, но только не на меня. Всё это притворство показалось ему однако недостаточным, он открыл книгу и притворился, что читает ее, как будто меня вовсе тут не было. Я подвинулся ближе и кашлянул.

— Ах, да! еще вы? ну, переведите-ка что-нибудь, — сказал он, подавая мне какую-то книгу, — да нет, лучше вот эту. — Он перелистывал книгу Горация и развернул мне ее на таком месте, которое, как мне казалось, никто никогда не мог бы перевести.

— Я этого не готовил, — сказал я.

— А вы хотите отвечать то, что выучили наизусть, — хорошо! Нет, вот это переведите.

Кое-как я стал добираться до смысла, но профессор на каждый мой вопросительный взгляд качал головой и, вздыхая, отвечал только «нет». Наконец он закрыл книгу так нервически быстро, что захлопнул между листьями свой палец; сердито выдернув его оттуда, он дал мне билет из грамматики и, откинувшись назад на кресла, стал молчать самым зловещим образом. Я стал было отвечать, но выражение его лица сковывало мне язык, и всё, что бы я ни сказал, мне казалось не то.

— Не то, не то, совсем не то, — заговорил он вдруг своим гадким выговором, быстро переменяя положение, облокачиваясь об стол и играя золотым перстнем, который у него слабо держался на худом пальце левой руки. — Так нельзя, господа, готовиться в высшее учебное заведение; вы всё хотите только мундир носить с синим воротником, верхов нахватаетесь и думаете, что вы можете быть студентами; нет, господа, надо основательно изучать предмет, и т. д., и т. д.

Во всё время этой речи, произносимой коверканным языком, я с тупым вниманьем смотрел на его потупленные глаза. Сначала мучило меня разочарование не быть третьим, потом страх вовсе не выдержать экзамена, и наконец к этому присоединилось чувство сознания несправедливости, оскорбленного самолюбия и незаслуженного унижения; сверх того, презрение к профессору за то, что он не был, по моим понятиям, из людей comme il faut, — что́ я открыл, глядя на его короткие, крепкие и круглые ногти, — еще более разжигало во мне и делало ядовитыми все эти чувства. Взглянув на меня и заметив мои дрожащие губы и налитые слезами глаза, он перевел, должно быть, мое волнение просьбой прибавить мне балл и, как будто сжалившись надо мной, сказал (и еще при другом профессоре, который подошел в это время):

— Хорошо-с, я поставлю вам переходный балл (это значило два), хотя вы его не заслуживаете, но это только в уважение вашей молодости и в надежде, что вы в университете уже не будете так легкомысленны.

Последняя фраза его, сказанная при постороннем профессоре, который смотрел на меня так, как будто тоже говорил: «да, вот видите, молодой человек!» — окончательно смутила меня. Была одна минута, когда глаза у меня застлало туманом: страшный профессор с своим столом показался мне сидящим где-то вдали, и мне с страшной, односторонней ясностью пришла в голову дикая мысль: «а что, ежели...? что́ из этого будет?» Но я этого почему-то не сделал, а напротив, бессознательно, особенно почтительно поклонился обоим профессорам и, слегка улыбнувшись, кажется, той же улыбкой, какой улыбался Иконин, отошел от стола.

Несправедливость эта до такой степени сильно подействовала на меня тогда, что, ежели бы я был свободен в своих поступках, я бы не пошел больше экзаменоваться. Я потерял всякое честолюбие (уже нельзя было и думать о том, чтоб быть третьим), и остальные экзамены я спустил без всякого старания и даже волнения. В общем числе у меня было, однако, четыре слишком, но это уже вовсе не интересовало меня; я сам с собою решил и доказал это себе весьма ясно, что чрезвычайно глупо и даже mauvais genre [1] стараться быть первым, а надо так, чтоб только

[1] [дурной вкус]

ни слишком дурно, ни слишком хорошо, как Володя. Этого я намерен был держаться и впредь в университете, несмотря на то, что в этом случае я в первый раз расходился в мнениях с своим другом.

Я думал уже только о мундире, трехугольной шляпе, собственных дрожках, собственной комнате и, главное, о собственной свободе.

ГЛАВА XIII.

Я БОЛЬШОЙ.

Впрочем, и эти мысли имели свою прелесть.

8 мая, вернувшись с последнего экзамена, закона Божия, я нашел дома знакомого мне подмастерье от Розанова, который еще прежде приносил на живую нитку сметанные мундир и сюртук из глянцевитого черного сукна с отливом, и отбивал мелом лацкана, а теперь принес совсем готовое платье, с блестящими золотыми пуговицами, завернутыми бумажками.

Надев это платье и найдя его прекрасным, несмотря на то, что St.-Jérôme уверял, что спинка сюртука морщила, я сошел вниз с самодовольной улыбкой, которая совершенно невольно распускалась на моем лице, и пошел к Володе, чувствуя и как будто не замечая взгляды домашних, которые из передней и из коридора с жадностью были устремлены на меня. — Гаврило дворецкий догнал меня в зале, поздравил с поступлением, передал, по приказанию папа, четыре беленькие бумажки и сказал, что, тоже по приказанию папа, с нынешнего дня кучер Кузьма, пролетка и гнедой Красавчик в моем полном распоряжении. Я так обрадовался этому почти неожиданному счастью, что никак не мог притвориться равнодушным перед Гаврилой и, несколько растерявшись и задохнувшись, сказал первое, что́ мне пришло в голову, — кажется, что «Красавчик отличный рысак». Взглянув на головы, которые высовывались из дверей передней и коридора, не в силах более удерживаться, рысью побежал через залу в своем новом сюртуке с блестящими золотыми пуговицами. В то время, как я входил к Володе, за мной послышались голоса Дубкова и Нехлюдова, которые приехали поздравить меня и предложить ехать обедать куда-нибудь и пить шампанское в честь моего вступления. Дмитрий сказал мне, что он, хотя и не любит пить шампанское, нынче поедет с нами, чтобы выпить со мною

на ты. Дубков сказал, что я почему-то похож вообще на полковника; Володя не поздравил меня и весьма сухо только сказал, что теперь мы послезавтра можем ехать в деревню. Как будто, хотя он был и рад моему поступлению, ему немножко неприятно было, что теперь и я такой же большой, как и он. St.-Jérôme, который тоже пришел к нам, сказал очень напыщенно, что его обязанность кончена, что он не знает, хорошо ли, дурно ли она исполнена, но что он сделал всё, что мог, и что завтра он переезжает к своему графу. В ответ на всё, что мне говорили, я чувствовал, как против моей воли на лице моем расцветала сладкая, счастливая, несколько глупо самодовольная улыбка, и замечал, что улыбка эта даже сообщалась всем, кто со мной говорил.

И вот у меня нет гувернера, у меня есть свои дрожки, имя мое напечатано в списке студентов, у меня шпага на портупее, будочники могут иногда делать мне честь.... я большой, я, кажется, счастлив.

Обедать мы решили у Яра в пятом часу; но так как Володя поехал к Дубкову, а Дмитрий тоже по своей привычке исчез куда-то, сказав, что у него есть до обеда одно дело, то я мог употребить два часа времени, как мне хотелось. Довольно долго я ходил по всем комнатам и смотрелся во все зеркала то в застегнутом сюртуке, то совсем в расстегнутом, то в застегнутом на одну верхнюю пуговицу, и всё мне казалось отлично. Потом, как мне ни совестно было показывать слишком большую радость, я не удержался, пошел в конюшню и каретный сарай, посмотрел Красавчика, Кузьму и дрожки, потом снова вернулся и стал ходить по комнатам, поглядывая в зеркала и рассчитывая деньги в кармане и всё так же счастливо улыбаясь. Однако не прошло и часу времени, как я почувствовал некоторую скуку или сожаление в том, что никто меня не видит в таком блестящем положении, и мне захотелось движения и деятельности. Вследствие этого я велел заложить дрожки и решил, что мне лучше всего съездить на Кузнецкий мост сделать покупки.

Я вспомнил, что Володя при вступлении в университет купил себе литографии лошадей Виктора Адама, табаку и трубки, и мне показалось необходимым сделать то же самое.

При обращенных со всех сторон на меня взглядах и при ярком блеске солнца на моих пуговицах, кокарде шляпы и

шпаге я приехал на Кузнецкий мост и остановился подле магазина картин Дациаро. Оглядываясь на все стороны, я вошел в него. Я не хотел покупать лошадей В. Адама, для того, чтобы меня не могли упрекнуть в обезьянстве Володе, но, торопясь от стыда в беспокойстве, которое я доставлял услужливому магазинщику, выбрать поскорее, я взял гуашью сделанную женскую голову, стоявшую на окне, и заплатил за нее двадцать рублей. Однако, заплатив в магазине двадцать рублей, мне всё-таки казалось совестно, что я обеспокоил двух красиво одетых магазинщиков такими пустяками, и притом, казалось, что они всё еще слишком небрежно на меня смотрят. Желая им дать почувствовать, кто я такой, я обратил внимание на серебряную штучку, которая лежала под стеклом, и, узнав, что это был porte-crayon,[1] который стоил восемнадцать рублей, попросил завернуть его в бумажку и, заплатив деньги и узнав еще, что хорошие чубуки и табак можно найти рядом в табачном магазине, учтиво поклонясь обоим магазинщикам, вышел на улицу с картиной под мышкой. В соседнем магазине, на вывеске которого был написан негр, курящий сигару, я купил, тоже из желания не подражать никому, не Жукова, а султанского табаку, стамбулку трубку и два липовых и розовых чубука. Выходя из магазина к дрожкам, я увидел Семенова, который в штатском сюртуке, опустив голову, скорыми шагами шел по тротуару. Мне было досадно, что он не узнал меня. Я довольно громко сказал: «подавай!» и, сев на дрожки, догнал Семенова.

— Здравствуйте-с, — сказал я ему.

— Мое почтение, — отвечал он, продолжая итти.

— Что же вы не в мундире? — спросил я.

Семенов остановился, прищурил глаза и, оскалив свои белые зубы, как будто ему было больно смотреть на солнце, но собственно затем, чтобы показать свое равнодушие к моим дрожкам и мундиру, молча посмотрел на меня и пошел дальше.

С Кузнецкого моста я заехал в кондитерскую на Тверской и, хотя желал притвориться, что меня в кондитерской преимущественно интересуют газеты, не мог удержаться и начал есть один сладкий пирожок за другим. Несмотря на то, что мне было стыдно перед господином, который из-за газеты с

---

[1] [ручка для карандаша,]

любопытством посматривал на меня, я съел чрезвычайно быстро пирожков восемь всех тех сортов которые только были в кондитерской.

Приехав домой, я почувствовал маленькую изжогу; но, не обратив на нее никакого внимания, занялся рассматриванием покупок, из которых картина так мне не понравилась, что я не только не обделал ее в рамку и не повесил в своей комнате, как Володя, но даже тщательно спрятал ее за комод, где никто не мог ее видеть. Porte-crayon дома мне тоже не понравился; я положил его в стол, утешая себя, однако, мыслью, что это вещь серебряная, капитальная и для студента очень полезная. Курительные же препараты я тотчас решил пустить в дело и испробовать.

Распечатав четвертку, тщательно набив стамбулку красно-желтым, мелкой резки, султанским табаком, я положил на нее горящий трут и, взяв чубук между средним и безымянным пальцем (положение руки, особенно мне нравившееся), стал тянуть дым.

Запах табака был очень приятен, но во рту было горько, и дыхание захватывало. Однако, скрепив сердце, я довольно долго втягивал в себя дым, пробовал пускать кольца и затягиваться. Скоро комната вся наполнилась голубоватыми облаками дыма, трубка начала хрипеть, горячий табак подпрыгивать, а во рту я почувствовал горечь и в голове маленькое кружение. Я хотел уже перестать и только посмотреться с трубкой в зеркало, как, к удивлению моему, зашатался на ногах; комната пошла кругом, и, взглянув в зеркало, к которому я с трудом подошел, я увидел, что лицо мое было бледно, как полотно. Едва я успел упасть на диван, как почувствовал такую тошноту и такую слабость, что, вообразив себе, что трубка для меня смертельна, мне показалось, что я умираю. Я серьезно испугался и хотел уже звать людей на помощь и посылать за доктором.

Однако страх этот продолжался недолго. Я скоро понял, в чем дело, и с страшной головной болью, расслабленный, долго лежал на диване, с тупым вниманием вглядываясь в герб Бостонжогло, изображенный на четвертке, в валявшуюся на полу трубку, окурки и остатки кондитерских пирожков, и с разочарованием грустно думал: «верно, я еще не совсем большой, если не могу курить, как другие, и что, видно, мне

не судьба, как другим, держать чубук между средним и безымянным пальцем, затягиваться и пускать дым через русые усы».

Дмитрий, заехав за мною в пятом часу, застал меня в этом неприятном положении. Выпив стакан воды, однако, я почти оправился и был готов ехать с ним.

— И что вам за охота курить, — сказал он, глядя на следы моего курения: — это всё глупости и напрасная трата денег. Я дал себе слово не курить.... Однако, поедем скорей, еще надо заехать за Дубковым.

ГЛАВА XIV.

ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ ВОЛОДЯ С ДУБКОВЫМ.

Как только Дмитрий вошел ко мне в комнату, по его лицу, походке и по свойственному ему жесту во время дурного расположения духа, подмигивая глазом, гримасливо подергивать головой на бок, как будто для того, чтобы поправить галстук, я понял, что он находился в своем холодно упрямом расположении духа, которое на него находило, когда он был недоволен собой, и которое всегда производило охлаждающее действие на мое к нему чувство. В последнее время я уже начинал наблюдать и обсуживать характер моего друга, но дружба наша вследствие этого нисколько не изменилась: она еще была так молода и сильна, что, с какой бы стороны я ни смотрел на Дмитрия, я не мог не видеть его совершенством. В нем было два различные человека, которые оба были для меня прекрасны. Один, которого я горячо любил, добрый, ласковый, кроткий, веселый и с сознанием этих любезных качеств. Когда он бывал в этом расположении духа, вся его наружность, звук голоса, все движения говорили, казалось: «я кроток и добродетелен, наслаждаюсь тем, что я кроток и добродетелен, и вы все это можете видеть». Другой — которого я только теперь начинал узнавать, и перед величавостью которого преклонялся, был человек холодный, строгий к себе и другим, гордый, религиозный до фанатизма и педантически нравственный. В настоящую минуту он был этим вторым человеком.

С откровенностью, составлявшей необходимое условие наших отношений, я сказал ему, когда мы сели в дрожки, что мне было грустно и больно видеть его в нынешний счастливый для

меня день в таком тяжелом, неприятном для меня расположении духа.

— Верно, что-нибудь вас расстроило: отчего вы мне не скажете? — спросил я его.

— Николенька! —отвечал он неторопливо, нервически поворачивая голову на бок и подмигивая. — Ежели я дал слово ничего не скрывать от вас, то вы и не имеете причин подозревать во мне скрытность. Нельзя всегда быть одинаково расположенным, а ежели что-нибудь меня расстроило, то я сам не могу себе дать отчета. — «Какой это удивительно открытый, честный характер», подумал я и больше не заговаривал с ним.

Мы молча приехали к Дубкову. Квартира Дубкова была необыкновенно хороша, или показалась мне такою. Везде были ковры, картины, гардины, пестрые обои, портреты, изогнутые кресла, вольтеровские кресла, на стенах висели ружья, пистолеты, кисеты и какие-то картонные звериные головы. При виде этого кабинета я понял, кому подражал Володя в убранстве своей комнаты. Мы застали Дубкова и Володю за картами. Какой-то незнакомый мне господин (должно быть, неважный, судя по его скромному положению) сидел подле стола и очень внимательно смотрел на игру. Сам Дубков был в шелковом халате и мягких башмаках. Володя без сюртука сидел против него на диване и, судя по раскрасневшемуся лицу и недовольному, беглому взгляду, который он, на секунду оторвав от карт, бросил на нас, был очень занят игрой. Увидев меня, он покраснел еще больше.

— Ну, тебе сдавать, — сказал он Дубкову. Я понял, что ему было неприятно, что я узнал про то, что он играет в карты. Но в его выражении не было заметно смущения, оно как будто говорило мне: «да, играю, а ты удивляешься этому только потому, что еще молод. Это не только не дурно, но должно в наши лета».

Я тотчас почувствовал и понял это.

Дубков, однако, не стал сдавать карты, а встал, пожал нам руки, усадил и предложил трубки, от которых мы отказались.

— Так вот он, наш дипломат, виновник торжества, — сказал Дубков. — Ей-Богу, ужасно похож на полковника.

— Гм! — промычал я, чувствуя опять на своем лице распускающуюся глупо самодовольную улыбку.

Я уважал Дубкова, как только может уважать шестнадцатилетний мальчик двадцатисемилетнего адъютанта, про которого все большие говорят, что он чрезвычайно порядочный молодой человек, который отлично танцует, говорит по-французски и который, в душе презирая мою молодость, видимо старается скрывать это.

Несмотря на всё мое уважение, во всё время нашего с ним знакомства, мне, Бог знает отчего, бывало тяжело и неловко смотреть ему в глаза. А я заметил после, что мне бывает неловко смотреть в глаза трем родам людей — тем, которые гораздо хуже меня, — тем, которые гораздо лучше меня, и тем, с которыми мы не решаемся сказать друг другу вещь, которую оба знаем. Может быть, Дубков был и лучше, может быть, и хуже меня, но наверное уже было то, что он очень часто лгал, не признаваясь в этом, что я заметил в нем эту слабость и, разумеется, не решался ему говорить о ней.

— Сыграем еще одного короля, — сказал Володя, подергивая плечом, как папа, и тасуя карты.

— Вот пристает! — сказал Дубков: — после доиграем. Ну, а впрочем, одного — давай.

В то время, как они играли, я наблюдал их руки. У Володи была большая, красивая рука; отдел большого пальца и выгиб остальных, когда он держал карты, были так похожи на руку папа, что мне даже одно время казалось, что Володя нарочно так держит руки, чтоб быть похожим на большого; но, взглянув на его лицо, сейчас видно было, что он ни о чем не думает, кроме игры. У Дубкова, напротив, руки были маленькие, пухлые, загнутые внутрь, чрезвычайно ловкие и с мягкими пальцами; именно тот сорт рук, на которых бывают перстни и которые принадлежат людям, склонным к ручным работам и любящим иметь красивые вещи.

Должно быть, Володя проиграл, потому что господин, смотревший ему в карты, заметил, что Владимиру Петровичу ужасное несчастье, и Дубков, достав портфель, записал туда что-то и, показав записанное Володе, сказал: «так?»

— Так! — сказал Володя, притворно рассеянно взглянув в записную книжку, — теперь поедемте.

Володя повез Дубкова, меня повез Дмитрий в своем фаэтоне.

— Во что это они играли? — спросил я Дмитрия.

— В пикет. Глупая игра, да и вообще игра — глупая вещь.

— А они в большие деньги играют?

— Не в большие, однако нехорошо.

— А вы не играете?

— Нет, я дал слово не играть; а Дубков не может, чтобы не обыграть кого-нибудь.

— Ведь это нехорошо с его стороны,— сказал я. — Володя, верно, хуже его играет?

— Разумеется, нехорошо, но дурного тут ничего особенно нет. Дубков любит играть и умеет играть, а всё-таки он отличный человек.

— Да я совсем и не думал... — сказал я.

— Да и нельзя об нем ничего дурного думать, потому что он, точно, прекрасный человек. И я его очень люблю и всегда буду любить, несмотря на его слабости.

Мне почему-то показалось, что именно потому, что Дмитрий слишком горячо заступался за Дубкова, он уже не любил и не уважал его, но не признавался в том из упрямства и из-за того, чтоб его никто не мог упрекнуть в непостоянстве. Он был один из тех людей, которые любят друзей на всю жизнь, не столько потому, что эти друзья остаются им постоянно любезны, сколько потому, что раз, даже по ошибке, полюбив человека, они считают бесчестным разлюбить его.

ГЛАВА XV.

МЕНЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ.

Дубков и Володя знали у Яра всех людей по имени, и от швейцара до хозяина все оказывали им большое уважение. Нам тотчас отвели особенную комнату и подали какой-то удивительный обед, выбранный Дубковым по французской карте. Бутылка замороженного шампанского, на которую я старался смотреть как можно равнодушнее, уже была приготовлена. Обед прошел очень приятно и весело, несмотря на то, что Дубков, по своему обыкновению, рассказывал самые странные, будто бы истинные случаи, — между прочим, как его бабушка убила из мушкетона трех напавших на нее разбойников (причем я покраснел и, потупив глаза, отвернулся от него), — и несмотря на то, что Володя видимо робел всякий раз, как я начинал говорить что-нибудь (что было совершенно напрасно,

потому что я не сказал, сколько помню, ничего особенно постыдного). Когда подали шампанское, все поздравили меня, и я выпил через руку «на ты» с Дубковым и Дмитрием и поцаловался с ними. Так как я не знал, кому принадлежит поданная бутылка шампанского (она была общая, как после мне объяснили), и я хотел угостить приятелей на свои деньги, которые я беспрестанно ощупывал в кармане, я достал потихоньку десятирублевую бумажку и, подозвав к себе человека, дал ему деньги и шопотом, но так, что все слышали, потому что молча смотрели на меня, сказал ему, чтоб он принес *пожалуйста уже еще полбутылочку шампанского*. Володя так покраснел, так стал подергиваться и испуганно глядеть на меня и на всех, что я почувствовал, как я ошибся, но полбутылочку принесли, и мы ее выпили с большим удовольствием. Продолжало казаться очень весело. Дубков врал без умолку, и Володя тоже рассказывал такие смешные штуки и так хорошо, что я никак не ожидал от него, и мы много смеялись. Характер их смешного, т. е. Володи и Дубкова, состоял в подражании и усилении известного анекдота: «что вы были за границей?» будто бы говорит один. — «Нет, я не был — отвечает другой, — но брат играет на скрипке». Они в этом роде комизма бессмыслия дошли до такого совершенства, что уже самый анекдот рассказывали так, что «брат мой тоже никогда не играл на скрипке». На каждый вопрос они отвечали друг другу в том же роде, а иногда и без вопроса старались только соединить две самые несообразные вещи, говорили эту бессмыслицу с серьезным лицом, — и выходило очень смешно. Я начинал понимать, в чем было дело, и хотел тоже рассказать смешное, но все робко смотрели или старались не смотреть на меня в то время, как я говорил, и анекдот мой не вышел. Дубков сказал: «зазрался, брат, дипломат», но мне было так приятно от выпитого шампанского и общества больших, что это замечание только чуть-чуть оцарапало меня. Один Дмитрий, несмотря на то, что пил ровно с нами, продолжал быть в своем строгом, серьезном расположении духа, которое несколько сдерживало общее веселье.

— Ну, послушайте, господа, — сказал Дубков: — после обеда ведь надо дипломата в руки забрать. Не поехать ли нам *к тетке*, там уж мы с ним распорядимся.

— Нехлюдов ведь не поедет, — сказал Володя.

— Несносный смиренник! ты, несносный смиренник! —

сказал Дубков, обращаясь к нему. — Поедем с нами, увидишь, что отличная дама тетушка.

— Не только не поеду, но и его с вами не пущу, — отвечал Дмитрий, краснея.

— Кого? дипломата? Ведь ты хочешь, дипломат? Смотри, он даже весь просиял, как только заговорили об тетушке.

— Не то что не пущу, — продолжал Дмитрий, вставая с места и начиная ходить по комнате, не глядя на меня: — а не советую ему и не желаю, чтоб он ехал. Он не ребенок теперь, и ежели хочет, то может один, без вас, ехать. А тебе это должно быть стыдно, Дубков; что ты делаешь нехорошо, так хочешь, чтоб и другие то же делали.

— Что ж тут дурного, — сказал Дубков, подмигивая Володе: — что я вас всех приглашаю к тетушке на чашку чаю? Ну, а ежели тебе неприятно, что мы едем, так изволь: мы поедем с Володей. Володя, поедешь?

— Гм, гм! — утвердительно сказал Володя: — съездим туда, а потом вернемся ко мне и будем продолжать пикет.

— Что, ты хочешь ехать с ними или нет? — сказал Дмитрий, подходя ко мне.

— Нет, — отвечал я, подвигаясь на диване, чтоб дать ему место подле себя, на которое он сел: — я и просто не хочу, а если ты не советуешь, то я ни за что не поеду.

— Нет, — прибавил я потом, я неправду говорю, что мне не хочется с ними ехать; но я рад, что не поеду.

— И отлично, — сказал он: — живи по-своему и не пляши ни по чьей дудке, это лучше всего.

Этот маленький спор не только не расстроил нашего удовольствия, но еще увеличил его. Дмитрий вдруг пришел в мое любимое, кроткое расположение духа. Такое влияние имело на него, как я после не раз замечал, сознание хорошего поступка. Он теперь был доволен собой за то, что отстоял меня. Он чрезвычайно развеселился, потребовал еще бутылку шампанского (что было против его правил), завзял в нашу комнату какого-то незнакомого господина и стал поить его, пел Gaudeamus igitur, просил, чтоб все вторили ему, и предлагал ехать в Сокольники кататься, на что Дубков заметил, что это слишком чувствительно.

— Давайте нынче веселиться, — говорил Дмитрий улыбаясь: — в честь его вступления я в первый раз напьюсь пьян,

уж так и быть. — Эта веселость как-то странно шла к Дмитрию. Он был похож на гувернера или доброго отца, который доволен своими детьми, разгулялся и хочет их потешить и вместе доказать, что можно честно и прилично веселиться; но, несмотря на это, на меня и на других, кажется, эта неожиданная веселость действовала заразительно, тем более, что на каждого из нас пришлось уже почти по полбутылке шампанского.

В таком-то приятном настроении духа я вышел в большую комнату с тем, чтоб закурить папироску, которую мне дал Дубков.

Когда я встал с места, я заметил, что голова у меня немного кружилась, и ноги шли, и руки были в естественном положении только тогда, когда я об них пристально думал. В противном же случае, ноги забирали по сторонам, а руки выделывали какие-то жесты. Я устремил на эти члены всё внимание, велел рукам подняться застегнуть сюртук и пригладить волосы (при чем они как-то ужасно высоко подбросили локти), а ногам велел итти в дверь, что они исполнили, но ступали как-то очень твердо, или слишко нежно, особенно левая нога всё становилась на цыпочку. Какой-то голос прокричал мне: «Куда ты идешь? принесут свечку». Я догадался, что этот голос принадлежал Володе, и мне доставила удовольствие мысль, что я-таки догадался, но в ответ ему я только слегка улыбнулся и пошел дальше.

ГЛАВА XVI.

ССОРА.

В большой комнате сидел за маленьким столом невысокий, плотный штатский господин с рыжими усами и ел что-то. Рядом с ним сидел высокий брюнет без усов. Они говорили по-французски. Их взгляд смутил меня, но я всё-таки решился закурить папироску у горевшей свечки, которая стояла перед ними. Поглядывая по сторонам, чтоб не встречать их взглядов, я подошел к столу и стал зажигать папироску. Когда папироска загорелась, я не утерпел и взглянул на обедавшего господина. Его серые глаза были пристально и недоброжелательно устремлены на меня. Только-что я хотел отвернуться, рыжие усы его зашевелились, и он произнес по-французски:— не люблю, чтоб курили, когда я обедаю, милостивый государь.

Я пробормотал что-то непонятное.

— Да-с, не люблю, — продолжал строго господин с усами, бегло взглянув на господина без усов, как будто приглашая его полюбоваться на то, как он будет обрабатывать меня: — не люблю-с, милостивый государь, и тех, которые так невежливы, что приходят курить вам в нос, и тех не люблю. — Я тотчас же сообразил, что этот господин меня распекает, но мне казалось в первую минуту, что я был очень виноват перед ним.

— Я не думал, что это вам помешает, — сказал я.

— А, вы не думали, что вы невежа, а я думал, — закричал господин.

— Какое вы имеете право кричать? — сказал я, чувствуя, что он меня оскорбляет, и начиная сам сердиться.

— Такое, что я никогда никому не позволю мне манкировать и всегда буду учить таких молодцов, как вы. Как ваша фамилия, милостивый государь? и где вы живете?

Я был очень озлоблен, губы у меня тряслись, и дыханье захватывало. Но я всё-таки чувствовал себя виноватым, должно быть, за то, что я выпил много шампанского, и не сказал этому господину никаких грубостей, а напротив, губы мои самым покорным образом назвали ему мою фамилию и наш адрес.

— Моя фамилия Колпиков, милостивый государь, а вы вперед будьте учтивее. Мы еще увидимся с вами (vous aurez de mes nouvelles), — заключил он, так как весь разговор происходил по-французски.

Я сказал только: «очень рад», стараясь дать голосу как можно более твердости, повернулся и с папиросой, которая успела потухнуть, вернулся в нашу комнату.

Я ничего не сказал о случившемся со мной ни брату, ни приятелям, тем более, что они были заняты каким-то горячим спором, и уселся один в уголку, рассуждая об этом странном обстоятельстве. Слова: «вы невежа, милостивый государь» (un mal élevé, Monsieur) так и звучали у меня в ушах, всё более и более возмущая меня. Хмель у меня совершенно прошел. Когда я размышлял о том, как я поступил в этом деле, мне вдруг пришла страшная мысль, что я поступил, как трус. «Какое он имел право нападать на меня? Отчего он просто не сказал мне, что это ему мешает? Стало быть, он был виноват? Отчего же, когда он мне сказал, что я невежа, я не сказал

ему: невежа, милостивый государь, тот, кто позволяет себе грубость? или отчего я просто не крикнул на него: *молчать!* — это было бы отлично; зачем я не вызвал его на дуэль? Нет! я ничего этого не сделал, а как подлый трусишка проглотил обиду». — «Вы невежа, милостивый государь!» беспрестанно раздражающе звучало у меня в ушах. «Нет, этого нельзя так оставить, подумал я и встал с твердым намерением пойти опять к этому господину и сказать ему что-нибудь ужасное, а может быть даже и прибить его подсвечником по голове, коли придется. Я с величайшим наслаждением мечтал о последнем намерении, но не без сильного страха вошел снова в большую комнату. К счастию, г. Колпикова уже не было, один лакей был в большой комнате и убирал стол. Я хотел было сообщить лакею о случившемся и объяснить ему, что я нисколько не виноват, но почему-то раздумал и в самом мрачном расположении духа снова вернулся в нашу комнату.

— Что это с нашим дипломатом сделалось? — сказал Дубков: — он, верно, решает теперь судьбу Европы.

— Ах, оставь меня в покое, — сказал я угрюмо, отворачиваясь. Вслед затем я, расхаживая по комнате, начал размышлять почему-то о том, что Дубков вовсе не хороший человек. «И что за вечные шутки и название «дипломат» — ничего тут любезного нет. Ему бы только обыгрывать Володю да ездить к тетушке какой-то.... И ничего нет в нем приятного. Всё, что ни скажет, солжет, или пошлость какая-нибудь, и вечно тоже хочет насмехаться. Мне кажется, он просто глуп, да и дурной человек». В таких-то размышлениях я провел минут пять, всё более и более чувствуя почему-то враждебное чувство к Дубкову. Дубков же не обращал на меня внимания, и это злило меня еще более. Я даже сердился на Володю и на Дмитрия за то, что они с ним разговаривают.

— Знаете что, господа? надо дипломата водой облить, — сказал вдруг Дубков, взглянув на меня с улыбкой, которая мне показалась насмешливою и даже предательскою: — а то он плох! Ей-Богу, он плох!

— И вас надо облить, сами вы плохи, — отвечал я, злостно улыбаясь и забыв даже, что ему говорил «ты».

Этот ответ, должно быть, удивил Дубкова, но он равнодушно отвернулся от меня и продолжал разговаривать с Володей и Дмитрием.

Я попробовал было присоединиться к их беседе, но чувствовал, что решительно не мог притворяться, и снова удалился в свой угол, где и пробыл до самого отъезда.

Когда расплатились и стали надевать шинели, Дубков обратился к Дмитрию:

— Ну, а Орест и Пилад куда поедут? верно, домой беседовать о *любви;* то ли дело мы, проведаем милую тетушку, — лучше вашей кислой дружбы.

— Как вы смеете говорить, смеяться над нами? — заговорил я вдруг, подходя к нему очень близко и махая руками: — как вы смеете смеяться над чувствами, которых не понимаете? Я вам этого не позволю. Молчать! — закричал я и сам замолчал, не зная, что говорить дальше, и задыхаясь от волнения. Дубков сначала удивился; потом хотел улыбнуться и принять это в шутку, но наконец, к моему великому удивлению, испугался и опустил глаза.

— Я вовсе не смеюсь над вами и вашими чувствами, я так только говорю, — сказал он уклончиво.

— То-то! — закричал я, но в это же самое время мне стало совестно за себя и жалко Дубкова, красное, смущенное лицо которого выражало истинное страдание.

— Что с тобой? — заговорили вместе Володя и Дмитрий: — никто тебя не хотел обижать.

— Нет, он хотел оскорбить меня.

— Вот отчаянный господин твой брат, — сказал Дубков в то самое время, когда он уже выходил из двери, так что не мог бы слышать того, что я скажу.

Может быть, я бросился бы догонять его и наговорил бы ему еще грубостей, но в это время тот самый лакей, который присутствовал при моей истории с Колпиковым, подал мне шинель, и я тотчас же успокоился, притворяясь только перед Дмитрием рассерженным настолько, насколько это было необходимо, чтоб мгновенное успокоение не показалось странным. На другой день мы с Дубковым встретились у Володи, не поминали об этой истории, но остались на «вы», и смотреть друг другу в глаза стало нам еще труднее.

Воспоминание о ссоре с Колпиковым, который, впрочем, ни на другой день, ни после, так и не дал мне de ses nouvelles,[1]

[1] [известий о себе,]

было многие года для меня ужасно живо и тяжело. Я подергивался и вскрикивал, лет пять после этого, всякий раз, как вспоминал неотплаченную обиду, и утешал себя, с самодовольствием вспоминая о том, каким я молодцом показал себя зато в деле с Дубковым. Только гораздо после, я стал совершенно иначе смотреть на это дело и с комическим удовольствием вспоминать о ссоре с Колпиковым и раскаиваться в незаслуженном оскорблении, которое я нанес *доброму малому* Дубкову.

Когда я в тот же день вечером рассказал Дмитрию свое приключение с Колпиковым, которого наружность я описал ему подробно, он удивился чрезвычайно.

— Да это тот самый! — сказал он: — можешь себе представить, что этот Колпиков известный негодяй, шулер, а главное трус, выгнан товарищами из полка за то, что получил пощечину и не хотел драться. Откуда у него прыть взялась? — прибавил он с доброй улыбкой, глядя на меня: — ведь он больше ничего не сказал, как «невежа»?

— Да, — отвечал я, краснея.

— Нехорошо, ну да еще не беда! — утешал меня Дмитрий.

Только гораздо после, размышляя уже спокойно об этом обстоятельстве, я сделал предположение довольно правдоподобное, что Колпиков, после многих лет почувствовав, что на меня напасть можно, выместил на мне, в присутствии брюнета без усов, полученную пощечину, точно так же, как я тотчас же выместил его «невежу» на невинном Дубкове.

ГЛАВА XVII.

Я СОБИРАЮСЬ ДЕЛАТЬ ВИЗИТЫ.

Проснувшись на другой день, первою мыслию моею было приключение с Колпиковым; опять я помычал, побегал по комнате, но делать было нечего; притом нынче был последний день, который я проводил в Москве, и надо было сделать, по приказанию папа, визиты, которые он мне сам написал на бумажке. Заботою о нас отца было не столько нравственность и образование, сколько светские отношения. На бумажке было написано его изломанным быстрым почерком: 1) к князю Ивану Ивановичу *непременно*, 2) к Ивиным *непременно*, 3) к князю Михайле, 4) к княгине Нехлюдовой и к Валахиной, ежели

успеешь. И, разумеется, к попечителю, к ректору и к профессорам.

Последние визиты Дмитрий отсоветовал мне делать, говоря, что это не только не нужно, но даже было бы неприлично, но остальные надо было все сделать сегодня. Из них особенно пугали меня два первые визита, подле которых было написано *непременно*. Князь Иван Иваныч был генерал-аншеф, старик, богач и один; стало быть, я, шестнадцатилетний студент, должен был иметь с ним прямые отношения, которые, я предчувствовал, не могли быть для меня лестны. Ивины тоже были богачи, и отец их был какой-то важный штатский генерал, который всего только раз, при бабушке, сам был у нас. После же смерти бабушки, я замечал, младший Ивин дичился нас и как будто важничал. Старший, как я знал по слухам, уж кончил курс в Правоведении и служил в Петербурге; второй, Сергей, которого я обожал некогда, был тоже в Петербурге большим толстым кадетом в Пажеском Корпусе.

Я в юности не только не любил отношений с людьми, которые считали себя выше меня, но такие отношения были для меня невыносимо мучительны, вследствие постоянного страха оскорбления и напряжения всех умственных сил на то, чтобы доказать им свою самостоятельность. Однако, не исполняя последнего приказания папа, надо было загладить вину исполнением первых. Я ходил по комнате, оглядывая разложенные на стульях платье, шпагу и шляпу, и собирался уж ехать, когда ко мне пришел с поздравлением старик Грап и привел с собой Илиньку. Отец Грап был обрусевший немец, невыносимо приторный, льстивый и весьма часто нетрезвый; он приходил к нам большей частью только для того, чтобы просить о чем-нибудь, и папа сажал его иногда у себя в кабинете, но обедать его никогда не сажали с нами. Его унижение и попрошайничество так слилось с каким-то внешним добродушием и привычкою к нашему дому, что все ставили ему в большую заслугу его будто бы привязанность ко всем нам, но я почему-то не любил его и, когда он говорил, мне всегда бывало стыдно за него.

Я был очень недоволен приходом этих гостей и не старался скрывать своего неудовольствия. На Илиньку я так привык смотреть свысока, и он так привык считать нас в праве это делать, что мне было несколько неприятно, что он такой же

студент, как и я. Мне казалось, что и ему было несколько совестно передо мной за это равенство. Я холодно поздоровался с ним и, не пригласив их сесть, потому что мне было совестно это сделать, думая, что они это могут сделать и без моего приглашения, велел закладывать пролетку. Илинька был добрый, очень честный и весьма неглупый молодой человек, но он был то, что называется малый с дурью; на него беспрестанно находило и, казалось, без всяких причин, какое-нибудь крайнее расположение духа — то плаксивость, то смешливость, то обидчивость за всякую малость; и теперь, как кажется, он находился в этом последнем настроении духа. Он ничего не говорил, злобно посматривал на меня и на отца и только, когда к нему обращались, улыбался своею покорной, принужденной улыбкой, под которой он уж привык скрывать все свои чувства и особенно чувство стыда за своего отца, которое он не мог не испытывать при нас.

— Так-то-с, Николай Петрович, — говорил мне старик, следуя за мной по комнате, в то время, как я одевался, и почтительно медленно вертя между своими толстыми пальцами серебряную, подаренную бабушкой, табакерку: — как только узнал от сына, что вы изволили так отлично выдержать экзамен — ведь ваш ум всем известен, — тотчас прибежал поздравить, батюшка; ведь я вас на плече носил, и Бог видит, что всех вас, как родных, люблю, и Илинька мой всё просился к вам. Тоже и он привык уж к вам.

Илинька в это время сидел молча у окна, рассматривая будто бы мою треугольную шляпу, и чуть заметно, что-то сердито бормотал себе под нос.

— Ну, а я вас хотел спросить, Николай Петрович, — продолжал старик: — как мой-то Илюша хорошо экзаменовался? Он говорил, что будет с вами вместе, так вы уж его не оставьте, присмотрите за ним, посоветуйте.

— Что же, он прекрасно выдержал,— отвечал я, взглянув на Илиньку, который, почувствовав на себе мой взгляд, покраснел и перестал шевелить губами.

— А можно ему у вас пробыть нынче денек? — сказал старик с такой робкой улыбкой, как будто он очень боялся меня, и всё, куда бы я ни подвинулся, оставаясь от меня в таком близком расстоянии, что винный и табачный запах, которым он весь был пропитан, ни на секунду не переставал мне быть

слышен. Мне было досадно за то, что он ставил меня в такое фальшивое положение к своему сыну, и за то, что отвлекал мое внимание от весьма важного для меня тогда занятия — одеванья; а главное, этот преследующий меня запах перегара так расстроил меня, что я очень холодно сказал ему, что я не могу быть с Илинькой, потому что целый день не буду дома.

— Да ведь вы хотели итти к сестрице, батюшка, — сказал Илинька, улыбаясь и не глядя на меня: — да и мне дело есть.— Мне стало еще досаднее и совестнее, и чтобы загладить чем-нибудь свой отказ, я поспешил сообщить, что я не буду дома, потому что должен быть у *князя* Ивана Иваныча, у *княгини* Корнаковой, у Ивина, того самого, что имеет такое важное место, и что верно буду обедать у *княгини* Нехлюдовой. Мне казалось, что, узнав, к каким важным людям я еду, они уже не могли претендовать на меня. Когда они собрались уходить, я пригласил Илиньку заходить ко мне в другой раз; но Илинька только промычал что-то и улыбнулся с принужденным выражением. Видно было. что нога его больше никогда у меня не будет.

Вслед за ними я поехал по своим визитам. Володя, которого еще утром я просил ехать вместе, чтобы мне было не так неловко одному, отказался, под предлогом, что это было бы слишком чувствительно, что два *братца* ездят вместе на одной *пролеточке*.

ГЛАВА XVIII.

ВАЛАХИНЫ.

Итак, я отправился один. Первый визит был, по местности, к Валахиной, на Сивцевом Вражке. Я года три не видал Сонечки, и любовь моя к ней, разумеется, давным-давно прошла, но в душе оставалось еще живое и трогательное воспоминание прошедшей детской любви. Мне случалось в продолжение этих трех лет вспоминать об ней с такой силой и ясностью, что я проливал слезы и чувствовал себя снова влюбленным, но это продолжалось только несколько минут и возвращалось снова нескоро.

Я знал, что Сонечка с матерью была за границею, где они пробыли года два, и где, рассказывали, их вывалили в дилижансе и Сонечке изрезали лицо стеклами кареты, от чего она будто бы очень подурнела. Дорогой к ним я живо вспоминал

о прежней Сонечке и думал о том, какою теперь ее встречу. Вследствие двухлетнего пребывания ее за границей, я воображал ее почему-то чрезвычайно высокой, с прекрасной талией, серьезной и важной, но необыкновенно привлекательной. Воображение мое отказывалось представлять ее с изуродованным шрамами лицом; напротив, слышав где-то про страстного любовника, оставшегося верным своему предмету, несмотря на изуродовавшую его оспу, я старался думать, что я влюблен в Сонечку, для того, чтобы иметь заслугу, несмотря на шрамы, остаться ей верным. Вообще, подъезжая к дому Валахиных, я не был влюблен, но, расшевелив в себе старые воспоминания любви, был хорошо приготовлен влюбиться и очень желал этого; тем более, что мне уже давно было совестно, глядя на всех своих влюбленных приятелей, за то что я так отстал от них.

Валахины жили в маленьком, чистеньком деревянном домике, вход которого был со двора. Дверь отпер мне, по звону в колокольчик, который был тогда еще большою редкостью в Москве, крошечный, чисто одетый мальчик. Он не умел или не хотел сказать мне, дома ли господа, и, оставив одного в темной передней, убежал в еще более темный коридор.

Я довольно долго оставался один в этой темной комнате, в которой, кроме входа и коридора, была еще одна запертая дверь, и отчасти удивлялся этому мрачному характеру дома, отчасти полагал, что это так должно быть у людей, которые были за границей. Минут через пять дверь в залу отперлась изнутри посредством того же мальчика, и он провел меня в опрятную, но небогатую гостиную, в которую вслед за мною вошла Сонечка.

Ей было семнадцать лет. Она была очень мала ростом, очень худа и с желтоватым нездоровым цветом лица. Шрамов на лице не было заметно никаких, но прелестные выпуклые глаза и светлая, добродушно веселая улыбка были те же, которые я знал и любил в детстве. Я совсем не ожидал ее такою и поэтому никак не мог сразу излить на нее то чувство, которое приготовил дорогой. Она подала мне руку по английскому обычаю, который был тогда такая же редкость, как и колокольчик, пожала откровенно мою руку и усадила подле себя на диване.

— Ах, как я рада вас видеть, милый Nicolas, — сказала она,

вглядываясь мне в лицо, с таким искренним выражением удовольствия, что в словах: «милый Nicolas», я заметил дружеский, а не покровительственный тон. Она, к удивлению моему, после поездки за границу была еще проще, милее и родственнее в обращении, чем прежде. Я заметил два маленькие шрама около носу и на брови, но чудесные глаза и улыбка были совершенно верны с моими воспоминаниями и блестели по-старому.

— Как вы переменились!— говорила она: — совсем большой стали. Ну, а я — как вы находите?

— Ах, я бы вас не узнал,— отвечал я, несмотря на то, что в это самое время думал, что я всегда бы узнал ее. Я чувствовал себя снова в том беспечно веселом расположении духа, в котором я пять лет тому назад танцовал с ней гросфатер на бабушкином бале.

— Что ж, я очень подурнела? — спросила она, встряхивая головкой.

— Нет, совсем нет, выросли немного, старше стали,— заторопился я отвечать: — но напротив.... и даже....

— Ну, да всё равно; а помните наши танцы, игры, St.-Jérôme'a, m-me Dorat? (Я не помнил никакой m-me Dorat; она, видно, увлекалась наслаждением детских воспоминаний и смешивала их.) — Ах, славное время было,— продолжала она, и та же улыбка, даже лучше той, которую я носил в воспоминании, и всё те же глаза блестели передо мною. В то время, как она говорила, я успел подумать о том положении, в котором я находился в настоящую минуту, и решил сам с собою, что в настоящую минуту я был влюблен. Как только я решил это, в ту же секунду исчезло мое счастливое, беспечное расположение духа, какой-то туман покрыл всё, что было передо мной, — даже ее глаза и улыбку, мне стало чего-то стыдно, я покраснел и потерял способность говорить.

— Теперь другие времена, — продолжала она, вздохнув и подняв немного брови: — гораздо всё хуже стало, и мы хуже стали, не правда ли, Nicolas?

Я не мог отвечать и молча смотрел на нее.

— Где все теперь тогдашние Ивины, Корнаковы? Помните?— продолжала она, с некоторым любопытством вглядываясь в мое раскрасневшееся испуганное лицо: — славное было время!

Я всё-таки не мог отвечать.

Из этого тяжелого положения вывел меня на время приход в комнату старой Валахиной. Я встал, поклонился и снова получил способность говорить; но зато, с приходом матери, с Сонечкой произошла странная перемена. Вся ее веселость и родственность вдруг исчезли, даже улыбка сделалась другая, и она вдруг, исключая высокого роста, стала той приехавшей из-за границы барышней, которую я воображал найти в ней. Казалось, такая перемена не имела никакой причины, потому что мать ее улыбалась так же приятно и во всех движениях выражала такую же кротость, как и в старину. Валахина села на большие кресла и указала мне место подле себя. Дочери она сказала что-то по-английски, и Сонечка тотчас же вышла, что меня еще более облегчило. Валахина расспрашивала про родных, про брата, про отца, потом рассказала мне про свое горе — потерю мужа, и уже, наконец, чувствуя, что со мною говорить больше нечего, смотрела на меня молча, как будто говоря: «ежели ты теперь встанешь, раскланяешься и уедешь, то сделаешь очень хорошо, мой милый», но со мной случилось странное обстоятельство. Сонечка вернулась в комнату с работой и села в другом углу гостиной так, что я чувствовал на себе ее взгляды. Во время рассказа Валахиной о потере мужа я еще раз вспомнил о том, что я влюблен, и подумал еще, что вероятно и мать уже догадалась об этом, и на меня снова нашел припадок застенчивости, такой сильной, что я чувствовал себя не в состоянии пошевелиться ни одним членом естественно. Я знал, что для того, чтобы встать и уйти, я должен буду думать о том, куда поставить ногу, что сделать с головой, что с рукой, одним словом, я чувствовал почти то же самое, что и вчера, когда выпил полбутылки шампанского. Я предчувствовал, что со всем этим я не управлюсь, и поэтому *не мог* встать, и действительно *не мог* встать. Валахина, верно, удивлялась, глядя на мое красное, как сукно, лицо и совершенную неподвижность; но я решил, что лучше сидеть в этом глупом положении, чем рисковать как-нибудь нелепо встать и выйти. Так я и сидел довольно долго, ожидая, что какой-нибудь непредвиденный случай выведет меня из этого положения. Случай этот представился в лице невидного молодого человека, который, с приемами домашнего, вошел в комнату и учтиво поклонился мне. Валахина встала, извиняясь сказала, что ей надо поговорить с своим homme

d'affaires,[1] и взглянула на меня с недоумевающим выражением, говорившим: «ежели вы век хотите сидеть, то я вас не выгоняю». Кое-как сделав страшное усилие над собою, я встал, но уже не был в состоянии поклониться и, выходя, провожаемый взглядами соболезнования матери и дочери, зацепил за стул, который вовсе не стоял на моей дороге, — но зацепил потому, что всё внимание мое было устремлено на то, чтобы не зацепить за ковер, который был под ногами. На чистом воздухе однако — подергавшись и помычав так громко, что даже Кузьма несколько раз спрашивал: «что угодно?» — чувство это рассеялось, и я стал довольно спокойно размышлять об моей любви к Сонечке и о ее отношениях к матери, которые мне показались странны. Когда я потом рассказывал отцу о моем замечании, что Валахина с дочерью не в хороших отношениях, он сказал:

— Да, она ее мучит, бедняжку, своей страшной скупостью, и странно, — прибавил он с чувством более сильным, чем то, которое мог иметь просто к родственнице: — Какая была прелестная, милая, чудная женщина! Я не могу понять, отчего она так переменилась. Ты не видел там, у ней, ее секретаря какого-то? И что за манера русской барыне иметь секретаря?— сказал он, сердито отходя от меня.

— Видел,— отвечал я.

— Что, он хорош собой, по крайней мере?

— Нет, совсем не хорош.

— Непонятно,— сказал папа и сердито подергал плечом и покашлял.

«Вот я и влюблен», думал я, катясь далее в своих дрожках.

ГЛАВА XIX.

КОРНАКОВЫ.

Второй визит по дороге был к Корнаковым. Они жили в бельэтаже большого дома на Арбате. Лестница была чрезвычайно парадна и опрятна, но не роскошна. Везде лежали полосушки, прикрепленные чисто-начисто вычищенными медными прутами, но ни цветов, ни зеркал не было. Зала, через светло налощенный пол которой я прошел в гостиную, была так же строго, холодно и опрятно убрана, всё блестело и казалось

[1] [поверенным по делам,]

прочным, хотя и не совсем новым, но ни картин, ни гардин, никаких украшений нигде не было заметно. Несколько княжен были в гостиной. Они сидели так аккуратно и праздно, что сейчас было заметно: — они не так сидят, когда у них не бывает гостя.

— Maman сейчас выйдет,— сказала мне старшая из них, подсев ко мне ближе. С четверть часа эта княжна занимала меня разговором весьма свободно и так ловко, что разговор ни на секунду не умолкал. Но уж слишком заметно было, что она занимает меня, и поэтому она мне не понравилась. Она рассказала мне между прочим, что их брат Степан, которого они звали *Этьен*, и которого года два тому назад отдали в Юнкерскую школу, был уже произведен в офицеры. Когда она говорила о брате и особенно о том, что он против воли maman пошел в гусары, она сделала испуганное лицо, и все младшие княжны, сидевшие молча, сделали тоже испуганные лица; когда она говорила о кончине бабушки, она сделала печальное лицо, и все младшие княжны сделали то же; когда она вспомнила о том, как я ударил St.-Jérôme'a, и меня вывели, она засмеялась и показала дурные зубы, и все княжны засмеялись и показали дурные зубы.

Вошла княгиня; та же маленькая, сухая женщина с бегающими глазами и привычкой оглядываться на других в то время как она говорила с вами. Она взяла меня за руку и подняла свою руку к моим губам, чтобы я поцаловал ее, чего бы я иначе, не полагая этого необходимым, никак не сделал.

— Как я рада вас видеть,— заговорила она с своей обыкновенной речивостью, оглядываясь на дочерей. — Ах, как он похож на свою maman. Не правда ли, Lise?

Lise сказала, что правда, хотя я знаю наверно, что во мне не было ни малейшего сходства с матушкой.

— Так вот как вы, уж и большой стали! — и мой Этьен, вы его помните, ведь он ваш троюродный.... нет, не троюродный, а как это, Lise? моя мать была Варвара Дмитриевна, дочь Дмитрия Николаича, а ваша бабушка Наталья Николаевна.

— Так четвероюродный, maman,— сказала старшая княжна.

— Ах, ты всё путаешь,— сердито крикнула на нее мать: — совсем не троюродный, а issus de germains[1] — вот как вы с

[1] [четвероюродный брат]

моим Этьеночкой. Он уж офицер, знаете? Только не хорошо, что уж слишком на воле. Вас, молодежь, надо еще держать в руках, и вот как!... Вы на меня не сердитесь, на старую тетку, что я вам правду говорю; я Этьена держала строго и нахожу, что так надо.

— Да, вот как мы родня,— продолжала она:— князь Иван Иваныч мне дядя родной и вашей матери был дядя. Стало быть, двоюродные мы были с вашей maman, нет, троюродные, да, так. Ну, а скажите: вы были, мой друг, у *князь* Ивана?

Я сказал, что еще нет, но буду нынче.

— Ах, как это можно!— воскликнула она:— это вам первый визит надо было сделать. Ведь вы знаете, что *князь* Иван вам всё равно, что отец. У него детей нет, стало быть, его наследники только вы, да мои дети. Вам надо его уважать и по летам, и по положению в свете, и по всему. Я знаю, вы, молодежь нынешнего века, уж не считаете родство и не любите стариков; но вы меня послушайте, старую тетку, потому что я вас люблю, и вашу maman любила, и бабушку тоже очень, очень любила и уважала. Нет, вы поезжайте, непременно, непременно поезжайте.

Я сказал, что непременно поеду, и так как уж визит, по моему мнению, продолжался достаточно долго, я встал и хотел уехать, но она удержала меня.

— Нет, постойте минутку. Где ваш отец, Lise? позовите его сюда; он так рад будет вас видеть,— продолжала она, обращаясь ко мне.

Через минуты две действительно вошел князь Михайло. Это был невысокий, плотный господин, весьма неряшливо одетый, невыбритый и с каким-то таким равнодушным выражением в лице, что оно походило даже на глупое. Он нисколько не был рад меня видеть, по крайней мере, не выразил этого. Но княгиня, которой он, повидимому, очень боялся, сказала ему:

— Не правда ли, как Вольдемар (она забыла верно мое имя) похож на свою maman? — и сделала такой жест глазами, что князь, должно быть, догадавшись, чего она хотела, подошел ко мне и с самым бесстрастным, даже недовольным выражением лица протянул мне свою небритую щеку, в которую я должен был поцаловать его.

— А ты еще не одет, а тебе надо ехать, — тотчас же после этого начала говорить ему княгиня сердитым тоном, кото-

рый, видимо, был ей привычен в отношении с домашними: — опять чтоб на тебя сердились, опять хочешь восстановить против себя.

— Сейчас, сейчас, матушка, — сказал князь Михайло и вышел. Я раскланялся и вышел тоже.

Я в первый раз слышал, что мы были наследники князя Ивана Иваныча, и это известие неприятно поразило меня.

ГЛАВА XX.

ИВИНЫ.

Мне еще тяжелей стало думать о предстоящем необходимом визите. Но прежде, чем к князю, по дороге надо было заехать к Ивиным. Они жили на Тверской в огромном, красивом доме. Не без боязни вошел я на парадное крыльцо, у которого стоял швейцар с булавой.

Я спросил его, — дома ли?

— Кого вам надо? Генеральский сын дома, — сказал мне швейцар.

— А сам генерал? — спросил я храбро.

— Надо доложить. Как прикажете? — сказал швейцар и позвонил. Лакейские ноги в штиблетах показались на лестнице. Я так оробел, сам не знаю чего, что сказал лакею, чтоб он не докладывал генералу, а что я пройду прежде к генеральскому сыну. Когда я шел вверх, по этой большой лестнице, мне показалось, что я сделался ужасно маленький (и не в переносном, а в настоящем значении этого слова). То же чувство я испытал и тогда, когда мои дрожки подъехали к большому крыльцу: мне показалось, что и дрожки, и лошадь, и кучер сделались маленькие. Генеральский сын лежал на диване с открытой перед ним книгой и спал, когда я вошел к нему. Его гувернер, г. Фрост, который всё еще оставался у них в доме, вслед за мной своей молодецкой походкой вошел в комнату и разбудил своего воспитанника. Ивин не изъявил особенной радости при виде меня, и я заметил, что, разговаривая со мной, он смотрел мне в брови. Хотя он был очень учтив, мне казалось, что он занимает меня так же, как и княжна, и что особенного влеченья ко мне он не чувствовал, а надобности в моем знакомстве ему не было, так как у него верно был свой, другой круг знакомства. Всё это я сообразил преимущественно потому, что он

смотрел мне в брови. Одним словом, его отношения со мной были, как мне ни неприятно признаться в этом, почти такие же, как мои с Илинькой. Я начинал приходить в раздраженное состояние духа, каждый взгляд Ивина ловил на лету и, когда он встречался с глазами Фроста, переводил его вопросом: «и зачем он приехал к нам?»

Поговорив немного со мной, Ивин сказал, что его отец и мать дома, так не хочу ли я сойти к ним вместе.

— Сейчас я оденусь, — прибавил он, выходя в другую комнату, несмотря на то, что и в своей комнате был хорошо одет — в новом сюртуке и белом жилете. Через несколько минут он вышел ко мне в мундире, застегнутом на все пуговицы, и мы вместе пошли вниз. Парадные комнаты, через которые мы прошли, были чрезвычайно велики, высоки и, кажется, роскошно убраны, что-то было там мраморное, и золотое, и обвернутое кисеей, и зеркальное. Ивина в одно время с нами из другой двери вошла в маленькую комнату за гостиной. Она очень дружески-родственно приняла меня, усадила подле себя и с участием расспрашивала меня о всем нашем семействе.

Ивина, которую я прежде раза два видал мельком, а теперь рассмотрел внимательно, очень понравилась мне. Она была велика ростом, худа, очень бела и казалась постоянно грустной и изнуренной. Улыбка у нее была печальная, но чрезвычайно добрая; глаза были большие, усталые и несколько косые, что давало ей еще более печальное и привлекательное выражение. Она сидела не сгорбившись, а как-то опустившись всем телом, все движенья ее были падающие. Она говорила вяло, но звук голоса ее и выговор с неясным произношением *р* и *л* были очень приятны. Она не занимала меня. Ей, видимо, доставляли грустный интерес мои ответы об родных, как будто она, слушая меня, с грустью вспоминала лучшие времена. Сын ее вышел куда-то, она минуты две молча смотрела на меня и вдруг заплакала. Я сидел перед ней и никак не мог придумать, что́ бы мне сказать или сделать. Она продолжала плакать, не глядя на меня. Сначала мне было жалко ее, потом я подумал: «не надо ли утешать ее, и как это надо сделать?» и, наконец, мне стало досадно за то, что она ставила меня в такое неловкое положение. «Неужели я имею такой жалкий вид?» — думал я, — «или уж не нарочно ли она это делает, чтоб узнать, как я поступлю в этом случае?»

«Уйти же теперь неловко,— как будто я бегу от ее слез», продолжал думать я. Я повернулся на стуле, чтоб хоть напомнить ей о моем присутствии.

— Ах, какая я глупая! — сказала она, взглянув на меня и стараясь улыбнуться: — бывают такие дни, что плачешь без всякой причины.

Она стала искать платок подле себя на диване и вдруг заплакала еще сильнее.

— Ах, Боже мой! как это смешно, что я всё плачу. Я так любила вашу мать, мы так дружны.... были.... и....

Она нашла платок, закрылась им и продолжала плакать. Опять повторилось мое неловкое положение и продолжалось довольно долго. Мне было и досадно, и еще больше жалко ее. Слезы ее казались искренни, и мне всё думалось, что она не столько плакала об моей матери, сколько о том, что ей самой было не хорошо теперь, и когда-то, в те времена, было гораздо лучше. Не знаю, чем бы это кончилось, ежели бы не вошел молодой Ивин и не сказал, что старик Ивин ее спрашивает. Она встала и хотела уже итти, когда сам Ивин вошел в комнату. Это был маленький, крепкий, седой господин с густыми черными бровями, с совершенно седой, коротко обстриженной головой и чрезвычайно строгим и твердым выражением рта.

Я встал и поклонился ему, но Ивин, у которого было три звезды на зеленом фраке, не только не ответил на мой поклон, но почти не взглянул на меня, так что я вдруг почувствовал, что я не человек, а какая-то не стоящая внимания вещь — кресло или окошко, или ежели человек, то такой, который нисколько не отличается от кресла или окошка.

— А вы всё не написали графине, моя милая, — сказал он жене по-французски, с бесстрастным, но твердым выражением лица.

— Прощайте, M-r Irteneff,— сказала мне Ивина, вдруг как-то гордо кивнув головой и, так же, как сын, посмотрев мне в брови. Я поклонился еще раз ей и ее мужу, и опять на старого Ивина мой поклон подействовал так же, как ежели бы открыли или закрыли окошко. Студент Ивин проводил меня однако до двери и дорогой рассказал, что он переходит в Петербургский Университет, потому что отец его получил там место (он назвал мне какое-то очень важное место).

«Ну, уж как папа хочет»,— пробормотал я сам себе, садясь

в дрожки: «а моя нога больше не будет здесь никогда; эта нюня плачет, на меня глядя, точно я несчастный какой-нибудь, а Ивин, свинья, не кланяется; я же ему задам....» Чем это я хотел задать ему, я решительно не знаю, но так это пришлось к слову.

После часто мне надо было выдерживать увещания отца, который говорил, что необходимо «*культивировать*» это знакомство, и что я не могу требовать, чтоб человек в таком положении, как Ивин, занимался мальчишкой, как я; но я выдержал характер довольно долго.

ГЛАВА XXI.

КНЯЗЬ ИВАН ИВАНЫЧ.

«Ну, теперь последний визит на Никитскую»,— сказал я Кузьме, и мы покатили к дому князя Ивана Иваныча.

Пройдя через несколько визитных испытаний, я обыкновенно приобретал самоуверенность, и теперь подъезжал было к князю с довольно спокойным духом, как вдруг мне вспомнились слова княгини Корнаковой, что я наследник; кроме того, я увидел у крыльца два экипажа и почувствовал прежнюю робость.

Мне казалось, что и старый швейцар, который отворил мне дверь, и лакей, который снял с меня шинель, и три дамы и два господина, которых я нашел в гостиной, и в особенности сам князь Иван Иваныч, который в штатском сюртуке сидел на диване, — мне казалось, что все смотрели на меня, как на наследника, и вследствие этого недоброжелательно. Князь был со мной очень ласков, поцаловал меня, т. е. приложил на секунду к моей щеке мягкие, сухие и холодные губы, расспрашивал о моих занятиях, планах, шутил со мной, спрашивал, пишу ли я всё стихи, как те, которые написал в именины бабушки, и сказал, чтобы я приходил нынче к нему обедать. Но чем больше он был ласков, тем больше мне всё казалось, что он хочет обласкать меня только с тем, чтобы не дать заметить, как ему неприятна мысль, что я его наследник. Он имел привычку — происходившую от фальшивых зубов, которых у него был полон рот, — сказав что-нибудь, поднимать верхнюю губу к носу и, производя легкий звук сопения, как будто втягивать эту губу себе в ноздри, и когда он это делал теперь,

мне все казалось, что он про себя говорил: «мальчишка, мальчишка, и без тебя знаю: наследник, наследник», и т. д.

Когда мы были детьми, мы называли князя Ивана Иваныча дедушкой, но теперь, в качестве наследника, у меня язык не ворочался сказать ему — «дедушка», а сказать — «ваше сиятельство», как говорил один из господ, бывших тут, мне казалось унизительным, так что во всё время разговора я старался никак не называть его. Но более всего меня смущала старая княжна, бывшая тоже наследницей князя и жившая в его доме. Во всё время обеда, за которым я сидел рядом с княжной, я предполагал, что княжна не говорит со мной потому, что ненавидит меня за то, что я такой же наследник князя, как и она, и что князь не обращает внимания на нашу сторону стола потому, что мы — я и княжна — наследники, ему одинаково противны.

— Да, ты не поверишь, как мне было неприятно, — говорил я в тот же день вечером Дмитрию, желая похвастаться перед ним чувством отвращения к мысли о том, что я наследник (мне казалось, что это чувство очень хорошее): — как мне неприятно было нынче целых два часа пробыть у князя. Он прекрасный человек и был очень ласков ко мне, — говорил я, желая между прочим внушить своему другу, что всё это я говорю не вследствие того, чтобы я чувствовал себя униженным перед князем, — но, — продолжал я, — мысль о том, что на меня могут смотреть, как на княжну, которая живет у него в доме и подличает перед ним, ужасная мысль. Он чудесный старик и со всеми чрезвычайно добр и деликатен, а больно смотреть, как он *мальтретирует* эту княжну. Эти отвратительные деньги портят все отношения!

— Знаешь, я думаю гораздо бы лучше прямо объясниться с князем, — говорил я: — сказать ему, что я его уважаю, как человека, но о наследстве его не думаю и прошу его, чтобы он мне ничего не оставлял, и что только в этом случае я буду ездить к нему. — Дмитрий не расхохотался, когда я сказал ему это; напротив, он задумался и, помолчав несколько минут, сказал мне:

— Знаешь что? Ты не прав. Или тебе не должно вовсе предполагать, чтоб о тебе могли думать так же, как об этой вашей княжне какой-то, или ежели уж ты предполагаешь это, то предполагай дальше, т. е. что ты знаешь, что о тебе могут

думать, но что мысли эти так далеки от тебя, что ты их презираешь и на основании их ничего не будешь делать. Ты предполагай, что они предполагают, что ты предполагаешь это.... но, одним словом,—прибавил он, чувствуя, что путается в своем рассуждении: — гораздо лучше вовсе и не предполагать этого.

Мой друг был совершенно прав; только гораздо, гораздо позднее, я из опыта жизни убедился в том, как вредно думать и еще вреднее говорить многое, кажущееся очень благородным, но что́ должно навсегда быть спрятано от всех в сердце каждого человека, — и в том, что благородные слова редко сходятся с благородными делами. Я убежден в том, что уже по одному тому, что хорошее намерение высказано, — трудно, даже большей частью невозможно, исполнить это хорошее намерение. Но как удержать от высказывания благородно-самодовольные порывы юности? Только гораздо позже вспоминаешь их и жалеешь о них, как о цветке, который — не удержался — сорвал нераспустившимся и потом увидел на земле завялым и затоптанным.

Я, который сейчас только говорил Дмитрию, своему другу, о том, как деньги портят отношения, на другой день утром, перед нашим отъездом в деревню, когда оказалось, что я промотал все свои деньги на разные картинки и стамбулки, взял у него двадцать пять рублей ассигнациями на дорогу, которые он предложил мне, и потом очень долго оставался ему должен.

ГЛАВА XXII.

ЗАДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР С МОИМ ДРУГОМ.

Теперешний разговор наш происходил в фаэтоне на дороге в Кунцево. Дмитрий отсоветовал мне ехать утром с визитом к своей матери, а заехал за мной после обеда, чтоб увезти на весь вечер и даже ночевать, на дачу, где жило его семейство. Только когда мы выехали из города, и грязно-пестрые улицы и несносный оглушительный шум мостовой заменились просторным видом полей и мягким похряскиванием колес по пыльной дороге, и весенний пахучий воздух и простор охватил меня со всех сторон, только тогда я немного опомнился от разнообразных новых впечатлений и сознания свободы, которые в эти два дня совершенно меня запутали. Дмитрий был общителен и кроток, не поправлял головой галстука, не под-

мигивал нервически и не зажмуривался; я был доволен теми благородными чувствами, которые ему высказал, полагая, что за них он совершенно простил мне мою постыдную историю с Колпиковым, не презирает меня за нее, и мы дружно разговорились о многом таком задушевном, которое не во всяких условиях говорится друг другу. Дмитрий рассказывал мне про свое семейство, которого я еще не знал, про мать, тетку, сестру и ту, которую Володя и Дубков считали пассией моего друга и называли *рыженькой*. Про мать он говорил с некоторой холодной и торжественной похвалой, как будто с целью предупредить всякое возражение по этому предмету; про тетку он отзывался с восторгом, но и с некоторой снисходительностью; про сестру он говорил очень мало и как будто бы стыдясь мне говорить о ней; но про *рыженькую*, которую по настоящему звали Любовью Сергеевной, и которая была пожилая девушка, жившая по каким-то семейным отношениям в доме Нехлюдовых, он говорил мне с одушевлением.

— Да, она удивительная девушка, — говорил он, стыдливо краснея, но тем с большей смелостью глядя мне в глаза: — она уж не молодая девушка, даже скорей старая, и совсем не хороша собой, но ведь что за глупость, бессмыслица — любить красоту! — я этого не могу понять, так это глупо (он говорил это, как будто только-что открыл самую новую, необыкновенную истину), а такой души, сердца и правил... я уверен, не найдешь подобной девушки в нынешнем свете (не знаю, от кого перенял Дмитрий привычку говорить, что всё хорошее редко в нынешнем свете, но он любил повторять это выражение, и оно как-то шло к нему).

— Только я боюсь, — продолжал он спокойно, совершенно уже уничтожив своим рассуждением людей, которые имели глупость любить красоту: — я боюсь, что ты не поймешь и не узнаешь ее скоро: она скромна и даже скрытна, не любит показывать свои прекрасные, удивительные качества. Вот матушка, которая, ты увидишь, прекрасная и умная женщина, — она знает Любовь Сергеевну уже несколько лет и не может, и не хочет понять ее. Я даже вчера... я скажу тебе, отчего я был не в духе, когда ты у меня спрашивал. Третьего дня Любовь Сергеевна желала, чтоб я съездил с ней к Ивану Яковлевичу,—ты слышал, верно, про Ивана Яковлевича, который будто бы сумасшедший, а действительно замечательный человек.

Любовь Сергеевна чрезвычайно религиозна, надо тебе сказать, и понимает совершенно Ивана Яковлевича. Она часто ездит к нему, беседует с ним и дает ему для бедных деньги, которые сама вырабатывает. Она удивительная женщина, ты увидишь. Ну, и я ездил с ней к Ивану Яковлевичу, и очень благодарен ей за то, что видел этого замечательного человека. А матушка никак не хочет понять этого, видит в этом суеверие. И вчера у меня с матушкой в первый раз в жизни был спор, и довольно горячий, — заключил он, сделав судорожное движение шеей, как будто в воспоминание о чувстве, которое он испытывал при этом споре.

— Ну, и как же ты думаешь? то есть как, когда ты воображаешь, что́ выйдет... или вы с нею говорите о том, что́ будет и чем кончится ваша любовь или дружба? — спросил я, желая отвлечь его от неприятного воспоминания.

— Ты спрашиваешь, думаю ли я жениться на ней? — спросил он меня, снова краснея, но смело, повернувшись, глядя мне в лицо.

«Что ж в самом деле, подумал я, успокоивая себя, это ничего, мы *большие*, два друга, едем в фаэтоне и рассуждаем о нашей будущей жизни. Всякому даже приятно бы было теперь со стороны послушать и посмотреть на нас».

— Отчего ж нет? — продолжал он после моего утвердительного ответа: — ведь моя цель, как и всякого благоразумного человека, — быть счастливым и хорошим, сколько возможно; и с ней, ежели только она захочет этого, когда я буду совершенно независим, я с ней буду и счастливее, и лучше, чем с первой красавицей в мире.

В таких разговорах мы и не заметили, как подъезжали к Кунцеву, — не заметили и того, что небо заволокло, и собирался дождик. Солнце уже стояло невысоко, направо, над старыми деревьями кунцевского сада, и половина блестящего красного круга была закрыта серой, слабо-просвечивающей тучей; из другой половины брызгами вырывались раздробленные огненные лучи и поразительно ярко освещали старые деревья сада, неподвижно блестевшие своими зелеными густыми макушками еще на ясном, освещенном месте лазури неба. Блеск и свет этого края неба был резко противоположен лиловой тяжелой туче, которая залегла перед нами над молодым березником, видневшимся на горизонте.

Немного правее виднелись уже из-за кустов и дерев разноцветные крыши дачных домиков, из которых некоторые отражали на себе блестящие лучи солнца, некоторые принимали на себя унылый характер другой стороны неба. Налево внизу синел неподвижный пруд, окруженный бледно-зелеными ракитами, которые темно отражались на его матовой, как бы выпуклой поверхности. За прудом, по полугорью, расстилалось паровое чернеющее поле, и прямая линия ярко-зеленой межи, пересекавшей его, уходила вдаль и упиралась в свинцовый грозовый горизонт. С обеих сторон мягкой дороги, по которой мерно покачивался фаэтон, резко зеленела сочная уклочившаяся рожь, уж кое-где начинавшая выбивать в трубку. В воздухе было совершенно тихо и пахло свежестью; зелень деревьев, листьев и ржи была неподвижна и необыкновенно чиста и ярка. Казалось, каждый лист, каждая травка жили своей отдельной, полной и счастливой жизнью. Около дороги я заметил черноватую тропинку, которая вилась между темно-зеленой, уже больше чем на четверть поднявшейся рожью, и эта тропинка почему-то мне чрезвычайно живо напомнила деревню и вследствие воспоминания о деревне, по какой-то странной связи мыслей, чрезвычайно живо напомнила мне Сонечку и то, что я влюблен в нее.

Несмотря на всю дружбу мою к Дмитрию и на удовольствие, которое доставляла мне его откровенность, мне не хотелось более ничего знать о его чувствах и намерениях в отношении Любовь Сергеевны, а непременно хотелось сообщить про свою любовь к Сонечке, которая мне казалась любовью гораздо высшего разбора. Но я почему-то не решился сказать ему прямо свои предположения о том, как будет хорошо, когда я, женившись на Сонечке, буду жить в деревне, как у меня будут маленькие дети, которые, ползая по полу, будут называть меня папой, и как я обрадуюсь, когда он с своей женой, Любовью Сергеевной, приедет ко мне в дорожном платье.... а сказал, вместо всего этого, указывая на заходящее солнце: «Дмитрий, посмотри, какая прелесть!»

Дмитрий ничего не сказал мне, видимо недовольный тем, что на его признание, которое, вероятно, стоило ему труда, я отвечал, обращая его внимание на природу, к которой он вообще был хладнокровен. Природа действовала на него совсем иначе, чем на меня: она действовала на него не столько

красотой, сколько занимательностью; он любил ее более умом, чем чувством.

— Я очень счастлив, — сказал я ему вслед за этим, не обращая внимания на то, что он, видимо, был занят своими мыслями и совершенно равнодушен к тому, что я мог сказать ему:— я ведь тебе говорил, помнишь, про одну барышню, в которую я был влюблен, бывши ребенком; я видел ее нынче, — продолжал я с увлечением: — и теперь я решительно влюблен в нее...

И я рассказал ему, несмотря на продолжавшееся на лице его выражение равнодушия, про свою любовь и про все планы о будущем супружеском счастии. И странно, что как только я рассказал подробно про всю силу своего чувства, так в то же мгновение я почувствовал, как чувство это стало уменьшаться.

Дождик захватил нас, когда уже мы повернули в березовую аллею, ведущую к даче. Но он не замочил нас. Я знал, что шел дождик, только потому, что несколько капель упало мне на нос и на руку, и что что-то зашлепало по молодым клейким листьям берез, которые, неподвижно повесив свои кудрявые ветви, казалось, с наслаждением, выражающимся тем сильным запахом, которым они наполняли аллею, принимали на себя эти чистые, прозрачные капли. Мы вышли из коляски, чтоб поскорее до дома пробежать садом. Но у самого входа в дом столкнулись с четырьмя дамами, из которых две с работами, одна с книгой, а другая с собачкой скорыми шагами шли с другой стороны. Дмитрий тут же представил меня своей матери, сестре, тетке и Любовь Сергеевне. На секунду они остановились, но дождик начинал накрапывать чаще и чаще.

— Пойдемте на галлерею, там ты его еще раз представишь, — сказала та, которую я принял за мать Дмитрия, и мы вместе с дамами взошли на лестницу.

ГЛАВА XXIII.

НЕХЛЮДОВЫ.

В первую минуту из всего этого общества более всех поразила меня Любовь Сергеевна, которая, держа на руках болонку, сзади всех, в толстых, вязаных башмаках всходила на лестницу и раза два, остановившись, внимательно оглянулась на меня и тотчас после этого поцаловала свою собачку. Она была

очень нехороша собой: рыжа, худа, невелика ростом, немного кривобока. Что еще более делало некрасивым ее некрасивое лицо, была странная прическа с пробором с боку (одна из тех причесок, которые придумывают для себя плешивые женщины). Как я ни старался в угодность своему другу, я не мог в ней найти ни одной красивой черты. Даже карие глаза ее, хотя и выражавшие добродушие, были слишком малы и тусклы и решительно нехороши; даже руки, эта характеристическая черта, хотя и небольшие и недурной формы, были красны и шершавы.

Когда я вслед за ними вошел на террасу — исключая Вареньки, сестры Дмитрия, которая только внимательно посмотрела на меня своими большими, темно-серыми глазами, — каждая из дам сказала мне несколько слов, прежде чем они снова взяли каждая свою работу, а Варенька вслух начала читать книгу, которую она держала у себя на коленях, заложив пальцем.

Княгиня Марья Ивановна была высокая, стройная женщина лет сорока. Ей можно бы было дать больше, судя по буклям полуседых волос, откровенно выставленных из-под чепца, но по свежему, чрезвычайно нежному, почти без морщин лицу, в особенности же по живому, веселому блеску больших глаз, ей казалось гораздо меньше. Глаза у нее были карие, очень открытые; губы слишком тонкие, немного строгие; нос довольно правильный и немного на левую сторону; рука у нее была без колец, большая, почти мужская, с прекрасными продолговатыми пальцами. На ней было темно-синее закрытое платье, крепко стягивающее ее стройную и еще молодую талию, которой она, видимо, щеголяла. Она сидела чрезвычайно прямо и шила какое-то платье. Когда я вошел на галлерею, она взяла мою руку, притянула меня к себе, как будто с желанием рассмотреть меня поближе, и сказала, взглянув на меня тем же несколько холодным, открытым взглядом, который был у ее сына, что она меня давно знает по рассказам Дмитрия, и что для того, чтобы ознакомиться хорошенько с ними, она приглашает меня пробыть у них целые сутки. — Делайте всё, что вам вздумается, нисколько не стесняясь нами, так же, как и мы не будем стесняться вами, — гуляйте, читайте, слушайте или спите, ежели вам это веселее, — прибавила она.

Софья Ивановна была старая девушка и младшая сестра

княгини, но на вид она казалась старше. Она имела тот особенный переполненный характер сложения, который только встречается у невысоких ростом, очень полных старых дев, носящих корсеты. Как будто всё здоровье ее ей подступило кверху с такой силой, что всякую минуту угрожало задушить ее. Ее коротенькие толстые ручки не могли соединяться ниже выгнутого мыска лифа, и самый туго-на-туго натянутый мысок лифа она уже не могла видеть.

Несмотря на то, что княгиня Марья Ивановна была черноволоса и черноглаза, а Софья Ивановна белокура и с большими живыми и вместе с тем (что большая редкость) спокойными голубыми глазами, между сестрами было большое семейное сходство; то же выражение, тот же нос, те же губы; только у Софьи Ивановны и нос, и губы были потолще немного и на правую сторону, когда она улыбалась, тогда как у княгини они были на левую. Софья Ивановна, судя по одежде и прическе, еще, видимо, молодилась и не выставила бы седых буклей, ежели бы они у нее были. Ее взгляд и обращение со мною показались мне в первую минуту очень гордыми и смутили меня; тогда как с княгиней, напротив, я чувствовал себя совершенно развязным. Может быть, эта толщина и некоторое сходство с портретом Екатерины Великой, которое поразило меня в ней, придавали ей в моих глазах гордый вид; но я совершенно оробел, когда она, пристально глядя на меня, сказала мне: «друзья наших друзей — наши друзья». Я успокоился и вдруг совершенно переменил о ней мнение только тогда, когда она, сказав эти слова, замолчала и, открыв рот, тяжело вздохнула. Должно быть, от полноты у нее была привычка после нескольких сказанных слов глубоко вздыхать, открывая немного рот и несколько закатывая свои большие голубые глаза. В этой привычке почему-то выражалось такое милое добродушие, что вслед за этим вздохом я потерял к ней страх, и она даже мне очень понравилась. Глаза ее были прелестны, голос звучен и приятен, даже эти очень круглые линии сложения в ту пору моей юности казались мне не лишенными красоты.

Любовь Сергеевна, как друг моего друга, (я полагал) должна была сейчас же сказать мне что-нибудь очень дружеское и задушевное, и она даже смотрела на меня довольно долго молча, как будто в нерешимости — не будет ли уж слишком дружески то, что она намерена сказать мне; но она прервала это

молчание только для того, чтобы спросить меня, в каком я факультете. Потом снова она довольно долго пристально смотрела на меня, видимо колеблясь: сказать или не сказать это задушевное дружеское слово, и я, заметив это сомнение, выражением лица умолял ее сказать мне всё, но она сказала: «нынче, говорят, в университете уже мало занимаются науками», и подозвала свою собачку Сюзетку.

Любовь Сергеевна весь этот вечер говорила такими большею частию нейдущими ни к делу, ни друг к другу изречениями; но я так верил Дмитрию, и он так заботливо весь этот вечер смотрел то на меня, то на нее с выражением, спрашивавшим: «ну, что?» — что я, как это часто случается, хотя в душе был уже убежден, что в Любовь Сергеевне ничего особенного нет, еще чрезвычайно далек был от того, чтобы высказать эту мысль даже самому себе.

Наконец, последнее лицо этого семейства, Варенька, была очень полная девушка лет шестнадцати.

Только темно-серые большие глаза, выражением, соединявшим веселость и спокойную внимательность, чрезвычайно похожие на глаза тетки, очень большая русая коса и чрезвычайно нежная и красивая рука — были хороши в ней.

— Вам, я думаю, скучно, М-г Nicolas, слушать из середины,— сказала мне Софья Ивановна с своим добродушным вздохом, переворачивая куски платья, которое она шила.

Чтение в это время прекратилось, потому что Дмитрий куда-то вышел из комнаты.

— Или, может быть, вы уже читали «Роброя»?

В то время я считал своею обязанностию, вследствие уже одного того, что носил студенческий мундир, с людьми мало мне знакомыми на каждый даже самый простой вопрос отвечать непременно очень *умно и оригинально* и считал величайшим стыдом короткие и ясные ответы, как: да, нет, скучно, весело и тому подобное. Взглянув на свои новые модные панталоны и блестящие пуговицы сюртука, я отвечал, что не читал «Роброя», но что мне было очень интересно слушать, потому что я больше люблю читать книги из средины, чем с начала.

— Вдвое интересней: догадываешься о том, что было и что будет,— добавил я, самодовольно улыбаясь.

Княгиня засмеялась, как будто бы неестественным смехом (впоследствии я заметил, что у ней не было другого смеха).

— Однако это, должно быть, правда,— сказала она:— а что, вы долго здесь пробудете, Nicolas? Вы не обидитесь, что я вас зову без monsieur? Когда вы едете?

— Не знаю, может быть, завтра, а может быть, пробудем еще довольно долго,— отвечал я почему-то, несмотря на то, что мы наверное должны были ехать завтра.

— Я бы желала, чтоб вы остались, и для вас, и для моего Дмитрия,— заметила княгиня, глядя куда-то далеко: — в ваши года дружба славная вещь.

Я чувствовал, что все смотрели на меня и ожидали того, что я скажу, хотя Варенька и притворялась, что смотрит работу гетки; я чувствовал, что мне делают в некотором роде экзамен, и что надо показаться как можно выгодней.

— Да, для меня,— сказал я, — дружба Дмитрия полезна, но я не могу ему быть полезен: он в тысячу раз лучше меня. (Дмитрий не мог слышать того, что я говорил, иначе я бы боялся, что он почувствует неискренность моих слов.)

Княгиня засмеялась снова неестественным, ей естественным смехом.

— Ну, а послушать его, — сказала она, — так c'est vous qui êtes un petit monstre de perfection.[1]

«Monstre de perfection — это отлично, надо запомнить», подумал я.

— Но, впрочем, не говоря об вас, он на это мастер, — продолжала она, понизив голос (что мне было особенно приятно) и указывая глазами на Любовь Сергеевну: — он открыл в *бедной тетеньке* (так называлась у них Любовь Сергеевна), которую я двадцать лет знаю с ее Сюзеткой, такие совершенства, каких я и не подозревала.... Варя, вели мне дать стакан воды, — прибавила она, снова взглянув вдаль, должно быть, найдя, что было еще рано или вовсе не нужно посвящать меня в семейные отношения: — или нет, лучше *он* сходит. *Он* ничего не делает, а ты читай. Идите, мой друг, прямо в дверь и, пройдя пятнадцать шагов, остановитесь и скажите громким голосом: «Петр, подай Марье Ивановне стакан воды со льдом», сказала она мне и снова слегка засмеялась своим неестественным смехом.

«Верно, она хочет про меня поговорить, подумал я, выходя из комнаты: — верно, хочет сказать, что она заметила, что я

---

[1] [это вы — маленькое чудовище совершенства.]

очень и очень умный молодой человек». Я еще не успел пройти пятнадцати шагов, как толстая, запыхавшаяся Софья Ивановна, однако скорыми и легкими шагами, догнала меня.

— Mercі, mon cher,[1] — сказала она: — я сама иду туда, так скажу.

ГЛАВА XXIV.

ЛЮБОВЬ.

Софья Ивановна, как я ее после узнал, была одна из тех редких немолодых женщин, рожденных для семейной жизни, которым судьба отказала в этом счастии, и которые вследствие этого отказа весь тот запас любви, который так долго хранился, рос и креп в их сердце для детей и мужа, решаются вдруг изливать на некоторых избранных. И запас этот у старых девушек такого рода бывает так неистощим, что, несмотря на то, что избранных много, еще остается много любви, которую они изливают на всех окружающих, на всех добрых и злых людей, которые только сталкиваются с ними в жизни.

Есть три рода любви:

1) Любовь красивая,
2) Любовь самоотверженная и
3) Любовь деятельная.

Я говорю не о любви молодого мужчины к молодой девице и наоборот, я боюсь этих нежностей, и был так несчастлив в жизни, что никогда не видал в этом роде любви ни одной искры правды, а только ложь, в которой чувственность, супружеские отношения, деньги, желание связать или развязать себе руки до того запутывали самое чувство, что ничего разобрать нельзя было. Я говорю про любовь к человеку, которая, смотря по большей или меньшей силе души, сосредоточивается на одном, на некоторых или изливается на многих, про любовь к матери, к отцу, к брату, к детям, к товарищу, к подруге, к соотечественнику, про любовь к человеку.

Любовь красивая заключается в любви красоты самого чувства и его выражения. Для людей, которые так любят — любимый предмет любезен только настолько, насколько он возбуждает то приятное чувство, сознанием и выражением которого они наслаждаются. Люди, которые любят красивой

---

[1] [Благодарю, дорогой мой,]

любовью, очень мало заботятся о взаимности, как о обстоятельстве, не имеющем никакого влияния на красоту и приятность чувства. Они часто переменяют предметы своей любви, так как их главная цель состоит только в том, чтоб приятное чувство любви было постоянно возбуждаемо. Для того, чтобы поддержать в себе это приятное чувство, они постоянно в самых изящных выражениях говорят о своей любви как самому предмету, так и всем тем, кому даже и нет до этой любви никакого дела. В нашем отечестве люди известного класса, любящие *красиво*, не только всем рассказывают про свою любовь, но рассказывают про нее непременно по-французски. Смешно и странно сказать, но я уверен, что было очень много и теперь есть много людей известного общества, в особенности женщин, которых любовь к друзьям, мужьям, детям сейчас бы уничтожилась, ежели бы им только запретили про нее говорить по-французски.

Второго рода любовь — *любовь самоотверженная*, заключается в любви к процессу жертвования собой для любимого предмета, не обращая никакого внимания на то, хуже или лучше от этих жертв любимому предмету. «Нет никакой неприятности, которую бы я не решился сделать самому себе, для того, чтобы доказать всему свету и *ему* или *ей* свою преданность». Вот формула этого рода любви. Люди, любящие так, никогда не верят взаимности (потому что еще достойнее жертвовать собою для того, кто меня не понимает), всегда бывают болезненны, что тоже увеличивает заслугу жертв; большей частью постоянны, потому что им тяжело бы было потерять заслугу тех жертв, которые они сделали любимому предмету; всегда готовы умереть, для того, чтоб доказать *ему* или *ей* всю свою преданность, но пренебрегают мелкими ежедневными доказательствами любви, в которых не нужно особенных порывов самоотвержения. Им всё равно, хорошо ли вы ели, хорошо ли спали, весело ли вам, здоровы ли вы, и они ничего не сделают, чтоб доставить вам эти удобства, ежели они в их власти; но стать под пулю, броситься в воду, в огонь, зачахнуть от любви — на это они всегда готовы, ежели только встретится случай. Кроме того, люди, склонные к любви самоотверженной, бывают всегда горды своею любовью, взыскательны, ревнивы, недоверчивы и, странно сказать, желают своим предметам опасностей, чтоб избавлять от них, несчастий, чтоб утешать, и даже пороков, чтоб исправлять от них.

Вы одни живете в деревне с своей женой, которая любит вас с самоотвержением. Вы здоровы, спокойны, у вас есть занятия, которые вы любите; — любящая жена ваша так слаба, что не может заниматься ни домашним хозяйством, которое передано на руки слуг, ни детьми, которые на руках нянек, ни даже каким-нибудь делом, которое бы она любила, потому что она ничего не любит, кроме вас. Она *видимо* больна, но, не желая вас огорчить, не хочет говорить вам этого; она *видимо* скучает, но для вас она готова скучать всю свою жизнь; ее *видимо* убивает то, что вы так пристально занимаетесь своим делом (какое бы оно ни было: охота, книги, хозяйство, служба); она видит, что эти занятия погубят вас, — но она молчит и терпит. Но вот вы сделались больны, — любящая жена ваша забывает свою болезнь и неотлучно, несмотря на ваши просьбы не мучить себя напрасно, сидит у вашей постели; и вы всякую секунду чувствуете на себе ее соболезнующий взгляд, говорящий: «что же, я говорила, но мне всё равно, и я всё-таки не оставлю тебя». Утром вам немного получше, вы выходите в другую комнату. Комната не протоплена, не убрана; суп, который один вам можно есть, не заказан повару, за лекарством не послано; но, изнуренная от ночного бдения, любящая жена ваша всё с таким же выражением соболезнования смотрит на вас, ходит на цыпочках и шопотом отдает слугам непривычные и неясные приказания. Вы хотите читать — любящая жена с вздохом говорит вам, что она знает, что вы ее не послушаетесь, будете сердиться на нее, но она уж привыкла к этому, — вам лучше не читать; вы хотите пройтись по комнате — вам этого тоже лучше не делать; вы хотите поговорить с приехавшим приятелем — вам лучше не говорить. Ночью у вас снова жар, вы хотите забыться, но любящая жена ваша, худая, бледная, изредка вздыхая, в полусвете ночника сидит против вас на кресле и малейшим движением, малейшим звуком возбуждает в вас чувства досады и нетерпения. У вас есть слуга, с которым вы живете уж двадцать лет, к которому вы привыкли, который с удовольствием и отлично служит вам, потому что днем выспался и получает за свою службу жалованье, но она не позволяет ему служить вам. Она всё делает сама своими слабыми, непривычными пальцами, за которыми вы не можете не следить с сдержанной злобой, когда эти белые пальцы тщетно стараются откупорить стклянку, тушат свечку,

проливают лекарство или брюзгливо дотрогиваются до вас. Ежели вы нетерпеливый, горячий человек и попросите ее уйти, вы услышите своим раздраженным, болезненным слухом, как она за дверью будет покорно вздыхать и плакать, и шептать какой-нибудь вздор вашему человеку. Наконец, ежели вы не умерли, любящая жена ваша, которая не спала двадцать ночей во время вашей болезни (что она беспрестанно вам повторяет), делается больна, чахнет, страдает и становится еще меньше способна к какому-нибудь занятию, и в то время, как вы находитесь в нормальном состоянии, выражает свою любовь самоотвержения только кроткой скукой, которая невольно сообщается вам и всем окружающим.

Третий род — *любовь деятельная*, заключается в стремлении удовлетворять все нужды, все желания, прихоти, даже пороки любимого существа. Люди, которые любят так, любят всегда на всю жизнь, потому что чем больше они любят, тем больше узнают любимый предмет, и тем легче им любить, т. е. удовлетворять его желания. Любовь их редко выражается словами, и если выражается, то не только не самодовольно, красиво, но стыдливо, неловко, потому что они всегда боятся, что любят недостаточно. Люди эти любят даже пороки любимого существа, потому что пороки эти дают им возможность удовлетворять еще новые желания. Они ищут взаимности, охотно даже обманывая себя, верят в нее и счастливы, если имеют ее; но любят всё так же даже и в противном случае и не только желают счастия для любимого предмета, но всеми теми моральными и материальными, большими и мелкими средствами, которые находятся в их власти, постоянно стараются доставить его.

И вот эта-то деятельная любовь к своему племяннику, племяннице, к сестре, к Любовь Сергеевне, ко мне даже, за то, что меня любил Дмитрий, светилась в глазах, в каждом слове и движении Софьи Ивановны.

Только гораздо после я оценил вполне Софью Ивановну, но и тогда мне пришел в голову вопрос: почему Дмитрий, старавшийся понимать любовь совершенно иначе, чем обыкновенно молодые люди, и имевший всегда перед глазами милую, любящую Софью Ивановну, вдруг страстно полюбил непонятную Любовь Сергеевну и только допускал, что в его тетке есть тоже хорошие качества. Видно, справедливо изречение: «нет пророка в отечестве своем». Одно из двух: или действительно

в каждом человеке больше дурного, чем хорошего, или человек больше восприимчив к дурному, чем к хорошему. Любовь Сергеевну он знал недавно, а любовь тетки он испытывал с тех пор, как родился.

ГЛАВА XXV.

Я ОЗНАКОМЛИВАЮСЬ.

Когда я вернулся на галлерею, там вовсе не говорили обо мне, как я предполагал; но Варенька не читала, а, отложив в сторону книгу, с жаром спорила с Дмитрием, который, расхаживая взад и вперед, поправлял шеей галстук и зажмуривался. Предмет споров был будто бы Иван Яковлевич и суеверие; но спор был слишком горяч для того, чтобы подразумеваемый смысл его не был другой, более близкий всему семейству. Княгиня и Любовь Сергеевна сидели молча, вслушиваясь в каждое слово, видимо желая иногда принять участие в споре, но удерживаясь и предоставляя говорить за себя, одна — Вареньке, другая — Дмитрию. Когда я вошел, Варенька взглянула на меня с выражением такого равнодушия, что видно было, спор сильно занимал ее, и ей было всё равно, буду ли я или не буду слышать то, что она говорила. Такое же выражение имел взгляд княгини, которая, видимо, была на стороне Вареньки. Но Дмитрий еще горячее стал спорить при мне, а Любовь Сергеевна как будто очень испугалась моего прихода и сказала, не обращаясь ни к кому в особенности: «Правду говорят старые люди — si jeunesse savait, si vieillesse pouvait».[1]

Но это изречение не прекратило спора, а только навело меня на мысль, что сторона Любовь Сергеевны и моего друга была неправая сторона. Хотя мне было несколько совестно присутствовать при маленьком семейном раздоре, однако и было приятно видеть настоящие отношения этого семейства, выказывавшиеся вследствие спора, и чувствовать, что мое присутствие не мешало им выказываться.

Как часто бывает, что вы года видите семейство под одной и той же ложной завесой приличия, и истинные отношения его членов остаются для вас тайной (я даже замечал, что чем непроницаемее и потому красивее эта завеса, тем грубее бывают истинные, скрытые от вас отношения)! Но случится раз,

[1] [если бы молодость знала, если бы старость могла.]

совершенно неожиданно поднимется в кругу этого семейства какой-нибудь, иногда кажущийся незначущим, вопрос о какой-нибудь блонде или визите на мужниных лошадях,— и без всякой видимой причины, спор становится ожесточеннее и ожесточеннее, под завесой уже становится тесно для разбирательства дела, и вдруг, к ужасу самих спорящих и к удивлению присутствующих, все истинные, грубые отношения вылезают наружу, завеса, уже ничего не прикрывая, праздно болтается между воюющими сторонами и только напоминает вам о том, как долго вы были ею обмануты. Часто не так больно со всего розмаху удариться головой о притолоку, как чуть-чуть, легонько дотронуться до наболевшего, натруженного места. И такое натруженное, больное место бывает почти в каждом семействе. В семействе Нехлюдовых такое натруженное место была странная любовь Дмитрия к Любовь Сергеевне, возбуждавшая в сестре и матери, если не чувство зависти, то оскорбленное родственное чувство. Поэтому-то и спор об Иване Яковлевиче и суеверии имел для всех них такое серьезное значение.

— Ты всегда стараешься видеть в том, над чем другие смеются и что все презирают, — говорила Варенька своим звучным голосом и отчетливо выговаривая каждую букву: — ты именно во всем этом стараешься находить что-нибудь необыкновенно хорошее.

— Во-первых, только самый *легкомысленный человек* может говорить о презрении к такому замечательному человеку, как Иван Яковлевич, — отвечал Дмитрий, судорожно подергивая головою в противную сторону от сестры, а во-вторых, напротив, *ты* стараешься нарочно не видать хорошего которое у тебя стоит перед глазами.

Вернувшись к нам, Софья Ивановна несколько раз испуганно посмотрела то на племянника, то на племянницу, то на меня и раза два, как будто сказав что-то мысленно, открыв рот, тяжело вздохнула.

— Варя, пожалуйста, читай поскорее, — сказала она, подавая ей книгу и ласково потрепав ее по руке,— я непременно хочу знать, нашел ли он ее опять. (Кажется, что в романе и речи не было о том, чтобы кто-нибудь находил кого-нибудь.) — А ты, Митя, лучше бы завязал щеку, мой дружок, а то свежо, и опять у тебя разболятся зубы,— сказала она племяннику, несмотря на недовольный взгляд, который он бросил на нее,

должно быть, за то, что она прервала логическую нить его доводов. Чтение продолжалось.

Эта маленькая ссора нисколько не расстроила того семейного спокойствия и разумного согласия, которым дышал этот женский кружок.

Этот кружок, которому направление и характер, видимо, давала княгиня Марья Ивановна, имел для меня совершенно новый и привлекательный характер какой-то логичности и вместе с тем простоты и изящества. Этот характер выражался для меня и в красоте, чистоте и прочности вещей — колокольчика, переплета книги, кресла, стола, — и в прямой, поддержанной корсетом, позе княгини, и в выставленных на показ буклях седых волос, и в манере называть меня при первом свидании просто Nicolas и *он*, в их занятиях, в чтении и в шитье платья, и в необыкновенной белизне дамских рук. (У них у всех была в руке общая семейная черта, состоящая в том, что мякоть ладони с внешней стороны была алого цвета и отделялась резкой, прямой чертой от необыкновенной белизны верхней части руки.) Но более всего этот характер выражался в их манере, всех трех, отлично говорить по-русски и по-французски, отчетливо выговаривая каждую букву, с педантической точностью доканчивая каждое слово и предложение. Всё это, и особенно то, что в этом обществе со мной обращались просто и серьезно, как с большим, говорили мне свои, слушали мои мнения, — к этому я так мало привык, что, несмотря на блестящие пуговицы и голубые обшлага, я всё боялся, что вдруг мне скажут: «неужели вы думаете, что с вами серьезно разговаривают? ступайте-ка учиться», — всё это делало то, что в этом обществе я не чувствовал ни малейшей застенчивости. Я вставал, пересаживался с места на место и смело говорил со всеми, исключая Вареньки, с которой мне казалось еще неприлично, почему-то запрещено было говорить для первого разу.

Во время чтения, слушая ее приятный, звучный голос, я, поглядывая то на нее, то на песчаную дорожку цветника, на которой образовывались круглые темнеющие пятна дождя, и на липы, по листьям которых продолжали шлепать редкие капли дождя из бледного, просвечивающего синевой края тучи, которым захватило нас, то снова на нее, то на последние багряные лучи заходившего солнца, освещающего мокрые от дождя, густые старые березы, и снова на Вареньку, —

я подумал, что она вовсе не дурна, как мне показалась сначала.

«А жалко, что я уже влюблен, подумал я: — и что Варенька не Сонечка; как бы хорошо было вдруг сделаться членом этого семейства: вдруг бы у меня сделалась и мать, и тетка, и жена». В то же самое время, как я думал это, я пристально глядел на читавшую Вареньку и думал, что я ее магнетизирую, и что она должна взглянуть на меня. Варенька подняла голову от книги, взглянула на меня и встретившись с моими глазами, отвернулась.

— Однако дождик не перестает, — сказала она.

И вдруг я испытал странное чувство: мне вспомнилось, что именно всё, что было теперь со мною, — повторение того, что было уже со мною один раз: что и тогда точно так же шел маленький дождик, и заходило солнце за березами, и я смотрел на *нее*, и она читала, и я магнетизировал ее, и она оглянулась, и даже я вспомнил, что это еще раз прежде было.

«Неужели она.... *она*?» подумал я. — «Неужели *начинается*?» Но я скоро решил, что она не *она*, и что еще не начинается. «Во-первых, она нехороша, подумал я: — да и она просто барышня, и с ней я познакомился самым обыкновенным манером, а та будет необыкновенная, с той я встречусь где-нибудь в необыкновенном месте; и потом мне так нравится это семейство только потому, что еще я не видел ничего, рассудил я, а такие, верно, всегда бывают, и их еще очень много я встречу в жизни».

ГЛАВА XXVI.

Я ПОКАЗЫВАЮСЬ С САМОЙ ВЫГОДНОЙ СТОРОНЫ.

Во время чая чтение прекратилось, и дамы занялись разговором между собой о лицах и обстоятельствах мне незнакомых, как мне казалось, только для того, чтобы, несмотря на ласковый прием, всё-таки дать мне почувствовать ту разницу, которая по годам и положению в свете была между мною и ими. В разговорах же общих, в которых я мог принимать участие, искупая свое предшествовавшее молчание, я старался выказать свой необыкновенный ум и оригинальность, к чему особенно я считал себя обязанным своим мундиром. Когда зашел разговор о дачах, я вдруг рассказал, что у князя Ивана Иваныча есть такая дача около Москвы, что на нее приезжали

смотреть из Лондона и из Парижа, что там есть решетка, которая стоит триста восемьдесят тысяч, и что князь Иван Иваныч мне очень близкий родственник, и я нынче у него обедал, и он звал меня непременно приехать к нему на эту дачу жить с ним целое лето, но что я отказался, потому что знаю хорошо эту дачу, несколько раз бывал на ней, и что все эти решетки и мосты для меня незанимательны, потому что я терпеть не могу роскоши, особенно в деревне, а люблю, чтоб в деревне уж было совсем как в деревне.... Сказав эту страшную, сложную ложь, я сконфузился и покраснел, так что все, верно, заметили, что я лгу. Варенька, передававшая мне в это время чашку чая, и Софья Ивановна, смотревшая на меня в то время, как я говорил, обе отвернулись от меня и заговорили о другом, с выражением лица, которое потом я часто встречал у добрых людей, когда очень молодой человек начинает очевидно лгать им в глаза, и которое значит: «ведь мы знаем, что он лжет, и зачем он это делает, бедняжка!...»

Что я сказал, что у князя Ивана Иваныча есть дача — это потому, что я не нашел лучшего предлога рассказать про свое родство с князем Иваном Иванычем и про то, что я нынче у него обедал; но для чего я рассказал про решетку, стоившую триста восемьдесят тысяч, и про то, что я так часто бывал у него, тогда как я ни разу не был и не могу быть у князя Ивана Иваныча, жившего только в Москве или Неаполе, что очень хорошо знали Нехлюдовы, — для чего я это сказал, я решительно не могу дать себе отчета. Ни в детстве, ни в отрочестве, ни потом в более зрелом возрасте я не замечал за собой порока лжи; напротив, я скорее был слишком правдив и откровенен; но в эту первую эпоху юности на меня часто находило странное желание, без всякой видимой причины, лгать самым отчаянным образом. Я говорю именно «отчаянным образом», потому, что я лгал в таких вещах, в которых очень легко было поймать меня. Мне кажется, что тщеславное желание выказать себя совсем другим человеком, чем есть, соединенное с несбыточною в жизни надеждой лгать, не быв уличенным в лжи, было главной причиной этой странной наклонности.

После чая, так как дождик прошел, и погода на вечерней заре была тихая и ясная, княгиня предложила итти гулять в нижний сад и полюбоваться ее любимым местом. Следуя своему правилу быть всегда оригинальным и считая, что такие

умные люди, как я и княгиня, должны стоять выше банальной учтивости, я отвечал, что терпеть не могу гулять без всякой цели, и ежели уж люблю гулять, то совершенно один. Я вовсе не сообразил, что это было просто грубо; но мне тогда казалось, что так же, как нет ничего стыднее пошлых комплиментов, так и нет ничего милее и оригинальнее некоторой невежливой откровенности. Однако, очень довольный своим ответом, я пошел-таки гулять вместе со всем обществом.

Любимое место княгини было совершенно внизу, в самой глуши сада, на маленьком мостике, перекинутом через узкое болотце. Вид был очень ограниченный, но очень задумчивый и грациозный. Мы так привыкли смешивать искусство с природою, что очень часто те явления природы, которые никогда не встречали в живописи, нам кажутся неестественными, как будто природа ненатуральна, и наоборот: те явления, которые слишком часто повторялись в живописи, кажутся нам избитыми, некоторые же виды, слишком проникнутые одной мыслью и чувством, встречающиеся нам в действительности, кажутся вычурными. Вид с любимого места княгини был в таком роде. Его составляли небольшой, заросший с краев прудик, сейчас же за ним крутая гора вверх, поросшая огромными старыми деревьями и кустами, часто перемешивающими свою разнообразную зелень, и перекинутая над прудом, у начала горы, старая береза, которая, держась частью своих толстых корней в влажном береге пруда, макушкой оперлась на высокую, стройную осину и повесила кудрявые ветви над гладкой поверхностью пруда, отражавшего в себе эти висящие ветки и окружавшую зелень.

— Что за прелесть! — сказала княгиня, покачивая головой и не обращаясь ни к кому в особенности.

— Да, чудесно, но только, мне кажется, ужасно похоже на декорацию, — сказал я, желая доказать, что я во всем имею свое собственное мнение.

Как будто не слыхав моего замечания, княгиня продолжала любоваться видом и, обращаясь к сестре и Любовь Сергеевне, указывала на частности: на кривой висевший сук и на его отражение, которые ей особенно нравились. Софья Ивановна говорила, что всё это прекрасно, и что сестра ее по нескольким часам проводит здесь, но видно было, что всё это она говорила только для удовольствия княгини. Я замечал, что люди,

одаренные способностью деятельной любви, редко бывают восприимчивы к красотам природы. Любовь Сергеевна восхищалась тоже, спрашивала, между прочим: «чем эта береза держится? долго ли она простоит?» и беспрестанно поглядывала на свою Сюзетку, которая, махая пушистым хвостом, взад и вперед бегала на своих кривых ножках по мостику с таким хлопотливым выражением, как будто ей в первый раз в жизни довелось быть не в комнате. Дмитрий завел с матерью очень логическое рассуждение о том, что никак не может быть прекрасен вид, в котором горизонт ограничен. Варенька ничего не говорила. Когда я оглянулся на нее, она, опершись на перила мостика, стояла ко мне в профиль и смотрела вперед. Что-то, верно, сильно занимало ее и даже трогало, потому что она, видимо, забылась и мысли не имела о себе и о том, что на нее смотрят. В выражении ее больших глаз было столько пристального внимания и спокойной, ясной мысли, в позе ее столько непринужденности и, несмотря на ее небольшой рост, даже величавости, что снова меня поразило как будто воспоминание о ней, и снова я спросил себя: «не начинается ли?» И снова я ответил себе, что я уже влюблен в Сонечку, а что Варенька — просто барышня, сестра моего друга. Но она мне понравилась в эту минуту, и вследствие этого я почувствовал неопределенное желание сделать или сказать ей какую-нибудь небольшую неприятность.

— Знаешь что, Дмитрий, — сказал я моему другу, подходя ближе к Вареньке, так чтобы она могла слышать то, что я буду говорить: — я нахожу, что ежели бы не было комаров, и то ничего хорошего нет в этом месте, а уж теперь, — прибавил я, щелкнув себя по лбу и действительно раздавив комара, — это совсем плохо.

— Вы, кажется, не любите природы? — сказала мне Варенька, не поворачивая головы.

— Я нахожу, что это праздное, бесполезное занятие, — отвечал я, очень довольный тем, что я сказал-таки ей маленькую неприятность, и притом оригинальную. Варенька чуть-чуть подняла на мгновение брови с выражением сожаления и точно так же спокойно продолжала смотреть прямо.

Мне стало досадно на нее, но, несмотря на это, серенькие с полинявшей краской перильца мостика, на которые она оперлась, отражение в темном пруде опустившегося сука

перекинутой березы, которое, казалось, хотело соединиться с висящими ветками, болотный запах, чувство на лбу раздавленного комара и ее внимательный взгляд и величавая поза — часто потом совершенно неожиданно являлись вдруг в моем воображении.

ГЛАВА XXVII.

ДМИТРИЙ.

Когда после прогулки мы вернулись домой, Варенька не хотела петь, как она это обыкновенно делала по вечерам, и я был так самонадеян, что принял это на свой счет, воображая, что причиной тому было то, что я ей сказал на мостике. Нехлюдовы не ужинали и расходились рано, а в этот день, так как у Дмитрия, по предсказанию Софьи Ивановны, точно разболелись зубы, мы ушли в его комнату еще раньше обыкновенного. Полагая, что я исполнил всё, что требовали от меня мой синий воротник и пуговицы, и что всем очень понравился, я находился в весьма приятном, самодовольном расположении духа; Дмитрий же, напротив, вследствие спора и зубной боли, был молчалив и мрачен. Он сел к столу, достал свои тетради — дневник и тетрадь, в которой он имел обыкновение каждый вечер записывать свои будущие и прошедшие занятия, и, беспрестанно морщась и дотрогиваясь рукой до щеки, довольно долго писал в них.

— Ах, оставьте меня в покое, — закричал он на горничную, которая от Софьи Ивановны пришла спросить его: как его зубы? и не хочет ли он сделать себе припарку? Вслед затем, сказав, что постель мне сейчас постелят, и что он сейчас вернется, он пошел к Любовь Сергеевне.

«Как жалко, что Варенька не хорошенькая и вообще не Сонечка», мечтал я, оставшись один в комнате: — «как бы хорошо было, выйдя из университета, приехать к ним и предложить ей руку. Я бы сказал: княжна, я уже не молод — не могу любить страстно, но буду постоянно любить вас, как милую сестру. Вас я уже уважаю, я сказал бы матери, а вас, Софья Ивановна, поверьте, что очень и очень ценю. Так скажите просто и прямо: — хотите ли вы быть моей женой? — «Да». — И она подаст мне руку, я пожму ее и скажу: «любовь моя не на словах, а на деле». — Ну, а что, пришло мне в голову, ежели бы вдруг Дмитрий влюбился в Любочку, — ведь

Любочка влюблена в него, — и захотел бы жениться на ней? Тогда кому-нибудь из нас ведь нельзя бы было жениться. И это было бы отлично. Тогда бы я вот что сделал. Я бы сейчас заметил это, ничего бы не сказал, пришел бы к Дмитрию и сказал бы: «напрасно, мой друг, мы стали бы скрываться друг от друга: ты знаешь, что моя любовь к твоей сестре кончится только с моей жизнию; но я всё знаю, ты лишил меня лучшей надежды, ты сделал меня несчастным; но знаешь, как Николай Иртеньев отплачивает за несчастие всей своей жизни? — Вот тебе моя сестра», — и подал бы ему руку Любочки. Он бы сказал: «нет, ни за что!...» а я сказал бы: «князь Нехлюдов! напрасно вы хотите быть великодушнее Николая Иртеньева. Нет в мире человека великодушнее его». Поклонился бы и вышел. — Дмитрий и Любочка в слезах выбежали бы за мною и умоляли бы, чтобы я принял их жертву. — И я бы мог согласиться и мог бы быть очень, очень счастлив, ежели бы только я был влюблен в Вареньку...» Мечты эти были так приятны, что мне очень хотелось сообщить их моему другу, но, несмотря на наш обет взаимной откровенности, я чувствовал почему-то, что нет физической возможности сказать этого.

Дмитрий вернулся от Любовь Сергеевны с каплями на зубу, которые она дала ему, еще более страдающий и, вследствие этого, еще более мрачный. Постель мне была еще не постлана, и мальчик, слуга Дмитрия, пришел спросить его, где я буду спать.

— Убирайся к чорту! — крикнул Дмитрий, топнув ногой. — Васька! Васька! Васька! — закричал он, только-что мальчик вышел, с каждым разом возвышая голос: — Васька! стели мне на полу.

— Нет, лучше я лягу на полу, — сказал я.

— Ну, всё равно, стели где-нибудь, — тем же сердитым тоном продолжал Дмитрий. — Васька! что ж ты не стелешь?

Но Васька, видимо, не понимал, чего от него требовали и стоял не двигаясь.

— Ну, что ж ты? стели, стели! Васька! Васька! — закричал Дмитрий, входя вдруг в какое-то бешенство.

Но Васька, всё еще не понимая и оробев, не шевелился.

— Так ты поклялся меня погуб.... взбесить?

И Дмитрий, вскочив со стула и подбежав к мальчику, изо всех сил несколько раз ударил по голове кулаком Ваську, который стремглав убежал из комнаты. Остановившись у двери,

Дмитрий оглянулся на меня, и выражение бешенства и жестокости, которое за секунду было на его лице, заменилось таким кротким, пристыженным и любящим детским выражением, что мне стало жалко его, и, как ни хотелось отвернуться, я не решился этого сделать. Он ничего не сказал мне, но долго молча ходил по комнате, изредка поглядывая на меня с тем же просящим прощения выражением, потом достал из стола тетрадь, записал что-то в нее, снял сюртук, тщательно сложил его, подошел к углу, где висел образ, сложил на груди свои большие белые руки и стал молиться. Он молился так долго, что Васька успел принести тюфяк и постлать на полу, что я ему объяснил шопотом. Я разделся и лег на постланную на полу постель, а Дмитрий еще всё продолжал молиться. Глядя на немного сутуловатую спину Дмитрия и его подошвы, которые как-то покорно выставлялись передо мной, когда он клал земные поклоны, я еще сильнее любил Дмитрия, чем прежде, и думал всё о том: «сказать или не сказать ему то, что я мечтал об наших сестрах?» Окончив молитву, Дмитрий лег ко мне на постель и, облокотясь на руку, долго, молча, ласковым и пристыженным взглядом смотрел на меня. Ему, видимо, было тяжело это, но он как будто наказывал себя. Я улыбнулся, глядя на него. Он улыбнулся тоже.

— А отчего ж ты мне не скажешь, — сказал он: — что я гадко поступил? ведь ты об этом сейчас думал?

— Да, — отвечал я, хотя и думал о другом, но мне показалось, что действительно я об этом думал: — да, это очень нехорошо, я даже и не ожидал от тебя этого, — сказал я, чувствуя в эту минуту особенное удовольствие в том, что я говорил ему *ты*. — Ну, что зубы твои? — прибавил я.

— Прошли. Ах, Николенька, мой друг! — заговорил Дмитрий так ласково, что слезы, казалось, стояли в его блестящих глазах: — я знаю и чувствую, как я дурен, и Бог видит, как я желаю и прошу Его, чтоб Он сделал меня лучше; но что ж мне делать, ежели у меня такой несчастный, отвратительный характер? что же мне делать? Я стараюсь удерживаться, исправляться, но ведь это невозможно вдруг и невозможно одному. Надо, чтобы кто-нибудь поддерживал, помогал мне. Вот Любовь Сергеевна — она понимает меня и много помогла мне в этом. Я знаю по своим запискам, что я в продолжение года уж много исправился. Ах, Николенька, душа моя! — про-

должал он с особенной непривычной нежностью и уж более спокойным тоном после этого признания: — как это много значит влияние такой женщины, как она! Боже мой, как может быть хорошо, когда я буду самостоятелен с таким другом, как она! Я с ней совершенно другой человек.

И вслед за этим Дмитрий начал развивать мне свои планы женитьбы, деревенской жизни и постоянной работы над самим собою.

— Я буду жить в деревне, ты приедешь ко мне, может быть, и ты будешь женат на Сонечке, — говорил он: — дети наши будут играть. Ведь всё это кажется смешно и глупо, а может ведь случиться.

— Еще бы! и очень может, — сказал я, улыбаясь и думая в это время о том, что было бы еще лучше, ежели бы я женился на его сестре.

— Знаешь, что я тебе скажу? — сказал он мне, помолчав немного: — ведь ты только воображаешь, что ты влюблен в Сонечку, а, как я вижу, — это пустяки, и ты еще не знаешь, что такое настоящее чувство.

Я не возражал, потому что почти соглашался с ним. Мы помолчали немного.

— Ты заметил, верно, что я нынче опять был в гадком духе и нехорошо спорил с Варей. Мне потом ужасно неприятно было, особенно потому, что это было при тебе. Хоть она о многом думает не так, как следует, но она славная девочка, очень хорошая, вот ты ее покороче узнаешь.

Его переход в разговоре от того, что я не влюблен, к похвалам своей сестре чрезвычайно обрадовал меня и заставил покраснеть, но я всё-таки ничего не сказал ему о его сестре, и мы продолжали говорить о другом.

Так мы проболтали до вторых петухов, и бледная заря уже глядела в окно, когда Дмитрий перешел на свою постель и потушил свечку.

— Ну, теперь спать, — сказал он.

— Да, — отвечал я: — только одно слово.

— Ну.

— Отлично жить на свете? — сказал я.

— Отлично жить на свете, — отвечал он таким голосом, что я в темноте, казалось, видел выражение его веселых, ласкающихся глаз и детской улыбки.

ГЛАВА XXVIII.

В ДЕРЕВНЕ.

На другой день мы с Володей на почтовых уехали в деревню. Дорогой, перебирая в голове разные московские воспоминания, я вспомнил про Сонечку Валахину, но и то вечером, когда мы уже отъехали пять станций. «Однако странно, — подумал я, — что я влюблен и вовсе забыл об этом; надо думать об ней». И я стал думать об ней так, как думается дорогой, — несвязно, но живо, и додумался до того, что, приехав в деревню, два дня почему-то считал необходимым казаться грустным и задумчивым перед всеми домашними и особенно перед Катенькой, которую считал большим знатоком в делах этого рода, и которой я намекнул кое-что о состоянии, в котором находилось мое сердце. Но, несмотря на всё старание притворства перед другими и самим собой, несмотря на умышленное усвоение всех признаков, которые я замечал в других, в влюбленном состоянии, я только в продолжение двух дней и то непостоянно, а преимущественно по вечерам вспоминал, что я влюблен, и наконец, как скоро вошел в новую колею деревенской жизни и занятий, совсем забыл о своей любви к Сонечке.

Мы приехали в Петровское ночью, и я спал так крепко, что не видал ни дома, ни березовой аллеи и никого из домашних, которые уже все разошлись и давно спали. Сгорбленный старик Фока, босиком, в какой-то жениной ваточной кофточке, с свечой в руках, отложил нам крючок двери. Увидав нас, он затрясся от радости, расцаловал нас в плечи, торопливо убрал свой войлок и стал одеваться. Сени и лестницу я прошел, еще не проснувшись хорошенько, но в передней замок двери, задвижка, косая половица, ларь, старый подсвечник, закапанный салом по-старому, тени от кривой, холодной, только-что зажженной светильни сальной свечи, всегда пыльное, не выставлявшееся двойное окно, за которым, как я помнил, росла рябина, — всё это так было знакомо, так полно воспоминаниями, так дружно между собой, как будто соединено одной мыслью, что я вдруг почувствовал на себе ласку этого милого, старого дома. Мне невольно представился вопрос: как могли мы, я и дом, быть так долго друг без друга? — и, торопясь куда-то, я побежал смотреть, всё те же ли другие комнаты? Всё было то же, только всё сделалось меньше, ниже,

а я как будто сделался выше, тяжелее и грубее; но и таким каким я был, дом радостно принимал меня в свои объятия и каждой половицей, каждым окном, каждой ступенькой лестницы, каждым звуком пробуждал во мне тьмы образов, чувств, событий невозвратимого счастливого прошедшего. Мы пришли в нашу детскую спальню: все детские ужасы снова те же таились во мраке углов и дверей; прошли гостиную — та же тихая, нежная материнская любовь была разлита по всем предметам, стоявшим в комнате; прошли залу — шумливое, беспечное, детское веселье, казалось, остановилось в этой комнате и ждало только того, чтобы снова оживили его. В диванной, куда нас провел Фока, и где он постлал нам постели, казалось, всё — зеркало, ширмы, старый деревянный образ, каждая неровность стены, оклеенной белой бумагой, всё говорило про страдания, про смерть, про то, чего уже больше никогда не будет.

Мы улеглись, и Фока, пожелав спокойной ночи, оставил нас.

— А ведь в этой комнате умерла maman? — сказал Володя.

Я не отвечал ему и притворился спящим. Если бы я сказал что-нибудь, я бы заплакал. Когда я проснулся на другой день утром, папа, еще не одетый, в торжковских сапожках и халате, с сигарой в зубах сидел на постели у Володи и разговаривал и смеялся с ним. Он с веселым подергиваньем вскочил от Володи, подошел ко мне и, шлепнув меня своей большой рукой по спине, подставил мне щеку и прижал ее к моим губам.

— Ну, отлично, спасибо, дипломат, — говорил он с своей особенной шутливой лаской, вглядываясь в меня своими маленькими блестящими глазками. — Володя говорит, что хорошо выдержал, молодцом, — ну и славно. Ты, коли захочешь не дурить, ты у меня тоже славный малый. Спасибо, дружок. Теперь мы тут заживем славно, а зимой, может, в Петербург переедем; только жалко, охота кончилась, а то бы я вас потешил; ну, с ружьем можешь охотиться, Вольдемар? дичи пропасть, я, пожалуй, сам пойду с тобой когда-нибудь. Ну, а зимой, Бог даст, в Петербург переедем, увидите людей, связи сделаете; вы теперь у меня ребята большие, вот я сейчас Вольдемару говорил: вы теперь стоите на дороге, и мое дело кончено, можете итти сами, а со мной, коли хотите советоваться, советуйтесь, я теперь ваш не дядька, а друг, по крайней мере, хочу быть другом и товарищем и советчиком, где могу, и больше

ничего. Как это по твоей философии выходит, Коко? А? хорошо или дурно! а?

Я, разумеется, сказал, что отлично, и действительно находил это таковым. Папа в этот день имел какое-то особенно-привлекательное, веселое, счастливое выражение, и эти новые отношения со мной, как с равным, как с товарищем, еще более заставляли меня любить его.

— Ну, рассказывай же мне, был ты у всех родных? у Ивиных? видел старика? что он тебе сказал? — продолжал он расспрашивать меня. — Был у князя Ивана Иваныча?

И мы так долго разговаривали не одеваясь, что солнце уже начинало уходить из окон диванной, и Яков (который всё точно так же был стар, всё так же вертел пальцами за спиной и говорил *опять-таки*) пришел в нашу комнату и доложил папа, что колясочка готова.

— Куда ты едешь? — спросил я папа.

— Ах, я и забыл было, — сказал папа с *досадливым* подергиваньем и покашливаньем: — я к Епифановым обещал ехать нынче. Помнишь Епифанову, la belle Flamande?[1] — еще езжала к вашей maman. Они славные люди. — И папа, как мне показалось, застенчиво подергивая плечом, вышел из комнаты.

Любочка во время нашей болтовни уже несколько раз подходила к двери и всё спрашивала: — «можно ли войти к нам?», но всякий раз папа кричал ей через дверь, что «никак нельзя, потому что мы не одеты».

— Что за беда! ведь я видала тебя в халате?

— Нельзя тебе видеть братьев без *невыразимых*, — кричал он ей: — а вот каждый из них постучит тебе в дверь, довольно с тебя? Постучите. А даже и говорить с тобой в таком неглиже им неприлично.

— Ах, какие вы несносные! Так приходите по крайней мере скорей в гостиную, Мими так хочет вас видеть, — кричала из-за двери Любочка.

Как только папа ушел, я живо оделся в студенческий сюртук и пришел в гостиную; Володя же, напротив, не торопился и долго просидел наверху, разговаривая с Яковом о том, где водятся дупеля и бекасы. Он, как я уже говорил, ничего в мире так не боялся, как нежностей с братцем, папашей или

[1] [красавицу фламандку?]

сестрицей, как он выражался, и, избегая всякого выражения чувства, впадал в другую крайность — холодности, часто больно оскорблявшую людей, не понимавших причин ее. В передней я столкнулся с папа, который мелкими, скорыми шажками шел садиться в экипаж. Он был в своем новом модном московском сюртуке, и от него пахло духами. Увидав меня, он весело кивнул мне головой, как будто говоря: «видишь, славно?», и снова меня поразило то счастливое выражение его глаз, которое я еще утром заметил.

Гостиная была всё та же, светлая, высокая комната с желтеньким английским роялем и с большими открытыми окнами, в которые весело смотрели зеленые деревья и желтые красноватые дорожки сада. Расцаловавшись с Мими и Любочкой и подходя к Катеньке, мне вдруг пришло в голову, что уже неприлично цаловаться с ней, и я молча и краснея остановился. Катенька, не сконфузившись нисколько, протянула мне свою беленькую ручку и поздравила с вступлением в университет. Когда Володя пришел в гостиную, с ним, при свидании с Катенькой, случилось то же самое. Действительно, трудно было решить, после того, как мы вместе выросли и в продолжение всего этого времени виделись каждый день, как теперь, после первой разлуки, нам должно было встречаться. Катенька гораздо больше покраснела, чем мы все; Володя нисколько не смутился и, слегка поклонившись ей, отошел к Любочке, с которой тоже поговорив немного и то не серьезно, пошел один гулять куда-то.

ГЛАВА XXIX.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАМИ И ДЕВОЧКАМИ.

Володя имел такой странный взгляд на девочек, что его могло занимать: сыты ли они, выспались ли, прилично ли одеты, не делают ли ошибок по-французски, за которые бы ему было стыдно перед посторонними, — но он не допускал мысли, чтобы они могли думать или чувствовать что-нибудь человеческое, и еще меньше допускал возможность рассуждать с ними о чем-нибудь. Когда им случалось обращаться к нему с каким-нибудь серьезным вопросом (чего они, впрочем, уже старались избегать), если они спрашивали его мнения про какой-нибудь роман или про его занятия в университете, он делал им гримасу и молча уходил, или отвечал какой-нибудь

исковерканной французской фразой: *ком си три жоли* и т. п., или, сделав серьезное, умышленно глупое лицо, говорил какое-нибудь слово, не имеющее никакого смысла и отношения с вопросом, произносил, вдруг сделав мутные глаза, слова: *булку* или *поехали*, или *капусту*, или что-нибудь в этом роде. Когда случалось, что я повторял ему слова, сказанные мне Любочкой или Катенькой, он всегда говорил мне:

— Гм! Так ты еще рассуждаешь с ними? Нет, ты, я вижу, еще плох.

И надо было слышать и видеть его в это время, чтобы оценить то глубокое, неизменное презрение, которое выражалось в этой фразе. Володя уже два года был большой, влюблялся беспрестанно во всех хорошеньких женщин, которых встречал; но, несмотря на то, что каждый день виделся с Катенькой, которая тоже уже два года, как носила длинное платье и с каждым днем хорошела, ему и в голову не приходила мысль о возможности влюбиться в нее. Происходило ли это от того, что прозаические воспоминания детства — линейка, простыня, капризничанье, были еще слишком свежи в памяти, или от отвращения, которое имеют очень молодые люди ко всему домашнему, или от общей людской слабости, встречая на первом пути хорошее и прекрасное, обходить его, говоря себе: «Э! еще такого я много встречу в жизни», — но только Володя еще до сих пор не смотрел на Катеньку, как на женщину.

Володя всё это лето, видимо, очень скучал; скука его происходила от презрения к нам, которое, как я говорил, он и не старался скрывать. Постоянное выражение его лица говорило: «фу! скука какая, и поговорить не с кем!» Бывало, с утра он или один уйдет с ружьем на охоту, или в своей комнате, не одеваясь до обеда, читает книгу. Ежели папа не было дома, он даже к обеду приходил с книгой, продолжая читать ее и не разговаривая ни с кем из нас, отчего мы все чувствовали себя перед ним как будто виноватыми. Вечером тоже он ложился с ногами на диван в гостиной, спал, облокотившись на руку, или врал с серьезнейшим лицом страшную бессмыслицу, иногда и не совсем приличную, от которой Мими злилась и краснела пятнами, а мы помирали со смеху; но никогда ни с кем из нашего семейства, кроме с папа и изредка со мною, он не удостоивал говорить серьезно. Я совершенно невольно в взгляде на девочек подражал брату, несмотря на то, что не боялся неж-

ностей так, как он, и презрение мое к девочкам еще далеко не было так твердо и глубоко. Я даже в это лето пробовал несколько раз от скуки сблизиться и беседовать с Любочкой и Катенькой, но всякий раз встречал в них такое отсутствие способности логического мышления и такое незнание самых простых, обыкновенных вещей, как, например, что такое деньги, чему учатся в университете, что такое война и т. п., и такое равнодушие к объяснению всех этих вещей, что эти попытки только больше подтверждали мое о них невыгодное мнение.

Помню, раз вечером Любочка в сотый раз твердила на фортепьяно какой-то невыносимо надоевший пассаж, Володя лежал в гостиной, дремля на диване, и изредка, с некоторой злобной иронией, не обращаясь ни к кому в особенности, бормотал: «ай да валяет.... музыкантша.... *Битховен!*... (это имя он произносил с особенной иронией), лихо... ну еще раз... вот так» и т. п. — Катенька и я оставались за чайным столом, и, не помню, как Катенька навела разговор о своем любимом предмете — любви. Я был в расположении духа пофилософствовать и начал свысока определять любовь желанием приобрести в другом то, чего сам не имеешь, и т. д. Но Катенька отвечала мне, что, напротив, это уже не любовь, коли девушка думает выйти замуж за богача, и что, по ее мнению, состояние самая пустая вещь, а что истинная любовь только та, которая может выдержать разлуку (это, я понял, она намекала на свою любовь к Дубкову). Володя, который верно слышал наш разговор, вдруг приподнялся на локте и вопросительно прокричал: *Катенька! Русских?*

— Вечно вздор! — сказала Катенька.

— *В перешницу?* — продолжал Володя, ударяя на каждую гласную. И я не мог не подумать, что Володя был совершенно прав.

Отдельно от общих, более или менее развитых в лицах способностей ума, чувствительности, художнического чувства, существует частная, более или менее развитая в различных кружках общества и особенно в семействах, способность, которую я назову *пониманием*. Сущность этой способности состоит в условленном чувстве меры и в условленном одностороннем взгляде на предметы. Два человека одного кружка или одного семейства, имеющие эту способность, всегда до одной и той же точки допускают выражение чувства, далее которой они оба

вместе уже видят фразу; в одну и ту же минуту они видят, где кончается похвала, и начинается ирония, где кончается увлечение, и начинается притворство, — что для людей с другим пониманием может казаться совершенно иначе. Для людей с одним пониманием каждый предмет одинаково для обоих бросается в глаза преимущественно своей смешной или красивой, или грязной стороной. Для облегчения этого одинакового понимания между людьми одного кружка или семейства устанавливается свой язык, свои обороты речи, даже — слова, определяющие те оттенки понятий, которые для других не существуют. В нашем семействе, между папа и нами, братьями, понимание это было развито в высшей степени. Дубков тоже както хорошо пришелся к нашему кружку и *понимал*, но Дмитрий, несмотря на то, что был гораздо умнее его, был туп на это. Но ни с кем, как с Володей, с которым мы развивались в одинаковых условиях, не довели мы этой способности до такой тонкости. Уже и папа давно отстал от нас, и многое, что для нас было так же ясно, как дважды два, было ему непонятно. Например, у нас с Володей установились, Бог знает как, следующие слова с соответствующими понятиями: *изюм* означало тщеславное желание показать, что у меня есть деньги, *шишка* (при чем надо было соединить пальцы и сделать особенное ударение на оба *ш*) означало что-то свежее, здоровое, изящное, но не щегольское; существительное, употребленное во множественном числе, означало несправедливое пристрастие к этому предмету и т. д., и т. д. Но, впрочем, значение зависело больше от выражения лица, от общего смысла разговора, так что, какое бы новое выражение для нового оттенка ни придумал один из нас, другой по одному намеку уже понимал его точно так же. Девочки не имели нашего понимания, и это-то было главною причиною нашего морального разъединения и презрения, которое мы к ним чувствовали.

Может быть, у них было свое *пониманис*, но оно до того не сходилось с нашим, что там, где мы уже видели фразу, они видели чувство, наша ирония была для них правдой и т. д. Но тогда я не понимал того, что они невиноваты в этом отношении, и что это отсутствие понимания не мешает им быть и хорошенькими, и умными девочками, а я презирал их. Притом, раз напав на мысль об откровенности, доведя приложение этой мысли до крайности в себе, я обвинял в скрытности и

притворстве спокойную, доверчивую натуру Любочки, не видевшей никакой необходимости в выкапывании и рассматривании всех своих мыслей и душевных влечений. Например, то, что Любочка каждый день на ночь крестила папа, то, что она и Катенька плакали в часовне, когда ездили служить панихиду по матушке, то, что Катенька вздыхала и закатывала глаза, играя на фортепьянах, всё это мне казалось чрезвычайным притворством, и я спрашивал себя: когда они выучились так притворяться, как большие, и как это им не совестно?

ГЛАВА XXX.

МОИ ЗАНЯТИЯ.

Несмотря на это, я в нынешнее лето больше, чем в другие года, сблизился с нашими барышнями по случаю явившейся во мне страсти к музыке. Весной к нам в деревню приезжал рекомендоваться один сосед, молодой человек, который, как только вошел в гостиную, всё смотрел на фортепьяно и незаметно подвигал к нему стул, разговаривая, между прочим, с Мими и Катенькой. Поговорив о погоде и приятностях деревенской жизни, он искусно навел разговор на настройщика, на музыку, на фортепьяно и, наконец, объявил, что он играет, и очень скоро сыграл три вальса, при чем Любочка, Мими и Катенька стояли около фортепьян и смотрели на него. Молодой человек этот после ни разу не был у нас, но мне очень нравилась его игра, поза за фортепьянами, встряхиванье волосами и особенно манера брать октавы левой рукой, быстро расправляя мизинец и большой палец на ширину октавы и потом медленно сводя их и снова быстро расправляя. Этот грациозный жест, небрежная поза, встряхиванье волосами и внимание, которое оказали наши дамы его таланту, дали мне мысль играть на фортепьяно. Вследствие этой мысли, убедившись, что я имею талант и страсть к музыке, я принялся учиться. В этом отношении я действовал так же, как миллионы мужеского и особенно женского пола учащихся без хорошего учителя, без истинного призвания и без малейшего понятия о том, что может дать искусство, и как нужно приняться за него, чтобы оно дало что-нибудь. Для меня музыка, или скорее игра на фортепьяно, была средство прельщать девиц своими чувствами. С помощью Катеньки, выучившись нотам и выломав немного свои толстые

пальцы, на что я, впрочем, употребил месяца два такого усердия, что даже за обедом на коленке и в постеле на подушке я работал непокорным безымянным пальцем, я тотчас же принялся играть *пьесы* и играл их, разумеется, с душой, avec âme, в чем соглашалась и Катенька, но совершенно без такта.

Выбор пьес был известный — вальсы, галопы, романсы (arrangés) и т. п., — всё тех милых композиторов, которых всякий человек с немного здравым вкусом отберет вам в нотном магазине небольшую кипу из кучи прекрасных вещей и скажет: «вот чего не надо играть, потому что хуже, безвкуснее и бессмысленнее этого никогда ничего не было писано на нотной бумаге», — и которых, должно быть, именно поэтому, вы найдете на фортепьянах у каждой русской барышни. Правда, у нас были и несчастные, навеки изуродованные барышнями «Sonate Pathétique»[1] и Cis-moll-ная сонаты Бетховена, которые в воспоминание maman играла Любочка, и еще другие хорошие вещи, которые ей задал ее московский учитель, но были и сочинения этого учителя, нелепейшие марши и галопы, которые тоже играла Любочка. Мы же с Катенькой не любили серьезных вещей, а предпочитали всему «Le Fou»[2] и «Соловья», которого Катенька играла так, что пальцев не было видно, и я уже начинал играть довольно громко и слитно. Я усвоил себе жест молодого человека и часто жалел о том, что некому из посторонних посмотреть, как я играю. Но скоро Лист и Калькбренер показались мне не по силам, и я увидел невозможность догнать Катеньку. Вследствие этого, вообразив себе, что классическая музыка легче, и отчасти для оригинальности, я решил вдруг, что я люблю ученую немецкую музыку, стал приходить в восторг, когда Любочка играла «Sonate Pathétique», несмотря на то, что, по правде сказать, эта соната давно уже опротивела мне до крайности, сам стал играть Бетховена и выговаривать *Бееетховен*. Сквозь всю эту путаницу и притворство, как я теперь вспоминаю, во мне, однако, было что-то в роде таланта, потому что часто музыка делала на меня до слез сильное впечатление, и те вещи, которые мне нравились, я кое-как умел сам без нот отыскивать на фортепьяно; так что, ежели бы тогда кто-нибудь научил меня смотреть на музыку,

[1] [Патетическая соната]
[2] [Безумца]

как на цель, как на самостоятельное наслаждение, а не на средство прельщать девиц быстротой и чувствительностью своей игры, может быть, я бы сделался, действительно, порядочным музыкантом.

Чтение французских романов, которых много привез с собой Володя, было другим моим занятием в это лето. В то время только начинали появляться Монтекристы и разные «Тайны», и я зачитывался романами Сю, Дюма и Поль-де-Кока. Все самые неестественные лица и события были для меня так же живы, как действительность, я не только не смел заподозрить автора во лжи, но сам автор не существовал для меня, а сами собой являлись передо мной, из печатной книги, живые, действительные люди и события. Ежели я нигде не встречал лиц, похожих на те, про которых я читал, то я ни секунды не сомневался в том, что они *будут*.

Я находил в себе все описываемые страсти и сходство со всеми характерами, и с героями, и с злодеями каждого романа, как мнительный человек находит в себе признаки всех возможных болезней, читая медицинскую книгу. Нравились мне в этих романах и хитрые мысли, и пылкие чувства, и волшебные события, и цельные характеры: — добрый, так уж совсем добрый; злой, так уж совсем злой, — именно так, как я воображал себе людей в первой молодости; нравилось очень, очень много и то, что всё это было по-французски и что те благородные слова, которые говорили благородные герои, я мог запомнить, упомянуть при случае в благородном деле. Сколько я с помощью романов придумал различных французских фраз для Колпикова, ежели бы я когда-нибудь с ним встретился, и для *нее*, когда я ее, наконец, встречу и буду открываться ей в любви! Я приготовил им сказать *такое*, что они погибли бы, услышав меня. На основании романов у меня даже составились новые идеалы нравственных достоинств, которых я желал достигнуть. Прежде всего я желал быть во всех своих делах и поступках «noble» (я говорю noble, а не благородный, потому что французское слово имеет другое значение, что поняли немцы, приняв слово nobel и не смешивая с ним понятия ehrlich), потом быть *страстным* и, наконец, к чему у меня и прежде была наклонность, быть как можно более comme il faut. Я даже наружностью и привычками старался быть похожим на героев, имевших какое-нибудь из этих достоинств.

Помню, что в одном из прочитанных мною в это лето сотни романов был один чрезвычайно страстный герой с густыми бровями, и мне так захотелось быть похожим на него наружностью (морально я чувствовал себя точно таким, как он), что я, рассматривая свои брови перед зеркалом, вздумал простричь их слегка, чтоб они выросли гуще, но раз, начав стричь, случилось так, что я выстриг в одном месте больше, — надо было подравнивать, и кончилось тем, что я к ужасу своему увидел себя в зеркало безбровым и вследствие этого очень некрасивым. Однако надеясь, что скоро у меня вырастут густые брови, как у страстного человека, я утешился и только беспокоился о том, что сказать всем нашим, когда они увидят меня безбровым. Я достал пороху у Володи, натер им брови и поджег. Хотя порох не вспыхнул, я был достаточно похож на опаленного, никто не узнал моей хитрости, и действительно, у меня, когда я уже забыл про страстного человека, выросли брови гораздо гуще.

ГЛАВА XXXI.

COMME IL FAUT.

Уже несколько раз в продолжение этого рассказа я намекал на понятие, соответствующее этому французскому заглавию, и теперь чувствую необходимость посвятить целую главу этому понятию, которое в моей жизни было одним из самых пагубных, ложных понятий, привитых мне воспитанием и обществом.

Род человеческий можно разделять на множество отделов — на богатых и бедных, на добрых и злых, на военных и статских, на умных и глупых, и т. д., и т. д., но у каждого человека есть непременно свое любимое главное подразделение, под которое он бессознательно подводит каждое новое лицо. Мое любимое и главное подразделение людей в то время, о котором я пишу, было на людей comme il faut и на comme il ne faut pas.[1] Второй род подразделялся еще на людей собственно не comme il faut и простой народ. Людей comme il faut я уважал и считал достойными иметь со мной равные отношения; вторых — притворялся, что презираю, но в сущности ненавидел их, питая к ним какое-то оскорбленное чувство личности; третьи

[1] [на порядочных и непорядочных]

для меня не существовали — я их презирал совершенно. *Мое* comme il faut состояло, первое и главное, в отличном французском языке и особенно в выговоре. Человек, дурно выговаривавший по-французски, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти. «Для чего же ты хочешь говорить, как мы, когда не умеешь?» с ядовитой насмешкой спрашивал я его мысленно. Второе условие comme il faut были ногти длинные, отчищенные и чистые; третье было уменье кланяться, танцовать и разговаривать; четвертое, и очень важное, было равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки. Кроме того, у меня были общие признаки, по которым я, не говоря с человеком, решал, к какому разряду он принадлежит. Главным из этих признаков, кроме убранства комнаты, печатки, почерка, экипажа, были ноги. Отношение сапог к панталонам тотчас решало в моих глазах положение человека. Сапоги без каблука с угловатым носком и концы панталон узкие без штрипок — это был *простой*; сапог с узким, круглым носком и каблуком и панталоны узкие внизу со штрипками, облегающие ногу, или широкие со штрипками, как балдахин стоящие над носком — это был человек mauvais genre,[1] и т. п.

Странно то, что ко мне, который имел положительную неспособность к comme il faut, до такой степени привилось это понятие. А может быть, именно оно так сильно вросло в меня оттого, что мне стоило огромного труда, чтобы приобрести это comme il faut. Страшно вспомнить, сколько бесценного, лучшего в жизни шестнадцатилетнего времени я потратил на приобретение этого качества. Всем, кому я подражал, — Володе Дубкову и большей части моих знакомых, всё это, казалось, доставалось легко. Я с завистью смотрел на них и втихомолку работал над французским языком, над наукой кланяться, не глядя на того, кому кланяешься, над разговором, танцованьем, над вырабатыванием в себе ко всему равнодушия и скуки, над ногтями, на которых я резал себе мясо ножницами, — и всё-таки чувствовал, что мне еще много оставалось труда для достижения цели. А комнату, письменный стол, экипаж, всё это я никак не умел устроить так, чтоб было comme il faut, хотя усиливался, несмотря на отвращение к практическим

[1] [дурного вкуса,]

делам, заниматься этим. У других же без всякого, казалось, труда всё шло отлично, как будто не могло быть иначе. Помню раз, после усиленного и тщетного труда над ногтями я спросил у Дубкова, у которого ногти были удивительно хороши, давно ли они у него такие, и как он это сделал? Дубков мне отвечал: «С тех пор, как себя помню, никогда ничего не делал, чтобы они были такие, и не понимаю, как могут быть другие ногти у порядочного человека». Этот ответ сильно огорчил меня. Я тогда еще не знал, что одним из главных условий comme il faut была скрытность в отношении тех трудов, которыми достигается comme il faut. Comme il faut было для меня не только важной заслугой, прекрасным качеством, совершенством, которого я желал достигнуть, но это было необходимое условие жизни, без которого не могло быть ни счастия, ни славы, ничего хорошего на свете. Я не уважал бы ни знаменитого артиста, ни ученого, ни благодетеля рода человеческого, если бы он не был comme il faut. Человек comme il faut стоял выше и вне сравнения с ними; он предоставлял им писать картины, ноты, книги, делать добро, — он даже хвалил их за это, отчего же не похвалить хорошего, в ком бы оно ни было, — но он не мог становиться с ними под один уровень, он был comme il faut, а они нет — и довольно. Мне кажется даже, что ежели бы у нас был брат, мать или отец, которые бы не были comme il faut, я бы сказал, что это несчастие, но что уж между мной и ими не может быть ничего общего. Но ни потеря золотого времени, употребленного на постоянную заботу о соблюдении всех трудных для меня условий comme il faut, исключающих всякое серьезное увлечение, ни ненависть и презрение к девяти десятым рода человеческого, ни отсутствие внимания ко всему прекрасному, совершающемуся вне кружка comme il faut, всё это еще было не главное зло, которое мне причинило это понятие. Главное зло состояло в том убеждении, что comme il faut есть самостоятельное положение в обществе, что человеку не нужно стараться быть ни чиновником, ни каретником, ни солдатом, ни ученым, когда он comme il faut; что, достигнув этого положения, он уж исполняет свое назначение и даже становится выше большей части людей.

В известную пору молодости, после многих ошибок и увлечений, каждый человек обыкновенно становится в необходимость деятельного участия в общественной жизни, избирает

какую-нибудь отрасль труда и посвящает себя ей; но с человеком comme il faut это редко случается. Я знал и знаю очень, очень много людей старых, гордых, самоуверенных, резких в суждениях, которые на вопрос, если такой задастся им на том свете: «Кто ты такой? и что ты там делал?» не будут в состоянии ответить иначе как: «je fus un homme très comme il faut».[1]

Эта участь ожидала меня.

ГЛАВА XXXII.

ЮНОСТЬ.

Несмотря на происходившую у меня в голове путаницу понятий, я в это лето был юн, невинен, свободен и поэтому почти счастлив.

Иногда, и довольно часто, я вставал рано. (Я спал на открытом воздухе, на террасе, и яркие косые лучи утреннего солнца будили меня.) Я живо одевался, брал под мышку полотенце и книгу французского романа и шел купаться в реке в тени березника, который был в пол-версте от дома. Там я ложился в тени на траве и читал, изредка отрывая глаза от книги, чтобы взглянуть на лиловатую в тени поверхность реки, начинающую колыхаться от утреннего ветра, на поле желтеющей ржи на том берегу, на светло-красный утренний свет лучей, ниже и ниже окрашивающий белые стволы берез, которые, прячась одна за другую, уходили от меня в даль чистого леса, и наслаждался сознанием в себе точно такой же свежей молодой силы жизни, какой везде кругом меня дышала природа. Когда на небе были утренние серые тучки, и я озябал после купанья, я часто без дороги отправлялся ходить по полям и лесам, с наслаждением сквозь сапоги промачивая ноги по свежей росе. В это время я живо мечтал о героях последнего прочитанного романа и воображал себя то полководцем, то министром, то силачем необыкновенным, то страстным человеком и с некоторым трепетом оглядывался беспрестанно кругом, в надежде вдруг встретить где-нибудь *ее* на полянке или за деревом. Когда в таких прогулках я встречал крестьян и крестьянок на работах, несмотря на то, что *простой народ* не существовал для меня, я всегда испытывал бессознательное, сильное смущение

---

[1] [я был очень порядочным человеком.]

и старался, чтоб они меня не видели. Когда уже становилось жарко, но дамы наши еще не выходили к чаю, я часто ходил в огород или сад есть все те овощи и фрукты, которые поспевали. И это занятие доставляло мне одно из главных удовольствий. Заберешься бывало в яблочный сад, в самую середину высокой, заросшей, густой малины. Над головой — яркое горячее небо, кругом — бледно-зеленая колючая зелень кустов малины, перемешанных с сорною заростью. Темно-зеленая крапива с тонкой цветущей макушкой стройно тянется вверх; разлапистый репейник с неестественно лиловыми колючими цветками грубо растет выше малины и выше головы, и кое-где вместе с крапивою достает даже до развесистых бледно-зеленых ветвей старых яблонь, на которых наверху, в упор жаркому солнцу, зреют глянцевитые, как косточки, круглые, еще сырые яблоки. Внизу молодой куст малины, почти сухой, без листьев, искривившись, тянется к солнцу; зеленая игловатая трава и молодой лопух, пробившись сквозь прошлогодний лист, увлажненные росой, сочно зеленеют в вечной тени, как будто и не знают о том, как на листьях яблони ярко играет солнце.

В чаще этой всегда сыро, пахнет густой постоянной тенью, паутиной, падалью-яблоком, которое, чернея, уже валяется на прелой земле, малиной, иногда и лесным клопом, которого проглотишь нечаянно с ягодой и поскорее заешь другою. Подвигаясь вперед, спугиваешь воробьев, которые всегда живут в этой глуши, слышишь их торопливое чириканье и удары о ветки их маленьких, быстрых крыльев, слышишь жужжание на одном месте жировой пчелы и где-нибудь по дорожке шаги садовника, дурачка Акима, и его вечное мурлыканье себе под нос. Думаешь себе: «нет! ни ему, ни кому на свете не найти меня тут...» обеими руками направо и налево снимаешь с белых конических стебельков сочные ягоды и с наслаждением глотаешь одну за другою. Ноги, даже выше колен, насквозь мокры, в голове какой-нибудь ужаснейший вздор (твердишь тысячу раз сряду мысленно и-и-и по-оо-о двад-ца-а-ать и-и-и-по-семь), руки и ноги сквозь промоченные панталоны обожжены крапивой, голову уже начинают печь прорывающиеся в чащу прямые лучи солнца, есть уже давно не хочется, а всё сидишь в чаще, поглядываешь, послушиваешь, подумываешь и машинально обрываешь и глотаешь лучшие ягоды.

Часу в одиннадцатом я обыкновенно приходил в гостиную,

большей частью после чаю, когда уже дамы сидели за занятиями. Около первого окна, с опущенной на солнце небеленой холстинной сторой, сквозь скважины которой яркое солнце кладет на всё, что ни попадется, такие блестящие огненные кружки, что глазам больно смотреть на них, стоят пяльцы, по белому полотну которых тихо гуляют мухи. За пяльцами сидит Мими, беспрестанно сердито встряхивая головой и передвигаясь с места на место от солнца, которое, вдруг прорвавшись где-нибудь, проложит ей то там, то сям на лице или на руке огненную полосу. Сквозь другие три окна, с тенями рам, лежат цельные яркие четырехугольники; на некрашенном полу гостиной, на одном из них, по старой привычке, лежит Милка и, насторожив уши, вглядывается в ходящих мух по светлому четырехугольнику. Катенька вяжет или читает, сидя на диване, и нетерпеливо отмахивается своими беленькими, кажущимися прозрачными в ярком свете ручками или, сморщившись, трясет головкой, чтоб выгнать забившуюся в золотистые густые волоса бьющуюся там муху. Любочка или ходит взад и вперед по комнате, заложив за спину руки, дожидаясь того, чтоб пошли в сад, или играет на фортепьяно какую-нибудь пьесу, которой я давно знаю каждую нотку. Я сажусь где-нибудь, слушаю эту музыку или чтение и дожидаюсь того, чтобы мне можно было самому сесть за фортепьяно. После обеда я иногда удостоивал девочек ездить верхом с ними (ходить гулять пешком я считал несообразным с моими годами и положением в свете). И наши прогулки, в которых я провожу их по необыкновенным местам и оврагам, бывают очень приятны. С нами случаются иногда приключения, в которых я себя показываю молодцом, и дамы хвалят мою езду и смелость и считают меня своим покровителем. Вечером, ежели гостей никого нет, после чаю, который мы пьем в тенистой галлерее, и после прогулки с папа по хозяйству я ложусь на старое свое место, в вольтеровское кресло, и, слушая Катенькину или Любочкину музыку, читаю и вместе с тем мечтаю по-старому. Иногда, оставшись один в гостиной, когда Любочка играет какую-нибудь старинную музыку, я невольно оставляю книгу и, вглядываясь в растворенную дверь балкона в кудрявые висячие ветви высоких берез, на которых уже заходит вечерняя тень, и в чистое небо, на котором, как смотришь пристально, вдруг показывается как будто пыльное, желтоватое пятнышко и снова исчезает,

и, вслушиваясь в звуки музыки из залы, скрыпа ворот, бабьих голосов и возвращающегося стада на деревне, я вдруг живо вспоминаю и Наталью Савишну, и maman, и Карла Иваныча, и мне на минуту становится грустно. Но душа моя так полна в это время жизнью и надеждами, что воспоминание это только крылом касается меня и летит дальше.

После ужина и иногда ночной прогулки с кем-нибудь по саду — один я боялся ходить по темным аллеям — я уходил один спать на полу на галлерею, что, несмотря на миллионы ночных комаров, пожиравших меня, доставляло мне большое удовольствие. В полнолуние я часто целые ночи напролет проводил, сидя на своем тюфяке, вглядываясь в свет и тени, вслушиваясь в тишину и звуки, мечтая о различных предметах, преимущественно о поэтическом, сладострастном счастии, которое мне тогда казалось высшим счастием в жизни, и тоскуя о том, что мне до сих пор дано было только воображать его. Бывало, только-что все разойдутся, и огни из гостиной перейдут в верхние комнаты, где слышны становятся женские голоса и стук отворяющихся и затворяющихся окон, я отправляюсь на галлерею и расхаживаю по ней, жадно прислушиваясь ко всем звукам засыпающего дома. До тех пор, пока есть маленькая, беспричинная надежда, хотя на неполное такое счастие, о котором я мечтаю, я еще не могу спокойно строить для себя воображаемое счастие.

При каждом звуке босых шагов, кашле, вздохе, толчке окошка, шорохе платья я вскакиваю с постели, воровски прислушиваюсь, приглядываюсь и без видимой причины прихожу в волнение. Но вот огни исчезают в верхних окнах, звуки шагов и говора заменяются храпением, караульщик по-ночному начинает стучать в доску, сад стал и мрачнее и светлее, как скоро исчезли на нем полосы красного света из окон, последний огонь из буфета переходит в переднюю, прокладывая полосу света по росистому саду, и мне видна через окно сгорбленная фигура Фоки, который в кофточке, со свечой в руках, идет к своей постеле. Часто я находил большое волнующее наслаждение, крадучись по мокрой траве в черной тени дома, подходить к окну передней и, не переводя дыхания, слушать храпение мальчика, покряхтыванье Фоки, полагавшего, что никто его не слышит, и звук его старческого голоса, долго, долго читавшего молитвы. Наконец тушилась его последняя

свечка, окно захлопывалось, я оставался совершенно один и, робко оглядываясь по сторонам, не видно ли где-нибудь, подле клумбы или подле моей постели, белой женщины, — рысью бежал на галлерею. И вот тогда-то я ложился на свою постель, лицом к саду, и, закрывшись, сколько возможно было, от комаров и летучих мышей, смотрел в сад, слушал звуки ночи и мечтал о любви и счастии.

Тогда всё получало для меня другой смысл: и вид старых берез, блестевших с одной стороны на лунном небе своими кудрявыми ветвями, с другой — мрачно застилавших кусты и дорогу своими черными тенями, и спокойный, пышный, равномерно, как звук, возраставший блеск пруда, и лунный блеск капель росы на цветах перед галлереей, тоже кладущих поперек серой рабатки свои грациозные тени, и звук перепела за прудом, и голос человека с большой дороги, и тихий, чуть слышный скрип двух старых берез друг о друга, и жужжание комара над ухом под одеялом, и падение зацепившегося за ветку яблока на сухие листья, и прыжки лягушек, которые иногда добирались до ступеней террасы и как-то таинственно блестели на месяце своими зеленоватыми спинками, — всё это получало для меня странный смысл — смысл слишком большой красоты и какого-то недоконченного счастия. И вот являлась *она* с длинной черной косой, высокой грудью, всегда печальная и прекрасная, с обнаженными руками, с сладострастными объятиями. Она любила меня, я жертвовал для одной минуты ее любви всей жизнью. Но луна всё выше, выше, светлее и светлее стояла на небе, пышный блеск пруда, равномерно усиливающийся, как звук, становился яснее и яснее, тени становились чернее и чернее, свет прозрачнее и прозрачнее, и вглядываясь и вслушиваясь во всё это, что-то говорило мне, что и *она* с обнаженными руками и пылкими объятиями, еще далеко, далеко не всё счастие, что и любовь к ней далеко, далеко еще не всё благо; и чем больше я смотрел на высокий, полный месяц, тем истинная красота и благо казались мне выше и выше, чище и чище, и ближе и ближе к Нему, к Источнику всего прекрасного и благого, и слезы какой-то неудовлетворенной, но волнующей радости навертывались мне на глаза.

И всё я был один, и всё мне казалось, что таинственно величавая природа, притягивающий к себе светлый круг месяца, остановившийся зачем-то на одном высоком неопределенном

месте бледно-голубого неба и вместе стоящий везде и как будто наполняющий собой всё необъятное пространство, и я, ничтожный червяк, уже осквернённый всеми мелкими, бедными людскими страстями, но со всей необъятной могучей силой воображения и любви — мне всё казалось в эти минуты, что как будто природа и луна, и я, мы были одно и то же.

ГЛАВА XXXIII.

СОСЕДИ.

Меня очень удивило в первый день нашего приезда то, что папа назвал наших соседей Епифановых славными людьми, и еще больше удивило то, что он ездил к ним. У нас с Епифановыми с давних пор была тяжба за какую-то землю. Будучи ребенком, не раз я слышал, как папа сердился за эту тяжбу, бранил Епифановых, призывал различных людей, чтобы, по моим понятиям, защититься от них, слышал, как Яков называл их нашими неприятелями и *черными людьми*, и помню, как maman просила, чтоб в ее доме и при ней даже не упоминали про этих людей.

По этим данным, я в детстве составил себе такое твердое и ясное понятие о том, что Епифановы наши *враги*, которые готовы зарезать или задушить не только папа, но и сына его, ежели бы он им попался, и что они в буквальном смысле *черные люди*, что, увидев в год кончины матушки Авдотью Васильевну Епифанову, la belle Flamande,[1] ухаживающей за матушкой, я с трудом мог поверить тому, что она была из семейства черных людей, и всё-таки удержал об этом семействе самое низкое понятие. Несмотря на то, что в это лето мы часто виделись с ними, я продолжал быть странно предубежден против всего этого семейства. В сущности же, вот кто такие были Епифановы. Семейство их состояло из матери, пятидесятилетней вдовы, еще свеженькой и веселенькой старушки, красавицы дочери Авдотьи Васильевны и сына, заики, Петра Васильевича, отставного холостого поручика, весьма серьезного характера.

Анна Дмитриевна Епифанова лет двадцать до смерти мужа жила вровь с ним, изредка в Петербурге, где у нее были родственники, но большею частию в своей деревне Мытищах, ко-

[1] [красавицу фламандку,]

торая была в трех верстах от нас. В околодке рассказывали про ее образ жизни такие ужасы, что Мессалина в сравнении с нею была невинное дитя. Вследствие этого-то матушка и просила, чтобы в ее доме не поминали даже имени Епифановой; но совершенно не иронически говоря, нельзя было верить и десятой доле самых злостных из всех родов сплетней, — деревенских соседских сплетней. Но в то время, когда я узнал Анну Дмитриевну, хотя и был у нее в доме из крепостных конторщик Митюша, который, всегда напомаженный, завитой и в сюртуке на черкесский манер, стоял во время обеда за стулом Анны Дмитриевны, и она часто при нем по-французски приглашала гостей полюбоваться его прекрасными глазами и ртом, ничего и похожего не было на то, что продолжала говорить молва. Действительно, кажется, уж лет десять тому назад, именно с того времени, как Анна Дмитриевна выписала из службы к себе своего почтительного сына Петрушу, она совершенно переменила свой образ жизни. Имение Анны Дмитриевны было небольшое, всего с чем-то сто душ, а расходов во времена ее веселой жизни было много, так что лет десять тому назад, разумеется, заложенное и перезаложенное имение было просрочено и неминуемо должно было продаться с аукциона. В этих-то крайних обстоятельствах, полагая, что опека, опись имения, приезд суда и тому подобные неприятности происходят не столько от неплатежа процентов, сколько от того, что она женщина, Анна Дмитриевна писала в полк к сыну, чтоб он приехал спасти свою мать в этом случае. Несмотря на то, что служба Петра Васильича шла так хорошо, что он скоро надеялся иметь свой кусок хлеба, он всё бросил, вышел в отставку и, как почтительный сын, считавший своей первою обязанностию успокоивать старость матери (что он совершенно искренно и писал ей в письмах), приехал в деревню.

Петр Васильевич, несмотря на свое некрасивое лицо, не уклюжесть и заиканье, был человек с чрезвычайно твердыми правилами и необыкновенным практическим умом. Кое-как, мелкими займами, оборотами, просьбами и обещаниями, он удержал имение. Сделавшись помещиком, Петр Васильевич надел отцовскую бекешу, хранившуюся в кладовой, уничтожил экипажи и лошадей, отучил гостей ездить в Мытища, а раскопал копани, увеличил запашку, уменьшил крестьянской земли, срубил своими и хозяйственно продал рощу и поправил

дела. Петр Васильевич дал себе и сдержал слово до тех пор, пока не уплатятся все долги, не носить другого платья, как отцовскую бекешу и парусинное пальто, которое он сшил себе, и не ездить иначе, как в тележке, на крестьянских лошадях. Этот стоический образ жизни он старался распространить на всё семейство, сколько позволяло ему подобострастное уважение к матери, которое он считал своим долгом. В гостиной он, заикаясь, раболепствовал перед матерью, исполнял все ее желания, бранил людей, ежели они не делали того, что приказывала Анна Дмитриевна, у себя же в кабинете и в конторе строго взыскивал за то, что взяли к столу без его приказания утку или послали к соседке мужика по приказанию Анны Дмитриевны узнать о здоровье, или крестьянских девок, вместо того, чтобы полоть в огороде, послали в лес за малиной.

Года через четыре долги все были заплачены, и Петр Васильевич, съездив в Москву, вернулся оттуда в новом платье и тарантасе. Но несмотря на это цветущее положение дел, он удержал те же стоические наклонности, которыми, казалось, мрачно гордился перед своими и посторонними, и часто, заикаясь, говорил, что «кто меня истинно хочет видеть, тот рад будет видеть меня и в тулупе, тот будет и щи, и кашу мою есть. — Я же ем ее», — прибавлял он. В каждом слове и движении его выражалась гордость, основанная на сознании того, что он пожертвовал собой для матери и выкупил имение, и презрение к другим за то, что они ничего подобного не сделали.

Мать и дочь были совершенно других характеров и во многом различны между собою. Мать была одна из самых приятных, всегда одинаково добродушно веселых в обществе женщин. Всё милое, веселое истинно радовало ее. Даже — черта, встречаемая только у самых добродушных старых людей — способность наслаждаться видом веселящейся молодежи была у нее в высшей степени. Дочь ее, Авдотья Васильевна, была, напротив, серьезного характера или, скорее, того особенного равнодушно рассеянного и без всякого основания высокомерного нрава, которого обыкновенно бывают незамужние красавицы. Когда же она хотела быть веселой, то веселье ее выходило какое-то странное — не то она смеялась над собой, не то над тем, с кем говорила, не то над всем светом, чего она, верно, не хотела. Часто я удивлялся и спрашивал себя, что́ она хотела этим сказать, когда говорила подобные фразы: *да, я ужасно*

как хороша собой; как же, все в меня влюблены, и т. п. Анна Дмитриевна была всегда деятельна; имела страсть к устройству домика и садика, к цветам, канарейкам и хорошеньким вещицам. Ее комнатки и садик были небольшие и небогатые, но всё это было устроено так аккуратно, чисто и всё носило такой общий характер той легонькой веселости, которую выражает хорошенький вальс или полька, что слово *игрушечка*, употребляемое часто в похвалу гостями, чрезвычайно шло к садику и комнаткам Анны Дмитриевны. И сама Анна Дмитриевна была игрушечка — маленькая, худенькая, с свежим цветом лица, с хорошенькими маленькими ручками, всегда веселая и всегда к лицу одетая. Только немного слишком выпукло обозначавшиеся темно-лиловые жилки на ее маленьких ручках расстроивали этот общий характер. Авдотья Васильевна, напротив, почти никогда ничего не делала и не только не любила заниматься какими-нибудь вещицами или цветочками, но даже слишком мало занималась собой и всегда убегала одеваться, когда приезжали гости. Но, одетая возвратившись в комнату, она бывала необыкновенно хороша, исключая общего всем очень красивым лицам холодного и однообразного выражения глаз и улыбки. Ее строго правильное, прекрасное лицо и ее стройная фигура, казалось, постоянно говорили вам: «извольте, можете смотреть на меня».

Но, несмотря на живой характер матери и равнодушно рассеянную внешность дочери, что-то говорило вам, что первая никогда — ни прежде, ни теперь — ничего не любила, исключая хорошенького и веселенького, а что Авдотья Васильевна была одна из тех натур, которые ежели раз полюбят, то жертвуют уже всею жизнию тому, кого они полюбят.

ГЛАВА XXXIV.

ЖЕНИТЬБА ОТЦА.

Отцу было сорок восемь лет, когда он во второй раз женился на Авдотье Васильевне Епифановой.

Приехав один весной с девочками в деревню, папа, я воображаю, находился в том особенном тревожно счастливом и общительном расположении духа, в котором обыкновенно бывают игроки, забастовав после большого выигрыша. Он чувствовал, что много еще оставалось у него неизрасходованного

счастия, которое, ежели он не хотел больше употреблять на карты, он мог употребить вообще на успехи в жизни. Притом была весна, у него было неожиданно много денег, он был совершенно один и скучал. Толкуя с Яковом о делах и вспомнив о бесконечной тяжбе с Епифановым и о красавице Авдотье Васильевне, которую он давно не видел, я воображаю, как он сказал Якову: «Знаешь, Яков Харлампыч, чем нам возиться с этой тяжбой, я думаю просто уступить им эту проклятую землю, а? как ты думаешь?....»

Воображаю, как отрицательно завертелись за спиной пальцы Якова при таком вопросе, и как он доказывал, что «*опять-таки* дело наше правое, Петр Александрович».

Но папа велел заложить колясочку, надел свою модную оливковую бекешу, зачесал остатки волос, вспрыснул платок духами и в самом веселом расположении духа, в которое приводило его убеждение, что он поступает по-барски, а главное— надежда увидать хорошенькую женщину, поехал к соседям.

Мне известно только то, что папа в первый свой визит не застал Петра Васильевича, который был в поле, и пробыл один часа два с дамами. Я воображаю, как он рассыпался в любезностях, как обворожал их, притопывая своим мягким сапогом, пришепетывая и делая сладенькие глазки. Я воображаю тоже, как его вдруг нежно полюбила веселенькая старушка, и как развеселилась ее холодная красавица дочь.

Когда дворовая девка, запыхавшись, прибежала доложить Петру Васильевичу, что сам старый Иртеньев приехал, я воображаю, как он сердито отвечал: — «ну, что ж что приехал?»— и как вследствие этого он пошел домой как можно тише, может быть, еще, вернувшись в кабинет, нарочно надел самый грязный пальто и послал сказать повару, чтобы отнюдь не смел, ежели барыни прикажут, ничего прибавлять к обеду.

Я потом часто видал папа с Епифановым, поэтому живо представляю себе это первое свидание. Воображаю, как, несмотря на то, что папа предложил ему мировой окончить тяжбу, Петр Васильевич был мрачен и сердит за то, что пожертвовал своей карьерой матери, а папа подобного ничего не сделал, как ничто не удивляло его, и как папа, будто не замечая этой мрачности, был игрив, весел и обращался с ним, как с удивительным шутником, чем иногда обижался Петр Васильевич и чему иногда против своего желания не мог не поддаваться.

Папа, с своею склонностию из всего делать шутку, называл Петра Васильевича почему-то полковником и, несмотря на то, что Епифанов при мне раз, хуже чем обыкновенно заикнувшись и покраснев от досады, заметил, что он не по-по-по-полковник, а по-по-по-по-ручик, папа через пять минут назвал его опять полковником.

Любочка рассказывала мне, что, когда еще нас не было в деревне, они каждый день виделись с Епифановыми, и было чрезвычайно весело. Папа, с своим умением устроивать всё как-то оригинально, шутливо и вместе с тем просто и изящно, затеивал то охоты, то рыбные ловли, то какие-то фейерверки, на которых присутствовали Епифановы. И было бы еще веселее, ежели бы не этот несносный Петр Васильевич, который дулся, заикался и всё расстроивал, говорила Любочка.

С тех пор как мы приехали, Епифановы только два раза были у нас, и раз мы все ездили к ним. После же Петрова дня, в который, на именинах папа, были они и пропасть гостей, отношения наши с Епифановыми почему-то совершенно прекратились, и только папа один продолжал ездить к ним.

В то короткое время, в которое я видел папа вместе с Дунечкой, как ее звала мать, вот что я успел заметить. Папа был постоянно в том же счастливом расположении духа, которое поразило меня в нем в день нашего приезда. Он был так весел, молод, полон жизни и счастлив, что лучи этого счастия распространялись на всех окружающих и невольно сообщали им такое же расположение. Он ни на шаг не отходил от Авдотьи Васильевны, когда она была в комнате, беспрестанно говорил ей такие сладенькие комплименты, что мне совестно было за него, или молча, глядя на нее, как-то страстно и самодовольно подергивал плечом и покашливал, а иногда, улыбаясь, говорил с ней даже шопотом; но всё это делал с тем выражением, *так, шутя*, которое в самых серьезных вещах было ему свойственно.

Авдотья Васильевна, казалось, усвоила себе от папа выражение счастия, которое в это время блестело в ее больших голубых глазах почти постоянно, исключая тех минут, когда на нее вдруг находила такая застенчивость, что мне, знавшему это чувство, было жалко и больно смотреть на нее. В такие минуты она, видимо, боялась каждого взгляда и движения, ей казалось, что все смотрят на нее, думают только об ней и всё в ней находят неприличным. Она испуганно оглядывалась на

всех, краска беспрестанно приливала и отливала от ее лица, и она начинала громко и смело говорить, большею частию глупости, чувствуя это, чувствуя, что все и папа слышат это, и краснела еще больше. Но в таких случаях папа и не замечал ее глупостей, он всё так же страстно, покашливая, с веселым восторгом смотрел на нее. Я заметил, что припадки застенчивости, хотя и находили на Авдотью Васильевну без всякой причины, иногда следовали тотчас же за тем, как при папа упоминали о какой-нибудь молодой и красивой женщине. Частые переходы от задумчивости к тому роду ее странной, неловкой веселости, про которую я уже говорил, повторение любимых слов и оборотов речи папа, продолжение с другими начатых с папа разговоров, всё это, если б действующим лицом был не мой отец, и я бы был постарше, объяснило бы мне отношения папа и Авдотьи Васильевны, но я ничего не подозревал в то время, даже и тогда, когда при мне папа, получив какое-то письмо от Петра Васильича, очень расстроился им и до конца августа перестал ездить к Епифановым.

В конце августа папа снова стал ездить к соседям и за день до нашего (моего и Володи) отъезда в Москву объявил нам, что он женится на Авдотье Васильевне Епифановой.

ГЛАВА XXXV.

КАК МЫ ПРИНЯЛИ ЭТО ИЗВЕСТИЕ.

Накануне этого официального извещения все в доме уже знали и различно судили об этом обстоятельстве. Мими не выходила целый день из своей комнаты и плакала. Катенька сидела с ней и вышла только к обеду, с каким-то оскорбленным выражением лица, явно заимствованным от своей матери; Любочка, напротив, была очень весела и говорила за обедом, что она знает отличный секрет, который, однако, она никому не расскажет.

— Ничего нет отличного в твоем секрете, — сказал ей Володя, не разделяя ее удовольствия: — коли бы ты могла думать о чем-нибудь серьезно, ты бы поняла, что это, напротив, очень худо.

Любочка с удивлением, пристально посмотрела на него и замолчала.

После обеда Володя хотел меня взять за руку, но, испу-

гавшись, должно быть, что это будет похоже на нежность, только тронул меня за локоть и кивнул в залу.

— Ты знаешь, про какой секрет говорила Любочка? — сказал он мне, убедившись, что мы были одни.

Мы редко говорили с Володей с глазу на глаз и о чем-нибудь серьезном, так что, когда это случалось, мы испытывали какую-то взаимную неловкость, и в глазах у нас начинали прыгать мальчики, как говорил Володя; но теперь, в ответ на смущение, выразившееся в моих глазах, он пристально и серьезно продолжал глядеть мне в глаза с выражением, говорившим: «тут нечего смущаться, всё-таки мы братья и должны посоветоваться между собой о важном семейном деле». Я понял его, и он продолжал:

— Папа женится на Епифановой, ты знаешь?

Я кивнул головой, потому что уже слышал про это.

— Ведь это очень не хорошо, — продолжал Володя.

— Отчего же?

— Отчего? — отвечал он с досадой: — очень приятно иметь этакого дядюшку-заику, полковника, и всё это родство. Да и она теперь только кажется добрая и ничего, а кто ее знает, что будет. Нам, положим, всё равно, но Любочка ведь скоро должна выезжать в свет. С этакой belle-mere[1] не очень приятно, она даже по-французски плохо говорит, и какие манеры она может ей дать. Пуассардка и больше ничего; положим, добрая, но всё-таки пуассардка, — заключал Володя, видимо очень довольный этим наименованием «пуассардки».

Как ни странно мне было слышать, что Володя так спокойно судит о выборе папа, мне казалось, что он прав.

— Из чего же папа женится? — спросил я.

— Это темная история, Бог их знает; я знаю только, что Петр Васильич уговаривал его жениться, требовал, что папа не хотел, а потом ему пришла фантазия, какое-то рыцарство,— темная история. Я теперь только начал понимать отца, — продолжал Володя (то, что он называл его отцом, а не папа, больно кольнуло меня): — что он прекрасный человек, добр и умен, но такого легкомыслия и ветренности... это удивительно! он не может видеть хладнокровно женщину. Ведь ты знаешь, что нет женщины, которую бы он знал и в которую бы не влюбился. Ты знаешь, Мими ведь тоже.

---

[1] [мачехой]

— Что ты?

— Я тебе говорю; я недавно узнал, он был влюблен в Мими, когда она была молода, стихи ей писал, и что-то у них было. Мими до сих пор страдает. — И Володя засмеялся.

— Не может быть! — сказал я с удивлением.

— Но главное, — продолжал Володя снова серьезно и вдруг начиная говорить по-французски, — всей родне нашей как будет приятна такая женитьба! И дети ведь у нее верно будут.

Меня так поразил здравый смысл и предвиденье Володи, что я не знал, что отвечать.

В это время к нам подошла Любочка.

— Так вы знаете? — спросила она с радостным лицом.

— Да, — сказал Володя: — только я удивляюсь, Любочка: ведь ты уже не в пеленках дитя, что тебе может быть радости, что папа женится на какой-нибудь дряни?

Любочка вдруг сделала серьезное лицо и задумалась.

— Володя! отчего же дряни? как ты смеешь так говорить про Авдотью Васильевну? Коли папа на ней женится, так, стало быть, она не дрянь.

— Да, не дрянь, я так сказал, но всё-таки...

— Нечего «но всё-таки», — перебила Любочка, разгорячившись: — я не говорила, что дрянь эта барышня, в которую ты влюблен; как же ты можешь говорить про папа и про отличную женщину? Хоть ты старший брат, но ты мне не говори, ты не должен говорить.

— Да отчего ж нельзя рассуждать про...

— Нельзя рассуждать, — опять перебила Любочка: — нельзя рассуждать про такого отца, как наш. Мими может рассуждать, а не ты, старший брат.

— Нет, ты еще ничего не понимаешь, — сказал Володя презрительно: — ты пойми. Что, это хорошо, что какая-нибудь Епифанова *Дунечка* заменит тебе maman покойницу?

Любочка замолчала на минутку, и вдруг слезы выступили у нее на глаза.

— Я знала, что ты гордец, но не думала, чтоб ты был такой злой, — сказала она и ушла от нас.

— *В булку*, — сказал Володя, сделав серьезно комическое лицо и мутные глаза. — Вот рассуждай с ними, — продолжал он, как будто упрекая себя в том, что он до того забылся, что решился снизойти до разговора с Любочкой.

На другой день погода была дурная, и еще ни папа, ни дамы не выходили к чаю, когда я пришел в гостиную. Ночью был осенний холодный дождик, по небу бежали остатки вылившейся ночью тучи, сквозь которую неярко просвечивало обозначавшееся светлым кругом, довольно высоко уже стоявшее солнце. Было ветрено, сыро и сиверко. Дверь в сад была открыта, на почерневшем от мокроты полу террасы высыхали лужи ночного дождя. Открытая дверь подергивалась от ветра на железном крючке, дорожки были сыры и грязны; старые березы с оголенными белыми ветвями, кусты и трава, крапива, смородина, бузина с вывернутыми бледной стороной листьями, бились на одном месте и, казалось, хотели оторваться от корней; из липовой аллеи, вертясь и обгоняя друг друга, летели желтые круглые листья и, промокая, ложились на мокрую дорогу и на мокрую темно-зеленую отаву луга. Мысли мои заняты были будущей женитьбой отца, с той точки зрения, с которой смотрел на нее Володя. Будущее сестры, нас и самого отца не представляло мне ничего хорошего. Меня возмущала мысль, что посторонняя, чужая и, главное, *молодая* женщина, не имея на то никакого права, вдруг займет место во многих отношениях — кого же? — простая *молодая* барышня, и займет место покойницы матушки! Мне было грустно, и отец казался мне всё больше и больше виноватым. В это время я услышал его и Володин голоса, говорившие в официантской. Я не хотел видеть отца в эту минуту и отошел от двери; но Любочка пришла за мною и сказала, что папа меня спрашивает.

Он стоял в гостиной, опершись рукой о фортепьяно, и нетерпеливо и вместе с тем торжественно смотрел в мою сторону. На лице его уже не было того выражения молодости и счастия, которое я замечал на нем всё это время. Он был печален. Володя с трубкой в руке ходил по комнате. Я подошел к отцу и поздоровался с ним.

— Ну, друзья мои, —.сказал он решительно, поднимая голову, и тем особенным быстрым тоном, которым говорятся вещи очевидно неприятные, но о которых судить уже поздно: — вы знаете, я думаю, что я женюсь на Авдотье Васильевне. — Он помолчал немного. — Я никогда не хотел жениться после вашей maman, но... — он остановился на минуту: — но.... но видно судьба. Дунечка добрая, милая девушка и уж не очень молода; я надеюсь, вы ее полюбите, дети, а она уже вас любит

от души, она хорошая. Теперь вам, — сказал он, обращаясь ко мне и Володе и как будто торопясь говорить, чтоб мы не успели перебить его: — вам пора уж ехать, а я пробуду здесь до нового года и приеду в Москву, — опять он замялся, — уже с женою и с Любочкой. — Мне стало больно видеть отца, как будто робеющего и виноватого перед нами, я подошел к нему ближе, но Володя, продолжая курить, опустив голову, всё ходил по комнате.

— Так-то, друзья мои, вот ваш старик что́ выдумал, — заключил папа, краснея, покашливая и подавая мне и Володе руки. Слезы у него были на глазах, когда он сказал это, и рука, которую он протянул Володе, бывшему в это время в другом конце комнаты, я заметил, немного дрожала. Вид этой дрожащей руки больно поразил меня, и мне пришла странная мысль, еще более тронувшая меня, мне пришла мысль, что папа служил в 12-м году и был, известно, храбрым офицером. Я задержал его большую жилистую руку и поцаловал ее. Он крепко пожал мою и вдруг, всхлипнув от слез, взял обеими руками Любочку за ее черную головку и стал цаловать ее в глаза. Володя притворился, что уронил трубку, и, нагнувшись потихоньку, вытер глаза кулаком и, стараясь быть незамеченным, вышел из комнаты.

ГЛАВА XXXVI.

УНИВЕРСИТЕТ.

Свадьба должна была быть через две недели; но лекции наши начинались, и мы с Володей в начале сентября поехали в Москву. Нехлюдовы тоже вернулись из деревни. Дмитрий (с которым мы, расставаясь, дали слово писать другу другу и, разумеется, не писали ни разу) тотчас же приехал ко мне, и мы решили, что он меня на другой день повезет в первый раз в университет на лекции.

Был яркий солнечный день.

Как только вошел я в аудиторию, я почувствовал, как личность моя исчезает в этой толпе молодых веселых лиц, которая в ярком солнечном свете, проникавшем в большие окна, шумно колебалась по всем дверям и коридорам. Чувство сознания себя членом этого огромного общества было очень приятно. Но из всех этих лиц не много было мне знакомых да и с теми

знакомство ограничивалось кивком головы и словами: «здравствуйте, Иртеньев!» Вокруг же меня жали друг другу руки, толкались, слова дружбы, улыбки, приязни, шуточки сыпались со всех сторон. Я везде чувствовал связь, соединяющую всё это молодое общество, и с грустью чувствовал, что связь эта как-то обошла меня. Но это было только минутное впечатление. Вследствие его и досады, порожденной им, напротив, я даже скоро нашел, что очень хорошо, что я не принадлежу ко всему этому обществу, что у меня должен быть свой кружок, людей порядочных, и уселся на третьей лавке, где сидели граф Б., барон З., князь Р., Ивин и другие господа в том же роде, из которых я был знаком с Ивиным и графом Б. Но и эти господа смотрели на меня так, что я чувствовал себя не совсем принадлежащим и к их обществу. Я стал наблюдать всё, что происходило вокруг меня. Семенов, с своими седыми всклокоченными волосами и белыми зубами, в расстегнутом сюртуке сидел недалеко от меня и, облокотясь, грыз перо. Гимназист, выдержавший первым экзамен, сидел на первой лавке, всё с подвязанной черным галстуком щекой, и играл серебряным ключиком часов на атласном жилете. Иконин, который поступил-таки в университет, сидя на верхней лавке в голубых панталонах с кантом, закрывавших весь сапог, хохотал и кричал, что он на Парнасе. Илинька, который, к удивлению моему, не только холодно, но даже презрительно мне поклонился, как будто желая напомнить о том, что здесь мы все равны, сидел передо мной и, поставив особенно развязно свои худые ноги на лавку (как мне казалось, на мой счет), разговаривал с другим студентом и изредка взглядывал на меня. Подле меня компания Ивина говорила по-французски. Эти господа казались мне ужасно глупы. Всякое слово, которое я слышал из их разговора, не только казалось мне бессмысленно, но неправильно, просто не по-французски (ce n'est pas Français, говорил я себе мысленно), а позы, речи и поступки Семенова, Илиньки и других казались мне неблагородны, непорядочны, не «ommie il faut».

Я не принадлежал ни к какой компании и, чувствуя себя одиноким и неспособным к сближению, злился. Один студент на лавке передо мной грыз ногти, которые были все в красных заусенцах, и это мне показалось до того противно, что я даже пересел от него подальше. В душе же мне, помню, в этот первый день было очень грустно.

Когда вошел профессор, и все, зашевелившись, замолкли, я помню, что я и на профессора распространил свой сатирический взгляд, и меня поразило то, что профессор начал лекцию вводной фразой, в которой, по моему мнению, не было никакого толка. Я хотел, чтобы лекция от начала до конца была такая умная, чтобы из нее нельзя было выкинуть и нельзя было к ней прибавить ни одного слова. Разочаровавшись в этом, я сейчас же, под заглавием «первая лекция», написанным в красиво переплетенной тетрадке, которую я принес с собою, нарисовал восемнадцать профилей, которые соединялись в кружок в виде цветка, и только изредка водил рукой по бумаге, для того, чтобы профессор (который, я был уверен, очень занимается мною) думал, что я записываю. На этой же лекции решив, что записывание всего, что будет говорить всякий профессор, не нужно и даже было бы глупо, я держался этого правила до конца курса.

На следующих лекциях я уже не чувствовал так сильно одиночества, познакомился со многими, жал руки, разговаривал, но между мной и товарищами настоящего сближения всё-таки не делалось отчего-то, и еще часто мне случалось в душе грустить и притворяться. С компанией Ивина и аристократов, как их все называли, я не мог сойтись, потому что, как теперь вспоминаю, я был дик и груб с ними и кланялся им только тогда, когда они мне кланялись, а они очень мало, повидимому, нуждались в моем знакомстве. С большинством же это происходило от совершенно другой причины. Как только я чувствовал, что товарищ начинал быть ко мне расположен, я тотчас же давал ему понять, что я обедаю у князя Ивана Иваныча, и что у меня есть дрожки. Всё это я говорил только для того, чтобы показать себя с более выгодной стороны, и чтобы товарищ меня полюбил еще больше за это; но почти всякий раз, напротив, вследствие сообщенного известия о моем родстве с князем Иваном Иванычем и дрожках, к удивлению моему, товарищ вдруг становился со мной горд и холоден.

Был у нас казеннокоштный студент Оперов, скромный, очень способный и усердный молодой человек, который подавал всегда руку, как доску, не сгибая пальцев и не делая ею никакого движения, так что шутники-товарищи иногда так же подавали ему руку и называли это подавать руку «дощечкой». Я почти всегда садился с ним рядом и часто разговаривал.

Оперов особенно понравился мне теми свободными мнениями, которые он высказывал о профессорах. Он очень ясно и отчетливо определял достоинства и недостатки преподавания каждого профессора и даже иногда подтрунивал над ними, что особенно странно и поразительно действовало на меня, сказанное его тихим голоском, выходящим из его крошечного ротика. Несмотря на то, он однако тщательно записывал своим мелким почерком без исключения все лекции. Мы начинали уже сходиться с ним, решились готовиться вместе, и его маленькие серые близорукие глазки уже начинали с удовольствием обращаться на меня, когда я приходил садиться рядом с ним на свое место. Но я нашел нужным раз в разговоре объяснить ему, что моя матушка, умирая, просила отца не отдавать нас в казенное заведение, и что я начинаю убеждаться в том, что все казенные воспитанники, может, и очень учены, но они для меня... совсем не то, ce ne sont pas des gens comme il faut,[1] сказал я, заминаясь и чувствуя, что я почему-то покраснел. Оперов ничего не сказал мне, но на следующих лекциях не здоровался со мною первый, не подавал своей дощечки, не разговаривал, и когда я садился на место, то он, бочком пригнув голову на палец от тетрадей, делал как будто вглядывался в них. Я удивлялся беспричинному охлаждению Оперова. Но pour un jeune homme de bonne maison[2] я считал неприличным заискивать в казеннокоштном студенте *Оперове* и оставил его в покое, хотя, признаюсь, его охлаждение мне было грустно. Раз я пришел прежде его, и так как лекция была любимого профессора, на которую сошлись студенты, не имевшие обыкновения всегда ходить на лекции, и места все были заняты, я сел на место Оперова, положил на пюпитр свои тетради, а сам вышел. Возвратясь в аудиторию, я увидел, что мои тетради переложены на заднюю лавку, а Оперов сидит на своем месте Я заметил ему, что я тут положил тетради.

— Я не знаю, — отвечал он, вдруг вспыхнув и не глядя на меня.

— Я вам говорю, что я положил тут тетради, — сказал я, начиная нарочно горячиться, думая испугать его своей храбростью.— Все видели,— прибавил я, оглядываясь на студентов,

---

[1] [это не люди порядочные,]

[2] [для молодого человека из хорошего дома]

но, хотя многие с любопытством смотрели на меня, никто не ответил.

— Тут мест не откупают, а кто пришел прежде, тот и садится, — сказал Оперов, сердито поправляясь на своем месте и на мгновение взглянув на меня возмущенным взглядом.

— Это значит, что вы невежа, — сказал я.

Кажется, что Оперов пробормотал что-то, кажется даже, что он пробормотал: «а ты глупый мальчишка», но я решительно не слыхал этого. Да и какая бы была польза, ежели бы я это слышал? браниться как manants[1] какие-нибудь, больше ничего? (Я очень любил это слово manant, и оно мне было ответом и разрешением многих запутанных отношений.) Может-быть, я бы сказал еще что-нибудь, но в это время хлопнула дверь, и профессор в синем фраке, расшаркиваясь, торопливо прошел на кафедру.

Однако перед экзаменом, когда мне понадобились тетради, Оперов, помня свое обещание, предложил мне свои и пригласил заниматься вместе.

ГЛАВА XXXVII.

СЕРДЕЧНЫЕ ДЕЛА.

Сердечные дела занимали меня в эту зиму довольно много. Я был влюблен три раза. Раз я страстно влюбился в очень полную даму, которая ездила при мне в манеже Фрейтага, вследствие чего каждый вторник и пятницу — дни, в которые она ездила, — я приходил в манеж смотреть на нее, но всякий раз так боялся, что она меня увидит, и потому так далеко всегда становился от нее и бежал так скоро с того места, где она должна была пройти, и так небрежно отворачивался, когда она взглядывала в мою сторону, что я даже не рассмотрел хорошенько ее лица и до сих пор не знаю, была ли она точно хороша собой, или нет.

Дубков, который был знаком с этой дамой, застав меня однажды в манеже, где я стоял, спрятавшись за лакеями и шубами, которые они держали, и, узнав от Дмитрия о моей страсти, так испугал меня предложением познакомить меня с этой амазонкой, что я опрометью убежал из манежа и при одной

[1] [мужичье]

мысли о том, что он ей сказал обо мне, больше не смел входить в манеж, даже до лакеев, боясь встретить ее.

Когда я бывал влюблен в незнакомых и особенно замуж них женщин, на меня находила застенчивость еще в тысячу раз сильнее той, которую я испытывал с Сонечкой. Я боялся больше всего на свете того, чтобы мой предмет не узнал о моей любви и даже о моем существовании. Мне казалось, что ежели бы она узнала о том чувстве, которое я к ней испытывал, то это было бы для нее таким оскорблением, которого она не могла бы мне простить никогда. И в самом деле, ежели бы эта амазонка знала подробно, как я, глядя на нее из-за лакеев, воображал, похитив ее, увезти в деревню и как с ней жить там и что с ней делать, может быть, она справедливо бы очень оскорбилась. Но я не мог ясно сообразить того, что, зная меня, она не могла еще узнать вдруг все мои об ней мысли, и что поэтому ничего не было постыдного просто познакомиться с ней.

В другой раз я влюбился в Сонечку, увидав ее у сестры. Вторая любовь моя к ней уже давно прошла, но я влюбился в третий раз вследствие того, что Любочка дала мне тетрадку стишков, переписанных Сонечкой, в которой «Демон» Лермонтова был во многих мрачно-любовных местах подчеркнут красными чернилами и заложен цветочками. Вспомнив, как Володя целовал прошлого года кошелек своей барышни, я попробовал сделать то же, и действительно, когда я один вечером в своей комнате стал мечтать, глядя на цветок, и прикладывать его к губам, я почувствовал некоторое приятно-слезливое расположение и снова был влюблен или так предполагал в продолжение нескольких дней.

В третий раз, наконец, в эту зиму я влюбился в барышню, в которую был влюблен Володя, и которая езжала к нам. В барышне этой, как я теперь вспоминаю, ровно ничего не было хорошего, и именно того хорошего, что мне обыкновенно нравилось. Она была дочь известной московской умной и ученой дамы, маленькая, худенькая, с длинными русыми английскими буклями и с прозрачным профилем. Все говорили, что эта барышня еще умнее и ученее своей матери; но я никак не мог судить об этом, потому что, чувствуя какой-то подобострастный страх при мысли о ее уме и учености, я только один раз говорил с ней, и то с неизъяснимым трепетом. Но восторг Володи, который никогда не стеснялся присутствующими в выражении

своего восторга, сообщился мне с такой силой, что я страстно влюбился в эту барышню. Чувствуя, что Володе будет неприятно известие о том, что *два братца влюблены в одну девицу*, я не говорил ему о своей любви. Мне же, напротив, в этом чувстве больше всего доставляла удовольствие мысль, что любовь наша так чиста, что, несмотря на то, что предмет ее одно и то же прелестное существо, мы остаемся дружны и готовы, ежели встретится необходимость, жертвовать собой друг для друга. Впрочем, насчет готовности жертвовать, Володя, кажется, не совсем разделял мое мнение, потому что он был влюблен так страстно, что хотел дать пощечину и вызвать на дуэль одного настоящего дипломата, который, говорили, должен был жениться на ней. Мне же очень приятно было жертвовать своим чувством, может быть, оттого, что не стоило большого труда, так как я с этой барышней только раз вычурно поговорил о достоинстве ученой музыки, и любовь моя, как я ни старался поддерживать ее, прошла на следующей неделе.

ГЛАВА XXXVIII.

СВЕТ.

Светские удовольствия, которым, вступая в университет, я мечтал предаться в подражание старшему брату, совершенно разочаровали меня в эту зиму. Володя танцовал очень много, папа тоже езжал на балы с своей молодой женой; но меня, должно быть, считали или еще слишком молодым, или неспособным для этих удовольствий, и никто не представлял меня в те дома, где давались балы. Несмотря на обещание откровенности с Дмитрием, я никому, и ему тоже, не говорил о том, как мне хотелось ездить на балы и как больно и досадно было то, что про меня забывали и, видимо, смотрели как на какого-то философа, которым я вследствие того и прикидывался.

Но в эту зиму был вечер у княгини Корнаковой. Она сама пригласила всех нас и между прочими меня, и я в первый раз должен был ехать на бал. Володя, перед тем как ехать, пришел ко мне в комнату и желал видеть, как я оденусь. Меня очень удивил и озадачил этот поступок с его стороны. Мне казалось, что желание быть хорошо одетым весьма стыдно и что нужно скрывать его; он же, напротив, считал это желание до такой степени естественным и необходимым, что совер-

шенно откровенно говорил, что боится, чтобы я не осрамился. Он велел мне непременно надеть лаковые сапоги, пришел в ужас, когда я хотел надеть замшевые перчатки, надел мне часы как-то особенным манером и повез на Кузнецкий мост к парикмахеру. Меня завили. Володя отошел и посмотрел на меня издали.

— Вот, теперь хорошо, только неужели нельзя пригладить этих вихров? — сказал он, обращаясь к парикмахеру.

Но сколько ни мазал M-r Charles какой-то липкой эссенцией мои вихры, они всё-таки встали, когда я надел шляпу, и вообще моя завитая фигура мне казалась еще гораздо хуже, чем прежде. Мое одно спасенье была афектация небрежности. Только в таком виде наружность моя была на что-нибудь похожа.

Володя, кажется, был того же мнения, потому что попросил меня разбить завивку, и когда я это сделал, и всё-таки было нехорошо, он больше не смотрел на меня, и всю дорогу до Корнаковых был молчалив и печален.

К Корнаковым вместе с Володей я вошел смело; но когда меня княгиня пригласила танцовать, и я почему-то, несмотря на то, что ехал с одной мыслью танцовать очень много, сказал, что я не танцую, я оробел и, оставшись один между незнакомыми людьми, впал в свою обычную непреодолимую, всё возрастающую застенчивость. Я молча стоял на одном месте целый вечер.

Во время вальса одна из княжен подошла ко мне и с общей всему семейству официальной любезностью спросила меня: «отчего я не танцую?» Помню, как я оробел при этом вопросе, но как вместе с тем, совершенно невольно для меня, на лице моем распустилась самодовольная улыбка, и я начал говорить по-французски самым напыщенным языком с вводными предложениями такой вздор, который мне теперь, даже после десятков лет, совестно вспомнить. Должно быть, так подействовала на меня музыка, возбуждавшая мои нервы и заглушавшая, как я полагал, не совсем понятную часть моей речи. Я говорил что-то про высшее общество, про пустоту людей и женщин и, наконец, так заврался, что остановился на половине слова какой-то фразы, которую не было никакой возможности кончить.

Даже светская по породе княжна смутилась и с упреком

посмотрела на меня. Я улыбался. В эту критическую минуту Володя, который, заметив, что я разговариваю горячо, верно желал знать, каково я в разговорах искупаю то, что не танцую, подошел к нам вместе с Дубковым. Увидав мое улыбающееся лицо и испуганную мину княжны и услыхав тот ужасный вздор, которым я кончил, он покраснел и отвернулся. Княжна встала и отошла от меня. Я всё-таки улыбался, но так страдал в эту минуту сознанием своей глупости, что готов был провалиться сквозь землю, и что во что бы то ни стало чувствовал потребность шевелиться и говорить что-нибудь, чтобы как-нибудь изменить свое положение. Я подошел к Дубкову и спросил его, много ли он протанцовал вальсов с *ней*. Это я будто бы был игрив и весел, но в сущности умолял о помощи того самого Дубкова, которому я прокричал: «молчать!» на обеде у Яра. Дубков сделал, будто не слышит меня, и повернулся в другую сторону. Я пододвинулся к Володе и сказал через силу, стараясь дать тоже шутливый тон голосу: — «Ну что, Володя, *умаялся*?» Но Володя посмотрел на меня так, как будто хотел сказать: «ты так не говоришь со мной, когда мы одни», и молча отошел от меня, видимо боясь, чтобы я еще не прицепился к нему как-нибудь.

«Боже мой, и брат мой покидает меня!» подумал я.

Однако у меня почему-то недостало силы уехать. Я до конца вечера мрачно простоял на одном месте, и только, когда все, разъезжаясь, столпились в передней, и лакей надел мне шинель на конец шляпы, так что она поднялась, я сквозь слезы болезненно засмеялся и, не обращаясь ни к кому в особенности, сказал-таки: «comme c'est gracieux». [1]

ГЛАВА XXXIX.

КУТЕЖ.

Несмотря на то, что под влиянием Дмитрия я еще не предавался обыкновенным студенческим удовольствиям, называемым *кутежами*, мне случилось уже в эту зиму раз участвовать в таком увеселении, и я вынес из него не совсем приятное чувство. Вот как это было. В начале года, раз на лекции барон З., высокий, белокурый молодой человек с весьма серьезным выражением правильного лица, пригласил всех нас к себе

[1] [как это красиво.]

на товарищеский вечер. Всех нас, значит всех товарищей более или менее comme il faut нашего курса, в числе которых, разумеется, не были ни Грап, ни Семенов, ни Оперов, ни все эти плохенькие господа. Володя презрительно улыбнулся, узнав, что я еду на кутеж первокурсников; но я ожидал необыкновенного и большого удовольствия от этого еще совершенно неизвестного мне препровождения времени и пунктуально в назначенное время, в восемь часов, был у барона З.

Барон З. в расстегнутом сюртуке и белом жилете принимал гостей в освещенной зале и гостиной небольшого домика, в котором жили его родители, уступившие ему на вечер этого торжества парадные комнаты. В коридоре виднелись платья и головы любопытных горничных, и в буфете мелькнуло раз платье дамы, которую я принял за самую баронессу. Гостей было человек двадцать, и все были студенты, исключая г. Фроста, приехавшего вместе с Ивиным, и одного румяного, высокого штатского господина, распоряжавшегося пиршеством, и которого со всеми знакомили, как родственника барона и бывшего студента Дерптского Университета. Слишком яркое освещение и обыкновенное казенное убранство парадных комнат сначала действовали так охладительно на всё это молодое общество, что все невольно держались по стенкам, исключая некоторых смельчаков и дерптского студента, который, уже расстегнув жилет, казалось, находился в одно и то же время в каждой комнате и в каждом угле каждой комнаты и наполнял, казалось, всю комнату своим звучным, приятным, неумолкающим тенором. Товарищи же больше молчали или скромно разговаривали о профессорах, науках, экзаменах, вообще серьезных и неинтересных предметах. Все без исключения поглядывали на дверь буфета и, хотя старались скрывать это, имели выражение, говорившее: «что ж, пора бы и начинать». Я тоже чувствовал, что пора бы начинать, и ожидал *начала* с нетерпеливою радостью.

После чая, которым лакеи обнесли гостей, дерптский студент спросил у Фроста по-русски:

— Умеешь делать жжонку, Фрост?

— O ja![1] — отвечал Фрост, потрясая икрами, но дерптский студент снова по-русски сказал ему:

---

[1] [О да!]

— Так ты возьмись за это дело (они были на «ты», как товарищи по Дерптскому Университету), и Фрост, делая большие шаги своими выгнутыми мускулистыми ногами, стал переходить из гостиной в буфет, из буфета в гостиную, и скоро на столе оказалась большая суповая чаша с стоящей на ней десятифунтовой головкой сахару посредством трех перекрещенных студенческих шпаг. Барон З. в это время беспрестанно подходил ко всем гостям, которые собрались в гостиной, глядя на суповую чашу, и с неизменно серьезным лицом говорил всем почти одно и то же: «давайте, господа, выпьемте все по-студенчески круговую, брудершафт, а то у нас совсем нет товарищества в нашем курсе. Да расстегнитесь же, или совсем снимите, вот как он». Действительно, дерптский студент, сняв сюртук и засучив белые рукава рубашки выше белых локтей и решительно расставив ноги, уже поджигал ром в суповой чаше.

— Господа! тушите свечи, — закричал вдруг дерптский студент так приемисто и громко, как только можно было крикнуть тогда, когда бы мы все кричали. Мы же все безмолвно смотрели на суповую чашу и белую рубашку дерптского студента и все чувствовали, что наступила торжественная минута.

— Löschen Sie die Lichter aus, Frost![1] — снова прокричал дерптский студент уже по-немецки, должно быть слишком разгорячившись. Фрост и мы все принялись тушить свечи. В комнате стало темно, одни белые рукава и руки, поддерживавшие голову сахару на шпагах, освещались голубоватым пламенем. Громкий тенор дерптского студента уже не был одиноким, потому что во всех углах комнаты заговорило и засмеялось. Многие сняли сюртуки (особенно те, у которых были тонкие и совершенно свежие рубашки), я сделал то же и понял, *что началось*. Хотя веселого еще ничего не было, я был твердо уверен, что всё-таки будет отлично, когда мы все выпьем по стакану готовившегося напитка.

Напиток поспел. Дерптский студент, сильно закапав стол, разлил жжонку по стаканам и закричал: «ну, теперь, господа, давайте». Когда мы каждый взяли в руку по полному липкому стакану, дерптский студент и Фрост запели немецкую песню, в которой часто повторялось восклицание *Юхе!* Мы все не-

[1] [Потушите свечи, Фрост!]

складно запели за ними, стали чокаться, кричать что-то, хвалить жжонку и друг с другом через руку и просто пить сладкую и крепкую жидкость. Теперь уж нечего было дожидаться, кутеж был во всем разгаре. Я выпил уже целый стакан жжонки, мне налили другой, в висках у меня стучало, огонь казался багровым, кругом меня всё кричало и смеялось, но всё-таки не только не казалось весело, но я даже был уверен, что и мне, и всем было скучно, и что я и все только почему-то считали необходимым притворяться, что им очень весело. Не притворялся, может быть, только дерптский студент; он всё более и более становился румяным и вездесущим, всем подливал пустые стаканы и всё больше и больше заливал стол, который весь сделался сладким и липким. Не помню, как и что следовало одно за другим, но помню, что в этот вечер я ужасно любил дерптского студента и Фроста, учил наизусть немецкую песню и обоих их целовал в сладкие губы; помню тоже, что в этот вечер я ненавидел дерптского студента и хотел пустить в него стулом, но удержался; помню, что, кроме того чувства неповиновения всех членов, которое я испытал и в день обеда у Яра, у меня в этот вечер так болела и кружилась голова, что я ужасно боялся умереть сию же минуту; помню тоже, что мы зачем-то все сели на пол, махали руками, подражая движению веслами, пели «Вниз по матушке по Волге», и что я в это время думал о том, что этого вовсе не нужно было делать; помню еще, что я, лежа на полу, цепляясь нога за ногу, боролся по-цыгански, кому-то свихнул шею и подумал, что этого не случилось бы, ежели бы он не был пьян; помню еще, что ужинали и пили что-то другое, что я выходил на двор освежиться, и моей голове было холодно и что, уезжая, я заметил, что было ужасно темно, что подножка пролетки сделалась покатая и скользкая, и за Кузьму нельзя было держаться, потому что он сделался слаб и качался, как тряпка; но помню главное, что в продолжение всего этого вечера я беспрестанно чувствовал, что я очень глупо делаю, притворяясь, будто бы мне очень весело, будто бы я люблю очень много пить и будто бы я и не думал быть пьяным, и беспрестанно чувствовал, что и другие очень глупо делают, притворяясь в том же. Мне казалось, что каждому отдельно было неприятно, как и мне, но, полагая, что такое неприятное чувство испытывал он один, каждый считал себя обязанным притворяться веселым, для того, чтобы не

расстроить общего веселья; притом же — странно сказать, — я себя считал обязанным к притворству по одному тому, что в суповую чашу влито было три бутылки шампанского по десяти рублей и десять бутылок рому, по четыре рубля, что всего составляло семьдесят рублей, кроме ужина. Я так был убежден в этом, что на другой день на лекции меня чрезвычайно удивило то, что товарищи мои, бывшие на вечере барона З., не только не стыдились вспоминать о том, что́ они там делали, но рассказывали про вечер так, чтобы другие студенты могли слышать. Они говорили, что был отличнейший кутеж, что дерптские — молодцы на эти дела, и что там было вышито на двадцать человек сорок бутылок рому и что многие замертво остались под столами. Я не мог понять, для чего они не только рассказывали, но и лгали на себя.

ГЛАВА XL.

ДРУЖБА С НЕХЛЮДОВЫМИ.

В эту зиму я очень часто виделся не только с одним Дмитрием, который ездил нередко к нам, но и со всем его семейством, с которым я начинал сходиться.

Нехлюдовы — мать, тетка и дочь, все вечера проводили дома, и княгиня любила, чтоб по вечерам приезжала к ней молодежь, мужчины такого рода, которые, как она говорила, в состоянии провести весь вечер без карт и танцев. Но, должно быть, таких мужчин было мало, потому что я, который ездил к ним почти каждый вечер, редко встречал у них гостей. Я привык к лицам этого семейства, к различным их настроениям, сделал себе уже ясное понятие о их взаимных отношениях, привык к комнатам и мебели и, когда гостей не было, чувствовал себя совершенно свободным, исключая тех случаев, когда оставался один в комнате с Варенькой. Мне всё казалось, что она, как не очень красивая девушка, очень бы желала, чтобы я влюбился в нее. Но и это смущение начинало проходить. Она так естественно показывала вид, что ей было всё равно говорить со мной, с братом или с Любовь Сергеевной, что и я усвоил привычку смотреть на нее просто, как на человека, которому ничего нет постыдного и опасного выказывать удовольствие, доставляемое его обществом. Во всё время моего с ней знакомства она мне казалась — днями — то очень некрасивой, то не

слишком дурной девушкой, но я даже не спрашивал себя на счет ее ни разу: влюблен ли я или нет. Мне случалось разговаривать с ней прямо, но чаще я разговаривал с нею, обращая при ней речь к Любовь Сергеевне или к Дмитрию, и этот последний способ особенно мне нравился. Я находил большое удовольствие говорить при ней, слушать ее пение и вообще знать о ее присутствии в той же комнате, в которой был я; но мысль о том, какие будут впоследствии мои отношения с Варенькой, и мечты о самопожертвовании для своего друга, ежели он влюбится в мою сестру, уже редко приходили мне в голову. Ежели же мне приходили такие мечты и мысли, то я, чувствуя себя довольным настоящим, бессознательно старался отгонять мысль о будущем.

Несмотря, однако, на это сближение, я продолжал считать своею непременною обязанностью скрывать от всего общества Нехлюдовых и в особенности от Вареньки свои настоящие чувства и наклонности, и старался выказывать себя совершенно другим молодым человеком от того, каким я был в действительности, и даже таким, какого не могло быть в действительности. Я старался казаться страстным, восторгался, ахал, делал страстные жесты, когда что-нибудь мне будто бы очень нравилось, вместе с тем старался казаться равнодушным ко всякому необыкновенному случаю, который видел, или про который мне рассказывали; старался казаться злым насмешником, не имеющим ничего святого, и вместе с тем тонким наблюдателем; старался казаться логическим во всех своих поступках, точным и аккуратным в жизни, и вместе с тем презирающим всё материальное. Могу смело сказать, что я был гораздо лучше в действительности, чем то странное существо, которое я пытался представлять из себя; но всё-таки и таким, каким я притворялся, Нехлюдовы меня полюбили и, к счастию моему, не верили, как кажется, моему притворству. Одна Любовь Сергеевна, считавшая меня величайшим эгоистом, безбожником и насмешником, как кажется, не любила меня и часто спорила со мной, сердилась и поражала меня своими отрывочными, бессвязными фразами. Но Дмитрий оставался всё в тех же странных, больше чем дружеских отношениях с нею и говорил, что ее никто не понимает, и что она чрезвычайно много делает ему добра. Его дружба с нею точно так же продолжала огорчать всё семейство.

Раз Варенька, разговаривая со мной про эту непонятную для всех нас связь, объяснила ее так:

— Дмитрий самолюбив. Он слишком горд и, несмотря на весь свой ум, очень любит похвалу и удивление, любит быть всегда первым, а *тетенька* в невинности души находится в адмирации перед ним и не имеет довольно такту, чтобы скрывать от него эту адмирацию, и выходит, что она льстит ему, только не притворно, а искренно.

Это рассуждение запомнилось мне, и потом, разбирая его, я не мог не подумать, что Варенька очень умна, и с удовольствием, вследствие этого, возвысил ее в своем мнении. Такого рода возвышения, вследствие открываемого мною в ней ума и других моральных достоинств, я производил, хотя и с удовольствием, с некоторой строгой умеренностью и никогда не доходил до восторга, крайней точки этого возвышения. Так, когда Софья Ивановна, не устававшая говорить про свою племянницу, рассказала мне, как Варенька в деревне, будучи ребенком, четыре года тому назад отдала без позволения все свои платья и башмаки крестьянским детям, так что их надо было отобрать после, я еще не сразу принял этот факт, как достойный к возвышению ее в моем мнении, а еще подтрунивал мысленно над нею за такой непрактический взгляд на вещи.

Когда у Нехлюдовых бывали гости и между прочими иногда Володя и Дубков, я самодовольно и с некоторым спокойным сознанием силы домашнего человека удалялся на последний план, не разговаривал и только слушал, что говорили другие. И всё, что говорили другие, мне казалось до того неимоверно глупо, что я внутренно удивлялся, как такая умная, логическая женщина, как княгиня, и всё ее логическое семейство могло слушать эти глупости и отвечать на них. Ежели б мне тогда пришло в голову сравнить с тем, что́ говорили другие, то, что́ я говорил сам, когда бывал один, я бы верно нисколько не удивлялся. Еще бы меньше я удивлялся, ежели бы я поверил, что наши домашние — Авдотья Васильевна, Любочка и Катенька были такие же женщины, как и все, нисколько не ниже других, и вспомнил бы, что́ по целым вечерам говорили, весело улыбаясь, Дубков, Катенька и Авдотья Васильевна; как почти всякий раз Дубков, придравшись к чему-нибудь, читал с чувством стихи: «Au banquet de la vie, infortuné con-

vive...»[1] или отрывки «Демона», и вообще с каким удовольствием и какой вздор они говорили в продолжение нескольких часов сряду.

Разумеется, что, когда бывали гости, Варенька меньше обращала на меня внимания, чем когда мы были одни, — и тогда уже не было ни чтения, ни музыки, которую я очень любил слушать. Разговаривая с гостями, она теряла для меня главную свою прелесть — спокойной рассудительности и простоты. Помню, как ее разговоры о театре и погоде с братом моим Володей странно поразили меня. Я знал, что Володя больше всего на свете избегал и презирал банальности, Варенька тоже всегда смеялась над притворно занимательными разговорами о погоде и т. п., — почему же, сойдясь вместе, они оба постоянно говорили самые несносные пошлости, и как будто стыдясь друг за друга? Всякий раз после таких разговоров я втихомолку злился на Вареньку, на другой день подсмеивался над бывшими гостями, но находил еще больше удовольствия быть одному в семейном кружке Нехлюдовых.

Как бы то ни было, я начинал находить больше удовольствия быть с Дмитрием в гостиной его матери, чем с ним одним с глазу на глаз.

ГЛАВА XLI.

ДРУЖБА С НЕХЛЮДОВЫМ.

Именно в эту пору дружба моя с Дмитрием держалась только на волоске. Я уже слишком давно начал обсуживать его, для того, чтобы не найти в нем недостатков; а в первой молодости мы любим только страстно и поэтому только людей совершенных. Но как скоро начинает мало-по-малу уменьшаться туман страсти или сквозь него невольно начинают пробивать ясные лучи рассудка, и мы видим предмет нашей страсти в его настоящем виде с достоинствами и недостатками, одни недостатки, как неожиданность, ярко, преувеличенно бросаются нам в глаза, чувства влечения к новизне и надежды на то, что не невозможно совершенство в другом человеке, поощряют нас не только к охлаждению, но к отвращению к прежнему предмету страсти, и мы не жалея бросаем его и бежим вперед искать нового совершенства. Ежели со мною не случилось того

[1] [На жизненном пиру несчастный сотрапезник...]

же в отношении Дмитрия, то я обязан только его упорной, педантической, более рассудочной, чем сердечной привязанности, которой бы мне слишком совестно было изменить. Сверх того, нас связывало наше странное правило откровенности. Разойдясь, мы слишком боялись оставить во власти один другого все поверенные, постыдные для себя, моральные тайны. Впрочем, наше правило откровенности уже давно, очевидно для нас, не соблюдалось и часто стесняло нас и производило странные между нами отношения.

У Дмитрия в эту зиму я почти всякий раз, как приезжал, заставал его товарища по университету, студента Безобедова, с которым он занимался. Безобедов был маленький, рябой, худой человечек, с крошечными, покрытыми веснушками ручками и огромными нечесанными рыжими волосами, всегда оборванный, грязный, необразованный и даже плохо занимавшийся. Отношения Дмитрия с ним, так же как и с Любовью Сергеевной, были мне непонятны. Единственная причина, по которой он мог выбрать его из всех товарищей и сойтись с ним, могла быть только та, что хуже Безобедова на вид не было студента во всем университете. Но, должно быть, именно поэтому Дмитрию приятно было наперекор всем оказывать ему дружбу. Во всех его отношениях с этим студентом выражалось это гордое чувство: «Вот, мол, мне всё равно, кто бы вы ни были, мне все равны, и его люблю, значит, и он хорош».

Я удивлялся, как ему не тяжело было постоянно принуждать себя, и как несчастный Безобедов выдерживал свое неловкое положение. Мне очень не нравилась эта дружба.

Раз я приехал вечером к Дмитрию с тем, чтобы с ним вместе провести вечер в гостиной его матери, разговаривать и слушать пение или чтение Вареньки; но Безобедов сидел наверху. Дмитрий резким тоном ответил мне, что он не может итти вниз, потому что, как я вижу, у него гости

— И что там веселого? — прибавил он: — гораздо лучше здесь посидим, поболтаем. — Хотя меня вовсе не прельщала мысль просидеть часа два с Безобедовым, я не решался один пойти в гостиную и с досадой в душе на странности моего друга уселся на качающемся кресле и молча стал качаться. Мне очень досадно было на Дмитрия и на Безобедова за то, что они лишили меня удовольствия быть внизу; я ждал, скоро ли уйдет Безобедов, и злился на него и на Дмитрия, молча

слушая их разговор. «Очень приятный гость! Сиди с ним!», думал я, когда лакей принес чай, и Дмитрий должен был раз пять просить Безобедова взять стакан, потому что робкий гость при первом и втором стакане считал своей обязанностью отказываться и говорить: «кушайте сами». Дмитрий, видимо принуждая себя, занимал гостя разговором, в который тщетно несколько раз хотел втянуть меня. Я мрачно молчал.

«Нечего делать такое лицо, что никто не смей подозревать, что я скучаю», мысленно обращался я к Дмитрию, молча, равномерно раскачиваясь на кресле. Я всё больше и больше, с некоторым удовольствием, разжигал в себе чувство тихой ненависти к своему другу. «Вот дурак, думал я про него: — мог бы провести приятно вечер с милыми родными, нет, сидит с этим скотом, а теперь время проходит, будет уже поздно итти в гостиную», и я взглядывал из-за края кресла на своего друга. И рука его, и поза, и шея, и в особенности затылок и коленки казались мне до того противны и оскорбительны, что я бы с наслаждением в эту минуту сделал ему какую-нибудь, даже большую неприятность.

Наконец Безобедов встал, но Дмитрий не мог сразу отпустить такого приятного гостя; он ему предложил ночевать, на что, к счастию, Безобедов не согласился и вышел.

Проводив его, Дмитрий вернулся и, слегка самодовольно улыбаясь и потирая руки, — должно быть, и тому, что он-таки выдержал характер, и тому, что избавился, наконец, от скуки, — стал ходить по комнате, изредка взглядывая на меня. Он был мне еще противнее. «Как он смеет ходить и улыбаться?» думал я.

— Зачем ты злишься? — сказал он вдруг, останавливаясь против меня.

— Я совсем не злюсь, — отвечал я, как всегда отвечают в подобных случаях: — а только мне досадно, что ты притворяешься и передо мной, и перед Безобедовым, и перед самим собою.

— Какой вздор! Я никогда ни перед кем не притворяюсь.

— Я не забываю нашего правила откровенности, я тебе говорю прямо. Как я уверен, — сказал я, — тебе несносен этот Безобедов так же, как и мне, потому что он глуп и Бог знает что такое, но тебе приятно важничать перед ним.

— Нет! И во-первых, Безобедов прекрасный человек....

— А я говорю: да; я скажу тебе даже, что и твоя дружба к Любовь Сергеевне основана тоже на том, что она считает тебя Богом.

— Да я тебе говорю, что нет.

— А я говорю, что да, потому что я знаю это по себе, — отвечал я с жаром сдержанной досады и своею откровенностью желая обезоружить его. — Я тебе говорил и повторяю, что мне всегда кажется, что я люблю тех людей, которые мне говорят приятное, а как разберу хорошенько, то вижу, что настоящей привязанности нет.

— Нет, — продолжал Дмитрий, сердитым движением шеи поправляя галстук: — когда я люблю, то ни похвалы, ни брань не могут изменить моего чувства.

— Неправда; ведь я тебе признавался, что, когда папа меня назвал дрянью, я несколько времени ненавидел его и желал его смерти; так же и ты...

— Говори за себя. Очень жалко, коли ты такой...

— Напротив, — вскричал я, вскакивая с кресел и с отчаянной храбростью глядя ему в глаза: — это не хорошо, что́ ты говоришь; разве ты мне не говорил про брата, — я тебе про это не поминаю, потому что это бы было нечестно, — разве ты мне не говорил... а я тебе скажу, как я тебя теперь понимаю...

И я, стараясь уколоть его еще больнее, чем он меня, стал доказывать ему, что он никого не любит, и высказывать ему всё то, в чем, мне казалось, я имел право упрекнуть его. Я был очень доволен тем, что высказал ему всё, совершенно забывая то, что единственно возможная цель этого высказывания, состоящая в том, чтоб он признался в недостатках, которые я обличал в нем, не могла быть достигнута в настоящую минуту, когда он был разгорячен. В спокойном же состоянии, когда он мог сознаться, я никогда не говорил ему этого.

Спор уже переходил в ссору, когда вдруг Дмитрий замолчал и ушел от меня в другую комнату. Я пошел было за ним, продолжая говорить, но он не отвечал мне. Я знал, что в графе его пороков была вспыльчивость, и он теперь преодолевал себя. Я проклинал все его расписания.

Так вот к чему повело нас наше правило *говорить друг другу всё, что мы чувствовали, и никогда третьему ничего не говорить друг о другe*. Мы доходили иногда в увлечении откро-

венностью до самых бесстыдных признаний, выдавая, к своему стыду, предположение, мечту за желание и чувство, как, например, то, что я сейчас сказал ему; и эти признания не только не стягивали больше связь, соединявшую нас, но сушили самое чувство и разъединяли нас; а теперь вдруг самолюбие не допустило его сделать самое пустое признанье, и мы в жару спора воспользовались теми оружиями, которые прежде сами дали друг другу, и которые поражали ужасно больно.

ГЛАВА XLII.

МАЧЕХА.

Несмотря на то, что папа хотел приехать с женою в Москву только после нового года, он приехал в октябре, осенью, в то время, когда была еще отличная езда с собаками. Папа говорил, что он изменил свое намерение, потому что дело его в Сенате должно было слушаться; но Мими рассказывала, что Авдотья Васильевна в деревне так скучала, так часто говорила про Москву и так притворялась нездоровою, что папа решился исполнить ее желание.

— Потому что она никогда не любила его, а только всем уши прожужжала своей любовью, желая выйти замуж за богатого человека, — прибавляла Мими, задумчиво вздыхая, как бы говоря: «не то бы сделали для него *некоторые люди*, если бы он сумел оценить их».

Некоторые люди были несправедливы к Авдотье Васильевне; ее любовь к папа, страстная, преданная любовь самоотвержения была видна в каждом слове, взгляде и движении. Но такая любовь не мешала ей нисколько, вместе с желанием не расставаться с обожаемым мужем, желать необыкновенного чепчика от мадам Аннет, шляпы с необыкновенным голубым страусовым пером и синего венецианского бархата платья, которое бы искусно обнажало стройную, белую грудь и руки, до сих пор еще никому не показанные, кроме мужа и горничных. Катенька, разумеется, была на стороне матери, между же нами и мачехой установились сразу, со дня ее приезда, какие-то странные, шуточные отношения. Как только она вышла из кареты, Володя, сделав серьезное лицо и мутные глаза, расшаркиваясь и раскачиваясь, подошел к ее руке и сказал, как будто представляя кого-то:

— Имею честь поздравить с приездом милую мамашу и целовать ее ручку.

— А, милый сынок! — сказала Авдотья Васильевна, улыбаясь своей красивой, однообразной улыбкой.

— И второго сынка не забудьте, — сказал я, подходя тоже к ее руке и стараясь невольно перенять выражение лица и голоса Володи.

Ежели бы мы и мачеха были уверены во взаимной привязанности, это выражение могло бы означать пренебрежение к изъявлению признаков любви; ежели бы мы уже были дурно расположены друг к другу, оно могло бы означать иронию или презрение к притворству, или желание скрыть от присутствующего отца наши настоящие отношения и еще много других чувств и мыслей; но в настоящем случае выражение это, которое очень пришлось к духу Авдотьи Васильевны, ровно ничего не значило и только скрывало отсутствие всяких отношений. Я впоследствии часто замечал и в других семействах, когда члены их предчувствуют, что настоящие отношения будут не совсем хороши, такого рода шуточные, подставные отношения; и эти-то отношения невольно установились между нами и Авдотьей Васильевной. Мы почти никогда не выходили из них, мы всегда были притворно учтивы с ней, говорили по-французски, расшаркивались и называли ее chère maman, [1] на что она всегда отвечала шуточками в том же роде и красивой, однообразной улыбкой. Одна плаксивая Любочка, с ее гусиными ногами и нехитрыми разговорами, полюбила мачеху и весьма наивно и иногда неловко старалась сблизить ее со всем нашим семейством; зато и единственное лицо во всем мире, к которому, кроме ее страстной любви к папа, Авдотья Васильевна имела хоть каплю привязанности, была Любочка. Авдотья Васильевна оказывала ей даже какое-то восторженное удивление и робкое уважение, очень удивлявшее меня.

Авдотья Васильевна в первое время часто любила, называя себя мачехой, намекать на то, как всегда дети и домашние дурно и несправедливо смотрят на мачеху и вследствие этого как тяжело бывает ее положение. Но, предвидя всю неприятность этого положения, она ничего не сделала, чтобы избежать его: приласкать того, подарить этого, не быть ворчливой, что́

[1] [дорогой мамой,]

бы ей было очень легко, потому что она была от природы невзыскательна и очень добра. И не только она не сделала этого, но, напротив, предвидя всю неприятность своего положения, она без нападения приготовилась к защите и, предполагая, что все домашние хотят всеми средствами делать ей неприятности и оскорбления, она во всем видела умысел и полагала самым достойным для себя терпеть молча и, разумеется, своим бездействием не снискивая любви, снискивала нерасположение. Притом в ней было такое отсутствие той, в высшей степени развитой в нашем доме способности понимания, о которой я уже говорил, и привычки ее были так противоположны тем, которые укоренились в нашем доме, что уже это одно дурно располагало в ее пользу. В нашем аккуратном, опрятном доме она вечно жила, как будто только сейчас приехала, вставала и ложилась то поздно, то рано, то выходила, то не выходила к обеду, то ужинала, то не ужинала. Ходила почти всегда, когда не было гостей, полуодетая и не стыдилась нам и даже слугам показываться в белой юбке и накинутой шали, с голыми руками. Сначала эта простота понравилась мне, но потом очень скоро, именно вследствие этой простоты, я потерял последнее уважение, которое имел к ней. Еще страннее было для нас то, что в ней было, при гостях и без гостей, две совершенно различные женщины: одна, при гостях, молодая, здоровая и холодная красавица, пышно одетая, не глупая, не умная, но веселая; другая, без гостей, была уже немолодая, изнуренная, тоскующая женщина, неряшливая и скучающая, хотя и любящая. Часто, глядя на нее, когда она улыбающаяся, румяная от зимнего холоду, счастливая сознанием своей красоты, возвращалась с визитов и, сняв шляпу, подходила осмотреться в зеркало или, шумя пышным бальным открытым платьем, стыдясь и вместе гордясь перед слугами, проходила в карету, или дома, когда у нас бывали маленькие вечера, в закрытом шелковом платье и каких-то тонких кружевах около нежной шеи сияла на все стороны однообразной, но красивой улыбкой, я думал, глядя на нее, что́ бы сказали те, которые восхищались ей, ежели б видели ее такою, как я видел ее, когда она, по вечерам оставаясь дома, после двенадцати часов, дожидаясь мужа из клуба, в каком-нибудь капоте, с нечесанными волосами, как тень ходила по слабо освещенным комнатам. То она подходила к фортепьянам и играла на них, морщась

от напряжения, единственный вальс, который знала, то брала книгу романа и, прочтя несколько строк из средины, бросала его, то, чтоб не будить людей, сама подходила к буфету, доставала оттуда огурец и холодную телятину и съедала ее, стоя у окошка буфета, то снова, усталая, тоскующая, без цели шлялась из комнаты в комнату. Но более всего разъединяло нас с ней отсутствие понимания, выражавшееся преимущественно в свойственной ей манере снисходительного внимания, когда с ней говорили о вещах, для нее непонятных. Она была не виновата в том, что сделала бессознательную привычку слегка улыбаться одними губами и наклонять голову, когда ей рассказывали вещи, для нее мало занимательные (а кроме ее самой и ее мужа, ничто ее не занимало); но эта улыбка и наклонение головы, часто повторенные, были невыносимо отталкивающие. Ее веселость, как будто подсмеивающая над собой, над вами и над всем светом, была тоже неловкая, никому не сообщавшаяся, ее чувствительность слишком приторная. А главное — она не стыдилась беспрестанно говорить всякому о своей любви к папа. Хотя она нисколько не лгала, говоря про то, что вся жизнь ее заключается в любви к мужу, и хотя она доказывала это всей своей жизнью, но, по нашему пониманию, такое беззастенчивое, беспрестанное твержение про свою любовь было отвратительно, и мы стыдились за нее, когда она говорила это при посторонних, еще более, чем когда она делала ошибки во французском языке.

Она любила своего мужа более всего на свете, и муж любил ее, особенно первое время и когда он видел, что она не ему одному нравилась. Единственная цель ее жизни была приобретение любви своего мужа; но она делала, казалось, нарочно всё, что только могло быть ему неприятно, и всё с целью доказать ему всю силу своей любви и готовности самопожертвования.

Она любила наряды, отец любил видеть ее в свете красавицей, возбуждавшей похвалы и удивление; она жертвовала своей страстью к нарядам для отца, и больше и больше привыкала сидеть дома в серой блузе. Папа, считавший всегда свободу и равенство необходимым условием в семейных отношениях, надеялся, что его любимица Любочка и добрая молодая жена сойдутся искренно и дружески; но Авдотья Васильевна жертвовала собой и считала необходимым оказывать

настоящей хозяйке дома, как она называла Любочку, неприличное уважение, больно оскорблявшее папа. Он играл много в эту зиму, под конец много проигрывал и, как всегда, не желая смешивать игру с семейною жизнию, скрывал свои игорные дела от всех домашних. Авдотья Васильевна жертвовала собой и, иногда больная, под конец зимы даже беременная, считала своей обязанностью в серой блузе, с нечесанной головой, хоть в четыре или пять часов утра, раскачиваясь, итти навстречу папа, когда он, иногда усталый, проигравшийся, пристыженный, после восьмого штрафа, возвращался из клуба. Она спрашивала его рассеянно о том, был ли он счастлив в игре, и с снисходительной внимательностью, улыбаясь и покачивая головою, слушала, что он говорил ей о том, что он делал в клубе, и о том, что он в сотый раз ее просит никогда не дожидаться его. Но хотя проигрыш и выигрыш, от которого, по его игре, зависело всё состояние папа, нисколько не интересовали ее, она снова каждую ночь первая встречала его, когда он возвращался из клуба. К этим встречам, впрочем, кроме своей страсти к самопожертвованию, побуждала ее еще затаенная ревность, от которой она страдала в сильнейшей степени. Никто в мире не мог бы ее убедить, что папа возвращался поздно из клуба, а не от любовницы. Она старалась прочесть на лице папа его любовные тайны; и не прочтя ничего, с некоторым наслаждением горя вздыхала и предавалась созерцанию своего несчастия.

Вследствие этих и многих других беспрестанных жертв в обращении папа с его женою в последние месяцы этой зимы, в которые он много проигрывал и оттого был большей частью не в духе, стало уже заметно перемежающееся чувство *тихой ненависти*, того сдержанного отвращения к предмету привязанности, которое выражается бессознательным стремлением делать все возможные мелкие моральные неприятности этому предмету.

ГЛАВА XLIII.

НОВЫЕ ТОВАРИЩИ.

Зима прошла незаметно, и уже опять начинало таять, и в университете уже было прибито расписание экзаменов, когда я вдруг вспомнил, что надо было отвечать из восемнадцати предметов, которые я слушал и из которых я не слышал, не

записывал и не приготовил ни одного. Странно, как такой ясный вопрос: как же держать экзамен? ни разу мне не представился. Но я был всю зиму эту в таком тумане, происходившем от наслаждения тем, что я большой и что я «comme il faut», что, когда мне и приходило в голову: как же держать экзамен? я сравнивал себя с своими товарищами и думал: «они же будут держать, а бóльшая часть их еще не «comme il faut», стало-быть, у меня еще лишнее перед ними преимущество, и я должен выдержать. Я приходил на лекции только потому, что уж так привык, и что папа усылал меня из дома. Притом же знакомых у меня было много, и мне было часто весело в университете. Я любил этот шум, говор, хохотню по аудиториям, любил во время лекции, сидя на задней лавке, при равномерном звуке голоса профессора мечтать о чем-нибудь и наблюдать товарищей, любил иногда с кем-нибудь сбегать к Матерну выпить водки и закусить и, зная, что за это могут распечь после профессора, робко скрыпнув дверью, войти в аудиторию, любил участвовать в проделке, когда курс на курс с хохотом толпился в коридоре. Всё это было очень весело.

Когда уже все начали ходить аккуратнее на лекции, профессор физики кончил свой курс и простился до экзаменов, студенты стали собирать тетрадки и партиями готовиться, я тоже подумал, что надо готовиться. Оперов, с которым мы продолжали кланяться, но были в самых холодных отношениях, как я говорил уже, предложил мне не только тетрадки, но и пригласил готовиться по ним вместе с ним и другими студентами. Я поблагодарил его и согласился, надеясь этой честью совершенно загладить свою бывшую размолвку с ним, но просил только, чтоб непременно все собирались у меня всякий раз, так как у меня квартира хорошая.

Мне отвечали, что будут готовиться по переменкам, то у того, то у другого, и там, где ближе. В первый раз собрались у Зухина. Это была маленькая комнатка за перегородкой в большом доме на Трубном бульваре. В первый назначенный день я опоздал и пришел, когда уже читали. Маленькая комнатка была вся закурена, даже не вакштафом, а махоркой, которую курил Зухин. На столе стоял штоф водки, рюмка, хлеб, соль и кость баранины.

Зухин, не вставая, пригласил меня выпить водки и снять сюртук.

— Вы, я думаю, к такому угощенью не привыкли, — прибавил он.

Все были в грязных ситцевых рубашках и нагрудниках. Стараясь не выказывать своего к ним презрения, я снял сюртук и лег по-*товарищески* на диван. Зухин, изредка справляясь по тетрадкам, читал, другие останавливали его, делая вопросы, а он объяснял сжато, умно и точно. Я стал вслушиваться и, не понимая многого, потому что не знал предыдущего, сделал вопрос.

— Э, батюшка, да вам нельзя слушать, коли вы этого не знаете, — сказал Зухин: — я вам дам тетрадки, вы пройдите это к завтрему; а то что ж вам объяснять.

Мне стало совестно за свое незнание, и, вместе с тем чувствуя всю справедливость замечания Зухина, я перестал слушать и занялся наблюдениями над этими новыми товарищами. По подразделению людей на comme il faut и не comme il faut они принадлежали, очевидно, ко второму разряду и вследствие этого возбуждали во мне не только чувство презрения, но и некоторой личной ненависти, которую я испытывал к ним за то, что, не быв comme il faut, они как будто считали меня не только равным себе, но даже добродушно покровительствовали меня. Это чувство возбуждали во мне их ноги и грязные руки с обгрызенными ногтями и один отпущенный на пятом пальце длинный ноготь у Оперова, и розовые рубашки, и нагрудники, и ругательства, которые они ласкательно обращали друг к другу, и грязная комната, и привычка Зухина беспрестанно немножко сморкаться, прижав одну ноздрю пальцем, и в особенности их манера говорить, употреблять и интонировать некоторые слова. Например, они употребляли слова *глупец*, вместо дурак, *словно*, вместо точно, *великолепно*, вместо прекрасно, *движучи* и т. п., что́ мне казалось книжно и отвратительно непорядочно. Но еще более возбуждали во мне эту комильфотную ненависть интонации, которые они делали на некоторые русские и в особенности иностранные слова: они говорили ма̀шина, вместо машѝна, деятельность, вместо де́ятельность, на̀рочно, вместо наро́чно, в камине́, вместо в камѝне, Ше́кспир, вместо Шекспѝр и т. д. и т. д.

Несмотря, однако, на эту, в то время для меня непреодолимо-отталкивающую, внешность, я, предчувствуя что-то хорошее в этих людях и завидуя тому веселому товариществу,

которое соединяло их, испытывал к ним влеченье и желал сблизиться с ними, как это ни было для меня трудно. Кроткого и честного Оперова я уже знал; теперь же бойкий, необыкновенно умный Зухин, который, видимо, первенствовал в этом кружке, чрезвычайно нравился мне. Это был маленький, плотный брюнет с несколько оплывшим и всегда глянцевитым, но чрезвычайно умным, живым и независимым лицом. Это выражение особенно придавали ему невысокий, но горбатый над глубокими черными глазами лоб, щетинистые короткие волоса и частая, черная борода, казавшаяся всегда небритой. Он, казалось, не думал о себе (что́ всегда мне особенно нравилось в людях), но видно было, что никогда ум его не оставался без работы. У него было одно из тех выразительных лиц, которые несколько часов после того, как вы их увидите в первый раз, вдруг совершенно изменяются в ваших глазах. Это случилось под конец вечера, в моих глазах, с лицом Зухина. Вдруг на его лице показались новые морщины, глаза ушли глубже, улыбка стала другая, и всё лицо так изменилось, что я с трудом бы узнал его.

Когда кончили читать, Зухин, другие студенты и я, чтоб доказать свое желание быть товарищем, выпили по рюмке водки, и в штофе почти ничего не осталось. Зухин спросил, у кого есть четвертак, чтоб еще послать за водкой какую-то старую женщину, которая прислуживала ему. Я предложил было своих денег, но Зухин, как будто не слыхав меня, обратился к Оперову, и Оперов, достав бисерный кошелек, дал ему требуемую монету.

— Ты, смотри, не запей, — сказал Оперов, который сам ничего не пил.

— Небось, — отвечал Зухин, высасывая мозг из бараньей кости (я помню, в это время я думал: от этого-то он так умен, что ест много мозгу).

— Небось, — продолжал Зухин, слегка улыбаясь, а улыбка у него была такая, что вы невольно замечали ее и были ему благодарны за эту улыбку: — хоть и запью, так не беда; уж теперь, брат, посмотрим, кто кого собьет, он ли меня или я его. Уж готово, брат, — добавил он, хвастливо щелкнув себя по лбу: — вот Семенов не провалился бы, он что-то сильно закутил.

Действительно, тот самый Семенов с седыми волосами, ко-

торый в первый экзамен меня так обрадовал тем, что на вид был хуже меня, и который, выдержав вторым вступительный экзамен, первый месяц студенчества аккуратно ходил на лекции, закутил еще до репетиций и под конец курса уже совсем не показывался в университете.

— Где он? — спросил кто-то.

— Уж и я его из виду потерял, — продолжал Зухин: — в последний раз мы с ним вместе Лиссабон разбили. Великолепная штука вышла. Потом, говорят, какая-то история была.... Вот голова! Чтó огня в этом человеке! Чтó ума! Жаль, коли пропадет. А пропадет наверно: не такой мальчик, чтоб с его порывами он усидел в университете.

Поговорив еще немного, все стали расходиться, условившись и на следующие дни собираться к Зухину, потому что его квартира была ближе ко всем прочим. Когда все вышли на двор, мне стало несколько совестно, что все шли пешком, а я один ехал на дрожках, и я, стыдясь, предложил Оперову довезти его. Зухин вышел вместе с нами и, заняв у Оперова целковый, пошел на всю ночь куда-то в гости. Дорогой Оперов рассказал мне многое про характер и образ жизни Зухина, и, приехав домой, я долго не спал, думая об этих новых, узнанных мною людях. Я долго, не засыпая, колебался, с одной стороны, между уважением к ним, к которому располагали меня их знания, простота, честность и поэзия молодости и удальства, с другой стороны, между отталкивающей меня их непорядочной внешностью. Несмотря на всё желание, мне было в то время буквально невозможно сойтись с ними. Наше понимание было совершенно различно. Была бездна оттенков, составлявших для меня всю прелесть и весь смысл жизни, совершенно непонятных для них, и наоборот. Но главною причиною невозможности сближения были мое двадцатирублевое сукно на сюртуке, дрожки и голландская рубашка. Эта причина была в особенности важна для меня: мне казалось, что я невольно оскорбляю их признаками своего благосостояния. Я чувствовал себя перед ними виноватым и, то смиряясь, то возмущаясь против своего незаслуженного смирения и переходя к самонадеянности, никак не мог войти с ними в ровные, искренние отношения. Грубая же, порочная сторона в характере Зухина до такой степени заглушалась в то время для меня той сильной поэзией удальства, которую я предчувствовал

в нем, что она нисколько не неприятно действовала на меня.

Недели две почти каждый день я ходил по вечерам заниматься к Зухину. Занимался я очень мало, потому что, как говорил уже, отстал от товарищей и, не имея сил один заняться, чтоб догнать их, только притворялся, что слушаю и понимаю то, что они читают. Мне кажется, что и товарищи догадывались о моем притворстве, и часто я замечал, что они пропускали места, которые сами знали, и никогда не спрашивали меня.

С каждым днем я больше и больше извинял непорядочность этого кружка, втягиваясь в их быт и находя в нем много поэтического. Только одно честное слово, данное мною Дмитрию, не ездить никуда кутить с ними, удержало меня от желания разделять их удовольствия.

Раз я хотел похвастаться перед ними своими знаниями в литературе, в особенности французской, и завел разговор на эту тему. К удивлению моему, оказалось, что хотя они выговаривали иностранные заглавия по-русски, они читали гораздо больше меня, знали, ценили английских и даже испанских писателей, Лесажа, про которых я тогда и не слыхивал. Пушкин и Жуковский были для них литература (а не так, как для меня, книжки в желтом переплете, которые я читал и учил ребенком). Они презирали равно Дюма, Сю и Феваля и судили, в особенности Зухин, гораздо лучше и яснее о литературе, чем я, в чем я не мог не сознаться. В знании музыки я тоже не имел перед ними никакого преимущества. Еще к большему удивлению моему, Оперов играл на скрипке, другой из занимавшихся с нами студентов играл на виолончели и фортепьяно, и оба играли в университетском оркестре, порядочно знали музыку и ценили хорошую. Одним словом, всё, чем я хотел похвастаться перед ними, исключая выговора французского и немецкого языков, они знали лучше меня и нисколько не гордились этим. Мог бы я похвастаться в моем положении светскостью, но ее я не имел, как Володя. Так что же такое было та высота, с которой я смотрел на них? Мое знакомство с князем Иваном Иванычем? Выговор французского языка? дрожки? голландская рубашка? ногти? Да уж не вздор ли всё это? — начинало мне глухо приходить иногда в голову под влиянием чувства зависти к товариществу и добродушному, молодому

веселью, которое я видел перед собой. Они все были на ты. Простота их обращения доходила до грубости, но и под этой грубой внешностью был постоянно виден страх, хоть чуть-чуть оскорбить друг друга. *Подлец*, *свинья*, употребляемые ими в ласкательном смысле, только коробили меня и мне подавали повод к внутреннему подсмеиванию, но эти слова не оскорбляли их и не мешали им быть между собою на самой искренней, дружеской ноге. В обращении между собой они были так осторожны и деликатны, как только бывают очень бедные и очень молодые люди. Главное же, что-то широкое, разгульное чуялось мне в этом характере Зухина и его похождениях в Лиссабоне. Я предчувствовал, что эти кутежи должны были быть что-то совсем другое, чем то притворство с жжоным ромом и шампанским, в котором я участвовал у барона З.

ГЛАВА XLIV.

ЗУХИН И СЕМЕНОВ.

Не знаю, к какому сословию принадлежал Зухин, но знаю, что он был из С. гимназии, без всякого состояния и, кажется, не дворянин. Ему было в то время лет восемнадцать, хотя на вид казалось гораздо больше. Он был необычайно умен, в особенности понятлив: ему легче было сразу обнять целый многосложный предмет, предвидеть все его частности и выводы, чем посредством сознания обсудить законы, по которым производились эти выводы. Он знал, что он был умен, гордился этим и вследствие этой гордости был одинаково со всеми прост в обращении и добродушен. Должно-быть, он много испытал в жизни. Его пылкая, восприимчивая натура уже успела отразить в себе и любовь, и дружбу, и дела, и деньги. Хотя в малой мере, хотя в низших слоях общества, но не было вещи, к которой бы он, испытав ее, не имел не то презрения, не то какого-то равнодушия и невнимания, происходящих от слишком большой легкости, с которой ему всё доставалось. Он, казалось, с таким жаром брался за всё новое только для того, чтоб, достигнув цели, презирать то, чего он достигнул, и способная натура его достигала всегда и цели и права на презрение. В отношении науки было то же самое: занимаясь мало, не записывая, он знал математику превосходно и не хвастался, говоря, что собьет профессора. Ему казалось много вздоров в

том, что ему читали, но с свойственным его натуре бессознательным практическим плутовством он тотчас же подделывался под то, что было нужно профессору, и все профессора его любили. Он был прям в отношениях с начальством, но начальство уважало его. Он не только не уважал и не любил науки, но презирал даже тех, которые серьезно занимались тем, что ему так легко доставалось. Науки, как он понимал их, не занимали десятой доли его способностей; жизнь в его студенческом положении не представляла ничего такого, чему бы он мог весь отдаться, а пылкая, деятельная, как он говорил, натура требовала жизни, и он вдался в кутеж такого рода, какой возможен был по его средствам, и предался ему с страстным жаром и желанием уходить себя, *чем больше во мне силы*. Теперь, перед экзаменами, предсказание Оперова сбылось. Он пропал недели на две, так что мы готовились уже последнее время у другого студента. Но в первый экзамен он, бледный, изнуренный, с дрожащими руками, явился в залу и блестящим образом перешел во второй курс.

С начала курса в шайке кутил, главою которых был Зухин, было человек восемь. В числе их сначала были Иконин и Семенов, но первый удалился от общества, не вынесши того неистового разгула, которому они предавались в начале года, второй же удалился потому, что ему и этого казалось мало. В первые времена все в нашем курсе с каким-то ужасом смотрели на них и рассказывали друг другу их подвиги.

Главными героями этих подвигов были Зухин, а в конце курса — Семенов. На Семенова все последнее время смотрели с каким-то даже ужасом, и когда он приходил на лекцию, что случалось довольно редко, то в аудитории происходило волнение.

Семенов перед самыми экзаменами кончил свое кутежное поприще самым энергическим и оригинальным образом, чему я был свидетелем благодаря своему знакомству с Зухиным. Вот как это было. Раз вечером, только что мы сошлись к Зухину, и Оперов, приникнув головой к тетрадкам и поставив около себя, кроме сальной свечи в подсвечнике, сальную свечу в бутылке, начал читать своим тоненьким голоском свои мелкоисписанные тетрадки физики, как в комнату вошла хозяйка и объявила Зухину, что к нему пришел кто-то с запиской.

Зухин вышел и скоро вернулся, опустив голову, и с задум-

чивым лицом, держа в руках открытую записку на серой оберточной бумаге и две десятирублевые ассигнации.

— Господа! Необыкновенное событие, — сказал он, подняв голову и как-то торжественно серьезно взглянув на нас. «Что ж, за кондиции деньги получил?» сказал Оперов, перелистывая свою тетрадку. «Ну, давайте читать дальше»,— сказал кто-то.— «Нет, господа! Я больше не читаю, — продолжал Зухин тем же тоном, — я вам говорю, непостижимое событие! Семенов прислал мне с солдатом вот 20 рублей, которые занял когда-то, и пишет, что ежели я его хочу видеть, то чтоб приходил в казармы. Вы знаете, что это значит? — прибавил он, оглянув всех нас. — Мы все молчали.— Я сейчас иду к нему, — продолжал Зухин, — пойдемте, кто хочет.— Сейчас же все надели сюртуки и собрались итти к Семенову. «Не будет ли это неловко, сказал Оперов своим тоненьким голоском, — что все мы, как редкость, придем смотреть на него». Я был совершенно согласен с замечанием Оперова, особенно в отношении меня, который был почти незнаком с Семеновым, но мне так приятно было знать себя участвующим в общем товарищеском деле и так хотелось видеть самого Семенова, что я ничего не сказал на это замечание.

— Вздор! — сказал Зухин, — что ж тут неловкого, что мы все идем проститься с товарищем, где бы он ни был. Пустяки! Идем, кто хочет.

Мы взяли извозчиков, посадили с собой солдата и поехали. Дежурный унтер-офицер уже не хотел нас пускать в казарму, но Зухин как-то уговорил его и тот же самый солдат, который приходил с запиской, провел нас в большую, почти темную, слабо освещенную несколькими ночниками комнату, в которой с обеих сторон на нарах, с бритыми лбами, сидели и лежали рекруты в серых шинелях. Вступив в казарму, меня поразил особенный тяжелый запах, звук храпения нескольких сотен людей, и, проходя за нашим проводником и Зухиным, который твердыми шагами шел впереди всех между нарами, я с трепетом вглядывался в положение каждого рекрута и к каждому прикладывал оставшуюся в моем воспоминании сбитую жилистую фигуру Семенова с длинными, всклокоченными, почти седыми волосами, белыми губами и мрачными блестящими глазами. В самом крайнем углу казармы у последнего глиняного горшечка, налитого черным маслом, в котором

дымно, свесившись, коптился нагоревший фитиль, Зухин ускорил шаг и вдруг остановился.

— Здорово, Семенов, — сказал он одному рекруту с таким же бритым лбом, как и другие, который в толстом солдатском белье и в серой шинели в накидку сидел с ногами на нарах и, разговаривая с другим рекрутом, ел что-то. Это был *он*, с обстриженными под гребенку седыми волосами, выбритым синим лбом и с своим всегдашним мрачным и энергическим выражением лица. Я боялся, что взгляд мой оскорбит его и поэтому отворачивался. Оперов, кажется, тоже разделяя мое мнение, стоял сзади всех; но звук голоса Семенова, когда он своей обыкновенной, отрывистой речью приветствовал Зухина и других, совершенно успокоил нас, и мы поторопились выйти вперед и подать — я свою руку, Оперов свою дощечку, но Семенов еще прежде нас протянул свою черную, большую руку, избавляя нас этим от неприятного чувства делать, как будто бы, честь ему. Он говорил неохотно и спокойно, как и всегда: «Здравствуй, Зухин. Спасибо, что зашел. А, господа, садитесь. Ты пусти, Кудряшка, — обратился он к рекруту, с которым ужинал и разговаривал. — С тобой после договорим. Садитесь же. Что? удивило тебя, Зухин? А!» — «Ничего меня от тебя не удивило», отвечал Зухин, усаживаясь подле него на нары немножко с тем выражением, с каким доктор садится на постель больного,— меня бы удивило, коли бы ты на экзамены пришел, вот так-так. Да расскажи, где ты пропадал и как это случилось?»—«Где пропадал? — отвечал он своим густым, сильным голосом, — пропадал в трактирах, кабаках, вообще в заведениях. Да садитесь же все, господа, тут места много. Подожми ноги-то, ты, — крикнул он повелительно, показав на мгновение свои белые зубы, на рекрута, который с левой стороны его лежал на нарах, положив голову на руку и с ленивым любопытством смотрел на нас. — Ну, кутил. И скверно. И хорошо, — продолжал он, изменяя при каждом отрывистом предложении выражение энергического лица. — Историю с купцом знаешь: умер каналья. Меня хотели выгнать. Что были деньги — все промотал. Да это всё бы ничего. Долгов гибель оставалась — и гадких. Расплатиться было нечем. Ну, и всё». — «Как же такая мысль могла прийти тебе», сказал Зухин.—«А вот как: кутил раз в Ярославле, знаешь на Стоженке, кутил с каким-то барином из купцов. Он рекрутский поставщик. Говорю: дайте

тысячу рублей — пойду. И пошел». — «Да ведь как же, ты — дворянин», сказал Зухин. — «Пустяки! Всё обделал Кирилл Иванов». — «Кто, Кирилл Иванов?» — «Который меня купил (при этом он особенно и странно, и забавно, и насмешливо блеснул глазами и как будто улыбнулся). Разрешение в Сенате взяли. Еще покутил, долги заплатил, да и пошел. Вот и всё. Что же, сечь меня не могут... 5 рублей есть... А может война...»

Потом он начал рассказывать Зухину свои странные, непостижимые похождения, беспрестанно изменяя выражение энергического лица и мрачно блестя глазами.

Когда нельзя было больше оставаться в казармах, мы стали прощаться с ним. Он подал всем нам руку, крепко пожал наши и, не вставая, чтоб проводить нас, сказал: «Заходите еще когда-нибудь, господа, нас еще, говорят, только в будущем месяце погонят», и снова он как-будто улыбнулся. Зухин, однако, пройдя несколько шагов, снова вернулся назад. Мне хотелось видеть их прощанье, я тоже приостановился и видел, что Зухин достал из кармана деньги, подавал их ему, и Семенов оттолкнул его руку. Потом я видел, что они поцеловались, и слышал, как Зухин, снова приближаясь к нам, довольно громко прокричал: «Прощай, голова! Да уж, наверно, я курса не кончу — ты будешь офицером». В ответ на это Семенов, который никогда не смеялся, захохотал звонким, непривычным смехом, который чрезвычайно больно поразил меня. Мы вышли.

Всю дорогу домой, которую мы прошли пешком, Зухин молчал и беспрестанно немножко сморкался, приставляя палец то к одной, то к другой ноздре. Придя домой, он тотчас же ушел от нас и с того самого дня запил до самых экзаменов.

ГЛАВА XLV.

Я ПРОВАЛИВАЮСЬ.

Наконец настал первый экзамен, диференциалов и интегралов, а я всё был в каком-то странном тумане и не отдавал себе ясного отчета о том, что̀ меня ожидало. По вечерам на меня, после общества Зухина и других товарищей, находила мысль о том, что надо переменить что-то в своих убеждениях, что что̀-то в них не так и не хорошо, но утром, с солнечным светом, я снова становился comme il faut, был очень доволен этим и не желал в себе никаких изменений.

В таком расположении духа я приехал на первый экзамен. Я сел на лавку в той стороне, где сидели князья, графы и бароны, стал разговаривать с ними по-французски, и (как ни странно сказать) мне и мысль не приходила о том, что сейчас надо будет отвечать из предмета, который я вовсе не знаю. Я хладнокровно смотрел на тех, которые подходили экзаменоваться, и даже позволял себе подтрунивать над некоторыми.

— Ну что, Грап? — сказал я Илиньке, когда он возвращался от стола: — набрались страха?

— Посмотрим, как вы,— сказал Илинька, который с тех пор, как поступил в университет, совершенно взбунтовался против моего влияния, не улыбался, когда я говорил с ним, и был дурно расположен ко мне.

Я презрительно улыбнулся на ответ Илиньки, несмотря на то, что сомнение, которое он выразил, на минуту заставило меня испугаться. Но туман снова застлал это чувство, и я продолжал быть рассеян и равнодушен, так что даже тотчас после того, как меня проэкзаменуют (как будто для меня это было самое пустячное дело), я обещался пойти вместе с бароном З. закусить к Матерну. Когда меня вызвали вместе с Икониным, я оправил фалды мундира и весьма хладнокровно подошел к экзаменному столу.

Легкий мороз испуга пробежал у меня по спине только тогда, когда молодой профессор, тот самый, который экзаменовал меня на вступительном экзамене, посмотрел мне прямо в лицо, и я дотронулся до почтовой бумаги, на которой были написаны билеты. Иконин, хотя взял билет с тем же раскачиваньем всем телом, с каким он это делал на предыдущих экзаменах, отвечал кое-что, хотя и очень плохо; я же сделал то, что он делал на первых экзаменах, я сделал даже хуже, потому что взял другой билет и на другой ничего не ответил. Профессор с сожалением посмотрел мне в лицо и тихим, но твердым голосом сказал:

— Вы не перейдете на второй курс, г. Иртеньев. Лучше не ходите экзаменоваться. Надо очистить факультет. И вы тоже, господин Иконин,— добавил он.

Иконин просил позволения переэкзаменоваться как будто милостыни, но профессор отвечал ему, что он в два дня не успеет сделать того, чего не сделал в продолжение года, и что

он никак не перейдет. Иконин снова жалобно, униженно умолял; но профессор снова отказал.

— Можете итти, господа, — сказал он тем же не громким, но твердым голосом.

Только тогда я решился отойти от стола, и мне стало стыдно за то, что я своим молчаливым присутствием как будто принимал участие в униженных мольбах Иконина. Не помню, как я прошел залу мимо студентов, что отвечал на их вопросы, как вышел в сени и как добрался до дому. Я был оскорблен, унижен, я был истинно несчастлив.

Три дня я не выходил из комнаты, никого не видел, находил, как в детстве, наслаждение в слезах и плакал много. Я искал пистолетов, которыми бы мог застрелиться, ежели бы мне этого уж очень захотелось. Я думал, что Илинька Грап плюнет мне в лицо, когда меня встретит, и, сделав это, поступит справедливо; что Оперов радуется моему несчастью и всем про него рассказывает; что Колпиков был совершенно прав, осрамив меня у Яра; что мои глупые речи с княжной Корнаковой не могли иметь других последствий, и т. д., и т. д. Все тяжелые, мучительные для самолюбия минуты в жизни одна за другой приходили мне в голову; я старался обвинить кого-нибудь в своем несчастии: думал, что кто-нибудь всё это сделал нарочно, придумывал против себя целую интригу, роптал на профессоров, на товарищей, на Володю, на Дмитрия, на папа за то, что он меня отдал в университет; роптал на Провидение за то, что оно допустило меня дожить до такого позора. Наконец, чувствуя свою окончательную погибель в глазах всех тех, кто меня знал, я просился у папа итти в гусары или на Кавказ. Папа был недоволен мною, но, видя мое страшное огорченье, утешал меня, говоря, что, как это ни скверно, еще всё дело можно поправить, ежели я перейду на другой факультет. Володя, который тоже не видел в моей беде ничего ужасного, говорил, что на другом факультете мне, по крайней мере, не будет совестно перед новыми товарищами.

Наши дамы вовсе не понимали и не хотели или не могли понять, что̀ такое экзамен, что̀ такое не перейти, и жалели обо мне только потому, что видели мое горе.

Дмитрий ездил ко мне каждый день и был всё время чрезвычайно нежен и кроток; но мне именно поэтому казалось, что он охладел ко мне. Мне казалось всегда больно и

оскорбительно, когда он, приходя ко мне наверх, молча близко подсаживался ко мне, немножко с тем выражением, с которым доктор садится на постель тяжелого больного. Софья Ивановна и Варенька прислали мне чрез него книги, которые я прежде желал иметь, и желали, чтобы я пришел к ним; но именно в этом внимании я видел гордое, оскорбительное для меня снисхождение к человеку, упавшему уже слишком низко. Дня через три я немного успокоился, но до самого отъезда в деревню я никуда не выходил из дома и, всё думая о своем горе, праздно шлялся из комнаты в комнату, стараясь избегать всех домашних.

Я думал, думал и, наконец, раз поздно вечером, сидя один внизу и слушая вальс Авдотьи Васильевны, вдруг вскочил, взбежал наверх, достал тетрадь, на которой написано было: «Правила жизни», открыл ее, и на меня нашла минута раскаяния и морального порыва. Я заплакал, но уже не слезами отчаяния. Оправившись, я решился снова писать правила жизни и твердо был убежден, что я уже никогда не буду делать ничего дурного, ни одной минуты не проведу праздно и никогда не изменю своим правилам.

Долго ли продолжался этот моральный порыв, в чем он заключался и какие новые начала положил он моему моральному развитию, я расскажу в следующей, более счастливой половине юности.

24 сентября.
Ясная Поляна.

ВАРИАНТЫ ТЕКСТА

«СОВРЕМЕННИКА» 1854 г., № 10

Ниже помещаемые разночтения «Современника», которые можно объяснить цензурными требованиями, отмечены звездочкой.

«Современник» 1854, № 10, октябрь.	«Детство и отрочество». Сочинение графа Л. Н. Толстого. СПБ. 1856.
* Стр. 3 строки 9 — 10 св.	
стоит на крыльце.	стоит на крыльце и крестит окно кареты и брычку.
* Стр. 3 строка 11 св.	
«Ну, трогай!»	«Ну Христос с вами! трогай!»
* Стр. 4 строки 8 — 6 сн.	
Маша чаще и чаще перебегает мимо нас.	Маша с различными предметами, которые она платьем старается скрыть от нашего любопытства, чаще и чаще
* Стр. 5 строки 12 — 11 сн.	
и крещусь. Но тысячи	и крещусь под курточкой так, чтобы никто не видал этого. Но тысячи
Стр. 6 строка 16 св.	
и петь песни.	и петь грустные песни.
Стр. 6 строка 5 сн.	
не обращаю внимания на цыфры,	не обращаю внимания на кривые цыфры,
* Стр. 7 строка 13 св.	
Неручинская, Зайчик, Левая коренная	Неручинская, Дьячок, Левая коренная

Эта же замена и в следующих абзацах.

Стр. 8 строки 1 — 2 св.

сходиться и принимать	сходиться и принимают

Нами взят текст «Современника».

* Стр. 14 строки 14 — 10 сн.

у маменьки ничего нет. Бедности я никак	у маменьки ничего нет. Вы богаты — мы бедны: эти слова и понятия, связанные с ними, показались мне необыкновенно странны. Бедными по моим тогдашним понятиям могли быть только нищие и мужики, и это понятие бедности я никак

* Стр. 14 строки 8 — 7 сн.

и будут жить с нами. Иначе и быть	и будут жить с нами и делить всё поровну. Иначе и быть

* Стр. 14 строки 5 — 3 сн.

зароилось в моей голове. «Что ж такое	зароилось в моей голове, и мне стало так совестно, что мы богаты, а они бедны, что я покраснел и не мог решиться взглянуть на Катеньку. «Что ж такое

* Стр. 15 строки 1 — 5 св.

необходимость разлуки? — Неужели	необходимость разлуки? Отчего ж нам не разделить поровну того, что имеем?» Но я понимал, что с Катенькой не годится говорить об этом, и какой-то практический инстинкт, в противность этим логическим размышлениям, уже говорил мне, что она права, и что неуместно бы было объяснять ей свою мысль. — Неужели

Стр. 16 строки 17—12 сн.

Папа в Москве мало занимался нами и стал казаться мне другим нежели был в деревне Карл Иваныч	Папа, который в Москве почти совсем не занимался нами, и с вечно озабоченным лицом только к обеду при-

	ходил к нам, в черном сюртуке или фраке, — вместе с своими большими выпущенными воротничками рубашки, халатом, старостами, приказчиками, прогулками на гумно и охотой, много потерял в моих глазах. Карл Иваныч,

Стр. 16 строка 5 сн.

своими платьями,	своими юбками,

* Стр. 19 строка 23 св.

После абзаца: «Володя смотрел» *идут два последних абзаца главы VI издания 1856 г. (и всех последующих), исключенной в «Совр.»*	

* Стр. 22 строка 24 — 33 св.

— Время будет, так натру. — Видите, мой милый,	— Время будет, так натру. — Что вы говорите? — Натру нынче. — Ежели вы не хотите мне служить, моя милая, вы бы так и сказали: я бы давно вас отпустила. — И отпустите, не заплачут,— проворчала вполголоса горничная. В это время доктор начал было мигать ей; но она так гневно и решительно посмотрела на него, что он тотчас же потупился и занялся ключиком своих часов. — Видите, мой милый,

Стр. 23 строки 14 — 13 сн.

а не *дядьку*, который их	а не *дядьку*, немецкого мужика. Да, глупого мужика, который их

Стр. 24 строка 18 сн.

и захотелось выразить	и хотелось выразить

* Стр. 25 строки 1 — 2 св.

я нуль! и мне некуда преклонить	я нуль! и мне, как сыну Божию, некуда преклонить

Стр. 25 строка 7 св.

и не опуская глаз	и не спуская глаз

Стр. 25 строки 4 — 1 сн.

von Sommerblat! Мой папенька был арендатор у графа Зомерблат. Папенька не любил меня. У меня был	von Sommerblat! Я родился шесть недель после сватьбы. Муж моей матери (я звал его папенька) был арендатор у графа Зомерблат. Он не мог позабыть стыда моей матери и не любил меня. У меня был

Стр. 29 строки 4 — 2 сн.

она сказала: «Karlchen! *я вас люблю...*»	она сказала: «Karlchen! поцалуйте меня».
Тут Карл Иваныч	«Я *его* поцаловал, и он сказал: «Karlchen! я так люблю вас, что не могу больше терпеть», и он весь задрожал».
	Тут Карл Иваныч

Стр. 33 строка 2 сн. — стр. 34 строка 1 св.

в дверях показалась фигура учителя в синем	в дверях показалось рябое, отвратительное для меня лицо и слишком знакомая неуклюжая фигура учителя в синем

Стр. 34 строки 4 — 7 св.

на стол, и сел на свое место.	на стол, раздвинул обеими руками фалды своего фрака (как будто это было очень нужно) и отдуваясь сел на свое место.
— Ну, господа, сказал он, потирая одна о другую свои руки:	— Ну-с, господа, — сказал он, потирая одну о другую свои потные руки:

Стр. 34.

Абзацев: «В то время», «Я чувствовал» *и* «Нет, это» *в «Совр.» нет.*

Стр. 34 строки 13 — 11 сн.

Затем учитель, вовсе как бы не замечая меня, объяснял Володе	Было уже без пяти минут три, когда я вернулся в класс. Учитель, как будто не замечая ни моего отсутствия, ни моего присутствия, объяснял Володе

Стр. 34 строка 7 сн. — стр. 35 строка 12 св.

Но вдруг учитель с полу-улыбкой обратился ко мне.

— Надеюсь, вы выучили свой урок, сказал он, потирая руки.

— Выучил-с, отвечал я.

— Потрудитесь мне сказать что-нибудь о крестовом походе Людовика Святого, сказал он. — Сначала вы мне скажете о причинах, побудивших короля французского взять крест; потом объясните мне общие характеристические черты этого похода и наконец влияние этого похода на европейские государства вообще, и на французское королевство в особенности, заключил он, ударяя по столу.

Я прокашлялся, склонил голову

Но вдруг учитель с злодейской полу-улыбкой обратился ко мне.

— Надеюсь, вы выучили свой урок-с, — сказал он, потирая руки.

— Выучил-с, — отвечал я.

— Потрудитесь мне сказать что-нибудь о крестовом походе Людовика Святого, — сказал он, покачиваясь на стуле и задумчиво глядя себе под ноги. — Сначала вы мне скажете о причинах, побудивших короля французского взять крест, — сказал он, поднимая брови и указывая пальцем на чернильницу; — потом объясните мне общие характеристические черты этого похода, — прибавил он, делая всей кистью движение такое, как будто хотел поймать что-нибудь; — и, наконец, влияние этого похода на европейские государства вообще, — сказал он, ударяя тетрадями по левой стороне стола, — и на французское королевство в особенности, — заключил он, ударяя по правой стороне стола и склоняя голову направо.

Я проглотил несколько раз слюни, прокашлялся, склонил голову

Стр. 35 строка 21 — 25 св.

— Как ее звали-с?
— Б.... б.... ланка.
— Ну-с, не знаете ли

— Как ее звали-с?
— Б.... б.... ланка.
— Как-с? буланка?

Я усмехнулся как-то криво и неловко.

— Ну-с, не знаете ли

Стр. 37 строка 21 св.

с висячим замком,

с висячим замочком,

Стр. 37.

Между абз.: «На столе» *и* Чувство безусловного» *в Совр.» нет строки многоточия.*

Стр. 37 строка 11 сн.

Чувство безусловного уважения	Детское чувство безусловного уважения

Стр. 39 строки 7 — 6 сн.

убежден, что она меня обманывает.	убежден, что она самым гнусным образом поступила со мною.

* Стр. 40 строки 17 — 15 сн.

мысль, что он пошел	мысль, что Мими сказала ему, где она видела меня во время класса, и что он пошел

Стр. 40 строка 13 сн.

Со слов: Я читал где-то *до конца абзаца в «Совр.» нет.*

Стр. 41 строки 21 — 22 св.

Когда St.-Jérôme сошел	Под влиянием такого же внутреннего волнения и отсутствия размышления, когда St.-Jérôme сошел

Стр. 42 строки 6 — 8 св.

как я несчастлив!	как я несчастлив! Все вы гадки, отвратительны,—прибавил я с каким-то исступлением, обращаясь ко всему обществу.

Стр. 42 строка 15 св.

натыкался на что-то мягкое,	натыкался на чьи-то ляжки,

В конце главы в «Совр.» нет многоточия.

Стр. 43 строки 14 — 16 св.

Я должен быть не брат Володи, а несчастный сирота, взятый из милости,	Я должен быть не сын моей матери и моего отца, не брат Володи, а несчастный сирота, подкидыш, взятый из милости,

Стр. 43 строки 24 — 32 св.

скажу ему: «Папа! ты меня не любишь». Он скажет: зачем ты дурно учишься; учись хорошенько, и я буду любить тебя». — «Папа — скажу я — здесь никто не любит меня,

скажу ему: «Папа! напрасно ты от меня скрываешь тайну моего рождения; я знаю ее». Он скажет: «что ж делать, мой друг, рано или поздно ты узнал бы это, — ты не мой сын, но я усыновил тебя, и ежели ты будешь достоин моей любви, то я никогда не оставлю тебя», и я скажу ему: «папа, хотя я не имею права называть тебя этим именем, но я теперь произношу его в последний раз, я всегда любил тебя и буду любить, никогда не забуду, что ты мой благодетель, но не могу больше оставаться в твоем доме. Здесь никто не любит меня,

Стр. 43 строка 8 сн. — стр. 44 строка 1 св.

Со слов: Он или я должны *кончая:* de Dieu soit faite!» *в «Совр.» нет.*

* Стр. 44 строки 15 — 24 св.

Со слов: Но вот *Государь* встречает *кончая:* позволь мне уничтожить врага моего иностранца St.-Jérôme'a *в «Совр.» нет.*

* Стр. 44 строка 10 сн. — стр. 45 строка 4 св.

С начала абз.: «То мне приходит» *кончая:* пускать корни *в «Совр.» нет.*

Стр. 45 строки 4 — 10 св.

То представляю себя мертвым и живо воображаю себе удивление St.-Jérôme'a, находящего в чулане вместо меня безжизненное тело; подслушиваю искренние слезы

То я воображал, что я непременно умру, и живо представлял себе удивление St.-Jérôme'a, находящего в чулане, вместо меня, безжизненное тело. Вспоминая рассказы Натальи Савишны о том, что душа усопшего до сорока дней не оставляет дома, я мысленно

после смерти ношусь невидимкой по всем комнатам бабушкиного дома и подслушиваю искренние слезы

Стр. 45 строки 15 — 28 св.

Со слов: Вон отсюда, злодей!» *кончая:* и мы вместе с ней летим всё выше и выше *в «Совр.» нет*

* Стр. 45 строки 30 — 31 св.

щеками. Я долго употребляю

щеками, без всякой мысли, твердящего слова: *и мы всё летим выше и выше.* Я долго употребляю

Стр. 46 строки 18 — 16 сн.

— Э, сударь! ничего. Это изречение, само по себе ничего незначущее, несколько утешило

— Эх, сударь! не тужите, перемелется, мука будет. Хотя это изречение, не раз и впоследствии поддерживавшее твердость моего духа, несколько утешило

Стр. 46 строки 11 — 10 сн.

от других, а что наказание впереди.

от других, как вредный человек, а что наказание впереди.

Стр. 47 строки 2 — 4 св.

Со слов: точно с тем же *кончая:* наших окон *в «Совр.» нет.*

В «Совр.» этой главы нет. Глава XVIII. «Девичья».

Стр. 56 строки 20 — 22 св.

Со слов: что счастье *кончая:* и, чтобы *в «Совр.» нет.*

Стр. 56 строка 23 св.

приучить себя к труду, и я, несмотря

приучить себя к труду, я, несмотря

Стр. 56 строки 24 — 26 св.

Со слов: или уходил *кончая:* на глазах *в «Совр.» нет.*

Стр. 56 строки 14 — 10 сн.

Другой раз я, сам не зная отчего, бросал уроки и занимался только тем, что, лежа на постеле, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским медом, которые я покупал на последние деньги.	Другой раз, вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем — и я дня три, под влиянием этой мысли, бросил уроки

Стр. 56 строка 3 сн. — стр. 57 строка 9 св.

Со слов: На чем же оно *кончая:* изложить его; но *в «Совр.» нет.*

Стр. 57 строка 14 св.

животное перейдет душа	животное или человека перейдет душа

Стр. 57.

Абзацев: «Но ни одним», «Жалкая» и «Слабый ум» *в «Совр.» нет.*

Стр. 58 строка 1 св.

Из всего этого, однако, я не вынес	Из всего этого тяжелого морального труда я не вынес

Стр. 59 строка 16 — 15 сн.

Николай откладывает фартук,	Николай откидывает фартук,

Стр. 60 строка 21 св.

Со слов: Володя уже один *до конца главы в «Совр.» нет.*

Стр. 61 строки 13 — 14 св.

Абзац кончается: как большие.	как большие, и молодая грудь, появление которой заметно радует и стыдит ее.

Стр. 62 строки 20 — 22 св.

Со слов: Впрочем, причина *кончая:* чрезвычайно много *в «Совр.» нет.*

Стр. 62 строки 29 — 30 св.

Со слов: но по некоторым *кончая:* меня учат *в «Совр.» нет*

Стр. 62 строка 6 сн.

сердиться	сердится

Нами принят текст «Современника».

Стр. 62 строка 6 сн. — стр. 63 строка 5 св.

Со слов: «Ну, досталось же *кончая:* моральных страданий *в «Совр.» нет.*

Стр. 64 строка 19 св.

Со слов: В это самое время *до конца главы в «Совр.» нет.*

Стр. 66 строки 4 — 14 св.

Со слов: Я не жалею *кончая:* признак истины *в «Совр.» нет.*

Стр. 66 строки 25 — 26 св.

опеку князю Ивану Иваныч.	опеку не папа, а князю Ивану Иванычу.

* Стр. 67.

Абзацев: «Наблюдения мои» *и* «Когда *молодые*, с конфектами» *в «Совр.» нет.*

Стр. 68 строки 2 — 3 св.

в эти года. Рассуждая теперь, я очень ясно вижу, что Володя был совершенным типом того, что называют «enfant de bonne maison»;[1] но тогда мне казалось, что он еще очень далек от Дубкова и прекрасно делает, подражая ему. Одно, что было	в эти года. Впрочем, Дубков и в самом деле был тем, что называют «un homme comme il faut».[2] Одно, что было

Стр. 68.

Абзаца: «Володя и Дубков часто позволяли» *в «Совр.» нет.*

---

[1] [ребенок из хорошей семьи;]
[2] [человек порядочный.]

Стр. 70 строка 13 сн.

— Вот пятачок, вот двугривенничек,

— Вот пятацок, вот двугривенницик,

Стр. 70 строки 9 — 8 сн

— Нет.

— Comme vous êtes ridicule! [1] сказал Нехлюдов:

— Нет.

— Как ты смешон! — сказал Нехлюдов:

Стр. 75 строки 2 — 4 св.

И мы действительно *сделали это*. Никогда ни от кого не слышал я тех вещей, которые говорил мне Дмитрий, и никогда никому не говорил я того, что говорил ему.

Он, например, признался мне в том, что ему приходит иногда мысль, что ежели бы его старший брат, которого он любил искренно, умер, деревня Красные Горки, в которой они все выросли, досталась бы ему. И я сказал ему такие вещи, которые никому никогда не решусь повторить теперь. Но зато как горячо я и любил его!

Карр сказал,

И мы действительно *сделали это*. Что вышло из этого я расскажу после.

Карр сказал,

Стр. 75 строка 11 св.

что под влиянием человека

что под влиянием Нехлюдова

Стр. 75 строки 14 — 15 св.

совершенствоваться. Я уже сказал, что мысль переходит в убеждение только одним известным путем, и мысль о том, что цель жизни состоит в постоянном усовершенствовании и стремлении к добродетели, открыла мне только теперь новую, блестящую, счастливую будущность. Когда исправить всё человечество,

совершенствоваться. Тогда исправить всё человечество,

---

[1] [Как вы смешны!]

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ, НЕОТДЕЛАННОЕ И НЕОКОНЧЕННОЕ

I.

* ПЕРВЫЙ ПЛАН РОМАНА «ЧЕТЫРЕ ЭПОХИ РАЗВИТИЯ».

Засыпаю.

2-й день 2 недѣли послѣ пріѣзда, имянины бабушки, ⟨Валахины, страстная любовь, обѣ[дъ]⟩ гулянье, ⟨съ дѣтьми⟩ кондитерск[ая], обѣдъ, Валахин[ы], танцы, театръ. — Разговоръ съ братомъ о проведенномъ днѣ. — Пьяный Карлъ Иванычъ. Дѣтство. — (Смерть матери.) —

Отрочество.

Первый день. Мы опять въ Москвѣ съ сестрой ⟨у насъ новый гувернеръ. Бабушка очень огорчена.⟩ Мнѣ 15 лѣтъ, ⟨классы⟩ брату 16. Утро. Онъ ѣдетъ держать экзаменъ, разговоръ съ нимъ. Мои классы. Возвращается съ Д[митріемъ], моя любовь къ нему, сила. — Обѣдъ, разговоры его съ К[атенькой] и ⟨онъ⟩ уходитъ съ Д[митріемъ] мой dépit,[1] я сочиняю о симметріи, покупаю пряники. Моя эскапада съ горничной, на другой день узнается, меня наказываютъ. Другой день — воскресенье. (Прогулка съ отцомъ и братомъ, встрѣча съ К[арломъ] И[ванычемъ]. Я подслушиваю. К[арлъ] И[ванычъ] приходитъ я уговариваю отца. бабушка умираетъ.)

2-й день. Въ деревнѣ. Моя прогулка къ сосѣдямъ, встрѣча съ отцомъ, узнаю, что отецъ женится. — Разказъ брата. — Исп[овѣдь] 2. —

Юность.

1-й день. Мнѣ 18 лѣтъ. Я прошу у отца денегъ, мачиха надоѣдаетъ [?], ѣду на экзаменъ встрѣчаю брата верхомъ, обѣдъ,— отчаяніе послѣ обѣда, прогулки мимо дворца, трактиръ, исторія. Отецъ вечеромъ зоветъ къ себѣ, нагоняй. Я прошусь въ деревню (Москва) утро въ трактирѣ одинъ, хожу по лавкамъ,

[1] [моя досада,]

ѣду къ Валахинымъ, обѣдаю, конфужусь, влюбляюсь, денегъ нѣтъ. — Послѣ обѣда старый гувернеръ и старые товарищи. Старая гувернантка пьетъ у меня чай, вечерній визитъ къ князю. Пріѣзжаетъ Д[митрій], выручаетъ меня, разговоръ съ нимъ и разказъ о сестрѣ. Онъ женихъ.

Восторженные планы. Я рѣшаюсь ⟨быть ученымъ, писателемъ⟩ ѣхать съ Д[митріемъ].

Молодость.

Мнѣ 23. Я чиновникъ, ѣду въ отпускъ, заѣзжаю къ Д[митрію] прежде отца, разсказъ ему о отцѣ, братѣ и себѣ, люблю его жену. — Хозяйство, я одинъ иду [?] и разсуждаю.

Главная мысль: Чувство любви къ Богу и къ ближнимъ сильно въ дѣтствѣ, въ отрочествѣ чувства эти заглушаются сладострастіемъ, самонадѣянностью и тщеславіемъ, въ юности гордостью и склонностью къ умствованію, въ молодости опытъ житейской возрождаетъ эти чувства.

Отрочество. — 1. St.Jérôme. 2-я я бросаю взглядъ на свою жизнь и свое положеніе, 1) о классахъ, 2) о Любочькѣ, Соничькѣ и [*1 неразобр.*], 3) о отцѣ и деньгахъ, сравненіе съ матерью.

⟨3-я Русскій учитель, сила.⟩

Въ Молодости я пристращаюсь къ хозяйству, и папа послѣ многихъ переговоровъ даетъ мнѣ въ управленіе имѣніе maman [?] Сплетни управляющаго. —

II.

* ВТОРОЙ ПЛАН РОМАНА «ЧЕТЫРЕ ЭПОХИ РАЗВИТИЯ».

1-я стр.

Основныя мысли сочиненія.

1) Выказать интересную сторону отношеній между братьями. —

2) Рѣзко обозначить характеристическія черты каждой эпохи жизни: въ дѣтствѣ теплоту и вѣрность чувства; въ отрочествѣ скептицизмъ, сладострастіе, самоувѣренность, неопытность и ⟨начало тщеславія⟩ гордость; въ юности красота чувствъ, развитіе тщеславія и неувѣренность въ самомъ себѣ; въ молодости — эклектизмъ въ чувствахъ, мѣсто гордости и тщеславія занимаетъ самолюбіе, узнаніе своей цѣны и назначенія, многосторонность, откровенность.

3) Показать дурное вліяніе тщеславія воспитателей и столкновенія интересовъ въ семействѣ. —

4) Провести во всемъ сочиненіи различіе братьевъ: однаго наклоннаго къ анализу и наблюдательности, другаго къ наслажденіямъ жизни.

5) Показать вліяніе врожденныхъ наклонностей на развитіе характеровъ.

6) Во всемъ сочиненіи проводить героевъ въ 4-хъ сферахъ — чувствъ, наукъ, обращенія и денежныхъ обстоятельствъ — *2-я стр.*

7) Показать невозможность любви къ одной женщинѣ. —

Форма сочиненія.

Дѣленіе на 4 части: дѣтство, отрочество, юность и молодость, въ формѣ автобіографіи младшаго брата.

Содержаніе.

Лица в 1-й части: отецъ, мать, два сына, дочь. Гувернёръ, гувернантка и ея дочь. — Во 2-й — отецъ, 2 сына, другой

гувернеръ, учителя, гувернантка, дочь ея, горничная, товарищи, дядька, лица на вечерѣ. —

3-я стр.

Дѣтство, (*уже написано*). Отрочество. Смерть матери, переѣздъ въ Москву, новый гувернёръ, новое ученье, жалованье, пряники, займы, ухаживанье за горничной, любовь къ товарищамъ.

Замужество сестры и волокитство зятя. Мои планы на этотъ счетъ. К. А. протежируетъ намъ, братъ поступаетъ на службу. Я бросаю восторженные планы и живу безпутно, но тщеславно. *Послѣ путешествія возвращеніе.*

Молодость.

Поѣздка въ деревню къ Д[митрію], любовь къ его женѣ. Сочиненіе разсужденія.

4-я стр.

ПЛАНЪ.

Дѣтство.

⟨Сцена⟩ Описаніе дня проведеннаго въ деревнѣ наканунѣ отъѣзда двухъ братьевъ въ городъ къ бабушкѣ. Отъѣздъ съ отцомъ и гувернёромъ, разлука съ матерью, сестрой, гувернанткой и ея дочерью. Пріѣздъ въ Москву, бабушка, знакомство съ молодой дѣвочькой и ея братомъ, наблюденія надъ пріѣзжающими. — Успѣхи въ свѣтѣ, размышленія и разговоръ съ братомъ. Смерть матери. —

Отрочество.

Возвращеніе въ Москву, отставка Ф[едора] И[вановича]. Новый гувернёръ ⟨дочь гувернантки дѣлается дурной дѣвочкой, порывы сладострастія, ваканціи, любовь къ мачихѣ, смерть бабушки⟩.

⟨Юность.⟩

⟨Жизнь въ П[етровскомъ?], равнодушіе отца, поступленіе въ Ун[иверситетъ]⟩. Классы, гордость, сочиненія. Братъ поступаетъ въ Университетъ, я узнаю различіе половъ, порывы сладострастія. Скандалъ съ горничной, братъ соблазняетъ К[атеньку?], меня наказываютъ. Знакомство съ Д[митріемъ], любовь къ нему, денежныя дѣла, вакансіи, любовь къ будущей мачихѣ и столкновенія съ отцомъ, бабушка умираетъ. —

Юность.

Я дурно поступаю въ У[ниверситетъ]. Мы живемъ въ П[етровскомъ?] одни съ отцомъ, — я начинаю шалить, влюбляюсь

б[ратъ] отбиваетъ; онъ не даетъ денегъ, безумно честолюбивые планы, дурныя занятія, потеря невинности, не перехожу на другой курсъ, ѣду въ деревню, въ М[осквѣ] нахожу старую любовь, живу тамъ безъ гроша, они уѣзжаютъ, я ѣду въ деревню, восторженныя планы, пріѣздъ брата съ Д[митріемъ] разговоры съ ними. Начинаю не любить отца и брата, въ Москвѣ встрѣчаю стараго гувернёра и гувернантку, К[атенька] за границей отказала женихамъ. Уговариваю мачиху взять Ф[едора] И[вановича]. Онъ умираетъ. —

III.

* ОДНА ИЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ РЕДАКЦИЙ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ «ОТРОЧЕСТВА».

1-я Глава. Учитель Французъ.

3-го Мая 18... 4 года послѣ кончины матушки, часу въ 9-омъ утра, я лежалъ въ кровати, которая днемъ превращалась въ шкапъ подъ орѣхъ, и старался заснуть. Это происходило въ Москвѣ, въ верху бабушкинаго дома — верху, который продолжалъ носить названіе дѣтскаго, хотя мнѣ было уже 14 лѣтъ, а Володѣ 16, и онъ съ нынѣшняго дня начиналъ держать экзаменъ въ математической факультетъ Московскаго Университета. —

Много было нововведеній на этомъ верху. Бывшая наша спальня превращена была, благодаря выдумкѣ шкафовъ-кроватей, въ класную; бывшая класная превращена была въ рекреаціонную; бывшую комнату Карла Ивановича и комнату Николая занималъ новый Гувернёръ Prosper St-Jérôme, виновникъ всѣхъ перемѣнъ. —

Карлъ Ивановичъ, согласно предсказанію папа, испортился и, какъ онъ утверждалъ, по происками Мими и St.-Jérôme, былъ уволенъ. —

Старинный порядокъ вѣщей напоминалъ только одинъ Николай, но и тотъ подъ новымъ владычествомъ утратилъ свою характеристическую черту: довольство. Онъ негодовалъ на Проспера Антоновича и отъ души сожалѣлъ о предшественникѣ его, добромъ Карлѣ Ивановичѣ. Не нравилась ему надмѣнность *мусьи*, его щегольство, гости, которые къ нему ходили по Воскресеньямъ, а главное, не нравились ему нововведенія.— Шкафы подъ орѣхъ, новые дубовые столы, полы и подоконники, натертые воскомъ, глобысы и книги, разставленные въ симетричномъ порядкѣ, развешенныя карты, маленькая [?] гимнастика, устроенная въ рекреаціонной комнатѣ — всѣ эти вѣщи, заведеніемъ которыхъ гордился Просперъ Антоновичъ, Николай называлъ пустыми французскими выдумками. Правда, распредѣленіе комнатъ было теперь чище, щеголеватѣе и аккуратнѣе

прежняго; но прежнѣе было проще и удобнѣе. Главное, прежде было какъ-то уютнѣе, семейнѣе; теперь же стало похоже на казенное заведеніе. — Въ этомъ-то и заключалась амбиція Француза. —

Первый экзаменъ, на который нынче долженъ былъ ѣхать Володя, былъ Латинскаго языка. — Въ 9 часовъ нужно было быть уже въ Университетской залѣ, но Володя еще не одѣвался въ новый (собственно для этаго случая сшитый синій фракъ съ золотыми пуговицами), а, держа въ одной рукѣ плетеную тросточку St.-Jérôme, которая, Богъ знаетъ, какъ попалась ему въ руки, и въ другой Латинскую грамматику Цумпта, ходилъ взадъ и впередъ по всѣмъ комнатамъ и, какъ замѣтно было, былъ совершенно погруженъ въ изученіе предлоговъ, требующихъ творительнаго падежа. Входя въ спальню, онъ твердилъ вслухъ какія-то латинскія слова, разсѣкалъ около себя воздухъ плетеной тросточкой, иногда взглядывалъ по сторонамъ и на меня; но взглядъ его былъ непродолжителенъ и тупъ. — Мнѣ же казалось, что взглядъ его былъ строгъ. —

На немъ были небѣленой холстины штаны, такой же коротенькій казакиньчикъ и въ послѣдній разъ рубашка съ откидными воротничками — въ послѣдній разъ потому, что я самъ видѣлъ, какъ приготовили для него и положили въ особенный ящикъ коммода дюжину голандскихъ рубашекъ безъ воротничковъ и два галстука съ пряжками.

Володя такъ перемѣнился въ эти три года, что, ежели бы я не былъ съ нимъ вмѣстѣ все это время, я никакъ бы не могъ представить его себѣ такимъ, какимъ онъ былъ. Ростомъ онъ былъ даже выше Николая, хотя Николай и былъ маленькаго роста, все-таки это что-нибудь да значило. Онъ былъ худъ, гибокъ и длинноногъ, строенъ. У него была уже походка совершенно такая же, какъ и у папа — онъ ходилъ маленькими [?] шажками и становился больше на внѣшнюю часть ступни. Не только походкой, но и многими пріемами онъ былъ похожъ на папа — онъ также подергивался и часто краснѣлъ безъ всякой причины.— Сходство это доходило до смѣшнаго и могло бы показаться подражаніемъ тому, кто не зналъ бы, что онъ его сынъ. —

Волоса у него стали почти совсѣмъ черные и были ровны и густы. — На верхней губѣ пробивался черный пушокъ, который удивительно какъ шелъ къ его смуглому и свѣжому лицу. Взглядъ былъ быстрый и сильной: такой взглядъ, который вы невольно замѣчаете, когда онъ останавливается на васъ. — Улыбка потеряла свою дѣтскую неопредѣленность и стала тверда и выразительна. — Голосъ уже пересталъ быть то пискливымъ, то грубымъ и былъ пріятенъ и ровенъ; смѣхъ отчетливый и увлекательный. Меня поражали въ немъ особенно тѣ качества, которыхъ во мнѣ не было, и качества эти возбуждали во мнѣ какое-то тяжелое, непріятное чувство. — Я зналъ, что хорошо имѣть ихъ, но не радовался тому, что видѣлъ ихъ въ

немъ. Нельзя сказать, чтобы я завидовалъ, но мнѣ больно было видѣть, что онъ указываетъ мнѣ на мои недостатки. Его красота, самоувѣренность, веселость, способность увлекаться исключительно какимъ-нибудь предметомъ, даже легкомысліе и поверхностность возбуждали во мнѣ это чувство. — Ежели бы я не такъ хорошо наблюдалъ и зналъ его, я вѣрно бы влюбился въ него, какъ былъ влюбленъ въ Ивиныхъ. — Я любилъ его, но не за его качества внутреннія и наружныя, а любилъ спокойно братскою любовью, которая вытекала: изъ привычки тщеславія и родства крови. — По моему мнѣнію, чувства, которыя питаютъ братья между собою, проистекаютъ изъ 4-хъ источниковъ: 1) изъ родства. Это—безсознательное, естественное влеченіе дѣтей, имѣющихъ общихъ родителей, однихъ къ другимъ—влеченіе инстинктивное, которое находимъ мы въ различныхъ степеняхъ между животными и людьми. Нельзя, мнѣ кажется, не признать существованія этаго чувства; но доказать его столько же трудно, сколько и отвергнуть. — 2) изъ привычки. — Большей частью братья начинаютъ жить вмѣстѣ; поэтому привыкаютъ такъ, какъ привыкаютъ къ игрушкѣ, къ дому, къ халату и т. д. 3) Изъ тщеславія вытекаетъ чувство, очень похожее на любовь, и которое въ свѣтѣ, большей частью принимаютъ за нее, но въ сущности это есть только тщеславіе, перенесенное на лицо брата и перенесенное не на основаніи привязанности, а на основаніи тѣхъ связей, которыми судьба соединила братьевъ. Мнѣ пріятно слышать, что братъ мой находится въ блестящемъ положеніи и пользуется хорошимъ мнѣніемъ свѣта не потому, что я радуюсь за его счастіе, но потому, что мнѣ пріятенъ отблескъ, который падаетъ на меня отъ его блестящаго положенія и хорошаго о немъ общественнаго мнѣнія, и наоборотъ. 4) изъ уваженія, которое я имѣю къ лицу моего брата за его качества и направленіе. —

1-й родъ любви — любовь кровная, мнѣ кажется, никогда не уничтожается и, хотя въ самой слабой степени, но всегда существуетъ между братьями. Я твердо увѣренъ въ этомъ, потому что, хотя часто ссорился съ братомъ и въ минуты вспыльчивости былъ увѣренъ, что онъ самый дурной человѣкъ во всей вселенной, я никогда ни на минуту не переставалъ чувствовать къ нему безсознательнаго и преимущественнаго передъ всѣми влеченія. — 2-й родъ любви зависитъ отъ обстоятельствъ. 3-й родъ — тщеславная любовь, по моимъ наблюденіямъ, въ нашъ вѣкъ, который называютъ практическимъ и эгоистическимъ, въ которомъ говорится, что семейство есть преграда развитію индивидуальности, большей частью одна соединяетъ братьевъ. Я признаюсь, что имянно то время, которымъ я начинаю эту часть, большая доля моей любви къ брату происходила изъ этаго источника. —

Любить же брата за его качества я въ то время не могъ, потому что не рѣшилъ еще въ самомъ себѣ, что̀ хорошо и что̀

дурно; многое, одно противорѣчущее другому, мнѣ нравилось и казалось достойнымъ подражанія. Въ первомъ дѣтствѣ я любилъ людей, любилъ maman, papa, Н[аталью] С[авишну], Володю, любилъ горячо, потому что чувствовалъ свою безпомощность и необходимость быть любимымъ. Всѣ тѣ качества, которыя я видѣлъ въ любимыхъ людяхъ, я находилъ безусловно хорошими. — Теперь же, когда я сталъ сознавать свою силу и сталъ больше увлекаться отвлеченными красотами, чѣмъ людьми, я меньше сталъ любить и не признавалъ безусловно хорошими тѣ качества, которыя находилъ въ людяхъ, меня окружавшихъ; притомъ же я развился такъ, что могъ обсуживать эти качества и находить въ нихъ противорѣчія. Я пересталъ вѣрить, поэтому пересталъ и любить.

Володя уже, кажется, 10-й разъ входилъ въ спальню, какъ за нимъ взошелъ и Просперъ Антоновичъ: «voyons, Voldemar, il est tems de partir».[1] Просперъ Антоновичъ имѣлъ привычку ко всякому слову говорить voyons,[2] онъ даже говорилъ «voyons voir».[3] Онъ былъ человѣкъ лѣтъ 25, бѣлокурый, съ довольно правильными, но незамѣчательными чертами лица, съ дирочкой на подбородкѣ, не толстый, но мускулистый и нѣсколько вертлявый. —

Онъ былъ добрый, откровенный, тщеславный, веселый и не глупой Французъ. Онъ, какъ видно, понялъ нѣкоторыя, общія всѣмъ Французамъ въ Россіи, смѣшныя черты и избѣгалъ ихъ. Такъ онъ, пріѣхавъ въ Россію, принялся серьезно заниматься Русскимъ языкомъ и черезъ годъ говорилъ очень порядочно. Не говорилъ, что отецъ его былъ богатый и знатный человѣкъ, но по несчастнымъ обстоятельствамъ лишился того и другаго; а откровенно говорилъ, что отецъ старый, бѣдный Наполеоновской солдатъ; не былъ невѣждой и шарлатаномъ, а, напротивъ, почерпнулъ изъ училища, въ которомъ воспитывался, очень основательныя познанія Латинскаго языка и Французской литературы. Одинъ у него былъ недостатокъ, это огромное и смѣшное тщеславіе: — Онъ, занимаясь нашимъ воспитаніемъ, воображалъ себя воспитателемъ наслѣдныхъ принцовъ, а насъ этими принцами. — (Мнѣ кажется очень страннымъ, что у насъ преимущественно иностранцамъ поручаютъ воспитаніе дѣтей лучшихъ семействъ, потому что, какъ бы ни былъ образованъ и уменъ иностранецъ, онъ никогда не пойметъ будущее положеніе порученныхъ ему дѣтей въ свѣтѣ, что мнѣ кажется необходимымъ для того, чтобы приготовить дѣтей къ обязанностямъ, которые они должны будутъ принять на себя. Для иностранца это весьма трудно; тогда какъ каждый Русскій съ здравымъ смысломъ очень легко пойметъ это.) Просперъ

[1] [ну же, Вольдемар, время отправляться.]

[2] [посмотрим,]

[3] [Voir — видеть, смотреть.]

Антоновичъ былъ въ полной увѣренности, что судьба не даромъ заманила его въ Россію, что онъ никакъ не уѣдетъ изъ Россіи такимъ же Просперъ Антоновичемъ — искателемъ пропитанія; а что рано или поздно должна подвернутся какая-нибудь Графиня или Княгиня, которая плѣнится его любезностью и дирочкой въ подбородкѣ и предложитъ ему сердце и рубли (которыхъ будетъ очень много) и даже рабовъ. — Поэтому Просперъ Антоновичъ на всякій случай всѣ свои доходы, (которые были значительны, потому что онъ давалъ уроки въ лучшихъ домахъ Москвы по 10 р.), употреблялъ на жилеты, панталоны, цѣпочки, шляпы и т. д. и былъ особенно любезенъ со всѣмъ женскимъ поломъ. Нельзя же ему было знать навѣрное, которая имянно была его Графиня съ рублями и рабами. Много было вѣщей, о которыхъ, хотя онъ уже пять лѣтъ жилъ въ Россіи, имѣлъ самыя темныя и странныя понятія — кнутъ, козакъ, дорога по льду, крѣпостные люди и т. п. —

Онъ имѣлъ много привычекъ, которыя ясно доказывали, что онъ не бывалъ въ хорошемъ обществѣ. Напримѣръ, онъ плевалъ, держалъ руки подъ фалдами сертука, щелкалъ пальцами, когда вдругъ вспоминалъ что-нибудь, смѣялся очень громко — однимъ словомъ, у него были дурныя манеры: однако бабушка всегда говорила, что St.-Jérôme очень милъ; я увѣренъ — будь онъ не Французъ, она бы первая сказала, что непозволительно тривіаленъ, и сказала бы ему: «вы, мой любезный». —

Только что я услыхалъ голосъ St.-Jérôme'a, я горошкомъ вскочилъ съ постели и сталъ одѣваться. Я его боялся, не потому, чтобы онъ былъ строгъ; но я еще не зналъ, а неизвѣстность страшнѣе всего.

Володя бросилъ книгу, въ которой, я увѣренъ, онъ и прежде ничего не понималъ, такъ сильно должно было быть его безпокойство, и сталъ не безъ волненія въ первый разъ надѣвать синій фракъ, галстукъ и сапоги съ каблуками. — Онъ былъ совсѣмъ готовъ, когда я взошелъ въ комнату, и уже съ шляпой въ рукѣ стоялъ передъ зеркаломъ. St.-Jérôme отошелъ въ сторону съ озабоченнымъ видомъ, чтобы издалека посмотрѣть на него. «C'est bien, сказалъ онъ: partons.[1] Et vous, сказалъ онъ, съ строгимъ лицомъ, обращаясь ко мнѣ: préparez votre thème pour cette après-dîner»,[2] и вышелъ. Володя, выходя, оглянулся на меня и покраснѣлъ. — Должно быть онъ замѣтилъ зависть и досаду въ моихъ глазахъ, или это было отъ удовольствія — не знаю. St.-Jérôme напомнилъ мнѣ о темахъ, можетъ-быть такъ, чтобы сказать что-нибудь, или чтобы показать, что, несмотря и на этотъ важный случай, онъ не забываетъ своей обязанности. Мнѣ же показалось, что онъ

[1] [Хорошо, едем.]

[2] [А вы приготовьте вашу тему к сегодняшнему вечеру.]

сказалъ это, чтобы унизить меня передъ братомъ, показать мнѣ этимъ, что я еще мальчишка. Мнѣ было очень больно. —

Вскорѣ за ихъ уходомъ я услышалъ шумъ подъѣхавшаго экипажа и подошелъ къ окну. Я видѣлъ, какъ лакей откинулъ крышку фаэтона, подсадилъ Володю, потомъ St.-Jérôme'a, какъ закрылъ крышку, взглянулъ на кучера Павла, и какъ кучеръ Павелъ тронулъ возжами вороныхъ, и какъ кучеръ, фаэтонъ и Володя съ St.-Jérôme'омъ скрылись за угломъ переулка. — Когда я увидалъ почтительность лакея къ Володѣ и Володю въ томъ самомъ фаетонѣ, въ которомъ привыкъ видѣть только бабушку, мнѣ показалось, что между нами все кончено — онъ сталъ большой, онъ не можетъ теперь не презирать меня. — Я сбѣжалъ внизъ, чтобы разсѣяться. — Бабушка стояла у окна, изъ котораго еще видѣнъ былъ фаэтонъ, и крестила его, у другаго окна Любочька и Катинька съ выраженіемъ любопытства и радости провожали глазами Володю въ фаэтонѣ и синемъ фракѣ. —

Я поздоровался и тотчасъ же ушелъ наверхъ. —

IV.

ВАРИАНТЫ ИЗ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ РЕДАКЦИЙ «ОТРОЧЕСТВА»

* **№ 1** (I ред.).

Провожая насъ, папа сказалъ Володѣ: «Вы ѣдете одни, надѣюсь, что ты теперь не ребенокъ, не будешь шалить и присмотришь за своимъ меньшимъ братомъ». Мими онъ сказалъ: «присмотрите, chère,[1] и за мальчиками, они еще такія дѣти!» Михею онъ сказалъ, когда тотъ на крыльцѣ цѣловалъ его въ плечико: «смотри, братецъ, чтобы у меня все было въ порядкѣ дорогой, и за дѣтьми смотрѣть хорошенько». Изъ этаго я заключилъ, что отношенія мои къ Володѣ, Мими и Михею были опредѣлены неясно и сбивчиво, и что дорогою я могу пользоваться совершенной свободой.

* **№ 2** (II ред.).

Поѣздка на долгихъ.

Глава 1.

〈Со смертью матери окончилась для меня счастливая пора дѣтства, и началась новая эпоха отрочества. Воспоминанія объ этой эпохѣ отдѣляются отъ предъидущихъ шестью недѣлями, во время которыхъ я ходилъ въ курточкѣ съ плёрёзами, и отличаются отъ нихъ тѣмъ, что я уже не съ тою отрадно-спокойною грустью останавливаю на нихъ свое воображеніе. Иногда къ воспоминаніямъ этимъ примѣшивается чувство досады и раскаянія: вліяніе нѣкоторыхъ ошибокъ, сдѣланныхъ въ отрочествѣ, теперь еще отзывается на мнѣ, я чувствую тайную связь между теперешнимъ моимъ направленіемъ и тогдашними поступками, и мнѣ тяжело иногда быть чистосердечнымъ и безпристрастнымъ, описывая самаго себя, такъ что чѣмъ ближе ко мнѣ становятся воспоминанія, тѣмъ съ меньшей ясностью представляются онѣ. Странно, что изъ первыхъ шести недѣль траура мнѣ ясно представляются только одни воспоминанія нашего путешествія. Исключая ихъ въ моемъ воображеніи возникаютъ только какія-то смутныя впечатлѣнія грустныхъ

[1] [дорогая,]

Отрочество.

Пловдив на Марице. Глава 1.

Со смертью матери окончилось для меня счастливое время детства и начался новый этап отрочества. Воспоминания об этих днях отделяются от предшествующей светлой недели, во время которой я ходил в курточке и панталонах и отличаются от них тем, что я уже не в такой отрадно-спокойной трусливой остановившейся на них своей впечатлительности. Иногда к воспоминаниям этим примешивается чувство досады и раскаяния: виновен в том которых описываю оставшихся в отрочестве теперь ещё отзывается на мне, я чувствую тайную связь между теперешними моими направлениями и тогдашними поступками и мне хотелось быть чистосердечным и безукоризненным, записывая самые сами; таков этот этап ближе ко мне оставаться воспоминаниями, тем более чувствительно предъявляется опыт. Странно, что суть первых листов моей трудной мне стало трудно

лицъ, церковныхъ обрядовъ, черныхъ платій, чепцовъ, надгробныхъ пѣній, шепчущихся, печальныхъ голосовъ и плёрёзъ, плерезъ на рукавахъ, воротникахъ, чепцахъ... вездѣ, вездѣ. — Цвѣтъ немножко уже засаленныхъ бѣлыхъ тесемокъ, которыми обшиты мои рукава, двоящихся въ моихъ, большей частью заплаканныхъ, глазахъ, и тяжелое чувство принужденія, стѣсняющее уже давно возникнувшее во мнѣ желаніе шалить и рѣзвиться, составляютъ самое постоянное и памятное впечатлѣніе за все это время. —⟩

* № 3 (I ред.).

Разговоры.

Новый взглядъ. III.

Катенька хочетъ идти въ монастырь.

Одинъ разъ послѣ отдыха и обѣда на постояломъ дворѣ, Володя помѣстился въ карету, а наслаждаться бричкой чередъ пришелъ Катинькѣ. Не смотря на ея сопротивленіе, я положилъ за ея спину и подъ нее всѣ наши подушки и, воображая себя ея покровителемъ, гордо усѣлся на своемъ мѣстѣ и выпустилъ правую ногу изъ экипажа. — Катенька, опустивъ хорошенькую бѣлокурую головку, повязанную бѣлымъ платочкомъ, молча сидѣла подлѣ меня и вѣртѣла въ маленькихъ ручкахъ соломенку, пристально слѣдила своими ярко-голубыми глазками за убѣгающей подъ колесами пыльной дорогой. Нѣжное личико ея слегка покрыто нѣжнымъ, розовымъ весеннимъ загаромъ и было задумчиво; выраженіе его не имѣло ничего дѣтскаго. «А какъ ты думаешь, Катинька, сказалъ я ей, какая Москва?»

— «Не знаю», отвѣчала она нехотя.

— «Ну все-таки, какъ ты думаешь, больше Серпухова или нѣтъ?»

— «Больше», сказала она съ видимымъ желаніемъ, чтобы я ее оставилъ въ покоѣ. Я покраснѣлъ и почувствовалъ, что очень глупъ. —

По тому странному инстинктивному чувству, которымъ одинъ человѣкъ угадываетъ мысли другаго, и который бываетъ путеводною нитью разговора, Катенька почувствовала вѣрно, что меня оскорбило ея равнодушіе и, поднявъ головку, дружески обратилась ко мнѣ. — «Что, Николинька, весело вамъ было? Бабушка не очень сердита?»

— «Совсѣмъ нѣтъ; это такъ только говорятъ», отвѣчалъ я: «а она, напротивъ, была очень добрая и веселая. Коли-бы ты видѣла, какой былъ балъ въ ея имянины».

— «А маменька говоритъ, что она ужасно строгая,[1] и все меня стращаетъ Графиней. Да, впрочемъ, Богъ знаетъ, будемъ ли...»

[1] *В подлинникѣ:* строгаетъ,

— «Что-о?» спросилъ я съ безпокойствомъ.

— «Нѣтъ, тебѣ нельзя говорить секреты — ты раскажешь».

— «Ну скажи пожалуйста, я, ей Богу, никому не скажу; вѣрно про бабушку?»

— «Нѣтъ, не про бабушку; да я не скажу, ужъ какъ ни проси».

— «Ну, пожалуйста, вѣрно про насъ, а?» сказалъ я, взявъ ее за руку, чтобы обратить на себя ея вниманіе.

— «Ни за что», отвѣчала она, освобождая свою руку. Но я видѣлъ, что ей хочется разсказать свой секретъ — только надо было не настаивать.

— «Ну, хорошо. Про что это мы говорили?» продолжалъ я, постукивая ногою о кузовъ: «да, какой балъ былъ у бабушки. Вотъ жалко, что васъ не было. Большіе были и танцовали, а съ какой дѣвочкой мы тамъ познакомились!» и я сталъ со всѣмъ увлеченіемъ любви, которая, несмотря на всѣ треволненія, еще яркимъ пламенемъ горѣла въ моей юной душѣ, описывать подробности моего съ ней знакомства и ея необыкновенную миловидность, умъ и другія удивительныя качества, про которыхъ я, сказать по правдѣ, ничего не могъ знать. Мнѣ очень не нравилось, что Катинька слушала меня очень равнодушно и даже, кажется, вовсе не слушала. Я и впослѣдствіи замѣчалъ въ себѣ нѣсколько разъ эту замашку: женщинамъ, которыя мнѣ нравились, безъ всякой видимой цѣли разсказывать про мою любовь къ другимъ. Это бывало всегда моимъ любимымъ разговоромъ, и я до сихъ поръ не знаю, какихъ ожидалъ я отъ этаго послѣдствій, и что находилъ въ томъ любезнаго.

Итакъ, Катенька какъ будто не слушала меня. Я кончилъ свои признанія и замолчалъ. Мнѣ опять стало неловко. Видно было, что между нами стало мало общаго. Я болталъ ногой около колеса съ намѣреніемъ доказать свою храбрость.

— «Полно шалить, прими ногу», сказала Катинька наставническимъ тономъ. Я принялъ ногу, но ея замѣчаніе окончательно обидѣло меня.

Со времени нашего отъѣзда въ первый разъ изъ деревни я замѣчалъ огромную перемѣну въ Катенькѣ. Она значительно выросла, развилась и похорошѣла. Ей было 13 лѣтъ, но она казалась дѣвушкой лѣтъ 15; особенно же въ разговорѣ и манерахъ она далеко перегнала наивную Любочку. Она была въ томъ переходномъ состояніи, во время котораго дѣвочки бываютъ какъ-то особенно неровны въ пріемахъ и застѣнчивы. Впрочемъ, я такъ привыкъ съ дѣтскихъ лѣтъ считать ее за сестру, что все она была для меня той же Катенькой, которую я помнилъ еще покрытую веснушками съ рыжеватенькой головкой, обстриженной подъ гребенку, и я мало обращалъ на произшедшія въ ней физическія перемѣны; мнѣ только не нравилось то, что она морально перемѣнилась въ отношеніи ко всѣмъ намъ: она какъ-то отшатнулась отъ всѣхъ насъ и стала

больше оказывать довѣренности и любви своей матери. При ней уже нельзя было трунить надъ Мими: она сердилась за это. Любочка не смѣла шалить при ней изъ опасенія, чтобы она не разсказала про то своей матери, и часто я самъ слышалъ, какъ Мими, запершись въ комнатѣ, о чемъ-то шепталась съ своей дочерью. —

— «Катинька! . . . . . сказалъ я, съ рѣшительностью поворачиваясь къ ней. «Скажи по правдѣ, отчего ты съ нѣкоторыхъ поръ стала какая-то странная?»

— «Неужели я странная?» сказала Катенька съ одушевленіемъ, которое ясно доказывало, что мое замѣчаніе интересовало ее: «я совсѣмъ не странная».

— «Нѣтъ, ты совсѣмъ не такая, какой была прежде», продолжалъ я. «Прежде видно было, что ты насъ любишь и считаешь, какъ родными, такъ же, какъ и мы тебя, а теперь ты стала такая серьезная, разговариваешь только съ Мими, точно ты не хочешь совсѣмъ насъ знать». Говоря это, я начиналъ уже ощущать легкое щикотаніе въ носу, всегда предшествующее слезамъ, которыя всегда навертывались мнѣ на глаза, когда я высказывалъ давно сдержанную, задушевную мысль.

— «Да вѣдь нельзя же всегда оставаться одинаковыми», сказала Катенька.

— «Отчего же?»

— «Надобно же когда-нибудь перемѣниться. Вѣдь не все же намъ жить вмѣстѣ».

— «Отчего?» продолжалъ я допрашивать.

Катенька имѣла привычку доказывать все какою-то фаталистическою необходимостью. «Надо же, молъ, и дурамъ быть», сказала она мнѣ однажды, когда я побранился съ ней.

— «Да затѣмъ, что маменька могла жить у вашей маменьки, своимъ другомъ; но, Богъ знаетъ, сойдутся ли они съ Графиней, которая, говорятъ, такая сердитая. Кромѣ того, все-таки когда нибудь да мы разойдемся: вы богатые — у васъ есть Петровское, а мы бѣдные — у маменьки ничего нѣтъ».

Ваша маменька, моя маменька, вы богатые, мы бѣдные — эти слова были для меня необыкновенно странны и въ первый разъ развили во мнѣ сознаніе не только о неравенствѣ нашихъ положеній, но и вообще о положеніи Мими и Катеньки, о которомъ я до сей поры ровно ничего не зналъ и не думалъ. Мнѣ казалось, что Катенька и Мими должны жить всегда съ нами и дѣлить съ нами все поровну. Иначе и быть не могло, по моимъ понятіямъ. — Теперь же тысячи новыхъ мыслей касательно одинокого положенія ихъ зароилось въ моей головѣ, мнѣ стало ужасно совѣстно, что мы богаты, а они нѣтъ.

— «Неужели вы точно думаете уѣхать отъ насъ?» спросилъ я.

— «Я бы тебѣ все сказала, да ты разболтаешь».

Я молчалъ.

— «Маменька сказала мнѣ, что, какъ только мы пріѣдемъ въ Москву, она станетъ пріискивать для себя особенную квартиру и напишетъ къ папенькѣ».

— «К папà?»

— «Нѣтъ, къ моему папà».

Я рѣшительно не зналъ до сихъ поръ, что у нея былъ отецъ. Я не видѣлъ никакой необходимости въ томъ, чтобы онъ былъ у нея.

— «А гдѣ живетъ твой папенька?»

— «Въ Петербургѣ. Онъ за что-то сердится на маменьку, но она говоритъ, что теперь они помирятся. Недавно maman получила отъ него письмо.

И Катенька разсказала мнѣ подъ самымъ строгимъ секретомъ, что Мими очень огорчена, сама не знаетъ, какъ жить, и не хочетъ оставаться у насъ.

Все это, не знаю, почему, внушало мнѣ истинное сожалѣніе къ положенію Мими и Катеньки и показывало ихъ мнѣ совершенно въ новомъ свѣтѣ. Высунувшееся въ это время красное лицо Мими изъ окна кареты и крикнувшей своей дочери, чтобы она закрылась зонтикомъ, а то она загоритъ, какъ цыганка, въ первый разъ показалось мнѣ жалкимъ и, слѣдовательно добрымъ и пріятнымъ. Чувство сожалѣнія всегда обманывало меня. Тѣ, о которыхъ я сожалѣлъ, казались мнѣ всегда добрыми и милыми, такъ что я очень полюбилъ въ это время Катеньку, но какою-то самостоятельною, нѣсколько гордою любовью, нисколько не похожею на ту, которую я испытывалъ при прощаньи съ нею и еще меньше похожую на преданную любовь къ Соничкѣ.

Во время отдыховъ на постоялыхъ дворахъ много новыхъ наблюденій занимали мое вниманіе. То рыжебородые дворники въ синихъ кафтанахъ, по дорогѣ бѣгущіе за нами и зазывающіе и расхваливающіе свои дворы, то ямщики, которые собираются, когда насъ сдаютъ, на широкомъ дворѣ и канаются на кнутовищѣ.

Считая начало поры отрочества со времени нашего путешествія, я основываюсь на томъ, что, какъ мнѣ помнится, тутъ въ первый разъ мнѣ пришла въ голову ясная мысль о томъ, что не мы одни, т.-е. наше семейство, живемъ на свѣтѣ, что не всѣ интересы вертятся около насъ, а что существуетъ другая жизнь людей, ничего не имѣющая[1] общаго, не заботящихся о насъ и даже не имѣющихъ понятія о нашемъ существованіи, чего я никакъ не предполагалъ въ дѣтствѣ. Эта мысль, показавъ мнѣ въ первый разъ самого себя, какъ члена необъятнаго количества людей, и занимающаго чуть замѣтную точку [*2 неразобр.*] передо мной необозримаго пространства, составила основаніе различныхъ размышленій и недоумѣній, которымъ я предавался въ отрочествѣ, и которыя, по моему мнѣнію, составляютъ отличительный характеръ этого возраста. Безъ сомнѣнія, я и

[1] *В подлинникѣ:* имѣющаго

прежде слыхалъ и догадывался, что, кромѣ насъ, существуютъ люди; но я какъ-то до сей поры плохо вѣрилъ въ это. И теперь я убѣжденъ, что мысль переходитъ въ убѣжденіе только однимъ извѣстнымъ путемъ, часто совершенно неожиданнымъ и совершенно особеннымъ отъ путей, которые, чтобы пріобрѣсти то же убѣжденіе, проходятъ другіе умы.

Глядя на сотни дворовъ въ деревняхъ, которыя мы проѣзжали, на бабъ и ребятишекъ, которыя съ минутнымъ любопытствомъ обращали глаза къ шумящему экипажу и изчезали навсегда изъ глазъ; глядя на мужиковъ, которые не только не снимали шапокъ передъ нами, какъ я привыкъ это видѣть въ Петровскомъ, не удостоивали насъ даже взглядомъ, такъ они были заняты своимъ дѣломъ или мыслями — мнѣ приходили въ голову такіе вопросы: что же ихъ занимаетъ, ежели они нисколько не заботятся о насъ? и изъ этихъ вопросовъ возникали другіе: какъ же они живутъ, какъ живутъ ихъ дѣти, есть ли у нихъ матери, любятъ ли они ихъ, или бьютъ? и т. д. и т. д.— Поздно вечеромъ, напившись чаю съ баранками, мы улеглись съ Володей на каретныя подушки, принесенное Михѣемъ пахучее сѣно; Михей постелилъ свою шинель подлѣ насъ, но еще не ложился. Полный мѣсяцъ свѣтилъ въ маленькое окно, и я, сколько не ворочался и какъ не перекладывалъ подушку, никакъ не могъ заснуть. Черезъ сѣни въ другой комнатѣ спала Мими съ дѣвочками, но онѣ еще не улеглись, потому что изрѣдка отворялась дверь, и слышны были по сѣнямъ шаги ихъ горничной Маши. (Здѣсь, да извинитъ меня читатель, я долженъ обратить его вниманіе на горничную Машу, какъ на лицо, исторія котораго, хотя не тѣсно связана съ моею собственной, но всегда шла съ нею рядомъ и всегда находилась подъ раіономъ [?] моихъ наблюденій, такъ какъ Маша была первая женщина, на которую я сталъ смотрѣть, какъ на женщину. Можетъ быть я пристрастенъ, но, по моему мнѣнію, трудно встрѣтить болѣе обворожительное существо. —

Лицо у нея было тонкое съ необыкновенно нѣжными голубыми глазами и съ крошечными розовыми губками, чрезвычайно мило, какъ листики цвѣточка, загнутыми кверху. Плечи у нея были чудесныя. Она была нѣсколько полна, и это прибавляло ей прелести въ моихъ глазахъ. Но все это я замѣтилъ только теперь, хотя знаю ее съ тѣхъ поръ, какъ самого себя. Она одѣвалась такъ, какъ одѣваются всѣ порядочныя горничныя: мило, скромно и просто — голубое холстинковое платьице, розовенькая косыночка и бѣленькій дорожный чепчикъ.) —

Дверь изъ половины Мими отворилась, послышались шаги Маши, вслѣдъ за тѣмъ крикъ испуга и голосъ Михея, говорившій съ упрекомъ: «Что это вы меня такъ испугались, Марья В.? развѣ я такой страшный?» — «Ахъ, пустите, Михей И.», и послышался шорохъ, какъ будто Михей держалъ ее, а она

хотѣла вырваться. Потомъ шопотъ мужского и женскаго голоса и шаги направились къ дверямъ. Я почти не обращалъ вниманія на происходившее за дверью, но вдругъ Володя, который уже спалъ, какъ мнѣ казалось, вскочилъ съ постѣли, подбѣжалъ къ окну и съ большимъ вниманіемъ сталъ смотрѣть на что-то.

«Что ты смотришь?» спросилъ я его. — «Молчи», сказалъ онъ мнѣ, съ нетерпѣніемъ махая рукой. Я никакъ не могъ понять, что могло такъ занимать его, но, чтобъ рѣшить этотъ вопросъ, на цыпочкахъ подошелъ къ нему. Онъ прильнулъ къ стеклу и пристально смотрѣлъ подъ навѣсъ, въ тѣни котораго виднѣлись двѣ человѣческія фигуры. Въ глазахъ Володи я замѣтилъ въ эту минуту выраженіе, чрезвычайно похожее на выраженіе сладенькихъ глазъ папа, но я не смогъ понять, что такъ радуетъ его. Мнѣ казалось, все это нисколько не касалось до него.

— «Пустите, Михей И., ну васъ къ Богу, увидятъ», говорилъ женскій голосъ.

— «Отчего ты мине не хочешь любить. Я, какъ передъ Богомъ, васъ вотъ какъ люблю!»

— «Ой! спину сломали!»

— «Ты мнѣ только скажи слово, я буду барина просить. Ужъ я слово сказалъ: никого не хочу любить, окромя тебя. Пойдешь за меня?»

— «Ну бросьте руки-то, что балуете». Послышался поцалуй и легкій смѣхъ, и Маша выбѣжала изъ-подъ навѣса. Во время этаго разговора я переставъ [удивляться] удивленію Володи, и мнѣ показалось, что не только до него, но и до меня все это касалось нѣсколько. Маша пробѣжала въ половину Мими, и все затихло; но меня долго что-то безпокоило, и я никакъ не могъ заснуть. Тоже и это новое для меня чувство родилось въ первый разъ во мнѣ и составило новый отличительный признакъ новаго возраста.

* № 4 (до I ред.).

Мими для меня теперь постороннее лицо: ни въ какомъ случаѣ она не имѣетъ право вмѣшиваться въ дѣла наши, я ее нисколько не боюсь и даже иногда подтруниваю надъ нею, и мнѣ кажется всякій разъ, когда на ея лицѣ показываются красныя пятна, что она сердится за то, что потеряла всякую власть надъ нами, — мысль,⟨необыкновенно⟩ льстящая моему самолюбію. Вражда между нею и Карломъ Иванычемъ продолжается; но рѣже выказывается, такъ какъ они рѣдко сходятся и оба безъ памяти боятся бабушки. Карлъ Иванычъ чрезвычайно измѣнился: вопервыхъ, по недавно подслушанному мною разговору бабушки съ папа, я узналъ, что онъ не гувернёръ, а «menin», дядька, который только можетъ водить насъ гулять, и что намъ необходимо настоящій гувернёръ-французъ и вовторыхъ, Карлъ Иванычъ уже больше не училъ насъ; слѣдовательно, въ Москвѣ у него не бывало въ рукахъ ни линейки,

ни книги діялоговъ, ни мелу, которымъ онъ отмѣчалъ проступки—однимъ словомъ, не было тѣхъ грозныхъ атрибутовъ власти, которые въ деревнѣ внушали намъ къ нему такой страхъ; оставалась одна палка для гулянья, подтверждающая слова бабушки, что онъ только способенъ водить гулять насъ; въ 3-ихъ пріятель его Schönheit сшилъ ему новый фракъ безъ буфочекъ на плечахъ и мѣдныхъ пуговицъ, и въ этомъ нарядѣ онъ много важности потерялъ въ моихъ глазахъ. Но, что хуже всего, почтенная, многоуважаемая красная шапочка была замѣнена рыжимъ парикомъ, который нисколько, какъ я ни прищуривался, не походилъ на естественныя волоса. Однимъ словомъ, Карлъ Иванычъ, дядька, сошелъ въ моемъ мнѣніи на много ступеней ниже: онъ ужъ казался мнѣ чѣмъ-то среднимъ между Николаемъ и тѣмъ Карломъ Иванычемъ, который былъ въ деревнѣ. — Въ Любочкѣ мало произошло перемѣнъ; тѣмъ болѣе что, такъ какъ со времени нашего переѣзда въ Москву дѣвочки какъ-то отдалились отъ насъ; не было ни общихъ уроковъ, ни общихъ игоръ. Я мало обращалъ на нее вниманіе; да и гордость быть мальчикомъ, а не дѣвочкой, дѣлала то, что я даже съ нѣкоторымъ презрѣніемъ и гордымъ сознаніемъ своего достоинства смотрѣлъ на нее. Но Катеньку узнать не было никакой возможности, такая она стала гордая не гордая, скучная не скучная, а странная. Она еще похорошѣла, личико, шейка и ручки ея были такія нѣжныя, розовенькія, но теперь мнѣ и въ мысль не приходило поцѣловать ее, какъ я это дѣлалъ 2 года тому назадъ. Я былъ слишкомъ далекъ отъ нея. Къ нимъ, т. е. къ дѣвочкамъ, пріѣзжали какія-то чужія дѣвочки, и они съ ними играли въ какія-то куклы и другія смѣшныя игры, но никогда не присоединялись къ намъ. И часто я съ завистью и грустью слушалъ внизу, какъ звонко и радостно раздавались наверху ихъ голоса и смѣхъ, особенно серебрянный голосокъ Катеньки.

* **№ 5** (I ред.).

Дробь. IV.

Какъ я уже говорилъ, шесть недѣль траура не оставили во мнѣ почти никакихъ воспоминаній. Хорошее расположеніе духа, которымъ я наслаждался дорогой, разбилось въ дребезги о печаль бабушки, выражавшуюся[1] такъ рѣзко и отчаянно, и о постоянное принужденіе, которое наводилъ на меня видъ обшитыхъ бѣлой тесемкой рукавчиковъ. — ⟨Теперь я долженъ выступить изъ хронологическаго порядка повѣствованія, для того, чтобы ближе познакомить моихъ читателей съ положеніемъ нашимъ. Ничто такъ не поразило меня въ мой пріѣздъ въ Москву, какъ странная внѣшняя перемѣна, происшедшая въ Карлѣ Иванычѣ. —

[1] *В подлинникѣ:* выражаювшуюся

Почтенная, мною любимая, уважаемая и имѣющая въ моихъ глазахъ особенный характеръ достоинства лысина, зачесываемая сзади длинными прядями сѣдыхъ волосъ и изрѣдка покрывающаяся красною шапочкой, замѣнилась какой-то странной рыжей, масляной оболочкой, называемой парикъ, какъ я узналъ впослѣдствіи. Я говорю странной оболочкой, потому что дѣйствительно не нахожу другаго названія для этой штуки. Только впослѣдствіи я узналъ, что штука эта имѣла назначеніе замѣнять волоса и походить на нихъ; тогда же, кладя руку на сердце, я никогда бы не подумалъ этаго.

Синій фракъ съ мѣдными пуговицами на плечахъ, облаченіе въ который означало всегда что-то необыкновенное и располагало меня къ праздничному расположенію духа, употреблялся ежедневно, а новый, черный фракъ съ узкими, узкими фалдочками, произведеніе друга Schönheit, замѣнялъ его въ торжественныхъ случаяхъ, казинетовые штаны, на которыхъ я зналъ каждую заплаточку и пятнушко, переданы Николаю. Однимъ словомъ, Карлъ Иванычъ ужъ не тотъ и много прелести и достоинствъ потерялъ въ моихъ глазахъ. —〉

Нѣсколько дней послѣ пріѣзда онъ повелъ насъ гулять. «Nun, liebe Kinder», [1] началъ онъ своимъ торжественнымъ тономъ: «теперь уже вы большія дѣти, вамъ можно понимать», посадивъ насъ около себя на скамейкѣ въ уединенномъ мѣстѣ въ Нескучномъ саду. Несмотря на парикъ, онъ въ эту минуту былъ тѣмъ же старымъ, добрымъ Карломъ Иванычемъ. «Потеря, которую вы сдѣлали, невозвратима; но что же дѣлать? я чувствую ее такъ же, какъ и вы», сказалъ онъ съ такимъ трогательнымъ выраженіемъ, что нельзя было сомнѣваться въ искренности его словъ. «Теперь Die Gräfin, ваша бабушка 〈(онъ никогда [не] забывалъ прибавлять die Gräfin, говоря о ней) заступила ея мѣсто и будетъ для васъ второй маменька. Любите его, любите его, дѣти!» Онъ помолчалъ немного. —

«Die Gräfin, ваша бабушка, осталась одна; — вы дѣти. Она любитъ васъ, какъ вашу мать, и просила Петра Александровича, ваша папенька, оставить васъ у нея». —〉

— «А папа гдѣ будетъ жить, Карлъ Иванычъ? спросилъ Володя.

— «Онъ скоро пріѣдетъ, будетъ жить во флигелѣ и на учителей будетъ платить за васъ: такъ хотѣла сама die Gräfin, ваша бабушка. 〈Теперь, дѣти, я вамъ скажу о своей участи — вы можете понимайть. Одна покойный ваша маменька Иртеньева, Наталь Николаевна, сказалъ онъ, поднимая руки къ небу,—одна ваша маменька понимала меня и любила старика глухаго Карла Иваныча. Я поступилъ къ вамъ, Володя былъ еще у кормилицы, а Николенька не родился. Когда у Володь была горячка, я не смыкалъ глазъ 2 недѣли.....» Вдругъ Карли

[1] [Теперь, милые дети,]

Иванычъ остановился и прекратилъ свою рѣчь на мѣстѣ, хотя нѣсколько разъ слышанномъ мною, слѣдовательно, не новомъ но не менѣе того возбуждавшемъ всегда во мнѣ удивленіе къ его добродѣтелямъ. Теперь мнѣ особенно пріятно было слышать пѣснь, хотя уже давно извѣстную, но всегда трогательную, такъ какъ она обращалась въ первый разъ прямо къ намъ, какъ къ лицамъ, заслуживающимъ его довѣрія〈— обстоятельство, доставлявшее тогда великое удовольствіе моему самолюбію〉. Другъ портной Schönheit, нѣкоторые люди, Володина горячка, неблагодарность — все въ давно извѣстномъ мнѣ методическомъ порядкѣ вышло на сцену.

«Но многоуважаемая die Gräfin, ваша бабушка, не любитъ меня, я, я долженъ буду съ вами разстаться».

Бабушка хочетъ замѣнить намъ мать. Горизонтъ моей будущности начиналъ проясняться. Но я горько ошибался, воображая, что бабушка послѣ перваго припадка горести будетъ тою же пріятной старушкой, какою я зналъ ее. Горесть странно подѣйствовала на ея характеръ. —

— «Вы хотите уѣхать отъ насъ?» спросилъ я, поворачиваясь къ нему, но не взялъ его за руку, какъ я это дѣловалъ встарину. Какой-то ложный стыдъ остановилъ меня. — «Я не хочу, продолжалъ Карлъ Иванычъ, но я долженъ. Богъ милостивъ, я составлю самъ свое счастье, и вы будьте счастливы, дѣти, и помните вашего стараго друга Карла Иваныча, который никогда васъ не будетъ забыть». — Съ этими словами онъ торжественно всталъ, обдернулъ фалды своего фрака и пошелъ дальше. Мы молча послѣдовали за нимъ, не смѣя нарушать его молчанія, и меня долго впослѣдствіи занималъ вопросъ, какимъ образомъ онъ надѣется самъ составить свое счастье.〉 Бабушка много, очень много измѣнилась. Въ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ кончины матушки она состарѣлась физически и морально больше, чѣмъ за 20 лѣтъ. Моль уже ѣстъ сукно и басонъ въ высокой, высокой каретѣ, въ которой она выѣзжала прежде съ двумя огромными лакеями, и едва едва у нея достаетъ силъ съ помощью горничной перейдти черезъ комнату. Лицо стало какого-то прозрачно желтаго цвѣта и носитъ на себѣ почти всегда отпечатокъ досады и неудовольствія, все покрылось морщинами; на бѣлыхъ, нѣжныхъ рукахъ образовались складки, даже на концахъ пальцевъ, какъ будто они только-что вымыты горячей водой. Любовь ее, однако, не трогала меня и внушала мнѣ больше сожалѣнія. Я инстинктивно понималъ, что она въ насъ любила не насъ, а воспоминанія. Гости почти никто не принимаются, но она любитъ видѣть насъ подлѣ себя, въ особенности Любочку, которую, по моимъ замѣчаніямъ, она не любила прежде. Къ папа она какъ-то особенно серьезно вѣжлива и внимательна; но ко всѣмъ остальнымъ лицамъ, живущимъ у насъ въ домѣ, она, какъ кажется, питаетъ особенную ненависть, въ особенности къ Мими, которой однако она

удвоила жалованье и сказала, что «вы, моя милая, надѣюсь, останетесь у меня. Коли покойница находила, что вы хороши, такъ и для меня вы будете хороши», и Мими осталась. Карла Иваныча она называетъ, говоря про него, *дядькой*: «позовите обѣдать дядьку», и я долженъ признаться, что Карлъ Иванычъ дядька потерялъ отъ этаго немного важности въ моихъ глазахъ. Съ горничной своей она не перестаетъ ссориться, безпрестанно называетъ ее «вы, моя милая», угрожаетъ ей выгнать ее, сердится до слезъ, но никогда не приводитъ въ исполненіе своей угрозы, несмотря на то, что горничная Гаша, самая ворчливая и грубая горничная въ свѣтѣ, часто говоритъ, хлопая дверью: «что жъ прогоните, не заплачу» и т. п. Когда бабушка нѣсколько успокоилась, и насъ стали пускать къ ней, я ее всегда видалъ въ одномъ и томъ же черномъ шелковомъ капотѣ, свѣжемъ чепчикѣ и бѣломъ, какъ снѣгъ, платочкѣ, которымъ она повязывала свою шею.

Она сидитъ въ своихъ большихъ волтеровскихъ креслахъ, раскладываетъ пасьянсъ или слушаетъ старый романъ М-me Радклифъ, который, по ея желанію, читаетъ ей Мими или П. В. По лицу ея видно, что исторіи съ привидѣньями и ужасами очень мало интересуютъ ея, и мысли ея далеко въ прошедшемъ. Я не могу вѣрить, чтобы она дѣйствительно любила сочиненія М-me Радклифъ, хотя и увѣряла, что не существуетъ болѣе пріятной книги. Мнѣ кажется только, что равномѣрный звукъ читающаго голоса располагалъ ее къ мечтанію. Почти все напоминало ей матушку, такъ что часто я замѣчалъ, какъ Мими и Гаша дѣлали намъ жесты, когда мы только-что начинали говорить о вещахъ, которыя будто бы могли напомнить о матушкѣ. Никогда не забуду я ея горести при свиданіи съ папа; тѣмъ болѣе, что я тогда никакъ не понималъ, какимъ образомъ видъ папа могъ такъ опечалить ее. Когда приходили ей такія воспоминанія, она обыкновенно брала въ руки черепаховую табакерку съ портретомъ maman и до тѣхъ поръ пристально смотрѣла на нее, пока тяжелыя старческія слезы не застилали ей глаза. Тогда она брала одинъ изъ батистовыхъ платковъ, обыкновенно лежавшихъ около нея, прикладывала ихъ [къ] лицу, подзывала кого нибудь изъ насъ, клала ему руку на плечо, и слышались тяжелыя рыданія. Но не знаю, почему любовь бабушки не трогала меня и не внушала взаимности. Понималъ-ли я инстинктивно, что она любила насъ не за самихъ себя, а какъ воспоминаніе, или дѣйствительно справедливо то, что для каждой любви необходима привлекательная внѣшность, я не могъ ее любить, какъ матушку, скажу больше, вспоминая слова Карла Иваныча, что она хочетъ замѣнить намъ мать, я понималъ, что дать ей въ моемъ сердцѣ мѣсто любви, занимаемое воспоминаніемъ о матери, было бы хуже, чѣмъ кощунство.

* № 6 (I ред.).

то страсть къ дѣвичьей, въ которой онъ проводилъ все свободное время, разумѣется, тогда, когда никто не могъ поймать его тамъ. Я всегда слѣдилъ за его страстями, и самъ невольно увлекался ими; но предаваться имъ было уже для меня невозможно, такъ какъ мѣсто было занято имъ; и я молча завидовалъ. Особенно послѣдняя страсть Володи занимала меня, и я внимательно и далеко не безпристрастно слѣдилъ за ней. По цѣлымъ часамъ проводилъ я въ чуланѣ подъ лѣстницею, безъ всякой мысли, съ напряженнымъ вниманіемъ прислушиваясь къ малѣйшимъ движеніямъ, происходившимъ наверху, и наблюдая сцены, происходившія въ корридорѣ. Ссоры, происходившія между нами, производили во мнѣ тоже чувство зависти къ счастливому, благородно-откровенному характеру Володи, которому я удивлялся, но не могъ подражать.

* № 7 (II ред.).

Глава 10-я ⟨Дѣвичья⟩ Маша.

⟨Я былъ дуренъ, зналъ это, и мысль, что я не могу никому нравиться мучала меня. А ничто — я твердо убѣжденъ — не имѣетъ такого разительнаго вліянія на направленіе человѣка, какъ наружность его. И не столько самая наружность, сколько убѣжденіе въ привлекательности, или непривлекательности ея. —⟩

⟨Отчего мнѣ не признаться въ чувствѣ, которое едва-ли не испытывалъ каждый ребенокъ, воспитывавшійся дома, тѣмъ болѣе, что, несмотря на то, что чувство это было дурно направлено, оно было искренно, благородно и не повело меня ни къ чему дурному. Я былъ влюбленъ въ горничную Машу, влюбленъ страстно безъ памяти; она казалась мнѣ богиней, недоступной для меня, ничтожнаго смертнаго. — Ни въ одномъ изъ любовныхъ увлеченій, которыя я испытывалъ въ своей жизни, я не чувствовалъ до такой степени свое ничтожество передъ предметомъ своей страсти, какъ [въ] этомъ случаѣ; поэтому-то я и заключаю, что съ большей силой я не любилъ никогда.—⟩

* № 8 (II ред.).

⟨Съ того самаго дня все свободное время, которое я могъ урвать отъ принужденныхъ занятій, я посвѣщалъ тому, чтобы, спрятавшись за дверь на площадкѣ лѣстницы, дожидаться той минуты, когда она выйдетъ изъ дѣвичьей и пройдетъ мимо меня, или заговоритъ съ кѣмъ нибудь, или примется гладить въ сѣняхъ платочки и чепчики. — Смотрѣть, слушать ее было для меня верхомъ наслажденія. Запахъ масла и волосъ отъ ея головы, когда она близко проходила мимо, заставлялъ меня задыхаться отъ волненія. — Когда въ классной я чувствовалъ запахъ спаленнаго утюгомъ сукна, доказывавшаго, что она

гладитъ на лѣстницѣ, я совершенно терялся и не только не могъ учиться, но даже сказывать знакомые уроки. Я проводилъ цѣлые часы въ какомъ-то упоительномъ восторгѣ, глядя на нее, когда она, засучивъ полныя, бѣлыя руки, перемывала въ корытѣ мелкое бѣлье бабушки. Но ничто не можетъ передать того невыразимаго наслажденія и вмѣстѣ тревоги, которыя я испытывалъ, когда смотрѣлъ на нее въ то время, какъ она, нагнувшись, мыла лѣстницу. —〉

* № 9 (I ред.).

Дурное расположеніе духа бабушки особенно рѣзко выразилось при одномъ обстоятельствѣ и даже имѣло рѣшительное вліяніе на многія перемѣны, происшедшія въ нашемъ образѣ жизни и воспитанія, въ одномъ обстоятельствѣ, хотя неважномъ въ самомъ себѣ, но которое я долженъ все-таки разсказать.

— «Что это у тебя въ рукахъ?» спросила Володю Любочка, когда мы передъ обѣдомъ, съ дробью, сошлись съ ними въ залѣ.

— «А ты не знаешь, что такое?» сказалъ Володя, показывая ей горсть дроби, которую онъ гдѣ-то досталъ у Карла Иваныча.

— «Что это порохъ?!!» запищала Любочка, выпучивая свои большіе черные глаза и отскочивъ отъ него.

— «Да, порохъ», сказалъ Володя, пересыпая дробь изъ руки въ руку: «вотъ посмотри, вспыхнетъ, такъ весь домъ взлетитъ на воздухъ», прибавилъ онъ, поднося руки къ Катенькину лицу. Въ это время вдругъ что-то зашумѣло сзади насъ, и не успѣлъ я догадаться, что это было платье Мими, какъ ея красное въ пятнахъ лицо, которое было еще краснѣе въ эту минуту, очутилось передъ Володей, и она схватила его за руку. «Qu'est ce que vous faites?»[1] закричала она задыхающимся страшнымъ голосомъ. Вы своими шалостями всѣхъ погубите и меня, и Катеньку, и вашу бабушку — всѣхъ. Гдѣ вы взяли это? Бросьте», кричала она, съ такой силой крутя его руки, что Володя сморщился, и дробь посыпалась на полъ. Мими съ выраженіемъ неописанной твердости духа подошла большими, рѣшительными шагами къ разсыпанной дроби и, презирая опасность, могущую приключиться отъ неожиданнаго взрыва, начала топтать ее ногами. Когда ей показалось, что опасность миновалась, она позвала Михея, приказала ему выбросить весь этотъ порохъ куда нибудь подальше или всего лучше въ воду и напустилась на Володю. «Гдѣ вы взяли это?» Володя съ улыбкой отвѣчалъ, что Карлъ Иванычъ далъ ему эту дробь. «Хорошо онъ смотритъ за ними», сказала она, обращаясь къ потолку. «Да чему вы смѣетесь? Какъ вы смѣете смѣяться, когда я съ вами говорю».

[1] [Что вы делаете?]

Володя молча улыбался, смотря ей прямо въ глаза. Это, казалось, окончательно вывело ее изъ всякихъ границъ. — «Да какъ вы смѣете смѣяться, вы хотѣли всѣхъ насъ сжечь. Mauvais sujet», [1] закричала она, задыхаясь отъ злости. — «Что вы бѣснуетесь, Мими, развѣ этимъ можно сжечь?» отвѣчалъ Володя съ притворно хладнокровнымъ видомъ должно быть съ намѣреніемъ еще больше разсердить ее. — Нѣсколько секундъ Мими не могла выговорить слова отъ волненія. — «Пойдемте къ бабушкѣ», закричала она, вдругъ хватая его за руку. Володя вырвался и хотѣлъ уйдти, но она схватила его за воротъ и потащила въ гостиную. — «Что съ вами», закричалъ Володя, однимъ сильнымъ движеніемъ оттолкнулъ ее отъ себя и остановился передъ нею съ такимъ гордымъ и гнѣвнымъ выраженіемъ, что Мими не посмѣла болѣе подходить къ нему; а отчаянно встряхивая чепцомъ, большими шагами направилась къ гостиной.— «Вы будете это помнить», пробормотала она. Любочка и Катенька съ блѣдными испуганными лицами, боясь сказать слово и пошевелиться, смотрѣли на эту сцену.

* № 10 (I ред.).

Странная перемѣна. V.

Не знаю, какимъ образомъ дошло до свѣденія Карла Иваныча, что его отпустятъ. Можетъ быть, я или Володя проболтались Николаю, но я знаю положительно, что онъ зналъ это въ тотъ же день вечеромъ. Хотя онъ ничего не говорилъ намъ, но съ этаго самаго времени я сталъ замѣчать перемѣну въ его образѣ жизни и обращеніи съ нами. —

Боже мой, что сдѣлалось съ Карломъ Иванычемъ.

Онъ сталъ рѣдко бывать дома и иногда возвращался послѣ полуночи. —

Другъ Schönheit часто заходилъ къ нему, къ намъ наверхъ, и, таинственно поговоривъ о чемъ-то [съ] Карломъ Иванычемъ, уходилъ съ нимъ.

* № 11 (I ред.).

⟨Карлъ Иванычъ⟩ не разъ возвращался домой въ такомъ положеніи съ того дня, какъ узналъ, что его отпускаютъ. Ф[едоръ] И[вановичъ] въ это время имѣлъ намѣреніе жениться, какъ я это узналъ случайно отъ Мими, которая съ досадой разсказывала объ этомъ экономкѣ, презрительно называя его женихомъ. Странно, что хотя Мими въ іерархіи гувернанокъ и гувернеровъ стояла гораздо выше Карла Иваныча и выдти за него замужъ вѣрно считала невозможнымъ для себя униженіемъ, но явно было, что намѣреніе Карла Иваныча, которое теперь стало извѣстно всему дому, огорчало ее: она часто съ

[1] [Негодный,]

ѣдкой насмѣшкой намекала о немъ, какъ о женихѣ, въ его отсутствіи, съ нимъ-же стала гораздо любезнѣе и не только не вредила ему, а заступалась за него. Намѣреніе жениться, парикъ, новый фракъ и вино, которымъ онъ предался, происходили явно отъ одной общей причины, и эта причина была желаніе забыться. — Однимъ словомъ, съ горя, что онъ долженъ оставить жизнь, которую онъ велъ 12 лѣтъ съ нами, Карлъ Иванычъ *загулялъ*. —

* № 12 (I ред.).

«Тогда маменька сказалъ: «Г[уставъ], отдадимъ его въ ученьи къ моему брату, пускай онъ будетъ часовой дѣлъ мастеръ», и папенька сказалъ: «хорошо». Und mein Vater ſagte «gut». —

Дяденька жилъ въ городѣ 15 Meilen отъ насъ; я жилъ у него $1^1/_2$ года, очень старался, и онъ обѣщалъ мнѣ сдѣлать своимъ Geſelle [1] черезъ 2 годъ. У дяди была дочь Linchen, и Linchen полюбила меня. Да, я былъ красивый мущина, голубой глаза, римско нози, высокой ростъ. Когда я проходилъ по улицамъ, то всякій дѣв[ушка] смотрѣлъ на меня и смѣялся, und [*2 неразобр.*].

Былъ одинъ разъ праздникъ, 1800 году. Я надѣлъ новый камзолъ, [сидѣлъ] на лавочки подлѣ нашихъ воротъ и курилъ трубочка und rauchte mein Pfeifchen. Linchen подошла ко мнѣ и сказала: «отчего вы такой скучной, Карлъ Иванычъ?» Я сказалъ: «Linchen, я родился несчастливъ и буду несчастливъ. Я васъ люблю, но я на васъ не женюсь — мнѣ это говоритъ мое сердце. Eine innerliche Stimme ſagt mir dieſes. [2] Только я кончилъ это, пришелъ Полицей Beamter und ſagte [3] «Карлъ Иванычъ, вы знаете, по всей Саксоніи назначена Conscription, [4] и всякій молодой человѣкъ отъ 18 до 21 года долженъ быть золдатъ. Пойдемте со мной и вы вытащите жребій». Я пошелъ. Мой отецъ и братъ Johann были тамъ, и было много народъ. Мнѣ достался жребій не служить, а Фрицу служить, и папенька сказалъ: «это Богъ наказываетъ за грѣхи моей матери».

* № 13 (I ред.).

«Ахъ, Николенька, Николенька, продолжалъ онъ, понюхавъ табаку, послѣ продолжительной паузы. Тогда было страшное время, тогда былъ Наполеонъ. Онъ хотѣлъ завоевать Германію, Рейнъ и Саксонію. Мы до капли крови защищались. Und wir vertheidigten unſer Vaterland bis auf den letzten Tropfen Blut». [5]

Я пропущу здѣсь описаніе кампаній, сдѣланныхъ Карломъ Иванычемъ, потому что, во-первыхъ, это слишкомъ длинно, а, во-вторыхъ, я не надѣюсь на свою память и боюсь испортить

[1] [подмастерьем]
[2] [Внутренний голос говорит мне это.]
[3] [полицейский чиновник и сказал]
[4] [рекрутский набор,]
[5] [И мы защищали свою родину до последней капли крови.]

⟨его⟩ наивную прелесть своими неудачными поддѣлками, а передамъ только одно обстоятельство этой войны, которое особенно живо поразило меня и внушило страшное отвращеніе къ жестокому Наполеону за его несправедливое обращеніе съ Нѣмцами вообще и съ Карломъ Иванычемъ въ особенности. Вотъ какъ передалъ онъ мнѣ это обстоятельство.

Онъ разсказывалъ мнѣ, какъ въ одной битвѣ его полкъ побѣжалъ на штурмъ; но было такъ грязно, что нельзя было бѣжать. Скоро онъ выбился außer Athem,[1] спотыкнулся, упалъ въ изнеможеніи и пролежалъ на мѣстѣ [?] вмѣстѣ съ ранеными. Потомъ, какъ въ другой разъ онъ собственноручно хотѣлъ тесакомъ заколоть Французскаго Гренадера. Der Franzoſe warf ſein Gewähr und rief Pardon, und ich gab ihm die Freiheit,[2] и я пустилъ его. ⟨Еще онъ разсказывалъ мнѣ, какъ подъ Аустерлицомъ у него болѣлъ животъ, и онъ цѣлый день лежалъ на травѣ и слушалъ пальбу, и какъ потомъ заснулъ и, проснувшись, узналъ, что полкъ, въ которомъ онъ находился, сдался. Наполеонъ прижималъ насъ ближе и ближе къ Винъ⟩ Napoleon drängte uns immer näher und näher an Wien, но Эрц-Герцогъ Карлъ былъ великій полководецъ, и онъ не сдавалъ ему. Наполеонъ сказалъ: «сдайтесь, я отпущу васъ», и Эрц-Герцогъ сказалъ: «Я не сдамся». Но мы пришли на островъ, и провіянтъ нашъ былъ взятъ, и mein Kamrad ſagte mir «wir ſind umring und wir ſind verloren,[3] мы окружены, и теперь Napoleon возьметъ насъ». А я сказалъ: auf Gott allein vertraun. Богъ моя надежда». Три дня и три ночь стояли мы на островъ, и Наполеонъ держалъ насъ. У насъ не было ни дровъ, ни хлѣба, ни ⟨пива⟩, картофеля — ничего. И тиранъ Napoleon не бралъ насъ въ плѣнъ и не выпускалъ,— und der Böſewicht Napoleon wollte uns gefangen nehmen und auch nicht frei laſſen. Я ѣлъ лошади, Николенька, и наконецъ, Napoleon взялъ насъ. —

* **№ 14** (I ред.).

Утеревъ глаза и табачный носъ клетчатымъ платкомъ и приведя въ спокойное состояніе свое разстроенное лицо, Карлъ Иванычъ продолжалъ свое повѣствованіе.

«Опять я могъ бы быть счастливый, но жестоко сѫтьба преслѣдовалъ мене. Шпіоны Наполеона были тогда во всѣхъ городахъ и деревни, и каждую минута мене могли открыйть. Отецъ мой не говорила мене ничего; но я зналъ, онъ боялся, что въ его домѣ найдутъ бѣглый человѣкъ, и тогда всей пропало. Отецъ, кромѣ того, всей свое имѣнія одалъ брату Johann'у и мнѣ не було кусокъ хлѣба. Богъ мене свидѣтель, что я не сердился за это, но я его [?] прощалъ всѣмъ, не хотѣлъ мѣ-

[1] [из сил, букв. «из дыхания».]
[2] [Француз бросил свое ружье, запросил пардону, и я дал ему свободу,]
[3] [мой товарищ сказал мне: «мы окружены, и мы погибли»,]

шать ихъ счастью и рѣшился идти дальше самъ искать свой кусокъ хлѣба. — Но въ полкъ я ни за что на свѣтѣ не хотѣлъ идти, потому что не хотѣлъ служить проти свое отечество. Да, Николенька, я могу сказать передъ Богомъ Всемогущимъ, что я помнилъ, что мнѣ сказалъ мой маменька и всегда былъ честный Саксонецъ. — Я рѣшился. Суббота вечеркомъ, когда въ домѣ мыли полъ, я взялъ мѣшокъ съ своими вещами, пришелъ къ маменькѣ. «Куда идешь, Фрицъ?» сказала маменька. Я сказалъ: «я пойду къ моему пріятелю, онъ живетъ за 5 миль отсюда, не найду ли я мѣста». — «Прощай. Когда ты придешь домой, Фрицъ?» сказала маменька. Я сказалъ: «прощайте», поцѣловалъ его и не могъ удерживать слезы (я хотѣлъ совсѣмъ уйдти). — «Что ты, мой Фрицъ, такъ плачешь? вѣдь ты придешь на этой недѣли», и она поцѣловала меня. — «Всю Божья Воля, будьте всѣ счастливы», я сказалъ и пошелъ. — «Фрицъ! Что ты говоришь?» закричалъ маменька: «поди сюда». Я плакалъ, сердце у меня пригнуть хотѣло и насилу могъ терпѣйть, но я не посмотрѣлъ на него и пошелъ своимъ дорогамъ. Больше я никогда не видалъ свою маменька и не знаю, живъ-ли онъ, или померла. Такъ я долженъ былъ, какъ колодникъ, бѣжать изъ собственна своего дома и въ чужихъ людяхъ искать своего хлѣба. Ich kam nach Ems,[1] тамъ мене узналъ Генералъ Спазинъ, который лѣчился тамъ звоимъ семейства, полюбилъ мене, досталъ у посланника паспортъ и взялъ мене къ себѣ учить его маленькія дѣтьи, и я поѣхалъ въ Россію». — Тутъ Карлъ Иванычъ снова сдѣлалъ продолжительную паузу, понюхалъ табачку и, поправивъ кружокъ съ парикмахеромъ, закинулъ немного назадъ голову, закатилъ свои добрые голубые глаза и, слегка покачивая головой, принялся улыбаться такъ, какъ улыбаются люди подъ вліяніемъ пріятныхъ воспоминаній. «Да, началъ онъ опять, поправившись въ креслѣ: много я испыталъ въ своей жизни хорошаго и дурнаго, но вотъ мой свидѣтель, сказалъ онъ, указывая на образокъ Спасителя, шитый по канвѣ, висѣвшій надъ его кроватью, что никто не можетъ сказать, чтобы Карлъ Иванычъ былъ когда нибудь нечестнымъ человѣкомъ. Der General Spasin hatte eine junge Tochter. Das liebenswürdigste Fräulein, das man nur sehen konnte. Ich gab ihr Lektion. Kurz, sie wurde in mich verliebt.[2] Онъ полюбила мене». Пропускаю подробности этой связи, начатой, по разсказу Карла Иваныча, самой барышней, генеральской дочькой, и отъ которой Карлъ Иванычъ всѣми средствами старался удерживать ее, передаю его разсказъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ опять рѣзко выказалась нѣмецкая честность и порядочность моего стараго дядьки.—

«Одинъ разъ мы гуляли въ парка, дѣтьи бѣгали въ переди, и я сѣлъ на скамейку подлѣ нея. Она сказалъ мнѣ: «Карлъ

[1] [Я пришел в Эмс,]

[2] [У генерала Спазина была молодая дочь, милейшая на свете барышня. Я давал ей уроки. Одним словом, она в меня влюбилась.]

Иванычъ, я такъ люблю васъ, что не могу больше терпѣйть, папенька не позволитъ намъ жениться. Что мы будемъ дѣлайть?» Я сказалъ: «будьте тверды, старайтесь меня забыть, потому что я не долженъ быть хуже безчувственнаго бревна и чорной неблагодарностью заплатить за всю благодѣянія вашего папеньку. Я уѣду отъ васъ». — «Никогда, онъ закричалъ, схватилъ меня за руку и такими большими глазами смотрѣлъ на мене: «побѣжимте, Карлъ Иванычъ, увезите меня». И я сказалъ: «Ежели бы я это сдѣлалъ, я бы былъ подлецъ и тогда вы не должны меня любить». Я всталъ и ушелъ въ свою комната, а самъ я его очень любилъ. Потомъ она уѣхала съ маменькой въ Москву, тамъ забыла мене и вышла замужъ за кн. Щербовскій и благодарилъ мене, что я былъ честный человѣкъ». — Опять пауза. «Такъ я пришелъ потомъ въ вашъ домъ, къ вашей маменька, и его не стало. Теперь старый никуда негодный и моя 20[?]-лѣтней служба пропалъ, и я долженъ идти на улица искать опять на старости лѣтъ свой кусокъ черстваго хлѣба. Дай Богъ, чтобы вашъ новый учитель былъ другой Карлъ Иванычъ. Дай Богъ, дай Богъ!» повторялъ онъ задумчиво съ слезами на глазахъ. Я не могъ выдержать и заплакалъ такъ сильно, что Карлъ Иванычъ услыхалъ мои рыданія, онъ подошелъ ко мнѣ, погладилъ по головѣ и поцѣловалъ. «У васъ доброе сердце, Николенька, Богъ дастъ вамъ счастья, сказалъ онъ: не забывайте только своего стараго друга». — Куда дѣвались мой ложный стыдъ плакать, молодечество и гордое сознаніе, что я уже не мальчикъ. Я сидѣлъ на постѣли, робко смотрѣлъ ему въ глаза и не удерживался отъ пріятныхъ слезъ участія, которыя обильными ручьями текли по моимъ щекамъ. Истинное чувство всегда возьметъ верхъ надъ привитыми предразсудками; потому что истинное чувство доставляетъ истинное душевное наслажденіе. Меня более всего разстроивала та мысль, что человѣкъ такой добрый, благородный, перенесшій столько несчастій, не нашелъ справедливости и въ нашемъ домѣ и имѣетъ право обвинять и презирать насъ. —

* № 15 (II ред.).

Новый гувернеръ. Глава 7.

На другой день утромъ въ комнатѣ Карла Ивановича уже не оставалось ни одной вещи, принадлежавшей ему. Вмѣсто высокой постели съ его пестрымъ, стеганнымъ одѣяломъ, оставалась пустая кровать съ голыми неровными досками; по стѣнамъ торчали осиротѣвшіе гвозди, на которыхъ прежде висѣли его картины, халатъ, шапочка, часы съ егеремъ; на стѣнѣ, между оконъ, замѣтно было по свѣжести обой мѣсто, затянутое кое-гдѣ паутинами, на которомъ стоялъ собственный коммодъ его. Ломовой извощикъ уже съ полчаса дожидался у крыльца, и на лѣстничной площадкѣ стояли кучей: коммодъ, чемоданъ

и другія вещи Карла Ивановича; но онъ все еще медлилъ, требуя, чтобы папа, бабушка, или довѣренное отъ нихъ лицо пришло освидѣтельствовать его вещи и убѣдиться въ томъ, что онъ не беретъ ничего чужаго: ни матраса, ни подсвѣчника, ни сапожной колодки — ничего. —

Когда ему, наконецъ, объяснили, что никто и не думаетъ подозрѣвать его въ этомъ отношеніи, Карлъ Ивановичь вздохнулъ и пошелъ прощаться съ бабушкой.

«Croyez-moi, Madame la Comtesse»,[1] говорилъ St.-Jérôme бабушкѣ, въ то время, какъ мы съ Карломъ Иванычемъ вошли къ ней: «j'envisage l'éducation comme un devoir trop sacré pour le négliger. Je sens toute la gravité de la tâche, que je m'impose, mais je saurais la comprendre et la remplir».[2]

«Je l'espère, mon cher Monsieur St.-Jérôme,[3] — сказала бабушка.

«Et je puis vous promettre»,[4] продолжалъ онъ съ большимъ одушевленіемъ: «sur mon honneurr, Madame la Comtesse, que dans deux ans vous ne reconnaîtrez pas vos élèves. Il faut, que je commence par étudier les capacités, les inclinations, les...»[5]

— «Pardon, mon cher», сказала бабушка, обращаясь къ Карлу Ивановичу, который, сурово взглянувъ на своего преемника, въ это время подошелъ къ бабушкѣ. —

— «Что вы ужъ ѣдете, мой милый», сказала она: вы бы пообѣдали съ нами».

— «Благодарю васъ, Ваше Сіятельство», сказалъ Карлъ Ивановичь съ достоинствомъ: «я должно ѣхать», и онъ подошелъ къ ея рукѣ.

— «Ну прощайте, мой милый. Очень вамъ благодарна за ваше усердіе и любовь къ дѣтямъ. — Хоть мы съ вами и разстаемся, потому что нельзя-же держать двухъ гувернёровъ, но я вамъ отдамъ всегда справедливость».

Карлъ Ивановичь молча отошелъ отъ нея и подошелъ къ Любочкѣ. «Прощайте, *Любинька*, (такъ онъ называлъ ее) пожалуйте ручка», сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ. Любочка большими растерянными глазами посмотрѣла на него и крѣпко — видно что отъ души — поцѣловала его въ плѣшивую голову. Мими тоже встала, положила вязанье, вытерла платкомъ правую потную руку и подала ее Карлу Ивановичу. —

— «Надѣюсь, Карлъ Ивановичь, сказала она краснѣя, что мы разстаемся друзьями, и ежели мы бывали виноваты другъ

[1] [Поверьте мне, графиня,]

[2] [я смотрю на воспитание как на долг слишком священный, чтобы им пренебрегать. Я сознаю всю важность задачи, которую себе ставлю, но я смогу ею овладеть и осуществить ее.]

[3] [Надеюсь, мой дорогой г. Сен-Жером,]

[4] [И могу вам обещать,]

[5] [Клянусь честью, графиня, через два года вы не узнаете своих воспитанников. Мне необходимо начать с изучения их способностей, их наклонностей, их...]

передъ другомъ, то все это будетъ забыто. Не правда-ли, Карлъ Ивановичь?»

— «Вотъ вамъ судья!» сказалъ Карлъ Ивановичь, одной рукой взявъ ее за руку, а другою указывая на образъ. Добрый старикъ былъ такъ растроганъ, что слезы были у него на глазахъ, и голосъ прерывался. Онъ замолчалъ, схватилъ руку Мими и такъ долго и нѣжно цѣловалъ ее, что Мими пришла въ замѣшательство, ⟨и не знала, что дѣлать съ своими лицомъ, губами, когда она перестала цѣловать его въ високъ.⟩ — Я часто имѣлъ случай замѣчать, что, находясь въ чувствительномъ расположеніи духа, нечаянно и невольно обращаешь свою нѣжность совсѣмъ не на тѣхъ людей, которымъ она предназначена. Карлъ Ивановичь былъ огорченъ разлукой съ нами, а со слезами цѣловалъ руку своего единственнаго врага, ежели только могли быть враги у этаго добрѣйшаго существа.

На крыльцѣ Карлъ Ивановичь простился съ нами. Мнѣ пришла въ голову въ эту минуту сцена его свиданья съ матерью, и я не могъ удержать слезъ, не столько отъ горести разлуки, сколько отъ этаго воспоминанія. Николай, стоявшій тутъ-же на крыльцѣ, къ великому моему удивленію, вдругъ скривилъ ротъ, когда Карлъ Ивановичь обнялъ его, и, не думая скрывать свою слабость, заплакалъ какъ женщина.

— «Прощайте, Карлъ Ивановичь!» —

Растроганный сценой отъѣзда славнаго Карла Ивановича, мнѣ какъ-то странно было слушать самодовольный, безпечный свистъ Августъ Антоновича St.-Jérôm'a въ то время, какъ онъ разбиралъ свои вещи. Но скоро чувство неудовольствія замѣнилось во мнѣ весьма естественнымъ чувствомъ любопытства, съ которымъ я разсматривалъ вещи и движенія человѣка, долженствовавшаго имѣть на жизнь нашу такое близкое вліяніе. — Судя по тѣмъ красивымъ щегольскимъ вещамъ, которыя онъ раскладывалъ у себя на столикѣ, по сафьянному креслу на мѣдныхъ колесахъ, которое было внесено въ его комнату и въ особенности по большому количеству лаковыхъ сапогъ, прюнелевыхъ ботинокъ, шелковыхъ жилетовъ и разноцвѣтныхъ панталонъ, которыхъ каждая штука, по его собственнымъ словамъ, стоила не меньше 50 рублей, я заключалъ, что онъ долженъ быть человѣкъ очень гордый. Судя-же по тому, какъ онъ стоялъ посереди комнаты въ то время, какъ передвигали кровать и вбивали гвозди, съ руками, заложенными подъ фалды коротенькаго сюртука, и разставленными ногами, которыя онъ слегка приводилъ въ движеніе подъ тактъ насвистываемыхъ имъ веселыхъ мотивовъ вальсовъ и водевильныхъ куплетовъ, я заключалъ, что онъ долженъ быть человѣкъ, любящій веселье; но такое веселье, которое едва-ли придется намъ раздѣлять съ нимъ. — И въ томъ и въ другомъ случаѣ я мало ошибался: Августъ Антоновичь былъ молодой бѣлокурый мущина небольшаго роста съ довольно пріятной наружностью

и дирочкой на подбородкѣ. — Онъ былъ мускулистъ и коротконожка. —

〈Ту-же особенность, которую я замѣтилъ въ Г-нѣ Тростѣ, гувернёрѣ Ивиныхъ, я замѣтилъ въ немъ, т. е. онъ носилъ панталоны въ обтяжку, весьма красиво обрисовывающіе его ляжки и икры, которыми онъ видимо былъ очень доволенъ.〉 — Въ каждомъ движеніи и звукѣ его голоса выражалось совершенное довольство собой, своими сапогами, своимъ жилетомъ, своимъ разговоромъ, однимъ словомъ, всѣмъ, что только имѣло что нибудь общаго съ его особой. — Онъ былъ не глупъ и не совсѣмъ неучъ, какъ большая часть соотечественниковъ его, пріѣзжающихъ въ Россію, но слишкомъ французская самоувѣренность и нелѣпый взглядъ на все Русское человѣка, который смотритъ на вещи не съ тѣмъ, чтобы понять ихъ, а съ тѣмъ, чтобы разсказать или описать ихъ, дѣлали его смѣшнымъ въ глазахъ людей болѣе проницательныхъ, 14-ти лѣтнихъ мальчиковъ и старушки, расположенной видѣть одно хорошее во всемъ иноземномъ, въ особенности французскомъ. —

Передъ обѣдомъ и во время обѣда Августъ Антоновичь не умолкалъ ни на минуту, и бабушка, какъ казалось, была очень довольна его болтовней. Она взялась объяснить ему наши характеры: «Володя, сказала она, будетъ военнымъ; онъ будетъ хорошъ собой, ловокъ, любезенъ, будетъ адъютантомъ какого-нибудь Генерала, будетъ имѣть блестящій успѣхъ въ большомъ свѣтѣ и пойдетъ далеко по этой дорогѣ. А Николенька, сказала она, подзывая меня къ себѣ, пойдетъ по дипломатической дорогѣ. Онъ будетъ у меня славнымъ дипломатомъ, прибавила она, поднимая рукою волоса на моемъ темѣ, не правда-ли?» Не знаю, что разумѣла бабушка подъ словомъ «дипломата», но знаю то, что дипломатъ, по ея понятіямъ, не могъ быть безъ взбитаго кверху хохла, т. е. прически «à la coq», составляющей, по ея мнѣнію, отличительную черту этаго званія. Вслѣдъ за этимъ Августъ Антоновичь вынулъ изъ кармана красиво исписанную тетрадку и просилъ бабушку позволенія прочесть ей свои мысли о воспитаніи, которыя онъ, принявъ на себя новую обязанность, успѣлъ набросать на бумагу. — Бабушка сказала, что это доставитъ ей большое удовольствіе, и St.-Jérôme началъ читать Essquisse sur l'éducation de deux nobles enfants Russes, confiés à mes soins par la Comtesse de Torchkoff, ou Précèptes et maximes, a l'usage d'un gouverneur.[1]

Само собою разумѣется, что только моему нѣжному возрасту и неразвитымъ умственнымъ способностямъ нужно приписать то, что сколько я ни напрягалъ вниманіе, я ничего ровно не могъ понять изъ тетрадки St.-Jérôm'a, но бабушка осталась ею

[1] [План воспитания двух детей из благородной русской фамилии, порученных моим заботам графиней Торжковой, или правила и принципы, служащие руководством для воспитателя.]

очень довольна. За обѣдомъ Августъ Антоновичъ обратился было къ папа съ разсужденіями о семействѣ Корнаковыхъ, въ которомъ онъ давалъ уроки, о самой Княгинѣ и о томъ, что она весьма пріятная дама; но папа, не отвѣчая ему, сухо спросилъ, когда онъ намѣренъ начать классы.—

Глава 8. Новый образъ жизни.

Весь порядокъ нашихъ занятій со вступленіемъ въ домъ St., Jérôm'a радикально измѣнился. Спальня превратилась въ кабинетъ, а классная наполнилась крашенными шкафами, которые, откидываясь на ночь, служили намъ кроватями, черными досками, глобусами, росписаніями и вообще предметами, наглядно доказывающими старательность и ученость новаго гувернера. Росписаніе занятій, написанное красивымъ, прямымъ почеркомъ и висѣвшее надъ столомъ въ рамкѣ чернаго дерева, доказывало ясно, что отъ 8 часовъ утра и до 6 вечера мы заняты классами. Исключая Исторіи, Математики и Русскаго языка-большая часть времени занята была самимъ St.-Jérôm'омъ: Латинскій языкъ, Французская грамматика, Французскій синтаксисъ, Французская литература, Исторія Французской литературы, сочиненія, диктовки, переводы. —

Никто не ѣздилъ къ намъ по случаю болѣзни бабушки, и единственнымъ развлеченіемъ нашимъ были уроки фехтованья и верховой ѣзды «l'équitation et les armes»,[1] которыя St.-Jérôme нашелъ необходимыми для нашего совершеннаго образованія. — Въ столѣ классной комнаты хранился журналъ, въ которомъ балами отъ «0» до «5» каждый учитель отмѣчалъ наши успѣхи и поведеніе въ классѣ. Въ концѣ недѣли сводились итоги; и тотъ, кто въ общемъ числѣ имѣлъ больше 4, получалъ денежное награжденіе сверхъ синенькой, которая давалась намъ ежемѣсячно въ видѣ жалованья; тотъ же, кто имѣлъ меньше 3, подвергался наказанію, состоящему большей частью въ лишеніи права ѣхать въ манежъ; и я долженъ признаться, что часто подвергался этому наказанію. Я шелъ наравнѣ съ Володей, но учился дурно: онъ учился, а я только сказывалъ кое-какъ плохо выученные уроки. Только гораздо послѣ я понялъ, что можно безъ трепета дожидаться учителя, хладнокровно, даже съ удовольствіемъ, видѣть, какъ онъ берется за книгу, и разсказывать ему то, что выучилъ, съ чувствомъ самодовольства и радости, какъ будто самъ сочинилъ то, что повторяешь ему. —

〈Надо сознаться, что не слишкомъ то хорошо былъ обдуманъ планъ нашего воспитанія; но чего-же ожидать отъ человѣка, который не имѣетъ понятія о томъ обществѣ, къ которому онъ готовитъ своихъ воспитанниковъ? —〉

[1] [верховая езда и фехтование,]

Когда я думаю о такихъ странныхъ, ни на чемъ не основанныхъ обычаяхъ, какъ обычай, существующій у насъ, повѣрять воспитаніе своихъ дѣтей иностранцамъ, я всегда воображаю себѣ человѣка съ развитыми умственными способностями, но никогда не жившаго между людьми — какого-нибудь сына Робинсона Крузое, рожденнаго и воспитаннаго въ уединеніи острова; догадался-ли бы онъ когда-нибудь, какимъ образомъ Русскіе дворяне воспитываютъ своихъ дѣтей? Ежели-бы онъ думалъ объ этомъ 100 лѣтъ и придумывалъ-бы самые нелѣпые, несообразные случаи, все-бы онъ не догадался — я увѣренъ — что для того, чтобы дать воспитаніе человѣку высшаго образованнаго сословія однаго народа, необходимо повѣрить его человѣку низшаго необразованнаго сословія другаго отдаленнаго народа — самаго противуположнаго первому по направленію, характеру, общественному устройству. —

〈Приближаясь въ моемъ повѣствованіи къ обстоятельству, произведшему во мнѣ рѣзкую моральную перемѣну, я полагаю нужнымъ объяснить нѣкоторыя обстоятельства, подготовившія этотъ переворотъ; ибо, я убѣжденъ, что никакое обстоятельство, какъ бы поразительно оно ни было, безъ помощи постоянно, хотя и незамѣтно-дѣйствующихъ, причинъ не въ состояніи измѣнить направленія человѣка. И тѣмъ болѣе, изъ чувствительнаго, слишкомъ откровеннаго и пылкаго мальчика сдѣлать существо, сосредоточенное и мечтательное. Притомъ-же воспоминанія о моемъ отрочествѣ и наблюденія, которыя я имѣлъ случай дѣлать впослѣдствіи надъ другими дѣтьми, убѣждаютъ меня въ томъ, что зародыши непріязненныхъ чувствъ злобы, зависти и вслѣдствіе его скрытности, мечтательности, недовѣрчивости къ себѣ и другимъ составляютъ характеристическій признакъ этаго возраста. Это есть родъ моральной оспы — смотря по обстоятельствамъ, въ различной степени силы — прививающейся къ ребенку. Причина такого состоянія есть: первое понятіе ребенка, — уясненное сознаніемъ — о существованіи зла; потому что хорошія и дурныя чувства мы понимаемъ только тогда, когда чувствуемъ ихъ зародышъ въ собственномъ сердцѣ. Невинная душа ребенка, незнавшаго различія между добромъ и удовольствіемъ, зломъ и неудовольствіемъ, болѣзненно сжимается отъ сознанія зла, Богъ знаетъ, какимъ путемъ и зачѣмъ, прокрадывающагося [1] въ его сердце. —

Тревожное, сосредоточенное въ самомъ себѣ, неестественное состояніе души, составляющее общій признакъ отрочества, усиливалось во мнѣ еще слѣдующими обстоятельствами:〉

* **№ 16** (I ред.).

Карлъ Иванычъ остановился въ залѣ и подошелъ къ нему. «Милостивый Государь», сказалъ онъ ему шопотомъ съ намѣре-

[1] *В подлинникѣ:* прокрадывающимся

ніемъ, чтобы мы не слыхали того, что онъ станетъ говорить (я отвернулся, но напрягалъ все свое вниманіе.) «Милостивый Государь, Володя умный молодой человѣкъ и всегда пойдетъ хорошо; но за нимъ надо смотрѣть, а Николенька слишкомъ доброе сердце, съ нимъ ничего не сдѣлаешь страхомъ, а всей можно сдѣлать черезъ ласку». — «Sehr gut, mein Herr»,[1] сказалъ Французъ, хотя по его выговору можно было замѣтить, и я послѣ узналъ, что онъ не зналъ понѣмецки. —

«Пожалуйста, любите и ласкайте ихъ. Вы всей сдѣлаете лаской». — «Повѣрьте, Mein Herr, что я съумѣю найдти орудіе, которое заставитъ ихъ повиноваться», сказалъ Французъ, отходя отъ него, и посмотрѣлъ на меня. — Но должно-быть въ томъ взглядѣ, который я остановилъ на немъ въ эту минуту, не было много пріятнаго, потому что онъ нахмурился и отвернулся. Дѣло въ томъ, что я убилъ бы въ эту минуту этаго фанфарона Француза, такъ онъ гадокъ и жалокъ казался мнѣ въ сравненіи съ Карломъ Иванычемъ. Съ этой минуты я почувствовалъ смѣшанное чувство злобы и страха къ этому человѣку. — Уложивъ весьма тщательно свои вещи на дрожки, Карлъ Иванычъ обнялъ Николая, насъ и съ слезами на глазахъ сошелъ съ крыльца. Старый Николай, повернувшись къ стѣнѣ лицомъ, хныкалъ, какъ баба, и у насъ съ Володей были слезы на глазахъ. —

* № 17 (II ред.).

Тутъ было нѣсколько пачекъ писемъ, раздѣленныхъ по почеркамъ и съ надписями на каждой пачкѣ. На одной — значилось «Письма Лизы», на другой «Lettres de Clara»,[2] на третьей «Записки бѣдной Аксюты». — Не отдавая себѣ даже отчета въ томъ, что я дѣлаю, я прочелъ — не раскрывая ихъ — по нѣскольку фразъ изъ каждой.

«Oh! mon bien aimé, rien ne peu t égaler la douleur, que je sens de ne plus te voir.[3] Ради Бога пріѣзжай! Стыдъ и раскаяніе...» и т. д. Это я прочелъ въ пачкѣ писемъ Лизы. Письма Клары были писаны всѣ пофранцузски; но съ такими ошибками, что ежели-бы я написалъ такъ подъ диктовку, то меня вѣрно оставили бы безъ обѣда. Напримѣръ: «Le cadot, que tu m'envoi es charman, mais pourquoi ne l'avoire, pas apporté toi-meme...»[4] и т. д. Письма-же Аксюты были написаны или писарской рукой на большихъ листахъ сѣрой бумаги, или на клочкахъ, черными кривыми каракулями. — Кромѣ писемъ, въ портфелѣ было еще очень много тонкихъ, надорванныхъ и цѣлыхъ листовъ бумаги, съ штемпелями по бокамъ — (это были векселя,

[1] [Очень хорошо, сударь,]
[2] [Письма Клары,]
[3] [О, мой возлюбленный, ничто не может сравниться со скорбью, которую я испытываю в разлуке с тобой.]
[4] [Подарок, который ты мне посылаешь, очарователен, но почему ты не принес его мне сам...]

какъ я узналъ въ послѣдствіи) и изогнутая колода картъ, завернутая въ бумагу, на которой рукою папа написано было· *Понтерки, которыми въ ночь 17 Генваря 1814 года я выигралъ болѣе 400.000.* —

** № 18 (I ред.).

Я вдругъ почувствовалъ презрѣніе къ дѣвочкамъ вообще, къ С.[?] и Сонечкѣ въ особенности, началъ увѣрять себя, что ничего веселаго нѣтъ въ этихъ играхъ, и мнѣ ужасно захотѣлось возиться, шалить, буянить и сдѣлать какую-нибудь такую штуку, которая бы ужъ рѣшительно погубила меня. Случай не замедлилъ представиться. St.-Jérôme вышелъ въ другую комнату, и въ это время, разставляя стулья по мѣстамъ, кто-то замѣтилъ стулъ, у котораго едва держалась ножка, и сказалъ, что хорошо бы подставить его кому-нибудь. Я тотчасъ же взялся подставить его St.-Jérôm'у, надломилъ ножку его и поставилъ на то мѣсто, гдѣ обыкновенно сидѣлъ St.-Jérôme. «Вотъ молодецъ, не боится никого», сказалъ кто-то. Я читалъ гдѣ-то, что замѣчено, будто дѣти въ переходномъ возрастѣ отрочества особенно бываютъ склонны къ зажигательству, даже убійству. Я находился теперь въ этомъ состояніи и былъ готовъ на все. Доказательство — мой поступокъ со стуломъ, за который, ежели бы узналось, я бы былъ страшно наказанъ, и я думаю, мнѣ меньше бы нужно было храбрости, чтобы подложить огонь подъ домъ, чѣмъ поставить этотъ сломанный стулъ. — St.-Jérôme, ничего не подозрѣвая и не замѣчая всѣхъ взглядовъ, съ нетерпѣливымъ ожиданіемъ устремленныхъ на него, подошелъ къ стулу и сѣлъ. Кракъ! ножка подломилась, и St.-Jérôme лежитъ на полу. Ничего не можетъ смѣшнѣе для меня, не знаю, почему, какъ видѣть, какъ падаетъ человѣкъ; но теперь невозможность смѣяться и присутствіе зрителей усилили до того это расположеніе, что я фыркнулъ, и всѣ послѣдовали моему примѣру. Не знаю, какъ, но St.-Jérôme узналъ, что виновникомъ его паденія былъ я, при всѣхъ назвалъ меня mauvais garnement [1] и велѣлъ идти наверхъ и во всѣхъ наклоненіяхъ, временахъ и числахъ переписать 3 раза выраженіе: je suis un mauvais garnement, tu es un mauvais garnement [2] и т. д. (Очень глупое наказаніе, выдуманное St.-Jérôm'омъ).

Нечего было дѣлать, я пошелъ наверхъ, схватилъ первый попавшійся мнѣ листъ бумаги и съ какимъ-то лихорадочнымъ нетерпѣніемъ началъ спрягать вспомогательный глаголъ съ прибавленіемъ каждый разъ нелестнаго эпитета «mauvais garnement». Я торопился и потому, что хотѣлось скорѣй сойдти внизъ и потому, что уже придумалъ мщеніе St.-Jérôm'у, которое хотѣлось поскорѣй привести въ исполненіе. —

[1] [негодяй]
[2] [Я негодяй, ты негодяй]

Я пришелъ внизъ съ исписаннымъ листомъ и, подойдя къ St.-Jérôm'y, спросилъ его, здѣсь ли показать ему.

— Читайте здѣсь, — сказалъ St.-Jérôme, желая этимъ осрамить меня. Я началъ: je suis un mauvais garnement, — сказалъ я чуть слышно. — «Громче», сказалъ St.-Jérôme. — «Tu es un mauvais garnement», сказалъ я на всю залу, пристально глядя ему въ глаза, и еще разъ какъ будто забывшись, повторилъ это.

— Prenez garde à vous,[1]— сказалъ онъ хмурясь, но я еще нѣсколько разъ повторилъ изрѣченіе во второмъ лицѣ всякаго времени. «Tu fus un mauvais garnement, tu seras un mauvais garnement».[2]

— C'est bien,[3] сказалъ St.-Jérôme. — Я уже нѣсколько разъ обѣщалъ вамъ наказаніе, отъ котораго васъ хотѣла избавить ваша бабушка, но я вижу, что, кромѣ розогъ, васъ ничѣмъ не заставишь повиноваться, и нынче вы вполнѣ заслужили и будете наказаны. Vous serez fouetté,[4]— сказалъ онъ, отвратительно выговаривая какъ fouatter это послѣднее слово.— Это было сказано при всѣхъ, и всѣ слушали съ напряженнымъ вниманіемъ. Я почувствовалъ, какъ кровь остановилась около моего сердца, и какъ затряслись мои губы.

** № 19 (I ред.).

— «Ты куда?» спросилъ меня вдругъ голосъ папа. Я остановился, открылъ глаза и, увидавъ высокую фигуру папа, который съ удивленіемъ смотрѣлъ на меня, схватилъ его руку, поцѣловалъ ее. — «Папа, защити меня, спаси меня!» говорилъ я задыхающимся отъ слезъ голосомъ. «Я ужасно виноватъ, я негодный человѣкъ; но, ради Бога, позволь мнѣ только все разсказать тебѣ и потомъ дѣлай со мной, что хочешь, я очень радъ буду..... очень радъ, только отъ тебя. Ты все можешь со мной сдѣлать, и мнѣ ничего, потому что ты мой отецъ, одинъ мой защитникъ; а онъ.....». «Полно», сказалъ папа, взялъ меня за руку и повелъ въ маленькую диванную. «Ну разскажи мнѣ, пузырь, что съ тобой, Коко?» сказалъ онъ съ такимъ хладнокровнымъ участіемъ, что положеніе мое вдругъ показалось мнѣ менѣе страшнымъ. —

— «Папа, сказалъ я: «я все тебѣ скажу, и потомъ дѣлай со мной, что хочешь. Я вчера получилъ единицу у учителя Исторіи».— «Ну?» — «И за поведенье единицу».— «Ну?» — «Потомъ я нечаянно, не нечаянно, а просто нарочно я ужасно дурно сдѣлалъ, подставилъ сломанное стуло St.-Jérôm'y, и онъ упалъ. «Это нехорошо, что жъ тебя наказали?» — «Постой, еще не все.

---

[1] [Берегитесь,]
[2] [Ты был негодяй, ты будешь негодяй.]
[3] [Хорошо,]
[4] [Вы будете высечены,]

Я сломалъ ключикъ, когда ходилъ къ тебѣ за конфетами. Прости меня пожалуйста, я никогда не буду этаго дѣлать и самъ знаю, какъ это гадко». — «Какой ключикъ?» — «Отъ зеле-на-го порт.....» — «Что?! Ты отпиралъ его?» — «Виноватъ, папа, я самъ не знаю, что на меня нашло». — «Что жъ ты тамъ смотрѣлъ, повѣса?» — «Письма смотрѣлъ». Папа покраснѣлъ, подернулъ плечомъ и взялъ меня за ухо. — «Что жъ ты прочёлъ, негодный мальчишка?» — «Не помню ничего, только посмотрѣлъ и опять хотѣлъ запереть, да сломалъ нечаянно». — «Пріятно очень имѣть такихъ милыхъ дѣточекъ!» сказалъ онъ, потрясая меня за ухо: «только не совѣтую тебѣ еще разъ совать носъ, куда не слѣдуетъ, а то будетъ плохо». — Папа больно дралъ меня за ухо, но наказаніе это доставляло мнѣ какое-то странное наслажденіе, и я не думалъ плакать. Только что онъ выпустилъ мое ухо, — «папа, сказалъ я, я не стою того, чтобы ты простилъ меня, да и знаю, что никто меня не любитъ; наказывай меня, какъ хочешь, но, ради Бога, защити меня отъ St.-Jérôm'a. Онъ ненавидитъ меня, онъ всячески, старается унизить, погубить меня. Папа, онъ хочетъ сѣчь меня онъ велитъ передъ собой становиться на колѣни. Я не могу этаго. Я не ребенокъ. Ежели онъ это сдѣлаетъ, сказалъ я съ слезами на глазахъ, я не перенесу, я умру, ей Богу, умру или его убью, или убѣгу, или сдѣлаю что-нибудь ужасное. Когда ты меня встрѣтилъ, я самъ не знаю, куда я бѣжалъ. Ради Бога, спаси меня отъ него. Я не могу съ нимъ жить, я ненавижу его. Ахъ, ежели бы мамаша была жива, она бы не позволила такъ мучать меня! Папа! Папа!» Слезы душили меня. Я подошелъ къ нему и уже болѣе не въ силахъ ⟨выговорить слова⟩ рыдалъ и цѣловалъ его руки. — «Успокойся, мой другъ, говорилъ мнѣ папа, положивъ свою большую руку мнѣ на голову. И я замѣтилъ слезы на его глазахъ. Ежели бы онъ зналъ, какъ отрадно подѣй[ствовало].—«Высѣки... прости..... не позволяй ему—онъ мой мучитель..... тиранъ... никто меня не любитъ». Я упалъ на диванъ и рыдалъ, рыдалъ до истерики, такъ что папа на рукахъ отнесъ меня въ спальню. Я заснулъ.

** № 20 (I ред.).

Никогда не забуду я одной страшной минуты, какъ St.-Jérôme, указывая пальцемъ на полъ передъ собою, приказывалъ стать на колѣни, а я стоялъ передъ нимъ блѣдный отъ злости и говорилъ себѣ, что лучше умру на мѣстѣ, чѣмъ стану передъ нимъ на колѣни, и какъ онъ изо всей силы придавилъ меня за плечи и, повихнувъ спину, заставилъ-таки стать на колѣни. Ежели бы у меня былъ ножъ въ эту минуту, я, не задумавшись, зарѣзалъ бы его и два раза повернулъ у него въ ранѣ.— Все время пребыванія St.-Jérôm'a въ нашемъ домѣ чувства подавленной гордости, страха униженія и по временамъ истинной ненависти къ нему наполняли мою душу и отравляли лучшіе

удовольствія.— Ничто такъ много не способствовало къ происшедшему во мнѣ моральному перевороту, къ которому я приближаюсь, какъ эти чувства, внушенныя во мнѣ въ первый разъ нашимъ гувернеромъ. (За все время моего отрочества у меня есть не болѣе какъ 2, 3 воспоминанія, освѣщенныя счастьемъ; остальныя же какъ-то темны, безцвѣтны, и я съ трудомъ удерживаю ихъ летучую связь въ моемъ воображеніи.)

Въ одно воскресенье, когда St.-Jérôme сидѣлъ въ своей комнатѣ съ пришедшими къ нему гостями французами, а я сидѣлъ рядомъ въ класной, какъ будто занимаясь рисованьемъ, а слушалъ разговоръ французовъ, — St.-Jérôme отворилъ дверь и кликнулъ подать себѣ одѣваться Василія того самаго, который хотѣлъ жениться на Машѣ, который былъ назначенъ бабушкой ему въ камердинеры. Дверь осталась отворенной, и я могъ слышать ихъ разговоръ. Разговоръ по тому случаю, что Василій долго не приходилъ, шелъ о рабахъ, les esclaves, les serfs.[1] Одинъ говорилъ: «ce sont des brutes, qui ressemblent plutot des morceaux de bois, qu'à des hommes».[2] Другой говорилъ: «il n'y a que le knout pour en faire quelque chose».[3]

(Еще прежде я замѣчалъ, что les serfs очень занимали St.-Jérôme'a. Когда къ намъ пріѣхалъ обозъ, то онъ долго не могъ успокоиться.)

Наконецъ пришелъ Василій, но у двери его остановилъ бабушкинъ Дворецкій. «Что ты къ столу нейдешь?» сказалъ онъ ему. — «Когда жъ мнѣ было? — отвѣчалъ Василій, который былъ нѣсколько хмеленъ, какъ я еще съ утра замѣтилъ:— тутъ комнаты убиралъ, тутъ платье чистилъ; вотъ какъ уйдетъ мусью со двора, такъ я и приду». — Слово «Мусью» вывело St.-Jérôme'a изъ себя. «Сколько разъ я тебѣ говорилъ, каналья, что меня зовутъ Августъ Антоновичъ, а не *мусью*, дурррракъ!»— «Я не знаю, какъ васъ зовутъ, знаю, что мусью», отвѣчалъ Василій, который былъ въ особенномъ припадкѣ грубости. «Такъ вотъ ты будешь меня знать, канай», закричалъ St.-Jérôme и ударилъ его. Василій молчалъ, но дворецкій подошелъ къ двери. —

— «Et dire, qu'un cretin comme celui-là me gate le sang et l'appetit»,[4] — сказалъ онъ, обращаясь къ своимъ знакомымъ, которые посмѣивались, глядя на Василья.

— «Il ne s'attendait pas à recevoir un soufflet aussi bien appliqué. Voyez, quelle aire hebété»).[5] — Василій дѣйствительно молчалъ и, казалось, находился въ раздумьи.

---

[1] [о рабах, крепостных.]

[2] [это грубые животные, более похожие на куски дерева, чем на людей.]

[3] [только кнутом можно с ними что-нибудь сделать.]

[4] [И этот кретин еще портит мне кровь и аппетит.]

[5] [Он не ожидал получить такую ловкую пощечину. Смотрите, какой у него дурацкий вид.]

«Пошелъ вонъ! ты здѣсь не нуженъ», сказалъ St.-Jérôme величественно. — «Пошелъ вонъ, — повторилъ Василій, какъ будто обдумывая смыслъ этаго выраженія; нѣтъ, не пошелъ вонъ, а пожалуйте къ Графинѣ, Мусью. Какъ вы смѣете драться? Я 6 лѣтъ служу и графу покойному служилъ и битъ не былъ, пожалуйте-ка», повторилъ онъ, дѣлая движенье головой по направленію двери. St.-Jérôme хотѣлъ еще разгорячиться, но почтенная фигура Дворецкаго съ сѣдой головой и въ бѣломъ жилетѣ и галстукѣ укротила его. «Не годится, сударь, чужихъ людей бить. Какъ вамъ будетъ угодно, а я Графинѣ доложу». — St.-Jérôme оправдывался, говоря, что онъ грубіянъ, но замѣтно трусилъ; ему непріятно было, чтобы такая сальная исторія дошла до бабушки. «Ce n'est rien», — сказалъ онъ своимъ знакомымъ, — «je dirai tout ce soir à la comtesse, et le coquin recevra le knout»,[1] — и вышелъ въ коридоръ, гдѣ довольно долго шопотомъ говорилъ съ Василіемъ и далъ ему денегъ, которыя этотъ послѣдній долго держалъ на рукѣ и должно быть не хотѣлъ мириться. Это происшествіе долго мучило меня. Я не могъ простить Василію, что онъ помирился съ нимъ и взялъ деньги.— Какъ онъ, Французъ, смѣлъ ударить нашего Русскаго человѣка.

* № 21 (I ред.).

⟨Маша⟩ дѣвичья.

Маша горничная была красавица, какъ я уже говорилъ, и это замѣчалъ не одинъ я. Василій былъ влюбленъ въ нее такъ, какъ только можетъ быть влюбленъ дворовый человѣкъ изъ портныхъ въ розовой рубашкѣ. — Онъ все свободное время проводилъ тамъ, гдѣ могъ встрѣтить Машу, и съ свойственной портнымъ дерзостью не упускалъ случая обнять ее своими большими руками и сжать съ такой силой, что всякой разъ Маша пищала: «Ай, вы меня раздавили», била его по лицу; но по ея улыбкѣ я замѣчалъ, что все-таки ей это было очень пріятно. Василій не только готовъ былъ отдать послѣднюю заработанную для вышивки копейку на орѣхи или стручки для Маши, но онъ готовъ былъ хоть сію минуту жениться на ней. К несчастію, это было невозможно: Николай, родной дядя Маши, считалъ Василія пьяницей и безпорядочнымъ гулякой и говорилъ, что онъ скорѣй за солдата, чѣмъ за него, отдастъ свою племянницу. Это приводило въ отчаяніе обоихъ. Василій часто запивалъ и буянилъ съ горя, а Маша часто плакала, и я разъ слышалъ, какъ Николай билъ ее на чердакѣ за то, что она просила у него позволенія выдти за него. Но не одному Василію вскружила голову горничная Маша. Володя, папа тоже любили встрѣчаться съ ней въ коридорѣ. Даже я, жалкій птенецъ, безъ памяти былъ влюбленъ въ нее; такъ что,

[1] [Это ничего, сегодня вечером я расскажу обо всем этом графине и мерзавец будет наказан кнутом,]

хотя я никогда не смѣлъ словомъ или жестомъ дать замѣтить ей объ этомъ, главнымъ пріятнѣйшимъ препровожденіемъ моихъ свободныхъ часовъ были наблюденія за ней съ площадки лѣстницы или изъ-за двери дѣвичьей. — Какая-то сила тянула меня туда, и разъ добравшись до мѣста, изъ котораго я могъ видѣть, или ожидать видѣть ее, я успокаивался, и вся моя моральная дѣятельность сосредоточивалась на ожиданіи. —

Однажды въ праздникъ, когда St.-Jérôm'a не было дома, а Мими съ дѣвочками уѣхала къ Княгинѣ Корнаковой, и Володя сошелъ внизъ, я долго, размышляя, ходилъ взадъ и впередъ по пустымъ комнатамъ. Мысли мои до того, наконецъ, запутались, и такъ много ихъ, Богъ знаетъ, откуда, набралось въ мою голову, что я почувствовалъ, какъ это со мной часто бывало, необходимость перемѣнить направленіе этой усиленной умственной дѣятельности и хотѣлъ сойдти внизъ, но сила привычки остановила меня на знакомой мнѣ площадкѣ, тѣмъ болѣе, что на дѣвичьемъ верху слышались оживленные голоса горничныхъ и Василія. Я со страхомъ быть открытымъ, который прибавлялъ удовольствіе, пробрался по лѣстницѣ и подошелъ къ двери. Въ дверь, въ которую я смотрѣлъ, мнѣ виднѣлись давно до малѣйшихъ подробностей изученные мною предметы: доска, на которой утюжили, покрытая[1] сѣрымъ сукномъ, одной стороной лежащая[2] на стулѣ, другой на лежанкѣ, большой черный сундукъ, на которомъ сидѣли за шитьемъ Маша и Надежа, красный столъ, на которомъ разложены въ безпорядкѣ начатое шитье, кирпичь, обшитый холстиной, кусочки сморщеннаго воска, ножницы и т. д.; два окошка, на которыхъ стоятъ ящикъ съ иголками и нитками, кукла съ разбитымъ носомъ для чепцовъ и рукомойникъ; перегородка, за которой находится комнатка Гаши, которая всегда съ гнѣвомъ и ворчаньемъ выходитъ и входитъ въ нее, крѣпко хлопая досчатой дверью; два разномастныхъ стула, и женскаго платья и бѣлья, висящаго на стѣнахъ и лежащаго на сундукахъ, столахъ и стульяхъ: все это какъ-то безпорядочно и некрасиво. Но тутъ сидитъ Маша и пухленькими руками, которыя своей краснотой, хотя доказываютъ, что она ими моетъ бѣлье, но все-таки мнѣ очень нравятся, шьетъ какую-то пелеринку. Она беретъ шелковинку изъ-за маленькаго розовенькаго уха, около котораго такъ хорошо лежатъ русыя мягкія волосы и иголку, которая у нея заткнута на косыночкѣ, и, нагнувъ головку, пристально шьетъ, изрѣдка поднимая большіе, свѣтлые глаза на Василія, который сидитъ противъ нея и немножко въ пьяномъ видѣ съ смятой и опухлой отвратительной физіономіей разсказываетъ всѣмъ горничнымъ про свою продолжительную любовь къ Машѣ и про то, что Николай Дмитріевичъ тиранъ

[1] *В подлинникѣ:* покрытой
[2] *В подлинникѣ:* лежащей

и мужикъ, не понимающій людей. «Что моя за судьба теперь стала, Надежда М.», сказалъ онъ Надежѣ, худощавой жеманной дѣвушкѣ, которая при каждомъ словѣ и движеніи имѣла привычку дѣлать головой волнообразное движеніе впередъ и наверхъ, какъ будто кто-нибудь ее щипалъ за шею около затылка. «Скажите, вы, умныя барышни, знаете политику, какая моя жисть?» — «Правда ваша, Василій Т. Я и сама не знаю, какъ вы несчастливы». — «Вѣдь я вамъ, какъ передъ Богомъ, скажу, какъ вы не любите и почитаете, ежели я теперь сталъ пить, такъ все оттого. Развѣ я такимъ былъ — у меня и сертучишка нѣтъ порядочнаго надѣть». Надежа съ упрекомъ посмотрѣла на его щегольскіе клѣтчатые шаровары. — «Что же, отвѣчалъ Василій, понимая ея мысль, развѣ это платье? Нѣтъ, посмотрѣли бы вы на мине, какъ я на волѣ жилъ въ своемъ удовольствіи. А теперь что только мученьи принимаю, и Марья В. за мине страдаютъ. — Ужъ я ему дамъ когда-нибудь, косому чорту, помянетъ онъ и Ваську пьяницу». — «Что вы, Василій Т.? пожалуйста ужъ вы не того», съ испугомъ сказала Надежа. — «Нѣтъ, Надежда В., мочи моей не стало, однимъ чѣмъ-нибудь рѣшить себя. Вѣдь онъ меня погубить хочетъ. Къ Санжиро кто меня приставилъ? Вѣдь все отъ него». — «Вѣдь вы говорили, что вамъ хорошо и при Санъ-Жиро служить», сказала Маша робко, взглядывая на него. — «Хорошо? сказалъ Василій, хорошо-то, хорошо, да вы что? вы моего духу не понимаете. Вы что? Вѣдь вы не знали мине, какъ я подмастерьемъ былъ, развѣ я такой былъ. Нѣтъ, Марья В., вы женщины глупыя; я самъ мусью былъ такой же и брюки носилъ такіе же, какъ онъ, а теперь служи всякому мусью, да другой тоже еще наровитъ тебѣ морду бить. Судите сами, хорошо это? Э... эхъ!» и онъ отчаянно махнулъ рукой. — «Что жъ, сказала Маша, навосчивая иголку, надо терпѣть, Василій Т.» — «Мочи моей нѣтъ». — «И мнѣ не легче». Минутное молчанье. — «Не хотите ли чайку, Василій Т.?» сказала Надежа. — «Благодарю покорно, пожалуйте ручку. Вы меня любите, Надежда М., вы красавица». — «Ай, укололся». — «Вотъ и не суйте руки, куда не слѣдуетъ. Ай пустите, запищала Надежда, цѣлуйте свою Машу, а я не ваша невѣста». — «Да что невѣста, когда она мине не любитъ. Коли бы любила, не то бы было». — «Грѣхъ тебѣ, Вася, такое говорить», сказала Маша, заплакала и вышла на лѣстницу.

Въ продолженіе этаго разговора внизу въ комнатѣ бабушки часто слышался ея колокольчикъ и пронзительный голосъ Гаши. Потомъ стукнула дверь въ спальнѣ, и ясно послышались шаги Гаши и ея ворчанье. Я спрятался за дверь, когда она прошла наверхъ мимо меня. —

«Господи Іисусе Христе, когда ты меня избавишь отъ евтой муки? То далеко, то близко поставишь столикъ: поди тутъ, угоди, когда сама не знаетъ, что хочетъ. Хоть одинъ конецъ,

Господи, прости мое согрѣшеніе. — Проклятая жисть, каторжная.....», говорила она сама съ собой, размахивая руками. — «Мое почтенье, Агафья Михайловна», сказалъ Василій съ пріятной улыбкой. — «Ну васъ тутъ, не до твоего почтенья. И зачѣмъ ходишь сюда? Развѣ у мѣста къ дѣвкамъ ходить мущинѣ». — «Я хотѣлъ объ вашемъ здоровьѣ узнать съ, Агафья Михайловна», сказалъ Василій. — «Издохну скоро, вотъ какое мое здоровье!» сказала она съ сердцемъ. Василій засмѣялся. — «Тутъ смѣяться нечего, и коли говорю, что убирайся, такъ маршъ. Вишь, поганецъ, тоже жениться хочетъ, подлецъ. Ну, маршъ, отправляйтесь», и Агафья Михайловна прошла въ свою комнатку и такъ стукнула дверью, что не понимаю, какимъ образомъ она удержалась на петляхъ. За перегородкой слышно было, какъ Агафья Михайловна, продолжала[1] вслухъ проклинать свое житье, швырять всѣ свои вещи и даже бить свою любимую кошку.— Внизу послышался колокольчикъ бабушки. — «Хоть раззвонись, а ужъ я не пойду. Поищи другую Агафью». — «Ну видно, чаю не приходиться у васъ пить», сказалъ шопотомъ Василій, вставая съ сундука: «а то шибко расходилась наша барыня, еще нажалуется, того и гляди. До пріятнаго свиданія». Въ дверяхъ онъ встрѣтился съ Машей, которая продолжала плакать. «Эхъ, Маша, о чемъ *ты* плачешь, сказалъ онъ ей: вотъ мнѣ такъ, такъ приходится солоно иной часъ, что хоть взять кушакъ да на чердакъ вѣшаться идти. Да ужъ и сдѣлаю жъ я одинъ конецъ. Пойду къ Графинѣ, паду въ ноги, скажу: «Ваше Сіятельство, такъ гонитъ, губитъ меня, съ свѣту сживаетъ за то, что я его племянницу люблю». А вѣдь за что онъ мине не любитъ, воръ этотъ, дядя-то твой? За походку, все за походку за мою. Ну, Маша, не плачь, на орѣшковъ. Я для тибя купилъ; Санъ-Жиро брюки работалъ, такъ онъ мнѣ 50 далъ. Прощай, Марья В., а то кто-то идетъ». Онъ поцѣловалъ ее. Я едва успѣлъ спуститься. — Долго еще послѣ этаго я смотрѣлъ, какъ Маша лежала на сундукѣ и горько плакала, и мнѣ было нисколько не жалко ее; а я испытывалъ, какъ и обыкновенно, при этомъ [?] одно чувство безпокойства и стыда. Всякое влеченіе одного человѣка къ другому я называю любовью; поэтому и говорю, что былъ влюбленъ въ Машу, ибо я чувствовалъ къ ней весьма сильное влеченіе. — Но чувство это отличалось отъ чувствъ такого рода, испытанныхъ мною, тѣмъ, что душевное состояніе Маши нисколько не занимало меня и не имѣло никакого вліянія на мои чувства: мнѣ было все равно, что она влюблена въ Василія, что она несчастна, что она ужасно глупа, какъ говорила М[ими]. Мнѣ кажется даже, что мнѣ пріятно бы было, чтобы любовь Василія увѣнчалась успѣхомъ. Ежели-бы я узналъ, что она преступница, я увѣренъ, что это тоже нисколько не

[1] *В подлинникѣ:* продолжая

измѣнило бы моего чувства. Меня занимала въ ней одна наружность, надѣнетъ ли она завтра розовое платье, которое я очень любилъ, будетъ ли она мыть на лѣстницѣ чепчики въ томъ положеніи, въ которомъ я очень лю[блю].

* № 22 (I ред.).

Меня не наказывали, и никто даже не напоминалъ мнѣ о моемъ приключеніи. Жизнь наша пошла своимъ обычнымъ порядкомъ. Я, какъ и прежде, чувствовалъ непріязненное чувство къ St.-Jérôm'y, но не ненависть, которая только одинъ день завладѣла моимъ сердцемъ. — Онъ обращался со мной лучше съ тѣхъ поръ, не приказывалъ больше становиться передъ нимъ на колѣна и не угрожалъ розгой; но я не могъ смотрѣть ему въ глаза, и мнѣ было всегда невыразимо тяжело имѣть съ нимъ какія-нибудь отношенія. Почти тоже непреодолимое чувство застѣнчивости испытывалъ я въ отношеніи другихъ: Володи, П[?апа?], Катеньки и Любочки. Мнѣ за что-то совѣстно было передъ ними, и я сталъ удаляться ихъ. — Послѣ обѣда я [не] вмѣшивался, какъ прежде, въ таинственный разговоръ Володи съ Катенькой. Я сосредоточился самъ въ себя, и наслажденіемъ моимъ были мечты, размышленія и наблюденія. —

Во время классовъ я любилъ садиться подъ окномъ, которое выходило на улицу, съ тупымъ вниманіемъ и безъ всякой мысли всматриваться во всѣхъ проходящихъ и проѣзжающихъ на улицѣ; чѣмъ меньше было мыслей, тѣмъ живѣе и быстрѣе дѣйствовало воображеніе. Каждое новое лицо возбуждало новый образъ въ воображеніи, и эти образы безъ связи, но какъ-то поэтически путались въ моей головѣ. И мнѣ было пріятно. Едва ли мнѣ повѣрятъ читатели, ежели я скажу, какія были мои постояннѣйшія любимѣйшія мечты и размышленія, такъ онѣ были несообразны съ моимъ возрастомъ и положеніемъ. Но несообразность въ этомъ отношеніи, мнѣ кажется, есть лучшій признакъ правды. — Я былъ въ полной увѣренности, что я не останусь жить съ своимъ семействомъ, что какимъ-нибудь непостижимымъ случаемъ я буду скоро разлученъ съ ними, и что мать моя не умирала или воскреснетъ, и я найду ее. Въ одно воскресенье, когда мы всѣ были въ церкви, при началѣ обѣдни вошла дама въ траурѣ съ лакеемъ, который почтительно слѣдовалъ за нею, и остановилась подлѣ насъ. — Я не могъ видѣть ея лица, но меня поразила фигура и походка этой дамы, такъ много она напоминала покойную *maman*. Черная одежда, церковное пѣніе, всегда переносившее меня къ времю кончины матушки, еще болѣе прибавило живости этому сходству. — Я не могъ свести съ нея глазъ и съ страхомъ ожидалъ той минуты, когда она повернется ко мнѣ, но дама молилась усердно, тихо опускалась на колѣни, граціозно складывала руки или крестилась и поднимала голову кверху.—

Я воображалъ видѣть чудесные каріе влажные глаза матушки, поднятые къ небу. Складки ея чернаго шелковаго платья и мантиліи такъ граціозно ложились вокругъ ея тонкаго, благороднаго стана! Мнѣ воображалось, и не только воображалось, но я почти былъ увѣренъ, что это она, что она молится и плачетъ о насъ, своихъ дѣтяхъ, которыхъ она потеряла. Какъ это все могло случиться, я и не трудился объяснять себѣ. Но почему же я не бросался и не прижимался къ ней, какъ прежде, съ слезами любви? Я боялся, чтобы малѣйшее движенье мое не лишило меня того счастья, котораго я давно ожидалъ, снова обнять: мнѣ казалось, что вотъ вдругъ она изчезнетъ, Богъ знаетъ, куда.....

Выходя изъ церкви, я увидалъ ея лицо — грустное, доброе; но мнѣ оно показалось ужаснымъ — это была не она, и моя чудная мечта, перешедшая почти въ убѣжденіе, опять разлетѣлась въ прахъ. И не разъ мнѣ случалось увѣрять себя, что вотъ она, та, которую я ищу и желаю, и разочаровываться, но не терять этой сладкой надежды.

Мечты честолюбія, разумѣется, военнаго, тоже тревожили меня. Всякій Генералъ, котораго я встрѣчалъ, заставлялъ меня трепетать отъ ожиданія, что вотъ вотъ онъ подойдетъ ко мнѣ и скажетъ, что онъ замѣчаетъ во мнѣ необыкновенную храбрость и способность къ военной службѣ и верховой ѣздѣ, и будетъ просить папа отдать меня ему въ полкъ, и наступитъ перемѣна въ жизни, которую я съ такимъ нетерпѣніемъ ожидаю. Каждый пожаръ, шумъ шибко скачущаго экипажа приводили меня въ волненіе, мнѣ хотѣлось спасти кого-нибудь, сдѣлать геройскій поступокъ, который будетъ причиной моего возвышенія и перемѣны моей жизни. — Но ничто не довело этого расположенія до послѣдней степени, какъ пріѣздъ Государя въ Москву. Я бросилъ все, нѣсколько дней, несмотря на всѣ увѣщанія, не могъ выучить ни одного урока. Къ чему мнѣ было заботиться о чемъ бы то ни было, когда вотъ вотъ во всей моей жизни должна произойдти радикальная перемѣна? — Мы ходили гулять ко Дворцу. Очень помню, какъ Его Императорское Величество, въ противность нашимъ ожиданіямъ, изволилъ выѣхать съ задняго крыльца; какъ я, не помня самъ себя, съ народомъ бросился бѣжать ему навстрѣчу и кричалъ «ура» и смотрѣлъ на приближавшуюся коляску; какъ на меня наѣхалъ извощикъ, сбилъ съ ногъ, но я поднялся и бѣжалъ дальше, продолжая кричать, и какъ, наконецъ, Его Величество поклонился всему народу, стало быть и мнѣ, и какое это для меня было счастье. Но я остался все тѣмъ же Николенькой съ невыученными за 2 дня уроками. Утвердившаяся надежда найдти *maman*, честолюбивое желаніе перемѣнить образъ жизни и неясное влеченіе къ женщинамъ, о которомъ я поговорю послѣ, составляли неисчерпаемую задачу для моихъ отроческихъ мечтаній. Размышленія, хотя и не

доставляли столько-же наслажденій, какъ мечты, занимали меня еще болѣе. Всѣ вопросы или по крайней мѣрѣ большая часть изъ нихъ, о безсмертіи души, о Богѣ, о вѣчности, предложеніе которыхъ составляетъ высшую точку, до которой можетъ достигнуть умъ человѣка, но разрѣшить которые не дано ему въ этомъ мірѣ, вопросы эти уже предстали передъ мною, и дѣтскій слабый умъ мой съ пыломъ неопытности тщетно старался разрѣшить ихъ и, не понимая своего безсилія, снова и снова ударялся и разбивался о нихъ. —

Да, изъ всего этаго внутренняго моральнаго труда я не вынесъ ничего, кромѣ сомнѣній, умъ мой не могъ проникнуть непроницаемое, а самъ разбивался и терялъ убѣжденія, которыя для моего счастья я бы не долженъ бы былъ смѣть затрогивать никогда. —

Умственный скептицизмъ мой дошелъ до послѣдней крайней степени. Это дѣтски-смѣшно, невѣроятно; но дѣйствительно это было такъ: я часто думалъ, что ничего не существуетъ, кромѣ меня, что все, что я вижу, люди, вещи, свѣтъ сдѣлано для меня, что, какъ я уйду изъ комнаты, то тамъ ужъ ничего нѣтъ, а въ ту, въ которую я вхожу, передъ моимъ приходомъ образуются вещи и люди, которыхъ я вижу. Такъ что мнѣ случалось доходить до положенія, близкаго сумашествія: я подкрадывался куда-нибудь и подсматривалъ, полагая не найдти тамъ ничего, такъ какъ меня нѣтъ. — Всѣ мои философическія разсужденія были тѣже темныя, неясныя сознанія, инстинктивныя, одностороннія догадки и гипотезы взрослыхъ философовъ; но во всемъ онѣ носили дѣтскій характеръ. Размышляя объ религіи, я просто дерзко приступалъ къ предмету, безъ малѣйшаго страха обсуживалъ его и говорилъ — нѣтъ [смысла?] въ тѣхъ вещахъ, за которыя 1,000,000 людей отдали жизнь. Эта дерзость и была исключительнымъ признакомъ размышленій того возраста. У меня былъ умъ, но недоставало силы управлять имъ — силы, пріобрѣтаемой жизнью. — Помню я очень хорошо, какъ одинъ разъ въ праздникъ я тотчасъ послѣ обѣда ушелъ наверхъ и началъ размышлять о томъ, что душа должна была существовать прежде, ежели будетъ существовать послѣ, что вѣчности не можетъ быть съ однаго конца. И все это я доказывалъ какъ-то чувствомъ симметріи; что вѣчность — жизнь и потомъ опять вѣчность — будетъ симметрія, а жизнь и съ одной только стороны вѣчность — нѣтъ симметріи, а что въ душѣ человѣка есть влеченіе къ симметріи, что, по моему мнѣнію, доказывало, что будетъ симметрія и въ жизни, и что даже понятіе симметріи вытекаетъ изъ положенія души. — Въ серединѣ этаго метафизическаго разсужденія, которое мнѣ такъ понравилось, что я писалъ его, мнѣ захотѣлось вполнѣ наслаждаться, и я пошелъ къ Василію слезно просить его дать мнѣ взаймы двугривенный и купить мятныхъ пряниковъ и меду, что Василій послѣ нѣкоторыхъ

переговоровъ и исполнилъ. Но Володя, войдя наверхъ, прочелъ написанное на полулистѣ бумаги и усмѣхнулся. Я тутъ же чрезвычайно ясно понялъ, что написанъ былъ ужасный вздоръ и больше не писалъ о симметріи.

* № 23 (II ред.)

Мысли эти не только представлялись моему уму, но я увлекался ими. Я помню, какъ мнѣ пришла мысль о томъ, что счастіе есть спокойствіе, а что такъ какъ человѣкъ не можетъ оградить себя отъ внѣшнихъ причинъ, постоянно нарушающихъ это спокойствіе, то единственное средство быть счастливымъ состоитъ въ томъ, чтобы пріучить себя спокойно переносить всѣ непріятности жизни. И я сдѣлался стоикомъ —дѣтски стоикомъ, но все таки стоикомъ. Я подходилъ къ топившейся печкѣ, разогрѣвалъ руки и потомъ высовывалъ ихъ на морозъ въ форточку для того, чтобы пріучать себя переносить тепло и холодъ. Я бралъ въ руки лексиконы и держалъ ихъ, вытянувъ руку, такъ долго, что жилы, казалось, готовы были оборваться, для того, чтобы пріучать себя къ труду. Я уходилъ въ чуланъ, и, стараясь не морщиться, начиналъ стегать себя хлыстомъ по голымъ плечамъ такъ крѣпко, что по тѣлу выступали кровяные рубцы, для того, чтобы пріучаться къ боли. Я былъ и эпикурейцомъ, говорилъ, что все вздоръ — классы, университетъ, St.-Jérôme, стоицизмъ — все пустяки. Я каждый часъ могу умереть, поэтому нужно пользоваться наслажденіями жизни. Хочется мятныхъ пряниковъ и меду — купи мятныхъ пряниковъ, хоть на послѣднія деньги; хочется сидѣть на площадкѣ — сиди на площадкѣ, хоть бы тутъ самъ папа тебя засталъ — ничего. Все пройдетъ, а наслажденіе не представится можетъ быть въ другой разъ. — Я былъ и атеистомъ. Съ дерзостью, составляющей отличительный характеръ того возраста, разъ допустивъ религіозное сомнѣніе, я спрашивалъ себя, отъ чего Богъ не докажетъ мнѣ, что справедливо все то, чему меня учили. И я искренно молился Ему, чтобы во мнѣ или чудомъ какимънибудь онъ доказалъ мнѣ свое существованіе. Откинувъ разъ всѣ вѣрованія, внушенныя въ меня съ дѣтства, я самъ составлялъ новыя вѣрованія. — Мнѣ тяжело было разстаться съ утѣшительной мыслью о будущей безсмертной жизни и, разсуждая о томъ, что ничто не изчезаетъ, а только измѣняется въ внѣшнемъ мірѣ, я набрелъ на идею пантеизма, о безконечной вѣчно-измѣняющейся, но не изчезающей лѣстницѣ существъ. Я такъ увлекся этой идеей, что меня серьезно занималъ вопросъ, чѣмъ я былъ прежде, чѣмъ быть человѣкомъ — лошадью, собакой или коровой. Эта мысль въ свою очередь уступила мѣсто другой, имянно мысли Паскаля о томъ, что ежели-бы даже все то, чему насъ учитъ религія, было неправда, мы ничего не теряемъ, слѣдуя ей, а не слѣдуя, рискуемъ, вмѣсто вѣчнаго блаженства, получить вѣчныя муки. Подъ вліяніемъ этой идеи

я впалъ въ противуположную крайность — сталъ набоженъ: ничего не предпринималъ, не прочтя молитву и не сдѣлавъ креста (иногда, когда я былъ не одинъ, я мысленно читалъ молитвы и крестился ногой или всѣмъ тѣломъ такъ, чтобы никто не могъ замѣтить этаго), я постился, старался переносить обиды и т. д. Само собою разумѣется, что такое направленіе черезъ 2 или 3 дня уступало мѣсто новой философской идеѣ.

* № 24 (II ред.).

стороны ничего? Не можетъ быть. Тутъ нѣтъ симетріи. А что такое симетрія? подумалъ я. Почему человѣкъ чувствуетъ потребность симетріи. Это чувство вложено въ его душу. А почему оно вложено въ душу человѣка? Потому что душа человѣка прежде жила въ мірѣ, въ которомъ все исполнено порядка и симетріи. Потребность симетріи доказываетъ, что съ обѣихъ сторонъ жизни должна быть вѣчность, и я провелъ черту съ другой стороны овальной фигуры. — Разсужденіе это, казавшееся мнѣ тогда чрезвычайно яснымъ, и котораго связь я съ трудомъ могу уловить теперь, понравилось мнѣ чрезвычайно, и съ тѣмъ тревожнымъ удовольствіемъ, которое испытываетъ человѣкъ, уяснивъ себѣ какой нибудь сложный вопросъ, я взялъ листъ бумаги и принялся выражать письменно то, о чемъ я думалъ, но тутъ въ головѣ моей набралась такая бездна мыслей, что я принужденъ былъ встать и пройдтись по комнатѣ. Подойдя къ окну, вниманіе мое обратила лавочка напротивъ нашего дома. Въ ней продавались всякія сласти. «Василій, купи пожалуйста изюму на гривенникъ». Василій пошелъ за изюмомъ, а я въ это время сидѣлъ надъ бумагой и думалъ о томъ, отпуститъ или нѣтъ лавочникъ того самаго лиловаго изюма, который такъ вкусенъ. —

Володя, проходя черезъ комнату, улыбнулся, замѣтивъ, что я пишу что-то, и мнѣ достаточно было этой улыбки, чтобъ разорвать бумагу и понять, что все, что я думалъ о симетріи, была ужаснѣйшая гиль. —

* № 25 (I ред.).

Я часто въ свободное время приходилъ въ комнату Володи и такъ [какъ] никто не обращалъ на меня вниманія, имѣлъ случай дѣлать наблюденія. У Володи была какая-то амуретка и говорить о ней, казалось, очень забавляло его; но не знаю, почему, товарищи его при мнѣ говорили всегда о своихъ любовныхъ похожденіяхъ какимъ-то таинственнымъ, непонятнымъ для меня языкомъ. Кажется, совсѣмъ не нужно было ни передъ кѣмъ скрывать этихъ вещей; но вѣрно имъ нравилась эта таинственность. Одну дѣвушку они называли *10,000000*, другую *милыя лѣни*, третью *птички* (вообще всѣ названія давались во множеств[енномъ] числѣ). Сколько я могъ заклю-

чить изъ ихъ разговоровъ, то главнымъ проявленіемъ ихъ любви были прогулки пѣшкомъ и въ экипажахъ мимо оконъ своихъ возлюбленныхъ. Эти прогулки технически назывались *ѣздою по пунктамъ*. Все это было смѣшно, но дѣлалось такъ мило благородно и украшалось всегда такой неподдѣльной веселостью молодости, что, хотя я не былъ еще посвященъ въ ихъ таинства, я отъ души веселился, глядя на ихъ исполненныя свѣжести и веселья добрыя смѣющіяся лица. —

* № 26 (I ред.).

Въ это самое время мимо него проходила горничная Маша съ графиномъ въ рукахъ. — «А ты все хорошѣешь», сказалъ онъ тихо, наклоняясь къ ней и останавливая ее за руку. — «Позвольте, сударь, Марья Ивановна и то гнѣваются, что долго воды нѣтъ», сказала она, стараясь высвободить свою руку.— Папа еще ближе наклонился къ ней, и мнѣ показалось, что онъ губами коснулся ея щеки. Когда я увидѣлъ это, мнѣ стало ужасно стыдно и больно, какъ будто я сдѣлалъ самое дурное дѣло, и на цыпочкахъ выбрался изъ корридора. Но папа вѣрно замѣтилъ меня. — «Что жъ ты скоро-ли, Вольдемаръ?» крикнулъ онъ еще разъ, подергивая плечомъ и покашливая. —

* № 27 (II ред.).

Странная новость.[1]

всего общества веселыми разсказами и шуточками, а напротивъ сидѣлъ, насупившись и безпрестанно досадывалъ то на бабушку, то на людей, то на насъ. Любочку онъ не ласкалъ и не дарилъ больше, и въ нѣсколько недѣль, которыя продолжалось такое расположеніе, онъ такъ осунулся и постарѣлъ, что жалко было смотрѣть на него. — Угрюмое, печальное расположеніе его духа отразилось и на всѣхъ домашнихъ: бабушка стала еще ворчливѣе и слабѣе — такъ что мы по нѣскольку дней не видали ея; Мими безпрестанно о чемъ-то шепталась то съ Катенькой, то съ St.-Jérôm'омъ, то съ горничными и тотчасъ же умолкала, какъ только подходили къ ней; пріѣзжавшая Княгиня Корнакова съ какой-то таинственной печалью посмотрѣла на насъ и сказала про себя, но такъ, что всѣ могли слышать: «бѣдныя дѣти!» Однимъ словомъ, во всемъ видно было, что въ домѣ что-то неладно. —

Когда же папа вдругъ объявилъ, что онъ на неопредѣленное время долженъ ѣхать въ деревню, то этотъ неожиданный отъѣздъ еще больше удивилъ насъ и огорчилъ, какъ казалось, тѣхъ, которые знали причину его. Бабушка не хотѣла даже проститься съ папа, а на лицахъ всѣхъ людей, въ особенности Николая, были такія недовольныя и грустныя выраженія,

[1] *Помета позднейшая.*

когда они провожали папа, что, казалось, этотъ отъѣздъ долженъ былъ повергнуть ихъ въ какое нибудь ужасное несчастіе. —

До самой весны, т. е. три мѣсяца, продолжалось отсутствіе папа и таiное безпокойство во всѣхъ домашнихъ, причины котораго, несмотря на все наше раздраженное любопытство, оставались отъ насъ скрытыми. —

15 Апрѣля, только что мы проснулись, Николай объявилъ намъ, что въ ночь Петръ Александровичь изволили пріѣхать и по требованію бабушки изволили пойдти къ нимъ. —

Я сбѣжалъ внизъ, чтобы поскорѣе увидать его, но Гаша, явившаяся изъ двери бабушкиной комнаты, съ слезами на глазахъ сказала мнѣ: «нельзя» и, махнувъ рукой, скрылась за дверью. —

Я слышалъ голоса папа и бабушки, но не могъ разобрать, что они говорили. Голоса постепенно возвышались, и мнѣ казалось, что бабушка плакала. Наконецъ, дверь отворилась, и я ясно слышалъ, какъ бабушка сквозь слезы, дрожащимъ, но громкимъ голосомъ скорѣе прокричала, чѣмъ сказала: «я не могу васъ видѣть послѣ этаго, уйдите, уйдите»; а папа, въ сильномъ волненіи выйдя изъ комнаты, прошелъ прямо во флигель, откуда дней пять, во время которыхъ послы отъ бабушки не переставали бѣгать къ нему, не приходилъ къ намъ.—

Любопытство мое, доведенное этимъ обстоятельствомъ до высшей степени, случайно было удовлетворено въ тотъ же день, то есть прежде, чѣмъ папа самъ открылъ намъ причину всѣхъ бывшихъ тревогъ. — Подходя вечеромъ къ буфету, чтобы попросить себѣ стаканъ воды, слова, сказанныя въ это время Николаемъ, поразили меня и заставили прислушаться къ слѣдующему разговору. —

«Графиня, кажется, очень недовольны остались, Демьянъ Кузмичь?» говорилъ Николай.

— «Не то ужъ, что довольны, отвѣчалъ Демьянъ, а очень, сказываютъ, изволили гнѣваться. Какая, говоритъ она ни есть, а коли ты послѣ моей дочери другую взялъ, такъ ты мнѣ не сынъ. Одно..... Коли бы не внучка, еще не то бы было»

— «Скажи-ты!» замѣтилъ Николай. —

— «Вотъ-то не думали, не гадали, продолжалъ Демьянъ, помолчавъ немного, чтобы въ такихъ лѣтахъ барыню взялъ. Кажется, и дѣтей себѣ имѣетъ и имѣнье достаточное, чего бы кажется!» —

— «Сказываютъ, и приданаго за ней мало и родства не высокаго». —

— «Какой! возразилъ Николай, намъ коротко извѣстно — 200 душъ въ Митюшиной у старой барынѣ есть, да ужъ такъ-то поразорилъ баринъ, что ихніе-же сказывали — житья мужичкамъ не стало. Самъ-то онъ, Богъ его знаетъ, изъ какихъ, въ судѣ прежде служилъ, одинъ, говорятъ, чемоданишка былъ.»—

— «И чего польстился, кажется?»

— «Карты все довели, продолжалъ Николай, черезъ нихъ больше и дѣло вышло. — Михѣй Иванычь мнѣ все чисто разсказалъ. — Какъ проиграли они здѣсь денегъ много — что дѣлать? подъ Петровское векселей и надавали. Пришло наконецъ тому дѣлу, что платить надо, вотъ они въ деревню и ускакали, хотѣли, говорятъ, ужъ вовсе Петровское продавать. Туда кинулись, сюда кинулись, никто, говоритъ, безъ залога денегъ не даетъ — шутка-ли дѣло 120 тысячь? Поѣхалъ онъ, говоритъ, къ Савинымъ, тоже хотѣлъ денегъ искать. Ужъ, говоритъ, коли меня доведутъ, чтобъ имѣнье продавать, такъ никому, говоритъ, не хочу, какъ вамъ. Извѣстно, сосѣдское дѣло. Ну а [у] Савиной деньги были, она и говоритъ, что жъ, говоритъ, коли вы, говоритъ, мнѣ такую бумагу напишете, что Петровское мое будетъ, я вамъ помогу. — Хорошо. Стали бумагу писать; а между тѣмъ дѣломъ — извѣстно вѣдь не вокругъ пальца обернуть — недѣли двѣ прошло, что ни день, онъ къ нимъ, да съ дочерью ихнею, все книжки да картинки, да въ санкахъ гулять. Человѣкъ онъ, хоть не больно молодой, а любовный человѣкъ, да и, кажется, всѣмъ извѣстно, она красавица, что и говорить — и барыня покойница ее любила — дальше да больше, рюши да трюши, дошло наконецъ тому дѣло до того, что довелъ онъ ее, то-есть, одно слово, послѣднее дѣло. —

— «Вишь-ты!» сказалъ Демьянъ.

— «Хорошо. Пріѣзжаетъ такимъ родомъ вечеромъ, ну а ужъ тамъ, черезъ кого-бы ни было — можетъ и сама дочь повинилась, отцу съ матерью все извѣстно было. — Пріѣзжаетъ; она одна въ гостиной сидитъ, онъ, извѣстно, къ ней, цѣлуетъ, обнимаетъ, ну, извѣстно... а тутъ, хлопъ! изъ двери мать съ образомъ. Какъ! говоритъ, я тебѣ добродѣтель хотѣла исдѣлать, а ты такъ-то дочь мою погубилъ, либо, говоритъ, женись сейчасъ, либо говоритъ..... а тутъ и отецъ, я, говоритъ, въ судъ, я, говоритъ, такъ не оставлю, ты, говоритъ, мнѣ всѣмъ имѣньемъ за дочь мою не откупишься.....»

— «Экое дѣло, экое дѣло! тц-тц-тцы!» сказалъ Демьянъ.

Въ тотъ же день папа, призвавъ насъ къ себѣ, сказалъ съ улыбочкой, что мы вѣрно никакъ не ожидаемъ новость, которую онъ намѣренъ объявить намъ. «Помните вы дочь Савиной?» спросилъ онъ.

— «La belle Flamande?»[1] — сказалъ Володя.

— «Да. Знаешь ли, какъ она тебѣ приходится теперь?»

— «Догадываюсь, сказалъ Володя, тоже улыбаясь, мачихой? Поздравляю тебя папа...»

Папа поцѣловалъ насъ и сказалъ, что, какъ только Володя кончитъ экзаменъ, то мы всѣ поѣдемъ въ деревню, чтобы

[1] [Красавица фламандка?]

познакомиться съ новой родней. «Надѣюсь, друзья мои, прибавилъ онъ немного грустно, что вы изъ любви ко мнѣ будете».

* № 28 (I ред.).

Начало дружбы. XXX.

Съ тѣхъ поръ, какъ я видѣлъ передъ собой примѣръ — блестящій успѣхъ Володи, и время моего поступленія въ Университетъ приближалось, я учился лучше. Развлеченія мои были тѣже: манежъ 2 раза въ недѣлю, дѣвичья и мечты и размышленія. Но съ нѣкотораго времени главной моей страстью сдѣлалось общество Володи и его товарищей. Несмотря на то, что между ними я игралъ самую жалкую безсловесную роль, я по целымъ часамъ въ свободное время проводилъ между ними и истинно горевалъ, когда они уходили, и я не могъ слѣдовать за ними. —

Чаще всѣхъ видѣлъ я у Володи 2 молодыхъ людей, которые оба казались очень дружными съ нимъ. Первый изъ нихъ былъ ⟨студентъ уже 3-го курса⟩ чей-то адъютантъ Ипполитъ ⟨Травинъ,⟩ а другой — товарищъ его по курсу и факультету ⟨Николай К.⟩ Н. Нехлюдовъ. Дубковъ былъ человѣкъ уже лѣтъ 25, и имянно его 25 лѣтъ были главной привлекательностью. Я понималъ, какъ пріятно Володѣ сойдтись на *ты* съ адъютантомъ, человѣкомъ, который уже давно брѣетъ свою бороду. Кому не случалось встрѣчаться съ людьми, которые пріятны имянно тѣмъ, что они ограниченны. Сужденія ихъ всегда односторонни; доброе сердце даетъ имъ хорошее направленіе, и поэтому всѣ сужденія ихъ кажутся увлекательными, безошибочными. Узкой эгоизмъ ихъ даже какъ-то кажется милымъ, имянно потому что чувствуешь, — человѣкъ этотъ не можетъ ни поступать, ни обсудить вещи иначе и все, что дѣлаетъ, дѣлаетъ отъ души. Таковъ былъ Дубковъ, но, кромѣ того, онъ имѣлъ для насъ прелесть самой добродушной, гусарской физіономіи, (глупость которой скрадывалась нѣсколько воинственностью) и, какъ я уже сказалъ — прелесть возраста, съ которымъ очень молодые люди почему-то имѣютъ склонность соединять и смѣшивать понятіе порядочности, comme il faut.— Разсуждая теперь, я очень ясно вижу, что Володя, который былъ совершеннымъ типомъ того, что называется enfant de bonne maison,[1] былъ въ 10 разъ порядочнѣе Губкова; но замѣтно было, что Володя сильно боялся Губкова имянно въ этомъ отношеніи, часто дѣлалъ то, чего ему не хотѣлось дѣлать, и скрывалъ то, чего вовсе не нужно было скрывать. Особенно непріятно мнѣ было то, что Володя часто какъ будто стыдился и боялся за меня передъ своими пріятелями. Дру-

[1] [дитя из хорошей семьи,]

гой его пріятель К. Нехлюдовъ былъ худощавый, длинный молодой человѣкъ съ бѣлокурой головой, голубыми глазами, выражавшими упрямство и доброту, и съ совершенно дѣтской добродушной, нетвердой улыбкой. Онъ очень часто краснѣлъ, но никогда не конфузился до того, чтобы путаться, мѣшаться и дѣлаться неловкимъ. — Бывало у него слезы на глазахъ, уши, шея, щеки покраснѣютъ, какъ будто въ сыпи [?], и слезы [?], а онъ продолжаетъ, несмотря ни на что, говорить то, что началъ своимъ иногда тонкимъ серебристымъ голосомъ, переходящимъ иногда въ грубый баритонъ. Онъ не отставалъ отъ удовольствій Дубкова и Володи, но видно было, что онъ совсѣмъ иначе смотрѣлъ на нихъ и часто пускался въ разсужденія, на которыя Дубковъ и Володя смѣялись, и которыя трудно было понимать, но которыя для меня были ясны. Я часто разсуждалъ также самъ [съ] собою. И я чувствовалъ, что между нами много общаго. Онъ часто ссорился съ Володей и Дубковымъ и ссорился только за то, что съ нимъ не соглашались. Въ этихъ случаяхъ онъ вскакивалъ и убѣгалъ, не простившись ни съ кѣмъ. Дубковъ и Володя видимо имѣли къ нему чувство въ родѣ уваженія, хотя и смѣялись надъ нимъ, наз[ывая] чудакомъ, потому что они всегда старались помириться съ нимъ, на что онъ всегда былъ готовъ. — Отецъ и мать его давно умерли, оставили ему очень большое состояніе; онъ жилъ съ старой теткой, которая воспитывала его, и въ отношеніи которой онъ не позволялъ себѣ говорить въ нашемъ обществѣ ни слова. Всегда старался удерживать Володю и Дубкова, когда они слишкомъ легко говорили о своихъ родныхъ, и съ такимъ грознымъ и вмѣстѣ дѣтскимъ выраженіемъ хмурилъ брови, когда шутя намекали на его тетушку, что видно было — онъ ни за что и никому не позволитъ, хотя невинно, шутить о такомъ предметѣ. Н. Нехлюдовъ поразилъ меня съ перваго раза, но чувство, которое онъ внушилъ мнѣ, было далеко не пріязненное. Разговаривая съ Володей, онъ иногда взглядывалъ на меня такъ строго и такъ равнодушно (какъ будто ему все равно было смотрѣть на меня, или на обои), что зло меня брало на него, и мнѣ, во что бы то ни стало, хотѣлось наказать его за его гордость. Часто слушая его разсужденія, мнѣ хотѣлось противорѣчить ему и казалось, я могъ совершенно уничтожить его, но я чувствовалъ, что я еще малъ и не долженъ смѣть вступать въ разговоры съ большими, и онъ становился мнѣ еще больше противенъ, но противенъ такъ, что, какъ только я слышалъ его голосъ внизу, я не могъ утерпѣть, чтобы не сойдти внизъ и не могъ уйдти оттуда, пока онъ оставался тамъ. — Одинъ разъ я сидѣлъ на своемъ обычномъ мѣстѣ въ комнатѣ Володи. Дубковъ, Нехлюдовъ и Володя сбирались куда-то идти и пили [?] бутылку шампанскаго, чтобы пріобрѣсти которую они сдѣлали складчину. Былъ великій постъ, и время приближалось къ экзаменамъ. — «Да, надо

будетъ приняться», говорилъ Володя: «у тебя есть тетрадки?»— «Будутъ», сказалъ Н. Нехлюдовъ. — «Скажи пожалуйста, трудно это ваши экзамены?» сказалъ Дубковъ. — «Коли держать такъ, какъ слѣдуетъ, очень трудно», сказалъ Нехлюдовъ. Дубковъ: «У насъ въ школѣ тоже было трудно. Я никогда бы ничего не зналъ, но умѣлъ такъ устроивать [*1 неразобр.*] пускать пыль въ глаза [*1 неразобр.*] однако разъ дяди Р.... не было на экзаменѣ, а то при немъ другое дѣло, мнѣ изъ исторіи, изъ Древней и [*1 неразобр.*] изъ всего наставили единицъ. Я увидалъ, что плохо, знаешь, разсердился, сказалъ себѣ, что выйду же въ гвардію, и принялся серьезно. Черезъ годъ я первый ѣздокъ былъ, меня сдѣлали вахмистромъ. Самъ Великій Князь меня замѣтилъ, и выпустили, куда я хотѣлъ. Только стоитъ разсердиться. Ты скорѣе разсердись [?] Володя: «Да нѣтъ, мнѣ что? Я всегда перейду, не хочется корпѣть. Что за охота мучить себя, чтобъ получать 5, а не 3, развѣ не все равно? Напротивъ, еще какъ-то непріятно и mettre en lieu[1] со всѣми этими Заверзиными, Полетаевыми. У нихъ своя дорога, у меня своя. Правда, тоже Г. говоритъ, que c'est mauvais genre[2] получить больше 3». Нехлюдовъ: «Этого я не понимаю. Г. говоритъ глупость, а ты повторяешь. Что это за гордость, что не хочешь стать en lieu съ Заверзиными и Полетаевыми. Чѣмъ они хуже тебя? Можетъ быть Заверзинъ учится затѣмъ, чтобы потомъ содержать свое семейство, а ты находишь, что тебѣ стыдно съ нимъ равняться. Чѣмъ же ты лучше его? скажи пожалуйста». —

Володя: «Не лучше, а у каждаго свое самолюбіе: у него, чтобы лучше учиться, а [у] меня въ другомъ родѣ. У всякаго оно есть». Нехлюдовъ: «Очень дурно, что оно у тебя есть, потому что самолюбіе есть только желаніе казаться лучше, чѣмъ есть, а хорошій человѣкъ долженъ стараться быть лучше, а не казаться, а какъ скоро привыкнешь все дѣлать для внѣшности, невольно оставишь существенное безъ ко....» Дубковъ: «Ну ужъ пожалуйста оставь твою философію — ничего веселаго нѣтъ. Положимъ, я самолюбивъ, но мнѣ кажется, что каждый тоже самое, и поэтому не вижу[3]

* **№ 29** (I ред.).

дамъ ѣздятъ на хоры, а дѣти всегда. Впрочемъ, ежели вамъ угодно, то», прибавилъ онъ замѣтивъ, что бабушка повернула голову, что было дурной знакъ: «можно взять и кресла».

— «Не безпокойтесь, мой милый, я сама возьму», и бабушка позвонила и послала дворецкаго за билетами для всѣхъ насъ въ 1-й рядъ.

---

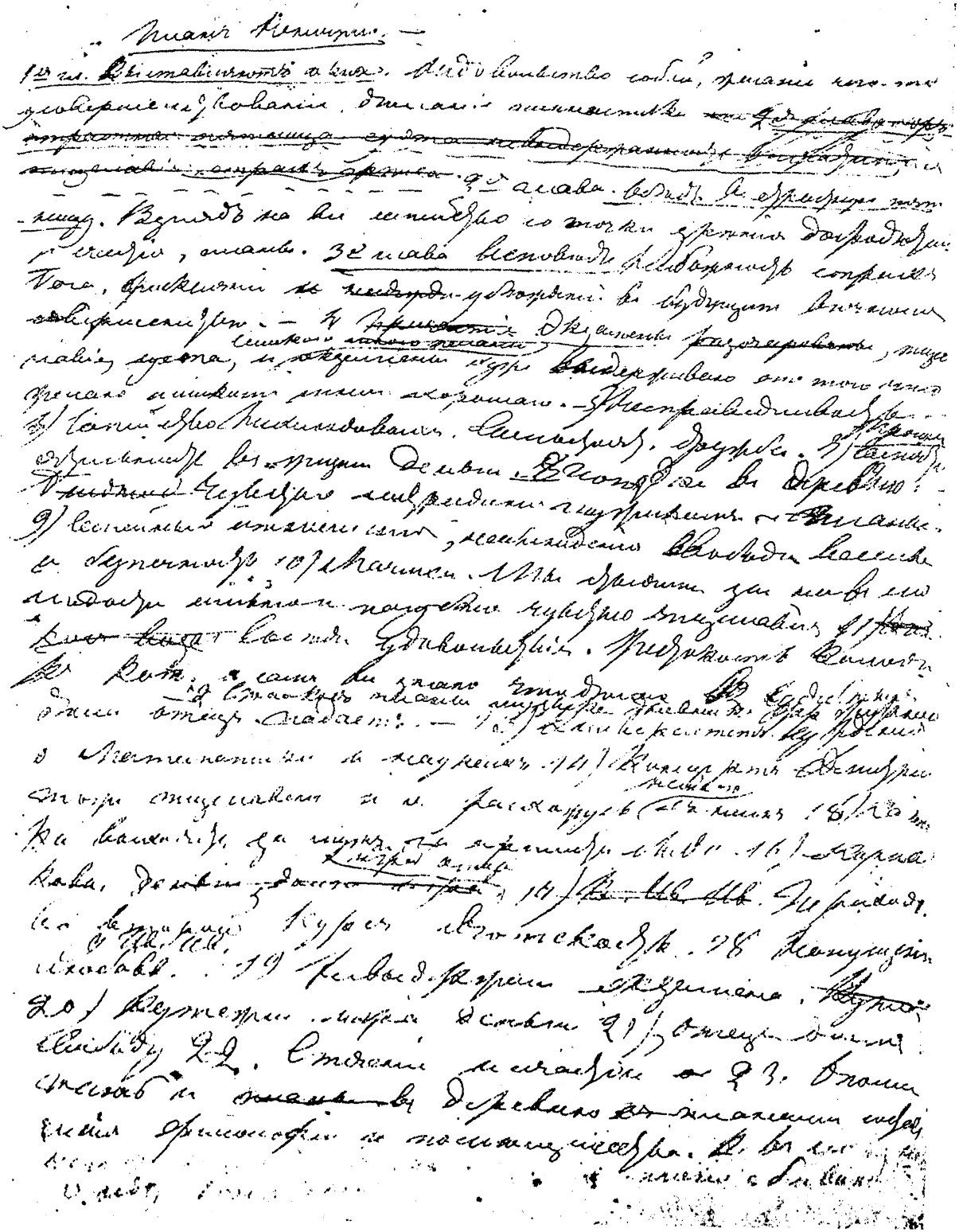
[1] [стать на равную ногу]
[2] [что это дурной тон]
[3] *дальше вырвано сколько-то страниц.*

На другой день, когда мы передъ концертомъ хотѣли идти показаться бабушкѣ, Гаша съ заплаканными глазами выбѣжала на встрѣчу и сказала, что бабушкѣ хуже. Я никогда еще не бывалъ въ такомъ большомъ собраніи. Одежды дамъ, мундиры, шляпы, сабли, эполеты, фраки, безчисленные ряды стульевъ, освѣщеніе, не клавшее нигдѣ тѣни — все это поразило меня, такъ что я долго ничего не могъ различить. Наконецъ, отдѣлилась эстрада, на ней пюпитры; дамы, сидящія, [*1 неразобр.*] и кавалеры, статскіе и военные, стоящіе спиной къ эстрадѣ. Отчего одни стояли въ заднемъ углу залы и смерть хотѣли выдти впередъ, но не смѣли переступить эту заколдованную черту, отчего другіе прямо проходили впередъ, это я уже понималъ. Въ числѣ послѣднихъ былъ и знакомый Дубковъ съ воинственной наружностью, съ шляпой съ плюмажемъ, отставивъ одну ногу въ лаковомъ сапогѣ и опираясь рукой на саблю противъ Володи въ своемъ студенческомъ сюртукѣ, который такъ хорошо обрисовывалъ его длинную, стройную талію, съ его веселыми, черными глазами и головой. Онъ долженъ былъ обращать вниманіе своей пріятной наружностью. Оба они небрежно разговаривали между собой, смѣялись, переходили съ однаго конца полукруга на другой и подходили къ дамамъ. Особенно Дубковъ всякій разъ, когда подходилъ и такъ фамильярно говорилъ съ ними, и такъ чистосердечно заставлялъ ихъ смѣяться, что онъ мнѣ очень нравился. Одно нехорошо было, что они оба какъ будто боялись и не знали насъ. Должно ужасная тóка [?] съ брусничными цвѣтами подѣйствовала на Володю непріятно. Онъ разъ только нечаянно подошелъ къ намъ, и видно было, что ему какъ можно скорѣе хотѣлось говорить съ нами. Тутъ былъ и папа, который сидѣлъ съ какимъ-то генераломъ около самой эстрады, и Нехлюдовъ, который казался еще болѣе гордымъ въ этомъ обществѣ, какъ будто онъ все боялся, что вотъ оскорбятъ его; но несмотря на это, какъ только онъ увидалъ меня, онъ подошелъ ко мнѣ, долго говорилъ со мной, показалъ мнѣ свою страсть, въ которую я тотчасъ же влюбился, взялъ меня за руку и повелъ представлять своей теткѣ. Тетка его, которая была (Загоскина) сказала, что она такимъ ожидала меня по разсказамъ Н., что точно у меня умная рожа, продолжала говорить съ папа, и я невольно слышалъ ихъ разговоръ. «Богъ знаетъ, что случится, говорилъ папа серьезно: и вы знаете, что я готовъ бы все сдѣлать, но я не могу. У васъ такъ хорошо все заведено въ Институтѣ, что я лучше не могу желать воспитанія для своей дочери». — «Вы знаете мои отношенія съ Графиней, и мнѣ больно будетъ думать, что я дѣлаю, что̀ ей не нравилось бы. Впрочемъ подумаемъ, привозите ко мнѣ дѣвочку». — Я ушелъ на свое мѣсто. Пріѣхавъ изъ концерта, мы нашли бабушку на столѣ. Горесть Гаши была ужасна. Она заперлась на чердакѣ и недѣлю ничего не пила, не ѣла. —

Monsieur St.-Jérôm'a отпустили, Любочку отдали Кривцивой, а я съ папа, простясь дружески съ Нехл[юдовымъ] и [*1 неразобр.*] поѣхалъ въ деревню... Володя не выдержалъ однаго экзамена и въ Іюлѣ мѣсяцѣ долженъ былъ переэкзаменоваться и пріѣзжать къ намъ. —

Я проснулся отъ шума, который производили косари. Мнѣ хотѣлось принять участіе; я чувствовалъ, что я одинокъ. Пріѣхалъ Нехлюдовъ. Мы пошли въ садъ. Онъ отдалъ мнѣ письмо Мими къ папа, на адресѣ котораго былъ [*1 неразобр.*]. Я прочелъ его. Мими проситъ отца принять мѣры насчетъ любви Володи къ Катенькѣ, которая заходитъ далеко. Нехлюдовъ подтверждаетъ то же и говоритъ, что Володя долженъ жениться. Я разсказываю про Belle Flamande ⟨какъ она убѣжала со мной отъ отца, и я поцѣловалъ ее и пр.⟩ и ея отношенія съ отцомъ. Пріѣзжаетъ папа, который ночевалъ у Belle Flamande, сердитый и дурно принимаетъ моего друга. Мы ложимся спать въ саду, и Володя разсказываетъ намъ, что папа долженъ жениться, потому что его поймали. Нехлюдовъ даетъ мнѣ совѣты и примиряетъ меня съ своей [?]. Я мечтаю, грустя о своей матери, потомъ спрашиваю у Нехлюдова, о чемъ онъ думаетъ. Мнѣ кажется, что онъ думаетъ о томъ же, о чемъ и я, (Мы эгоисты) но онъ мечтаетъ за себя и разсказываетъ свои мечты жениться, успокоить тетку и дѣлать добро. —

Конецъ.



Рукопись плана «Юности»

Размер подлинника

V.

** ПЛАН «ЮНОСТИ».

Планъ «Юности». —

1-я гл. Выставляютъ окна. Недовольство собой, желаніе чего-то, усовершенствованіе, дѣланіе гимнастики. 2-я глава. Хоръ. Страстная пятница. Суета, невыдержанность впечатлѣнія, тщеславіе, страхъ грѣха. [1] 2-я глава. *Обѣдъ въ страстную пятницу.* Взглядъ на все семейство съ точки зрѣнія добродѣтели и сч с ія, планы. *3-я глава. Исповѣдь.* Набожность, страхъ Бога, раскаяніе и ⟨надежда⟩ убѣжденіе въ будущемъ вѣчномъ совершенствѣ. 4 ⟨*Причастіе*⟩ *Экзамены* ⟨разочарованье⟩, тщеславіе, суета и слишкомъ много желаній. Экзамены хуже выдерживаю отъ того, что желаю слишкомъ много хорошаго. — 5) Несправедливость. 6) Семейство Нехлюдовыхъ. Самостоят. дружба. 7) Прогулки. Самостоятельность въ жизни, деньги. — 8) Поѣздка въ деревню. — ⟨Бѣдное⟩ Чувство состраданія мужикамъ. Планы. 9) Семейныя отношенія, наблюденія. Свобода, веселье и безпечность. 10) Мачеха. Мы стыдимся за нее въ молодости, сильно и пагубно чувство тщеславія. ⟨11)⟩ Сосѣди, удовольствія. Жестокость Володи, къ кот. я самъ не знаю, что дѣлаю. 12) Судебныя дѣла, отецъ падаетъ. — 12) Сѣнокосъ, планы, музыка, дневникъ Фр[анклиновъ] журналъ. 13) Университетъ. Сужденія о Математикѣ и наукахъ. 14) Концертъ. Дмитрій тоже тщеславенъ, и я расхожусь немного съ нимъ. 15) Катенька выходитъ за мужъ за артиста [*1 неразобр*]. 16) Корнаковы ⟨деньги, долги, игра.⟩ Игра отца. 17) ⟨Кн[язь] Ив[анъ] Ив[ановичъ]⟩ Переходъ во второй курсъ, свѣтскость. 18) Напущен[ная] любовь. У Ив. Ив. 19) Не выдержалъ экзамена. 20) Кутежи, игра, деньги. 21) Отецъ даетъ свободу. 22) Стеченіе несчастій. 23) Опоминаюсь и въ деревню съ планами составленія философіи и помѣщичества, которые въ себѣ ничего не имѣютъ, кромѣ тоски. Меня сбиваютъ, я иду юнкеромъ. [2]

---

[1] *Со слов:* 2-я глава. Хоръ. *было зачеркнуто, потом восстановлено.*

[2] *Со слов:* которые в себѣ *написано карандашом.*

VI.

* ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ «ЮНОСТИ».

Глава 1-я. Выставляютъ окна.

Въ тотъ годъ, когда я поступалъ въ Университетъ, Святая была очень поздно, такъ что экзамены назначены были на фоминой, а на страстной я долженъ былъ и говѣть и приготавливаться. Какъ памятна для меня эта недѣля! Было начало Апрѣля — рожденіе весны — время года, болѣе всего отзывающееся на душу человѣка.

Я стоялъ передъ черной доской и рѣшалъ на память какое-то уравненіе изъ алгебры Франкера, которую, заложивъ страницу пальцомъ, держалъ въ другой рукѣ. Николай въ фартукѣ съ клещами и крылушкомъ выставлялъ окно, которое отворялось на полисадникъ. Это было въ страстную середу. Вечеромъ ⟨отецъ Евлампій, старичокъ,⟩ монахъ изъ Донского монастыря, духовникъ нашего дома, долженъ былъ пріѣхать исповѣдывать насъ, и я находился въ томъ особенномъ сосредоточенномъ въ самомъ себѣ и кроткомъ состояніи духа, которое испытываетъ каждый съ искренностью готовящійся къ исполненію христіянскаго обряда. — Работа и стукъ Николая развлекали и сердили меня, но вспомнивъ, что сердиться грѣхъ, я рѣшился дождаться, пока онъ кончитъ, положилъ книгу на столъ и подошелъ къ нему. Замазка была отбита, рама держалась только на кончикѣ гвоздя. —

«Позволь, я тебѣ помогу, Николай», сказалъ я, стараясь дать своему голосу самое кроткое выраженіе, и мысль, что я поступаю очень хорошо, подавивъ свою досаду и помогая ему, возбудила во мнѣ какое-то отрадное чувство. «Ежели рама выдетъ теперь сразу», сказалъ я самъ себѣ: «значитъ, дѣйствительно я поступилъ очень хорошо». Мы вмѣстѣ потянули за перекладины, рама подалась на бокъ и вышла. «Куда отнести ее?» сказалъ я.

— «Позвольте, я самъ управлюсь, отвѣчалъ Николай, надо не спутать, а то тамъ въ чуланѣ другія есть».

— «Я замѣчу ее», сказалъ я и понесъ раму.

Я бы очень радъ былъ, ежели бы чуланъ былъ версты за двѣ, и рама вѣсила бы въ пятеро больше: мнѣ бы доставило наслажденіе измучаться, относя ее.

Когда я вернулся въ комнату, кирпичики, цвѣточки и соленыя пирамидки были сняты, и Николай крылушкомъ сметалъ песокъ и сонныхъ мухъ въ растворенное окно. Свѣжій, пахучій весенній воздухъ уже проникъ въ комнату. Изъ окна слышался городской шумъ и чиликанье птичекъ въ полисадникѣ. Всѣ предметы были освѣщены ярче; легкій вѣтерокъ шевелилъ листья моей [?] алгебры и волоса на головѣ Николая, который съ засученными руками отковыривалъ замазку отъ притолокъ. Я подошелъ къ окну, облокотился на него, и мнѣ стало удивительно хорошо; но не одно хорошо — мнѣ было и грустно отчего-то. Проталинки въ палисадникѣ, на которыхъ кое-гдѣ показывались ярко зеленыя иглы новой травы съ жолтыми стебельками; ручьи мутной воды, по которымъ вились прутики и кусочки чистой земли; пахучій воздухъ; весенніе звуки — все говорило мнѣ: *ты могъ бы быть лучше, могъ бы быть счастливье!* Чувство природы указывало мнѣ почему-то на идеалъ добродѣтели и счастія. Мое прошедшее не совсѣмъ совпадало съ нимъ, и грусть, которую я чувствовалъ, была почти раскаяніе, но слившееся до того съ сознаніемъ будущности и убѣжденіемъ въ усовершенствованіи, что это было не чувство раскаянія, а чувство сожалѣнія и надежды, чувство юности. —

Николай уже давно смелъ подоконникъ и вышелъ изъ комнаты, а я все еще сидѣлъ у открытаго окна, полной грудью вдыхалъ воздухъ и думалъ: *я могу быть лучше и счастливье и буду лучше и счастливье.* Съ поступленіемъ въ университетъ, я перестаю быть ребенкомъ, я буду учиться такъ, чтобы быть первымъ не только въ Университетѣ, но во всей Россіи, во всей Европѣ, въ цѣломъ мірѣ. Нынче исповѣдаюсь — сложу съ себя всѣ старые грѣхи, (всѣ разскажу и раскаюсь) и ужъ больше ни за что не буду дѣлать этого. (Здѣсь я припоминаю всѣ грѣхи, которые приготовился разсказать духовнику, и одинъ ужасно мучаетъ меня, не потому, чтобы я находилъ его особенно тяжелымъ, но потому, что мнѣ стыдно будетъ сказать его Священнику). Съ нынѣшней весны начинаю рано вставать рано утромъ, потомъ, когда буду студентомъ, верхомъ буду ѣздить одинъ на Воробьевы Горы готовить лекціи, буду по цѣлымъ днямъ сидѣть на воздухѣ въ тѣни и читать, или буду рисовать виды; я не умѣю рисовать, но думаю, что выучусь отлично рисовать. Одна дѣвушка, брюнетка съ род[инкой] подъ губой и прав[?ымъ?] глаз[?омъ?], которая тоже ходитъ потихоньку гулять по утрамъ съ горничной на Воробьевы Горы, подойдетъ ко мнѣ и спроситъ, кто я такой. Я скажу: «Я сынъ Священника». Она подастъ мнѣ руку и скажетъ: «Я васъ понимаю», а я скажу: «садитесь сюда, подлѣ меня», и такъ просто, но печально посмотрю ей въ глаза. Она сядетъ и каждое утро въ

4 часа будетъ приходить. Потомъ я приведу Дмитрія туда же, и втроемъ будемъ проводить тамъ утра, будемъ есть молоко и фрукты. Потомъ я буду дѣлать упражненія и гимнастику каждый день, такъ что буду сильнѣе всѣхъ въ дворнѣ, въ университетѣ, сильнѣе Раппо буду. —

— «Пожалуйте кушать», сказалъ вошедшій слуга.

Глава 2-я. Хоръ.

Передъ самымъ обѣдомъ Нехлюдовъ и Дубковъ проходили черезъ столовую изъ комнаты Володи.

— «Restez dîner avec nous, petit Prince»,[1] сказалъ папа Нехлюдову: «ежели вы не боитесь нашей постной бѣшеной коровы».

Дмитрій пожалъ мнѣ руку и сѣлъ подлѣ меня.

— «Сколько мнѣ вамъ сказать нужно», сказалъ я ему, думая передать ему мое чувство умиленія сегодняшняго утра.

За обѣдомъ папа говорилъ о томъ, какъ мы проведемъ лѣто.

— «Только бы Nicolas выдержалъ хорошо экзаменъ, сейчасъ же въ деревню и за хозяйство: Вольдемаръ будетъ смотрѣть за полевыми работами, Nicolas за постройками, Люба съ Катенькой за скотнымъ дворомъ, а я буду только присматривать. И вы пріѣзжайте къ намъ, petit Prince. Боюсь только, чтобы этотъ не задержалъ меня», добавилъ онъ, съ улыбкой кивая на меня.

— «О, вѣрно нѣтъ, отвѣчалъ Дмитрій, въ этомъ я увѣренъ. Ежели только онъ васъ задерживаетъ, то мы вмѣстѣ M-r St.-Jérôm'омъ къ вамъ». —

— «А въ самомъ дѣлѣ, вѣдь ты не кончишь раньше Мая? а теперь лучшее время. Вамъ бы я поручилъ его, ежели вы обѣщаете пріѣхать? J'en parlerai ce soir à votre mère.[2]

Дмитрій краснѣя сказалъ, что не знаетъ, какъ можно ему поручить, но просилъ, чтобы мнѣ позволили остаться. Обѣщалъ пріѣхать вмѣстѣ со мной. И было рѣшено, что папа, не дожидаясь меня, ѣдетъ на 2-й день пасхи. —

Послѣ обѣда Дубковъ подошелъ къ закрытымъ фортепьянамъ, открылъ и заигралъ: «Нынѣ силы небесныя».

— «Спойте, спойте, mon cher, сказалъ папа, подергивая плечомъ, я это очень люблю». И самъ запѣлъ своимъ добрымъ, но сиплымъ голосомъ. Дубковъ баритономъ сталъ вторить ему. —

— «Нѣтъ, безъ тенора нельзя, а у насъ съ Нехлюдовымъ отлично идетъ, Нехлюдовъ, поди сюда, пой: *Ны.. и.. нѣ....*

Но Дмитрій въ это время стоялъ со мной у стола и сбирался, какъ я замѣчалъ, но не смѣлъ сказать что-нибудь Любочкѣ, стоявшей около насъ и тоже сбиравшейся, но не смѣвшей

---

[1] [Останьтесь обедать с нами, милый князь,]

[2] [Я поговорю об этом сегодня вечером с вашей матерью.]

начать говорить съ нимъ Онъ сдѣлалъ, какъ будто не слыхалъ Дубкова. —

— «Развѣ онъ поетъ?» спросилъ папа.

— «Еще какъ, сказалъ Дубковъ, подобнаго тенора вы вѣрно не слыхивали, особенно духовное c'est son triomphe.[1] Нехлюдовъ, поди же сюда».

— «Подите, подите сюда», закричалъ папа. —

— «Ты — первый голосъ, вы — второй, Петръ Александровичъ, и Володя съ вами». —

— «Гдѣ ему», сказалъ папа, хотя у Володи былъ голосъ очень вѣрный и пріятный, но, какъ мнѣ показалось, уже по привычкѣ считать въ своихъ дѣтяхъ все хуже, чѣмъ въ постороннихъ.

— «Я басъ, продолжалъ Дубковъ, вы, M-le Catherine, идите за Петромъ Александрычемъ, а вы, M-lle Иртеньевъ.....»

— «Нѣтъ, куда мнѣ», съ испуганнымъ лицомъ заговорила Любочка.

— «Ну, вы — плохъ», докончилъ Дубковъ, обращаясь ко мнѣ.

Я улыбнуля.

Хоръ пошелъ прекрасно, хотя у папа иногда не доставало голоса, Катенька, нисколько не смущаясь, сильно фальшивила, и Дубковъ вырабатывалъ слишкомъ смѣлыя фіоритуры; но Дмитрій покрывалъ всѣхъ своимъ чуднымъ, сильнымъ груднымъ теноромъ, о которомъ я и не подозрѣвалъ, и о которомъ онъ ни разу не упоминалъ мнѣ. Голосъ его былъ такъ хорошъ, что, когда онъ запѣлъ, на лицахъ всѣхъ я прочелъ удивленіе и даже какую-то торжественность, какъ будто каждый сказалъ самъ себѣ: «Э! да это не шутки». У папа, какъ всегда при подобныхъ случаяхъ, выступили слезы на глазахъ. Катенька почувствовала немного, что она вретъ, и запѣла тише, Дубковъ улыбался и мигалъ всѣмъ, указывая головой на Дмитрія, а Любочка, облокотившись о фортепьяно и открывъ немного ротъ, пристально, не мигая, смотрѣла прямо въ ротъ Нехлюдову, и въ большихъ глазахъ ея замѣтно было какое-то особенное одушевленіе удовольствія. Я, какъ и всегда въ минуты сильныхъ ощущеній, чувствовалъ особенную склонность къ наблюденіямъ и замѣтилъ, что Дмитрій чувствовалъ устремленные на него взоры Любы, но не взглядывалъ на нее, хотя ему этаго очень хотѣлось. И еще я замѣтилъ, что Любочка не дурна en trois quarts.[2] Я смотрѣлъ на нее и не такъ смѣшна, какъ всегда, мнѣ казалась, и что она очень добрая хорошая дѣвушка, ежели ей такъ нравится мой Дмитрій. Именно съ этаго памятнаго для меня хора *«нынѣ силы небесныя»* получилъ я новый взглядъ на свою сестру и сталъ дѣлать много чудныхъ плановъ насчетъ ея будущности.

---

[1] [имеет громадный успех.]

[2] [в три четверти.]

Глава 2-я. Исповѣдь.

Въ сумерки меня позвали слушать правила передъ исповѣдью. Духовникъ нашъ, сѣдой, худощавый старичокъ, съ умнымъ и чрезвычайно строгимъ выраженіемъ лица, прочелъ намъ ихъ, и благоговѣйный страхъ, почти трепетъ, охватилъ меня при словахъ: «откройте всѣ ваши прегрѣшенія безъ стыда, утайки и оправданія, и душа ваша очистится передъ Богомъ; а ежели утаите что-нибудь, грѣхъ большой будете имѣть».

Первый прошелъ папа исповѣдываться въ комнату бабушки, освѣщенную одной лампадкой, висѣвшей передъ кивотомъ, и свѣчкой, стоявшей на налоѣ, на которомъ были крестъ и Евангеліе. Я видѣлъ это въ дверь и видѣлъ, какъ папа, крестясь, преклонилъ свою сѣдую, плѣшивую голову подъ эпатрахиль монаха. Папа исповѣдывался очень долго, и во все это время мы молчали или шопотомъ переговаривались между собой. — Выходя изъ двери, онъ кашлянулъ и подернулъ нѣсколько разъ плечомъ, какъ-будто желая возвратиться къ нормальному положенію, но по его глазамъ замѣтно, ему было что-то неловко.

— «Ну, теперь ты ступай, Люба», сказалъ онъ ей, щипнувъ ее за щеку.

Любочка ужасно испугалась и долго не могла рѣшиться отворить дверь. Она нѣсколько разъ доставала изъ кармана фартука записочку, на которой были записаны ея грѣхи, и снова прятала, нѣсколько разъ подходила и отходила отъ двери; она чуть не плакала и робко улыбалась.

Любочка пробыла недолго въ исповѣдной комнатѣ, но, выходя оттуда смѣшная дѣвочка плакала навзрыдъ — губы сдѣлались толстыя, растянулись, и плечи подергивались. Наконецъ, послѣ хорошенькой Катиньки, которая улыбаясь вышла изъ двери, насталъ и мой чередъ. Я съ какимъ-то тупымъ апатическимъ чувствомъ боязни отворилъ дверь и вошелъ въ полуосвѣщенную комнату. Отецъ Макарій стоялъ передъ налоемъ и медленно съ строгимъ выраженіемъ обратилъ ко мнѣ свое прекрасное старческое лицо — .....

Не хочу разсказывать подробностей тѣхъ минутъ, которыя я провелъ на исповѣди. Скажу только, что я вышелъ изъ комнаты счастливымъ такъ, какъ едва ли я былъ когда-нибудь въ жизни. — Но вечеромъ, когда я уже легъ въ постель въ этомъ отрадномъ состояніи духа, меня вдругъ поразила ужасная мысль: «я не сказалъ однаго грѣха». Почти всю ночь я не могъ заснуть отъ моральныхъ страданій, которыя возбуждала во мнѣ эта мысль; я каждую минуту ожидалъ на себя Божіе наказаніе за такое ужасное преступленіе. Нѣсколько разъ на меня находилъ ужасъ смерти, я вздрагивалъ и просыпался. Наконецъ, къ утру рѣшился идти пѣшкомъ въ Донской монастырь еще разъ исповѣдываться и сказать ему затаенный грѣхъ. —

Тринадцатая страница рукописи 1 редакции «Юности»

Размер подлинника.

Чуть только забрезжилось, я всталъ, одѣлся и вышелъ на улицу. Не было еще ни однаго извозчика, на которыхъ я разсчитывалъ, чтобы скорѣе съѣздить и вернуться, только тянулись возы, и рабочіе каменщики шли по тротуарамъ. Пройдя съ полчаса, стали попадаться люди и женщины, шедшія съ корзинами за провизіей, бочки, ѣдущія за водой, на перекресткѣ вышелъ калачникъ, отворилась булочная и около Кре..... попался калиберный извощикъ. Я обѣщалъ ему 2 рубли ассигнаціями, все, что было у меня, чтобы онъ свезъ меня до Донского монастыря, но онъ требовалъ 3. Я тотчасъ же согласился, разсчитывая занять у Василья, когда мы вернемся. — Солнце уже поднялось довольно высоко, когда мы пріѣхали, но въ тѣни еще держался морозъ. По всей дорогѣ съ шумомъ текли быстрые, мутные ручьи. Войдя въ ограду, я спросилъ, гдѣ Отецъ Макарій, у молодаго, красиваго монаха, который, развязно размахивая [*1 неразбор.*], проходилъ въ Церковь. Монахъ какъ-то недоброжелательно и подозрительно посмотрѣлъ на меня.

— «А на что вамъ Отца Макарія?» спросилъ онъ сердито.

— «Нужно мнѣ [*2 неразбор.*]» робко проговорилъ я.

— «У заутрени вѣрно, гдѣ больше? А можетъ и въ кельѣ». — При видѣ этого монаха, не имѣющаго ничего общаго со мной и никакъ не предполагавшаго моихъ мыслей, предпріятіе мое самому мнѣ показалось слишкомъ смѣлымъ и несообразнымъ, и я съ непріятнымъ чувствомъ замѣтилъ свое забрызганное платье и наружность, вообще не подходящую ни къ какому разряду людей, такъ что я никакъ не могъ придумать, что обо мнѣ думаютъ монахи и за кого меня принимаютъ. — Однако нерѣшительность моя продолжалась недолго, я направился кельѣ Отца Макарія съ тѣмъ, чтобы дожидаться его. На стукъ мой въ двери какой-то криворукой старичокъ съ сѣдыми бровями вышелъ ко мнѣ и, подозрительно осмотрѣвъ съ ногъ до головы мою фигуру, спросилъ густымъ басомъ: «Кого вамъ надо?»

Была минута, что я хотѣлъ сказать «ничего» и безъ оглядки бѣжать домой; но тотчасъ же мнѣ пришла мысль, что я преодолѣваю великія препятствія, [и] увеличила во мнѣ энергію. Я сказалъ, что мнѣ по очень важному дѣлу нужно видѣть Отца Макарія. Криворукій служка провелъ меня черезъ чистенькія сѣни и переднюю по полотняному половику и оставилъ однаго въ маленькой, чистенькой комнаткѣ, съ шкапчикомъ, столикомъ, на которомъ лежало нѣсколько старыхъ церковныхъ книгъ, стоичкой для образовъ, геранями на окнахъ и стѣнными часами, производящими равномѣрный и пріятный стукъ, въ опрятномъ и молчаливомъ уголкѣ. Я перенесся совсѣмъ въ другую жизнь, въ другую сферу, вступивъ въ эту комнату. Особенно слабыя полузавядшія герани и старая нанковая ряса, висѣвшая на гвоздикѣ, и, главное, чиканіе маятника

много говорили мнѣ про эту особенную безмятежную жизнь. На право маятникъ стучалъ громче, на лѣво — легче — тукъ-тикъ, тукъ-тикъ. Съ полчаса я одинъ сидѣлъ въ кельѣ и слушалъ маятникъ. Изъ пріятнаго этаго состоянія вывелъ меня приходъ Отца Макарія.

— «Кто вы такой?» спросилъ онъ.

— «Я... я пришелъ, я вчера.....»

— «Ахъ, да-съ, сказалъ О[тецъ] Макарій, вы кажется изъ дома Иртеньевыхъ?»

Выраженіе *изъ дома* окончательно смутило меня, что я совершенно растерялся и чуть не до слезъ покраснѣлъ и сконфузился. Отецъ Макарій, какъ кажется, сжалился надо мной.

— «Что вамъ угодно-съ, скажите», сказалъ онъ, садясь подлѣ меня.

Когда я сказалъ ему свою просьбу, онъ долго, проницательно и строго смотрѣлъ, но потомъ подвелъ къ стоичкѣ и снова исповѣдывалъ. —

Когда онъ кончилъ, онъ положилъ мнѣ обѣ руки на голову и сказалъ, какъ мнѣ показалось, торжественно съ слезами въ голосѣ.

— «Да будетъ, сынъ мой, надъ тобой благословенье Отца Небеснаго, да сохранитъ онъ въ тебѣ на вѣки вѣру, кротость и смиреніе. Аминь».

Съ минуту послѣ того онъ молчалъ, и я ничего не смѣлъ говорить ему.

— «Прощайте-съ, сказалъ онъ мнѣ вдругъ своимъ простымъ офиціальнымъ голосомъ, поздравляю васъ съ духовнымъ изцѣленіемъ. — Передайте мое нижайшее почтеніе батюшкѣ».

Я простился съ нимъ и, выйдя на дворъ, не обращая вниманія на монаховъ, выходившихъ изъ церкви и можетъ быть удивлявшихся моей фигурѣ, въ самомъ отрадномъ, самодовольномъ состояніи рысью побѣжалъ къ извощику.

— «Что долго были, баринъ?» спросилъ меня извощикъ.

— «Развѣ долго, сказалъ я ему, мнѣ показалась одна минута. А знаешь, зачѣмъ я ѣздилъ?»

— «Вѣрно хоронить кого мѣсто покупали».

— «Нѣтъ, братецъ, сказалъ я, а знаешь, зачѣмъ я ѣздилъ?»

— «Не могу знать, баринъ».

— «Хочешь, я тебѣ разскажу?»

— «Скажите, баринъ».

Извощикъ со спины и затылка показался мнѣ такимъ добрымъ, что, въ назиданіе его, я рѣшился разсказать ему причины моей поѣздки и чувства, которыя я испытывалъ.

— «Вотъ видишь ли, сказалъ я, я вчера исповѣдывался и однаго грѣха не сказалъ Священнику, а вѣдь ты знаешь, какой это грѣхъ. Такъ я теперь ѣздилъ исповѣдываться, и мнѣ такъ хорошо теперь, такъ весело. Вотъ что значитъ». —

— «Такъ, съ недовѣрчивостью сказалъ извощикъ, а у насъ

въ деревнѣ, вотъ что вамъ скажу, баринъ. какъ кто грѣхъ попу ватаитъ, такъ онъ его осѣдлаетъ да на колокольню на немъ и ѣдетъ».

Подъѣзжая къ Москвѣ, движеніе народа, разсказы извощика и вліяніе утра такъ развлекли меня, что я уже думалъ о томъ, какъ бы со мной случилось какое-нибудь приключеніе и, встрѣтивъ передъ самой [*1 неразобр.*] незнакомку съ дѣтьми, думалъ, что это есть та самая брюнетка съ родинкой [о которой] мечталъ всегда, «а что, не остановиться [ли] и не предложить [ли] ей идти гулять вмѣстѣ?» но само собой разумѣется, что я раздумалъ, тѣмъ болѣе, что, когда я увидалъ незнакомку спереди, я увидалъ, что она не брюнетка и безъ родинки. —

Вернувшись же домой, стыдъ просить денегъ уничтожилъ во мнѣ послѣдніе слѣды прежняго чувства и мыслей. ⟨Я оставилъ извощика за воротами и побѣжалъ къ дворецкому. Два раза подходилъ къ его комнатѣ и отходилъ въ нерѣшительности. (Я былъ уже долженъ синенькую). Наконецъ надо было выйдти изъ этого положенія. Я рѣшился:

— «Гаврило, дай мнѣ, пожалуйста, до новаго жалованья полтора рубля — очень нужно, я тебѣ отдамъ».

— «Ей Богу нѣту, сударь, послѣдніе были...»

— «Давай, я честное слово даю, что отдамъ».

— «Ежели бы были, я бы не отказалъ...»

— «Ахъ, Боже мой, что я буду дѣлать, сказалъ я самъ себѣ и побѣжалъ опять къ извощику уговаривать его пріѣхать за деньгами послѣ завтра.

Извощикъ не согласился и даже замѣтилъ, что онъ знаетъ меня и много такихъ.

— «Ахъ, чортъ возьми, что я надѣлалъ. Нужно мнѣ было ѣздить *любезничать* къ монаху», проворчалъ я, совершенно позабывъ, что часъ тому назадъ я боялся каждой грѣшной мысли и считалъ бы себя достойнымъ великаго несчастія съ такими словами. Наконецъ, я досталъ кое какъ двугривенный у Василья, расплатился и пошелъ въ Церковь пріобщаться съ чувствомъ какой-то торопливости въ мысляхъ, беззаботности и недовѣрія къ ⟨самому себѣ⟩, [къ] своимъ добрымъ наклонностямъ⟩.

Глава 3-я. Экзамены.

Съ тѣхъ поръ, какъ наши уѣхали въ деревню, оставшись одинъ въ нашемъ большомъ домѣ, я такъ взволнованъ былъ сознаніемъ свободы и надеждами разнаго рода, что рѣшительно не могъ совладать съ своими мыслями. Бывало утромъ занимаешься въ классной и знаешь, что необходимо, потому что завтра экзаменъ, а не прочелъ еще цѣлаго вопроса, вдругъ пахнетъ какими-то весенними духами въ отворенное окно, какъ-будто вспомнишь что то очень хорошее, и нѣтъ возможности продолжать заниматься. Или — тоже сидишь за книгой —

услышишь по корридору женскія шаги — опять невозможно усидѣть на мѣстѣ; хотя и знаешь, что въ домѣ женщинъ, кромѣ Гаши, старой горничной бабушки, никого нѣтъ и быть не можетъ; и всетаки думаешь: можетъ быть это *она*, можетъ теперьто вотъ сейчасъ и *начнется*». Или, бывало, вечеромъ въ домѣ все становится такъ тихо, что хочется слушать тишину эту и ничего не дѣлать. А ужъ при лунномъ свѣтѣ я рѣшительно не могъ не выходить въ полисадникъ или не ложиться на окно и по цѣлымъ часамъ лежать, ничего не дѣлая и не думая. Такъ что, ежели бы не учителя, которые продолжали ходить ко мнѣ, не St.-Jérôme подстрекалъ мое самолюбіе и — главное — не Дмитрій, который давалъ мнѣ практическія наставленія, какъ готовиться, весна и свобода сдѣлали бы то, что я не выдержалъ бы экзамена и забылъ бы все, что зналъ прежде.

Шестнадцатаго Апрѣля я первый разъ вошелъ въ университетскую экзаменную залу. На мнѣ были чорныя узенькія брюки со штрипками, лаковые сапоги, атласная жилетка и бывшій Володинъ синій фракъ съ бронзовыми пуговицами. Признаюсь, наружность моя больше всего меня занимала: была одна кривая складка на панталонахъ около сапогъ и оторванная запонка на рубашкѣ, которая меня ужасно мучила. Только верхнія части ногъ до колѣнъ я находилъ красивыми и любовался ими.

Первое чувство мое было — входя въ большую, свѣтлую наполненную народомъ залу — разочарованіе въ надеждѣ обратить на себя общее вниманіе. Я почувствовалъ себя такимъ ничтожнымъ червякомъ въ сравненіи съ важными профессорами, сидѣвшими подъ портретомъ Г[осударя] и красивыми м[олодыми] л[юдьми], ожидавшими очередь экзамена.

〈Я даже съ большимъ удовольствіемъ замѣтилъ однаго — должно быть, семинариста — съ всклокоченными волосами, отвисшей губой, въ панталонахъ безъ штрипокъ и безъ бѣлья и съ обгрызанными до заусенцовъ ногтями. Мнѣ пріятно было убѣдиться, что онъ уже навѣрное хуже меня, а несмотря на то, самоувѣренно ступая стоптанными сапогами по паркету залу, гордо выступилъ впередъ экзаменоваться при вызовѣ «Амѳитеатровъ!»〉

Тутъ было 3 рода экзаминующихся. Одни, такіе же, какъ я, въ полуфрачкахъ съ гувернёрами. Это были самые робкіе, сидѣли молча и не раскрывая книгъ, на скамейкахъ и съ уваженіемъ, почти трепетомъ смотрѣли на профессоровъ, находившихся въ противуположномъ углу залы. Потомъ 2-ой сортъ были молодые люди большей частью въ гимназическихъ мундирахъ безъ гувернёровъ. Эти были постарше насъ, но хуже одѣты, за то чрезвычайно развязны. Они говорили между собой довольно громко, по имени и отчеству называли профессоровъ, тутъ же готовили вопросы, передавали другъ другу тетрадки, шагали черезъ скамейки и ѣли пирожки. И, нако-

нецъ, 3-й сортъ, которыхъ было однако немного, были совсѣмъ старые. Одинъ изъ нихъ блѣдный, худой, сидѣлъ противъ меня и, облокотивъ голову на обѣ руки, все читалъ какія-то тетрадки, написанныя чрезвычайно мелко, и не говорилъ ни съ кѣмъ. Когда профессоръ назвалъ «Ардани»,[1] онъ вышелъ, спокойно подошелъ къ столу, не взявъ, сталъ отвѣчать. Онъ говорилъ тихо, такъ что мнѣ не слышно было, что онъ говорилъ, но по одушевленію профессоровъ я видѣлъ, что отлично.

— «Ну сколько?» спросилъ его другой старый.

— «Не знаю», отвѣчалъ онъ, собралъ свои тетрадки, аккуратно завернулъ и вышелъ. Потомъ я узналъ, что это онъ былъ фортепіянный мастеръ и чрезвычайно ученъ [?].

Остальные же старые были престранные, и всѣ не выдержали экзамена. Одинъ изъ нихъ въ оливковомъ фракѣ, въ синемъ атласномъ галстукѣ, съ рыжими волосами на горлѣ, выходилъ вмѣстѣ со мной.

— «Иконинъ и Иртеньевъ», провозгласилъ кто-то около столовъ. — «Кто Иртеньевъ?» заговорили всѣ. — «Иконинъ где?»

— «À vous»,[2] — сказалъ St.-Jérôme.

Я одернулъ фрачекъ, поправилъ штрипку и съ замираніемъ сердца вылѣзъ изъ-за скамеекъ. —

Три профессора, одинъ молодой и 2 старыхъ, сидѣли около стола, къ которому я подошелъ вслѣдъ за старымъ съ рыжими волосами на горлѣ. На поклонъ нашъ никто не отвѣчалъ изъ нихъ, одинъ только старый въ очкахъ въ видѣ поклона строго посмотрѣлъ на насъ сверхъ очковъ и указалъ на билеты. Старый съ рыжими волосами на горлѣ Иконинъ на скамейкахъ былъ чрезвычайно храбръ, смѣялся, разстегивалъ жилетъ, трунилъ надъ профессорами, теперь вдругъ какъ-будто замеръ и сдѣлалъ такое испуганное лицо, что мнѣ и страшно и смѣшно стало, и долго не бралъ билета.

— «Возьмите билетъ», сказалъ добродушно старичокъ въ очкахъ. «Вы Иконинъ?»

— «Я-съ...»

Профессоръ смотрѣлъ въ тетрадь.

— «Какой у васъ?» прошепталъ мнѣ Иконинъ, показывая свой билетъ, на которомъ стояло: «Удѣлы Іоанна III».

— «Хотите мѣняться?» отвѣчалъ я, разсчитывая особенно щегольнуть труднымъ билетомъ.

— «Нѣтъ, ужъ все равно», сказалъ онъ. И это было послѣднее слово, которое онъ произнесъ во все продолженіе экзамена. Профессоръ смотрѣлъ на него и сквозь очки и черезъ очки и безъ очковъ, которые онъ снималъ и медленно вытиралъ клѣтчатымъ платкомъ. Другіе 2 профессора тоже смотрѣли на него какъ-то особенно непріятно, пристально, снизу и поднявъ

---

[1] *Первоначально было:* Арнольдани

[2] [Вам,]

брови. Старый молчалъ минутъ 5, потомъ, сдѣлавъ ужасно кислое лицо, положилъ билетъ и ушелъ. Но, отходя отъ стола, онъ сквозь слезы улыбнулся мнѣ, какъ будто говоря: «каково хватилъ».

Послѣ его ухода профессора нѣсколько минутъ говорили между собой, *какъ будто* не замѣчая моего присутствія. Я убѣжденъ былъ, что ихъ чрезвычайно занимаетъ, выдержу ли я хорошо экзаменъ, или нѣтъ, но что они такъ, только для важности, притворялись, что имъ все равно. Когда профессоръ равнодушно обратился ко мнѣ, я замялся и началъ робко, но потомъ пошло легче и легче и, такъ какъ я зналъ хорошо, то кончилъ съ чувствомъ самодовольствія и даже предложилъ, не угодно ли профессору, я отвѣчу еще на вопросъ удѣловъ. Но старичокъ сказалъ: «довольно съ, очень хорошо» и въ видѣ поклона снова посмотрѣлъ на меня черезъ очки. — Я вернулся къ скамейкамъ. Меня уже поздравляли. Гимназисты подсмотрѣли, что мнѣ поставлено было 5. —

На слѣдующій экзаменъ ужъ я пріѣхалъ къ знакомымъ; товарищи экзаминующіеся здоровались со мной. — Старый съ волосами на горлѣ какъ будто обрадовался мнѣ и сказалъ, что онъ будетъ переэкзаменовываться, что профессоръ исторіи мерзавецъ и давно ужъ былъ золъ на него, за это и сбилъ его, но онъ поставитъ на своемъ». —

Былъ экзаменъ математики. — Это былъ мой любимый предметъ, и я зналъ его хорошо; но было 2 вопроса изъ алгебры, которые я не успѣлъ пройти хорошенько. Это были — какъ теперь помню — вопросы теоріи сочетаній и биномъ Ньютона. — Передъ самымъ экзаменомъ, хоть и некогда сдѣлать что-нибудь, но я сѣлъ на заднюю лавку и просматривалъ книгу. —

— «Вотъ онъ, поди сюда, Нехлюдовъ», послышался за мной знакомый голосъ. Я обернулся. — Володя и Дмитрій шли между скамеекъ въ разстегнутыхъ и затасканныхъ сюртукахъ и громко говоря между собой. Сейчасъ видно были *домашніе*, да еще 2-го курса, ужъ однимъ своимъ видомъ и выражавшіе презрѣніе къ нашему брату и оскорбляющіе насъ. —

— «Ну что? еще не экзаменовался?»

— «Нѣтъ».

— «Что это ты читаешь? спросилъ Володя, вѣрно не приготовилъ?». —

— «Да, 2 вопроса не совсѣмъ помню».

— «Какіе?»

— «Вотъ».

— «Да это пустяки», и Володя началъ объяснять, но такъ скоро, что я ничего не понялъ, да при томъ и самъ онъ, кажется, твердо не зналъ этаго. —

— «Нѣтъ, постой, Володя, дай, я ему объясню», сказалъ Дмитрій и сѣлъ подлѣ меня. —

Удивительно было вліяніе на меня этаго человѣка: все, что

онъ говорилъ, казалось мнѣ такой непреложной истиной, что глубоко неизгладимо врѣзывалось въ памяти. Я всю мою жизнь помнилъ эту теорію сочетаній и перемѣщеній, которую здѣсь въ $^1/_4$ часа онъ объяснилъ мнѣ. — Но едва онъ успѣлъ кончить, какъ St.-Jérôme сказалъ, что меня вызываютъ. Иконинъ вышелъ опять вмѣстѣ со мной. — Какой-то въ прыщахъ и съ цѣпочкой гимназистъ бойко выводилъ формулу, со стукомъ ломалъ мѣлъ о доску и все писалъ, хотя профессоръ уже сказалъ ему, «довольно» и велѣлъ намъ взять билеты. Старый опять также остолбенѣлъ какъ и въ первый экзаменъ. «Вѣдь попадаются же этакіе», сказалъ и опять показалъ мнѣ свой билетъ и спросилъ, что мнѣ досталось. Я посмотрѣлъ, и, о ужасъ, это былъ единственный билетъ, который я не зналъ — проклятый биномъ Ньютона.

— «Хотите мѣняться?» спросилъ ужъ я, увидавъ, что у него именно теорія сочетаній и перемѣщеній, которую я прошелъ только что.

— «Все равно, шопотомъ отвѣчалъ онъ: чувствую, что срѣжусь. А Биномъ я знаю».

— «Ну, такъ давайте скорѣе», говорилъ я, но мой старый, какъ я сказалъ, остолбенѣлъ. Все равно, я рѣшилъ изъ рукъ его вырвать билетъ, но было ужъ поздно — профессоръ подозвалъ его къ доскѣ.

— «Давайте сюда», съ отчаяннымъ жестомъ сказалъ старый, оборачиваясь, и взялъ мой билетъ, а мнѣ отдалъ свой въ глазахъ профессора.

— «Что это вы мѣняетесь», сказалъ профессоръ съ доброй улыбкой. (Онъ былъ молодой человѣкъ пріятной наружности).

— «Нѣтъ, проговорилъ старый: это такъ». И опять это было его послѣднее слово, и опять, проходя назадъ, мимо меня, онъ тупо улыбнулся и пожалъ плечами.

Я отвѣчалъ отлично. Профессоръ сказалъ мнѣ даже, что лучше, чѣмъ можно требовать, и поставилъ 5. —

Успѣхъ этихъ 2-хъ и еще 3-хъ слѣдующихъ экзаменовъ такъ раздулъ во мнѣ самолюбіе, что уже для меня дѣло шло не о томъ, чтобы выдержать экзаменъ, но о томъ, чтобы выдержать его лучше всѣхъ. — Былъ одинъ блѣдный гимназистъ въ узенькихъ взодравшихся брюкахъ, коротенькомъ мундирчикѣ, съ мутными впалыми глазами и обгрызанными до заусенцовъ ногтями, который одинъ только экзаменовался лучше меня, и я, признаюсь, съ досадой, злобой даже, смотрѣлъ на него. Мнѣ противно было его лицо и руки и волоса и колѣнки [*1 неразобр.*] и тетрадки — все противно было въ немъ. Мнѣ бы хотѣлось, чтобы онъ *провалился* (словцо, которому я выучился у товарищей, означающее не выдержать экзамена); но, такъ какъ видно было, что это невозможно, я даже не отказался бы отъ того, чтобы съ нимъ случилось какое нибудь несчастье, помѣшавшее бы ему экзаменоваться, чтобы онъ сломалъ себѣ ногу, или

заболѣлъ хорошенько. Я видѣлъ, что онъ превзойдетъ меня, а быть первымъ мнѣ казалось верхомъ наслажденія. Не для того, чтобы гордиться передъ товарищами — о нихъ я не думалъ, но для своихъ — мнѣ хотѣлось въ деревнѣ похвастаться передъ папа или St.-Jérôm'омъ. Но Латинскій экзаменъ сразу уничтожилъ мои честолюбивые планы и злобу къ блѣдному гимназисту. — Уже съ перваго экзамена всѣ гимназисты вольные разсказывали намъ съ какимъ-то трепетомъ про латинскаго профессора Нецера, который, по словамъ всѣхъ, былъ какой-то извергъ, говорившій только по-гречески и по-латынѣ и наслаждающійся въ погибели молодыхъ людей и особенно не любившій и угнетавшій нашего брата — вольныхъ. St.-Jérôme, который былъ моимъ учителемъ Латинскаго языка, ободрялъ меня, да и мнѣ казалось, что, умѣя переводить Цицерона безъ лексикона, половину одъ Горація и зная отлично Цумпта, я былъ приготовленъ не хуже другихъ; но вышло не такъ. Когда насъ вызвали опять вмѣстѣ съ Иконинымъ, уже я предчувствовалъ что-то недоброе. Нецеръ былъ одинъ на своемъ столикѣ. Это былъ маленькой не старый человѣчекъ съ длинными русыми волосами и не дуркой наружности, но желтый, видно, что злой. — Онъ далъ Иконину книгу рѣчей Цицерона и заставилъ переводить его. Къ великому удивленію моему, Иконинъ не только умѣлъ читать, но и перевелъ нѣсколько строкъ, хотя и съ помощью профессора. Чувствуя свое превосходство знаній передъ такимъ слабымъ соперникомъ, я не могъ удержаться отъ самодовольной и нѣсколько презрительной улыбки, особенно, когда дѣло дошло до анализа и *старый* попрежнему далъ столбняка.

— «А что вы лучше знаете, что вы улыбаетесь?» сказалъ мнѣ Нецеръ съ злобной улыбкой. (Послѣ я узналъ, что онъ почему-то покровительствовалъ Иконину). «Такъ скажите вы».

Я отвѣтилъ тотчасъ же, но онъ сдѣлалъ такое недовольное лицо, что мнѣ вдругъ показалось, что я говорю не такъ.

— «Хорошо-съ, придетъ и вашъ чередъ, увидимъ, какъ вы знаете», сказалъ онъ и сталъ объяснять Иконину то, что спрашивалъ. «Ступайте-съ», докончилъ онъ, и я видѣлъ, какъ онъ проставилъ ему 4. «Ну, думалъ я, онъ совсѣмъ не такъ строгъ, какъ говорили». Послѣ ухода Иконина онъ вѣрныхъ минутъ 5, которыя показались мнѣ за 5 часовъ, укладывалъ книги, билеты, сморкался, поправлялъ креслы, смотрѣлъ въ залу и по сторонамъ и вообще повсюду, исключая на меня, и ничего не говорилъ мнѣ. Потомъ, открывъ книгу, онъ сталъ читать. Я рѣшился кашлянуть, чтобы обратить на себя его вниманіе.

— «Ахъ, да еще вы! Ну переведите-ка что-нибудь, сказалъ онъ, подавая мнѣ какую-то книгу. «Да, нѣтъ, вотъ лучше это». Онъ перелистовалъ книгу Горація и подалъ мнѣ его, раскрытаго на мѣстѣ, котораго я не приготавливалъ.

— «Я этаго не готовилъ», сказалъ *я*.

— «А, вы хотите отвѣчать на то, что выучили на изусть, хорошо!» отвѣчалъ онъ, качая головой. «Нѣтъ, вотъ это переведите».

Кое-какъ я сталъ добираться до смысла, но Нецеръ на каждый мой вопросительный взглядъ только качалъ головой и, вздыхая, говорилъ: «нѣтъ». Наконецъ, онъ закрылъ книгу и далъ мнѣ билетъ изъ граматики, который однако самъ выбралъ.

— «Изъ этаго не знаете ли чего-нибудь», сказалъ онъ. Я бойко сталъ было отвѣчать ему на знакомый вопросъ, но онъ снова остановилъ меня: «не то, не то, нѣтъ, нѣтъ», заговорилъ онъ, сморщивъ свое желтое лицо, и началъ мнѣ объяснять почти то же, что и я говорилъ, только другими словами.

— «Такъ нельзя готовиться, господа, въ высшее учебное заведеніе, сказалъ онъ потомъ, вы всѣ хотите только мундиръ носить, верховъ нахватаете и думаете, что вы можете быть студентомъ. Нѣтъ, господа, надо основательно изучать предметы».

Сначала мучало меня разочарованіе не быть первымъ, потомъ присоединился страхъ совсѣмъ не выдержать экзамена, во время же этой рацеи чувство оскорбленнаго самолюбія, униженія и несправедливости такъ возмутили меня, что я чувствовалъ, у меня слезы были на глазахъ, и хотѣлось обругать его. Я думалъ въ эту минуту, что, ежели вдругъ ударить его книгой по носу и сказать: «дуракъ, свинья». Хуже же всего мнѣ обидно было то, что волненіе, выражавшееся на моемъ лицѣ, онъ перевелъ, вѣроятно, просьбою объ томъ, чтобы онъ прибавилъ мнѣ балы, потому что, взглянувъ на меня, онъ сказалъ: «Хорошо-съ, я поставлю вамъ переходный балъ (Это значило 2), хотя вы его и не заслуживаете, но въ уваженіе къ вашей молодости и въ надеждѣ, что вы въ Университетѣ позайметесь серьезнѣе. —

Ничто столько не обидно въ правѣ сильнаго, какъ то, что сильный можетъ, оскорбляя и дѣлая зло, прикидываться добрымъ и снисходительнымъ. — Несправедливость эта тогда такъ сильно подѣйствовала на меня, что, ежели бы я былъ воленъ въ своихъ поступкахъ, я бы не пошелъ больше экзаменоваться: я потерялъ все честолюбіе, ужъ мысленно передалъ пальму первенства блѣдному гимназисту и остальные экзамены спустилъ безъ всякаго волненія и всякаго старанія. И вступая въ Университетъ, уже я не думалъ о поприщѣ науки, на которомъ мнѣ суждено было развиваться и можетъ-быть прославить [?] свое имя, а о мундирѣ съ синимъ воротникомъ, о собственныхъ дрожкахъ, собственной комнатѣ и, главное, о собственной свободѣ. Впрочемъ, и эти мысли были пріятны.

8-го Мая я надѣлъ мундиръ, у меня шпага, я въ чинѣ 14 класса, у меня нѣтъ гувернера, я могу одинъ выходить со двора, будочники дѣлаютъ мнѣ честь, имя мое *напечатано* въ спискѣ студентовъ, я большой! И *я совершенно счастливъ*.

Глава 5. Семейство Нехлюдовыхъ.

Дмитрій предложилъ мнѣ послѣ экзаменовъ переѣхать къ нему дня на 3 и оттуда уже ѣхать вмѣстѣ въ Петровское.

— «Да вѣдь вы не одни живете», сказалъ я ему.

— «Я живу съ матерью, но у меня комнаты отдѣльныя, а, кромѣ того, я ужъ нѣсколько разъ говорилъ матери про васъ, отвѣчалъ онъ, и она васъ знаетъ заочно. —

Я былъ въ восторгѣ отъ этаго предложенія, но почему-то счелъ нужнымъ скрыть свою радость.

— «Поѣдемъ сейчасъ со мной; наши всѣ дома, я вамъ найду постель, сказалъ Дмитрій, а завтра велите Василью привести вещи». —

Это было вечеромъ. Мѣсяцъ стоялъ на своемъ зенитѣ и въ воздухѣ чувствовалось еще тепло дня и легкій морозецъ наступающей ночи, — когда мы подъѣхали на пролеткахъ Дмитрія къ воротамъ дома Нехлюдовыхъ на Садовой.

— «Постой, сказалъ Дмитрій, за плечо останавливая кучера, пройдемте садомъ». И мы пошли.

Я чрезвычайно счастливъ, что саду этаго я никогда больше не видалъ днемъ, а видѣлъ его только теперь ночью, когда я въ мундирѣ съ синимъ воротникомъ, въ фуражкѣ съ синимъ околышомъ, при лунномъ свѣтѣ, съ человѣкомъ, котораго я любилъ больше всего на свѣтѣ, шелъ по только что распускавшимся липовымъ аллеямъ.

Въ моихъ воспоминаніяхъ остался не садъ на Садовой, а садъ въ моемъ воображеніи, лучше котораго нѣтъ ничего на свѣтѣ, ни этихъ высокихъ деревъ, этаго синяго неба, этаго свѣтлаго мѣсяца и этой свѣжести въ воздухѣ ничего не могло. Мнѣ такъ и казалось, что вотъ, вотъ предстанетъ она съ своими добрыми, веселыми, черными глазами, нѣжной рукой и родинкой на розовой щечкѣ.

— «Ахъ, какъ славно», сказалъ Дмитрій, вдругъ останавливаясь. «А какая славная у меня мать и сестра, ты увидишь сейчасъ, очень хорошіе люди. *Я думаю.* Посмотри, какъ странно смотрѣть отсюда сквозь листья на небо. Посмотри. Престранно.

— «Да, *и мнѣ какъ-то хорошо*».

Я понималъ, что Дмитрій былъ въ такомъ состояніи духа, въ которомъ много, много могъ мнѣ бы высказать и про ночь и про семейство свое, но я понималъ все, что онъ хотѣлъ высказать. И понималъ эту (pudeur), стыдливость чувствъ, что онъ такъ сильно чувствовалъ, что не хотѣлъ говорить такъ, какъ говорятъ обыкновенно. Мѣсяцъ свѣтитъ *престранно*, и мать и сестра его *хорошіе люди* значило очень много. *Да и мнѣ какъ-то хорошо*, сказалъ я. Мнѣ кажется даже, что тайна нашей связи состояла именно въ этомъ пониманіи другъ друга; въ умѣніи передавать другъ другу мысли и впечатлѣнія

особеннымъ скромнымъ образомъ, не опошляя ихъ и не портя ихъ сознаніемъ и выраженіемъ людскими. — Или это было свойственное людямъ стремленіе къ своеобразности, что мы сначала и до конца нашей связи передавали другъ другу чувства совсѣмъ не такъ, какъ другіе; у насъ были какъ-будто свои особенные знаки и выраженія, и никогда не налегали на чувства, не анализировали ихъ и наслаждались свѣжѣе и полнѣе другихъ. —

Мы вошли прямо изъ сада въ балконную дверь, которая была уже выставлена. — Первая комната была освѣщена только мѣсяцомъ въ высокія окна и яркимъ свѣтомъ изъ двери сосѣдней комнаты. Въ комнатѣ слышалось женское ужасно фальшивое пѣнье: «Jeune fille aux yeux noirs»[1] и веселый смѣхъ.

— «Это Митя», послышалось оттуда.

Едва я успѣлъ войти въ эту комнату и остановиться въ застѣнчивой нерѣшительности, какъ въ двери зашумѣло женское платье, и женская рука взяла меня за руку. «Митя, иди скорѣе», сказалъ со смѣхомъ около моего уха довольно низкій, но звучный голосъ: «maman поетъ..... дикимъ голосомъ».

«Вотъ оно началось», подумалъ я. —

Дмитрій, увидавъ, что сестра его приняла меня за него, спрятался за дверь и только, когда она въ замѣшательствѣ отскочила отъ меня и потерялась такъ, что не знала, что говорить и дѣлать, онъ громко захохоталъ изъ-за двери своимъ заливистымъ, мелодическимъ смѣхомъ, какъ-будто ставилъ точки, какъ я называлъ его манеру смѣяться.

— «Митя, кто это?» прошептала она, подходя къ нему.

— «*Незнакомецъ*», отвѣчалъ онъ, продолжая хохотать: «пойдемте къ maman, незнакомецъ, пойдемте. Лиза, это Nicolas», прибавилъ онъ.

Я ничего не могъ сказать отъ стыдливости, даже не помню, поклонился ли — такъ меня озадачила эта[2] странная ошибка.

Мать Нехлюдова была высокая стройная женщина лѣтъ 40. Ей даже можно было дать больше, судя по полусѣдымъ волосамъ, откровенно выставленнымъ на вискахъ изъ подъ чепца, но по свѣжему, чрезвычайно нѣжному и лишенному морщинъ лицу, въ особенности же, по умному, веселому блеску глазъ ей казалось гораздо менѣе. Глаза у нея были почти черные, очень открытые и ясные, губы тонкія и твердыя, носъ съ горбомъ и немного на сторону, руки безъ колецъ, немного большія, почти мужскія, но прекрасныя, продолговатыя, съ длинными пальцами, и талія чрезвычайно стройная и прямая. На ней было темносинее закрытое платье съ откинутымъ бѣлымъ воротникомъ и манжетами, и не было никакой куцавейки или капоту [*3 неразобр.*]. Она сидѣла передъ большимъ столомъ и

---

[1] [Молодая девушка с черными глазами]

[2] *В подлиннике:* озадачило это

шила или кроила какое-то платье, что мнѣ тогда показалось чрезвычайно страннымъ. На другомъ, кругломъ столѣ, за плющемъ, передъ диваномъ, стоялъ самоваръ, и маленькая, худая, блѣдная женщина съ длинными вившимися буклями и одѣтая довольно пестро и изысканно занималась чаемъ. — Когда Дмитрій представилъ меня матери, она какъ-то особенно — какъ мнѣ показалось, гордо повернула ко мнѣ голову и, не кланяясь, протянула руку.

— «Садитесь сюда, сказала она мнѣ, указывая на диванъ противъ себя: я рада васъ видѣть, потому что, ежели вы только дѣйствительно такой, какимъ васъ описывалъ *мой сынъ*, vous devez être un petit monstre de perfection».[1]

— «Развѣ онъ вамъ говорилъ про меня?» сказалъ я по французски.

— «Еще бы, *онъ* спрашиваетъ, говорилъ ли про него Дмитрій», сказала она, принимаясь снова за свою работу и смѣясь твердымъ увѣреннымъ смѣхомъ. «Дайте *ему* чая, *тетинька*», прибавила она, обращаясь къ гувернанткѣ, разливавшей чай и носившей почему-то названіе *тетиньки*.

— «Сейчасъ, Катерина Дмитріевна», сказала тетинька: «а вы слышали, какъ Лиза испугала M-ieur Nicolas?»

— «Ну, какъ ты Лиза испугала M[-r] Nicolas?» повторила какъ-то сухо M-me Нехлюдовъ.

— «Можешь себѣ представить, сказала Лиза, подходя къ ней: каково *его* положеніе? Онъ входитъ въ первый разъ къ намъ и вдругъ видитъ, какая-то женщина беретъ его за руку и говоритъ: «посмотри, какъ *maman* поетъ дикимъ голосомъ». И Лиза громко засмѣялась.

— «Я думаю, вы ужасно удивились», добавила она, обращаясь ко мнѣ. —

— «Они ужасно смѣются надо мной, когда я пою», сказала M[-me] Нехлюдовъ смѣясь: «а мнѣ кажется, что прекрасно. Вы музыкантъ?» спросила у меня.

— «Да, большой, но только въ душѣ».

— «Это такъ же, какъ я. У кого лучше голосъ, Дмитрій, у него или у меня?»

— «Трудно рѣшить, maman».

— «Ну такъ nous pouvons nous donner la main, mon cher».[2]

Когда кончили чай и поболтали и посмѣялись еще, M[-me] H[ехлюдовъ] сказала мнѣ, чтобы я позвонилъ. У насъ въ домѣ не было сонетокъ, и я никогда не видалъ ихъ, поэтому сталъ искать колокольчика, но, не видя его, наконецъ, сказалъ ей, что нѣтъ колокольчика.

— «Да подлѣ васъ сонетка, сказала она, Лиза, позвони». Лиза подошла и, не глядя на меня, дернула за нее. Я покрас-

[1] [вы должны быть маленьким чудовищем совершенства.]
[2] [мы можем протянуть друг другу руку, мой дорогой.]

нѣлъ ужасно. Обстоятельство, кажется, очень пустое, но для меня тогда оно казалось величайшей важности. Я думалъ, что окончательно погибъ во мнѣніи всего семейства: все, что мнѣ удалось сказать порядочнаго, умнаго, какъ я полагалъ, въ этотъ вечеръ, уничтожено этимъ незнаніемъ, что такое сонетка; подумаютъ, что я совсѣмъ мужикъ, что все, что сказалъ, это я выучилъ, и что дома мы живемъ, Богъ знаетъ, какъ, когда у насъ нѣтъ сонетокъ, и я даже не знаю, что это такое. «Дмитрій теперь раскаивается, думалъ я, въ томъ, что представилъ меня». Весь вечеръ мой былъ разстроенъ.

— «Ну, дѣти, что мы будемъ читать нынче? сказала М[-me] Н[ехлюдовъ], когда вынесли самоваръ.

— «А вѣдь я привезъ Валтеръ-Скота отъ Нины. Хотите, я буду читать «Ивангое» или Лиза?

— «Лиза, хочешь читать?»

— «Хочу».

Мы всѣ усѣлись поуютнѣе около матовой лампы, горѣвшей на рабочемъ столѣ, Лиза взяла книгу и стала читать своимъ низкимъ, но звучнымъ контральто. —

Чтеніе это было мнѣ особенно пріятно потому, что давало время обдумать впечатлѣнія и мысли, возбужденныя во мнѣ этимъ совершенно для меня новымъ, особеннымъ отъ нашего, домашнимъ кружкомъ, и рѣшить вопросъ, была ли Лиза *она*, и начиналось ли теперь или нѣтъ еще. —

Кружокъ этотъ имѣлъ какой-то особенный характеръ простоты, нравственности, изящества, умѣренности и вмѣстѣ сухости и логичности. Этотъ характеръ выражался и въ волосахъ Нехлюдовой, и въ ея прямой позѣ, и въ шитьѣ платья, и въ строгой чистотѣ, и въ высокихъ портьерахъ, а больше всего въ манерѣ говорить по русски, называть меня «онъ» и т. д. и т. д. Особенно нравилось мнѣ и доставляло наслажденіе то, что меня третировали серьезно pour tout de bon,[1] какъ большаго, такъ что мнѣ совѣстно, даже неловко какъ то было, что мать моего друга говоритъ, разсуждаетъ со мной. Даже при каждомъ словѣ, которое я сбирался сказать, мнѣ приходило въ голову, какъ бы мнѣ вдругъ не сказали: «неужели вы думаете, что съ вами серьезно говорятъ, ступайте-ка лучше учиться», и я ужасно старался говорить умно и по-французски, отчего, какъ теперь вижу, должно б[ыть] показался глупъ, гораздо еще больше, чѣмъ прежде. Ежели бы не сонетка, я бы былъ совершенно доволенъ и очень бы полюбилъ все семейство, но теперь меня мучала мысль, что я былъ смѣшонъ, и я безсознательно старался находить въ нихъ недостатки, какъ будто они могли оправдать меня. — Что же касается до Лизы, то, хотя она была брюнеткой, но чѣмъ больше всматривался я въ нее теперь, какъ она читала своимъ звучнымъ контральтомъ,

[1] [не на шутку,]

я убѣждался, что она не *она*, и что не *началось* еще. Она была очень нехороша собой; особенно портилъ ее желтоватый, болѣзненный цвѣтъ лица и такъ же, какъ у матери, кривый носъ на одну сторону, только у м[атери] б[ылъ] на право, а у нея налѣво, и толстыя губы. Въ ней даже не было ничего фамильнаго общаго съ наружностью моего друга. Все, что было въ ней хорошаго, былъ голосъ, выраженіе доброты, прелестный бюстъ и опять та же безпричудливость, простота и логичность въ манерахъ, такъ что, какъ я ни старался настраивать себя на то, что она *она* — я не могъ и идеальный образъ мой никакъ не хотѣлъ слиться. —

Чтеніе было очень пріятно. Оно не было однимъ предлогомъ сидѣть вмѣстѣ, но видно было по замѣчаніямъ, к[оторыя] прерывали его, увлеченіе и любовь къ мысли и изящному. Наконецъ, въ 11 часовъ M-me Нехлюдовъ встала, сложила работу и сказала, что пора идти спать.

— «Ну, я очень рада, Nicolas, сказала она, цѣлуя въ лобъ сына и подавая мнѣ руку: что вы у насъ будете. Въ ваши года дружба хорошая вещь, славная вещь».

Лиза тоже подала мнѣ руку.

У N. [?] было двѣ комнаты — спальня и кабинетъ. Василій постелилъ мнѣ на диванѣ въ кабинетѣ, но я пошелъ въ спальню и сидѣлъ тамъ на к[ровати] у Дмитрія. Мнѣ хотѣлось поговорить съ нимъ о его семействѣ, разсказать ему, какъ понравился мнѣ этотъ новый для меня бытъ, но я не рѣшался начать разговоръ объ этомъ, особенно когда приходила мнѣ мысль о сонеткѣ, и думалось, что Д[митрій] вслѣдствіе именно этой сонетки перемѣнилъ мнѣніе обо мнѣ и, увидавъ меня въ обществѣ, какъ я застѣнчивъ и стыдливъ, раскаивается, что онъ представилъ меня. — Я нѣсколько разъ собирался начать говорить ему про его мать и сестру, придумывалъ фразы и открывалъ ротъ, но потомъ приходило въ голову, что онъ можетъ подумать, и останавливался. Дмитрію тоже вѣрно хотѣлось спросить мое мнѣніе о своемъ семействѣ, но онъ не рѣшался, и обѣщаніе наше все говорить другъ другу не исполнялось, но мнѣ кажется, что мы все-таки безъ словъ понимали другъ друга и были откровенны, а что есть вещи, которыя лучше не говорить. То, что я пришелъ къ нему въ спальню, то, что мы помолчали минутъ 5, избѣгая взглядовъ одинъ другаго, имѣло большое для насъ значеніе. —

Глава 6-я. Трубка. ⟨Ложь⟩. Я хочу убѣдиться въ томъ, что я большой.

(Въ слѣд. главахъ: 1) деньги, 2) ложный стыдъ).

Уже первое правило, которое я задавалъ себѣ для будущей жизни, — усовершенствованіе, я не исполнилъ въ первый день моего переѣзда къ Нехлюдовымъ. Мы заболтались такъ долго

свечера, что проснулись, когда солнце уже было высоко, и то Дмитрій разбудилъ меня. И голова была тяжела, и въ тѣлѣ б[ылъ] какой-то нездоровый жаръ. Первая мысль моя при пробужденіи была, что я большой и на свободѣ. Никакая мысль не лѣзла мнѣ въ голову, къ каждой примѣшивалось сознаніе свободы и желаніе доказать другимъ и еще болѣе убѣдиться самому, дѣйствительно ли я такой же большой, какъ другіе. Первое выраженіе этой мысли было то, что я пилъ чай, не одѣваясь, и курилъ трубку, кот[орую] взялъ у Дмитрія, и раскашлялся и раскраснѣлся такъ, что думалъ, я задохнусь, но сказалъ, что это ничего безъ привычки, но что я куплю себѣ табаку и трубку и, когда буду одинъ, буду понемножку пріучаться къ табаку. Часовъ въ 12 пришелъ Д[убковъ], и мы такъ, не одѣваясь, сидѣли до самаго обѣда, болтали глупости, и мы съ Д[митріемъ] были совершенно другими людьми, чѣмъ вчера вечеромъ. Меня мучила мысль, что вѣрно еще я не совсѣмъ большой или хуже другихъ, что не могу курить Жуковъ табакъ также, какъ они, и въ тотъ же день пошелъ на Арбатъ, купилъ у Бастанжогло на 5 рублей ассигнаціями Жукова табаку, 2 *стамбулки* и черный липовый чубукъ, накурился одинъ въ комнатѣ Дм[итрія] до того, что голова у меня пошла кругомъ, что я испугался, взглянувъ на свое блѣдное, какъ полотно, лицо въ зеркало, и что, наконецъ, меня вырвало! Я помню, въ какомъ я ужасномъ положеніи былъ съ полчаса времени послѣ этаго. Я лежалъ на диванѣ, надъ тазомъ; вокругъ меня на полу валялась вонючая трубка и окурки; голова ходила кругомъ, ужасно тошнило, и вся внутренность поднималась. Безсмысленно вперивъ мутные глаза въ начатую четверку табаку, стоявшую на стулѣ, съ тупымъ вниманіемъ глядя на 2-хъ львовъ, поддерживающихъ гербъ В. Ж[укова], и читая и перечитывая надпись «лучшій американскій табакъ», я съ отчаяньемъ въ сердцѣ и съ маленькимъ страхомъ даже за свою жизнь думалъ, что нѣтъ, не большой еще я, и что видно, не быть мнѣ никогда большимъ, какъ другіе, и не пускать никогда длинныхъ струекъ дыма черезъ русые усы и никогда, никогда видно не суждено мнѣ затягиваться. —

(Въ деревнѣ женитьба отца на женщинѣ низшаго круга роняетъ отца во мнѣніи сыновей, тѣмъ болѣе, что лишаетъ ихъ послѣдней надежды на его состояніе, уже ненадежное какъ игрока. Холодъ между отцомъ и сыновьями, откровенный разговоръ объ этомъ предметѣ между братьями, раззореніе отца и самопожертвованіе дѣтей, но невозможное вполнѣ, потому что они начали жить. Владимиръ судитъ холодно и отказываетъ, потому что не можетъ. Николай сентиментальничаетъ, обѣщаетъ и не исполняетъ, потому что не можетъ. В[ладимиръ] женится и поправляетъ отца. Николай оригиналъ.)

За обѣдомъ, который также, какъ и все Нехлюдовское, носилъ на себѣ какой-то особенный отпечатокъ строгости, простоты

и изящества, Катерина Дмитріевна спросила у Дм[итрія], когда онъ легъ спать, и когда я, думая сказать пріятное, объяснилъ, что мы съ нимъ болтали до 2-хъ часовъ ночи и встали въ 10, она, не отвѣчая мнѣ, серьезно обратилась къ Дмитрію и, какъ-то особенно пристально глядя на него, внятно и съ разстановкой сказала ему.

— «Я прошу тебя, Дмитрій, никогда не ложиться позже 12 и всегда вставать раньше 8-ми. Обѣщаешь?»

— «Обѣщаю, maman», отвѣчалъ онъ серьезно.

Тѣмъ разговоръ ихъ объ этомъ и кончился, но меня ужасно покоробило отъ него.

— «А знаешь, нынче вечеромъ я въ первый разъ пью чай въ саду, въ тетинькиной бесѣдкѣ», сказала М-[me] Нехлюдовъ. М[-me] К. [?] и Капустинъ обѣщались пріѣхать ко мнѣ — я ихъ угощаю воздухомъ.

«Смотри же, Митя, и вы, господа», сказала Лиза, къ великой радости моей, смѣшивая въ одно *вы* меня и большаго Дубкова: «не оставайтесь долго на этомъ гуляньи». — Она знала, что мы собирались послѣ обѣда, по предложенію Дубкова, на гулянье на Прѣсненскіе Пруды. —

Дубковъ сказалъ, что онъ непремѣнно пріѣдетъ и привезетъ съ собой Дмитрія.

— «А вы?» спросила она у меня.

— «Я никакъ не могу, потому что вечеромъ меня звали Валахины», сказалъ я, и это не только была совершенная ложь, но я даже 2 года не видался съ Валахиными, но потому ли, что нынче утромъ я думалъ о томъ, съѣздить ли мнѣ или нѣтъ съ визитомъ къ Валахинымъ, или потому, что я полагалъ, это мнѣ придастъ значеніе, что В[алахины] звали меня, или просто потому, что я думалъ, хорошо будетъ показать, что я не слишкомъ радуюсь приглашенію, что не вы, молъ, однѣ только желаете меня видѣть, дѣло только въ томъ, что солгалъ самымъ отчаяннымъ и безпричиннымъ образомъ и тотчасъ же покраснѣлъ и сконфузился такъ, что навѣрное всѣ замѣтили, что я лгу. Я даже замѣтилъ, что Лиза и Д[митрій] отвернулись отъ меня и заговорили о другомъ съ выраженіемъ, к[оторое] я впослѣдствіи часто замѣчалъ въ людяхъ, когда *очень молодой человѣкъ* начинаетъ очевидно лгать имъ, и которое значитъ: зачѣмъ онъ, бѣдный, лжетъ, изъ чего онъ старается, вѣдь мы знаемъ, что онъ лжетъ.

Потомъ я узналъ, что В[алахиныхъ] не было въ городѣ, и что Н[ехлюдовы] должно быть знали это.

Ни въ дѣтствѣ, ни въ отрочествѣ, ни потомъ въ болѣе зрѣломъ возрастѣ я не замѣчалъ за собой порока лжи, напротивъ даже — могу похвалиться — былъ всегда слишкомъ правдивъ и откровененъ, но въ первую эпоху юности, признаюсь, на меня часто находило это странное желаніе безпричинно лгать самымъ отчаяннымъ образомъ, отчаяннымъ потому, что я лгалъ

въ такихъ вещахъ, въ кот[орыхъ] ужасно легко было поймать. Мнѣ кажется даже, что тщеславное желаніе выказаться тѣмъ, чѣмъ не есть, соединенное съ неопытностью въ жизни, надеждою солгать безнаказанно, не бывъ пойману, и были причиною этой странной слабости. — Мнѣ бы было гораздо веселѣй оставаться у Нехлюдовыхъ, какъ приглашали меня, но мысль, что я буду на гуляньи ходить съ адъютантомъ, и что, можетъ-быть, въ этомъ-то выгодномъ для меня положеніи буду я встрѣченъ ею, и начнется, доставляли мнѣ такое наслажденіе, и вообще вліяніе Дубкова, кот[орое] было необоримо на меня во время дня и въ обществѣ, сдѣлали то, что я просилъ Д[митрія] ѣхать съ нами, и мы тотчасъ послѣ обѣда отправились гулять подъ музыку на Прѣсненскіе Пруды. — Гулянье это однако не доставило мнѣ слишкомъ большаго удовольствія. Сначала мы подъ музыку ходили по дорожкамъ. Дубковъ стучалъ саблей, кланялся знакомымъ, говорилъ съ женщинами, и я находился въ какомъ-то торопливомъ, безпокойномъ состояніи духа, ничѣмъ не могъ наслаждатся, такъ постоянно, неотвязчиво занимала меня мысль о своей персонѣ. Я боялся не отстать или не опередить Д[убкова] и Н[ехлюдова], чтобы не подумали, что я посторонній; боялся и слишкомъ близко ходить съ ними, чтобы они не подумали, что я считаю за честь быть съ ними на ногѣ равенства; я боялся ходить, слишкомъ гуляя, боялся и быть слишкомъ развязенъ; я боялся говорить слишкомъ много, боялся молчать слишкомъ долго. Когда подходили ихъ знакомые, я боялся, чтобы они стыдились за меня. Потомъ мы пошли въ кофейную играть на бильярдѣ. Тамъ мнѣ стало еще хуже; мнѣ казалось, что всѣ рѣшительно смотрятъ на меня и удивляются, какимъ образомъ и зачѣмъ попалъ я въ такое мѣсто, особенно когда я сталъ играть съ Д[убковымъ] и, вмѣсто [того], чтобы толкать шаровъ, ѣздилъ кіемъ вскользь по нимъ, и какой-то баринъ, сидѣвшій тутъ же въ шляпѣ, строго смотрѣлъ на меня.

— «Ну что за охота тутъ быть, сказалъ Д[митрій], пойдемте лучше въ садъ и велимъ туда себѣ чаю дать».

— «Пойдемъ, сказалъ Д[убковъ], только надо заплатить».

Я вызвался заплатить за все, желая хоть этимъ дать почувствовать, что я тоже не пѣшка, и Дубковъ позволилъ мнѣ доставить себѣ это удовольствіе, но и тутъ, когда я подошелъ къ стойкѣ и почему-то дрожащими и неловкими руками сталъ вынимать бумажникъ съ птицей, подаренный мнѣ еще К[арломъ] И[вановичемъ], мнѣ стало ужасно совѣстно, и я все боялся, что я что-нибудь не такъ дѣлаю, особенно когда буфетчикъ гордо оттолкнулъ 2-хр[ублевую] бѣленькую, которую я предложилъ ему, говоря, что у него нѣтъ мелочи. —

За чаемъ на зеленыхъ скамеечкахъ подошелъ къ намъ старшій Ивинъ, который былъ уже въ 3-мъ курсѣ, носилъ заломленную назадъ фуражку, затасканный сюртукъ, брилъ бороду

и пользовался репутаціей отличнаго студента и лихаго малаго. Онъ очень обрадовался, увидавъ меня студентомъ, обращался со мною по товарищески, подсѣлъ къ намъ и велѣлъ дать полбутылки шампанскаго, чтобы поздравить меня. Мнѣ то же хотѣлось сдѣлать, но я не смѣлъ сказать это при всѣхъ, всталъ и, отозвавъ всторону слугу, попросилъ его, чтобы онъ и мнѣ принесъ полбутылку шампанскаго. Но потомъ, когда онъ отошелъ нѣсколько, догналъ его и сказалъ, чтобы онъ принесъ даже цѣлую. Мнѣ это очень было пріятно, но только когда принесли эту бутылку, и всѣ посмотрѣли другъ на друга, я покраснѣлъ ужасно и желалъ бы провалиться сквозь землю.

— «А это Nicolas мундиръ иногюрировать хочетъ», сказалъ Д[убковъ] славно!»

И мы выпили въ четверомъ $1^1/_2$ бутылки. Я хотѣлъ даже спросить еще, но Д[митрій] сказалъ, что не надо, и спросилъ, что всѣ ли это мои деньги, когда я опять подалъ слугѣ за бутылку бѣленькую бумажку. И я опять солгалъ самымъ наглымъ образомъ, сказавъ, что у меня еще довольно, тогда какъ это была послѣдняя бумажка изъ 75 рублей, данныхъ мнѣ отцомъ на дорогу, потому что утромъ, когда я ходилъ покупать трубки и табакъ, я купилъ на 15 рублей машинку для зажиганія, которая въ этотъ же день и сломалась и вовсе не нужна была мнѣ.

Но зато послѣднее впечатлѣніе мое было чрезвычайно пріятно. Д[убковъ] какъ то больше оказывалъ мнѣ вниманія, чѣмъ прежде. Было ли это слѣдствіе того, что я такимъ молодцемъ расплачивался, или что онъ увидѣлъ, у меня б[ылъ] такой знакомый и на ты, какъ Ивинъ, но только передъ тѣмъ, какъ намъ разъѣзжаться, онъ третировалъ меня совсѣмъ по товарищески, говорилъ мнѣ «ты». Какое-то особенно пріятное чувство самодовольства и гордости разливалось во всемъ моемъ существѣ, когда онъ говорилъ мнѣ такъ, но я, какъ ни сбирался, все таки не смѣлъ сказать ему тоже «ты».

VII.

ВАРИАНТЫ ИЗ ВТОРОЙ РЕДАКЦИИ «ЮНОСТИ».

* № 1.

ЮНОСТЬ

Глава 1-я. ⟨Новый взглядъ⟩. Что я считаю началомъ юности.

Я говорилъ, что дружба моя съ Дмитріемъ открыла мнѣ новый взглядъ на жизнь, ея цѣль и отношенія, сущность котораго состояла въ стремленіи къ нравственному усовершенствованію.

⟨Такой взглядъ открыли мнѣ нѣсколько педантическіе бесѣды съ Дмитріемъ. Дидактической тонъ моего друга чрезвычайно нравился и сильно на меня дѣйствовалъ;⟩ но жизнь моя шла все тѣмъ же мелочнымъ порядкомъ, всѣ добродѣтельные планы тотчасъ же забывались; какъ скоро я приходилъ въ столкновеніе съ людьми, я не думалъ о возможности постояннаго приложенія этихъ плановъ къ жизни, да и вообще они больше нравились моему уму, чѣмъ чувству.

Но пришло время, когда это чувство само собой, безъ посторонняго вліянія со всей силой молодаго самостоятельнаго открытія пришло мнѣ въ душу, пробудило новое еще для меня чувство раскаянія и положило начало совершенно новому моральному движенью. —

Въ душу каждаго человѣка вложено одинаковое прекрасное представленіе идеала нравственного совершенства, и каждому дана способность, по мѣрѣ движенія жизни, обсуживанья ея явленія и сравненія ихъ съ этимъ идеаломъ. Но для этаго обсуживанья и сравненья нужна извѣстная степень силы мышленья или моральнаго уединенія, которыхъ не допускаетъ молодая жизнь съ ея шумнымъ, ласкающимъ страсти, разнообразнымъ ходомъ. — Но иногда вдругъ совершенно случайно приходитъ эта минута морального уединенья и способность обсуживанья со всей силой сдержаннаго моральнаго стремленія, и съ тѣмъ большей силой, чѣмъ дольше она спала, проникаетъ въ душу человѣка и обновляетъ ее какъ будто вдругъ пришла

человѣку минута сводить счеты въ моральной книгѣ, за долго пропущенное время. Такихъ минутъ я не зналъ въ моемъ дѣтскомъ и отроческомъ возрастѣ. Я зналъ чувство досады, но раскаянія, этаго болѣзненнаго упрека въ невозвратимой моральной потерѣ я еще никогда не испытывалъ. Такого рода минуту моральнаго счета съ самимъ собою, (потому что я уже года 2 жилъ самостоятельно, и уже набралось достаточно пропущенныхъ счетовъ), породившую въ первый разъ чувство раскаянія, я полагаю началомъ юности. Какъ ни мало времени продолжались эти моральные порывы, и какъ ни долго (года иногда) проходило времени отъ однаго до другаго, я все таки считаю ихъ главными замѣчательными событіями жизни. Ежели нельзя назвать естественнымъ состояніемъ то восторженное состояніе души, въ которомъ она находится во время этихъ минутъ моральнаго уединенія, то еще менѣе можно смотрѣть какъ на естественное состояніе то, въ которомъ находится душа въ то время, когда она совершенно теряетъ способность обсуживанья и сравненья. Даже я нахожу, что всѣ событія этой необдуманной туманной жизни только потому интересны, что они подготавливали тѣ порывы, которые были настоящей жизнью. — Чѣмъ болѣе шуму, разнообразія, ошибокъ бывало въ необдуманной періодъ, чѣмъ бывалъ онъ продолжительнѣе, тѣмъ съ большей силой и яркостью вдругъ пробуждался голосъ совѣсти, тѣмъ глубже и строже разбиралъ прошедшую жизнь разсудокъ, тѣмъ съ большей горечью, вспоминалъ я о прошедшемъ и съ бо́льшимъ наслажденіемъ мечталъ о будущемъ.

Въ то время, которое я кладу началомъ юности, вотъ въ какомъ положеніи находился и я и все наше семейство.

** № 2.

〈Глава 2-я. Постный обѣдъ.〉

〈Когда меня позвали обѣдать, и я, проходя черезъ сѣни, увидалъ экипажъ, который стоялъ на дворѣ, мнѣ сейчасъ же пришла мысль, что нынче, сейчасъ же *начнется* и что *она* здѣсь. Но ничуть не бывало: это былъ экипажъ старой барышни Роговой, въ очкахъ и съ фальшивыми огромными буклями, которая очень часто ѣздила къ намъ послѣ кончины бабушки. Эта Рогова приходилась намъ какъ-то родственница.—При бабушкѣ я ее никогда не видалъ, но въ то время, какъ покойница была уже при смерти, барышня Рогова вдругъ появилась и прожила цѣлую недѣлю въ нашемъ домѣ, ухаживала за бабушкой, плакала, блѣднѣла, вся тряслась отъ волненья, когда бабушка была при смерти, но, главное, все закупила, что нужно было для похоронъ, пригласила священниковъ, дѣлала обѣдъ, нашла мѣсто и съ тѣхъ поръ пріѣзжала къ намъ очень часто, дѣлала для насъ покупки въ гостинномъ дворѣ, въ чемъ, всѣ говорили, она была удивительная мастерица, и всегда появлялась,

когда у насъ въ домѣ были какія-нибудь отношенія съ духовенствомъ. Своими свѣденіями и ловкостью въ этомъ послѣднемъ отношеніи она гордилась еще болѣе, чѣмъ искуствомъ торговаться. Барышня Рогова, занимаясь этими дѣлами, нисколько не имѣла корыстныхъ видовъ и ни въ какомъ случаѣ не принадлежала къ разряду приживалокъ, которыми еще больше, чѣмъ богатыя старушки, злоупотребляютъ съ нѣкотораго времени наши литераторы, она была богата и самостоятельна, но чувствовала призваніе къ духовенству и гостинному двору и совершенно безпристрастно предавалась этимъ наклонностямъ. Она даже оказала нашему дому очень много услугъ. Одно лишь, въ чемъ я могу упрекнуть ее, это то, что она купила мнѣ разъ отвратительнаго *грогро* съ цвѣточками на жилетъ, когда мнѣ хотѣлось чернаго атласу, и увѣряла, что для дѣтей это самое лучшее, и еще, что она смотрѣла на меня съ тѣхъ поръ, какъ я сталъ носить галстукъ, и въ особенности на Володю съ тѣхъ поръ, какъ онъ за обѣдомъ сталъ пить вино въ стаканѣ, какъ на такихъ развратныхъ людей, съ которыми чѣмъ дальше, тѣмъ лучше, особенно молодымъ дѣвушкамъ. Она была одна изъ тѣхъ старыхъ барышень, которыя вѣрятъ только дѣтямъ, дѣвушкамъ, старухамъ и монахамъ, для которыхъ ребенокъ, становящійся мущиной, дѣлается чѣмъ-то вродѣ дикаго, опаснаго звѣря, а замужняя женщина — насмѣшкой и укоромъ, и была одной изъ главныхъ причинъ очень вреднаго для насъ удаленія отъ женскаго кружка нашего семейства. — 〉

Папа рѣдко обѣдалъ дома — 2 раза въ недѣлю въ англійскомъ клубѣ, у Кнезь Иванъ Иваныча по воскресеньямъ, или еще гдѣ-нибудь, такъ что большей частью разливала супъ и первое мѣсто занимала Мими. Когда гостей не было и насъ безъ Володи оставалось пятеро, мы обѣдали за круглымъ столомъ въ гостиной, передъ диваномъ. Съ тѣхъ поръ, какъ за обѣдомъ стала предсѣдательствовать одна Мими, мы, я и Володя, позволяли себѣ приходить въ серединѣ или вставать изъ за обѣда, сидѣть развалившись, спрашивать по 2 раза кушанье, пить вино стаканами и т. п., все вещи очень обыкновенныя, и, можетъ быть, удобныя, но которыя дѣлали то, что семейный обѣдъ и кружокъ вмѣстѣ съ своимъ decorum сталъ мало-по-малу терять для насъ всю свою прежнюю прелесть. Обѣдъ уже пересталъ быть, чѣмъ онъ былъ прежде — патріархальнымъ и вмѣстѣ торжественнымъ, какъ молитва, обычаемъ, соединяющимъ все семейство и раздѣляющимъ день на 2 половины. Мы сбирались ѣсть, но не обѣдать. Когда папа такъ, какъ въ эту страстную середу, обѣдалъ дома, было только веселѣе, но все-таки не было той торжественной прелести, которая была при покойницѣ maman и въ особенности при бабушкѣ. Когда она бывало въ чепцѣ съ лиловыми лентами бочкомъ выплывала въ столовую, и въ комнатѣ воцарялось мертвое молчаніе, и всѣ ожидали ея перваго слова. —

Мы уже сѣли за столъ, когда Володя съ Дубковымъ и Нехлюдовымъ вошли въ залу.

Папа, какъ мнѣ показалось, былъ очень радъ имъ, онъ видимо боялся скуки предстоящаго обѣда съ старой Анастасьей Дмитревной и дѣтьми; я замѣчалъ это по тому, какъ онъ подергивалъ плечомъ и все переставлялъ вокругъ себя графинчикъ, стаканъ и солонку. —

— «Садитесь, садитесь, сказалъ онъ имъ, отодвигая стулъ и передвигая приборъ. Настасья Дмитревна увѣряетъ, что нынче, по ея заказу, будетъ постная ѣда удивительная — какой-то кисель съ грыбами, съ клюквой, и конопляным масломъ, — говоритъ, что прекрасно. Вы Дмитрий, подите сюда, а вы, Дубковъ, идите къ дамамъ. Настасья Дмитревна безъ васъ жить не можетъ».

Настасья Дмитревна улыбнулась, но, подвигаясь, сердито встряхнула лентами.

Несмотря на то, что Дубковъ былъ старше, гораздо почтительнѣе къ папа, гораздо пріятнѣе собѣсѣдникъ и болѣе схожій съ нимъ характеромъ, чѣмъ Дмитрій, папа замѣтно предпочиталъ послѣдняго за то только, какъ я послѣ убѣдился, что Дмитрій былъ лучшей фамиліи и богаче Дубкова, хотя навѣрно папа не могъ имѣть никакихъ видовъ ни на знатность, ни на богатство Дмитрія, но такъ ужъ это была его привычка.

* № 3.

〈Не говоря про насъ, уже и дѣвочки были такихъ лѣтъ, что Мими становилась для нихъ не начальница, а старый, чопорный, смѣшной, но добрый другъ. — 〉 Я еще не простилъ Мими ея притѣсненія въ дѣтствѣ и, не считая необходимымъ впослѣдствіи подумать, что она въ самомъ дѣлѣ за женщина, продолжалъ не любить ее. — Къ чести Любочки долженъ сказать, что она первая изъ насъ, переставъ быть дитей, сдѣлала открытіе, что Мими *очень жалкая, и такая добрая, чудесная, что цѣлый вѣкъ такой не найдешь*. Я сначала очень удивился этому открытію, но вскорѣ согласился совершенно съ Любочкой. Мими обожала свою дочь и всѣхъ насъ любила, кажется, немного меньше ее. Но она ни въ комъ не находила и сотой доли той любви, которую она имѣла къ дочери и къ намъ. Катенька была очень мила, добродушна, чувствительна, но она не любила свою мать, вопервыхъ потому, что она любила романы и вѣчно воображала, что она влюблена, вздыхала, прищуривала и выкатывала глазки; а, вовторыхъ, потому, что она всегда видѣла свою мать въ нашемъ домѣ въ зависимомъ и второстепенномъ положеніи. — Володя и я имѣли привычку видѣть Мими, но не только не любили ее, но, наслаждаясь въ сознаніи своей независимости, очень часто съ жестокостью первой молодости больно задѣвали ея нѣжныя струны съ цѣлью доказать ей только, что мы не дѣти и отъ нея не зависимъ. Папа былъ къ ней добръ и милостивъ и сухъ чрезвычайно, что, какъ я послѣ узналъ,

было для нея главной причиной моральныхъ страданій. Одна Любочка въ то время, о которомъ я говорю, кажется, понимала горе Мими и старалась утѣшать ее.

Володя въ эту зиму ѣздилъ раза 3 на балы большихъ и, кажется, съ тѣхъ поръ окончательно презиралъ меня и не сообщалъ мнѣ своихъ чувствъ и мыслей. Несмотря на то, я зналъ, что онъ въ серединѣ зимы былъ влюбленъ въ одну бѣлокурую дѣвицу, и что дѣвица эта тоже была расположена къ нему. Это я узналъ по кошельку, который ему связала эта дѣвица, который при мнѣ онъ покрывалъ поцѣлуями и, по разсказамъ Дубкова, который имѣлъ страсть разбалтывать все, что другіе желали держать втайнѣ. Я помню, какъ меня поразило необыкновенно самостоятельное выраженіе лица, увѣренность въ движеньяхъ и счастливые глаза Володи въ тотъ день, какъ съ нимъ случилось это. Помню, какъ меня удивила такая перемѣна, и какъ я самъ желалъ, глядя на него, поскорѣе испытать такое же чувство. Мнѣ былъ въ то время 16-й годъ въ исходѣ, я готовился къ Университету, занимался неохотно, больше шлялся безъ всякой видимой цѣли по коридорамъ, упражнялся гимнастикой, мечтая сдѣлаться первымъ силачемъ въ мирѣ, изрѣдка сходилъ внизъ, съ отвращеніемъ слушалъ въ тысячный разъ ту же сонату или вальсъ, которые стучали на фортепьяно Любочка или Катенька, или ходилъ въ комнату Володи, когда у него были гости, и смотрѣлъ на нихъ. Нехлюдовъ, который готовился къ экзамену, какъ онъ все дѣлалъ, съ страстью, теперь рѣдко видался со мной, такъ что я жилъ безъ мысли, цѣли, желанья, наклонностей, только изрѣдка занимаясь метафизическими размышленіями о назначеніи человѣка, будущей жизни и т. п., но воображаемыя открытія, которыя я дѣлалъ въ области мысли, уже мало занимали меня. Мнѣ хотѣлось скорѣе жить и прикладывать къ жизни свои открытія и быть свободну такъ, какъ Володя. Больше всего въ томъ, что дѣлалъ Володя, прельщали меня однако свѣтскія удовольствія. Мысли о томъ, чтобы танцовать на балѣ визави съ адъютантомъ, пожать руку Генералу, поѣхать обѣдать къ Князю, а вечеромъ чай пить къ Графинѣ и вообще быть въ *высшемъ* обществѣ и «un jeune homme très comme il faut» — эти мысли приводили меня въ восторгъ. Это такъ меня занимало въ то время, что всѣ люди подраздѣлялись у меня на два: comme il faut и не comme il faut, и въ камлотовой шинели, какъ учителя мои и Грапъ съ сыномъ, были для меня почти не люди, которыхъ я презиралъ отъ души, не смотря на то, что мысли о нравственномъ достоинствѣ и равенствѣ давно приходили мнѣ. Я даже мечталъ, что, ежели мнѣ вдругъ наступитъ на ногу какой-нибудь manant[1] этакой, какъ я ему скажу, что, ежели бы онъ былъ мнѣ равной, то я бы раздѣлался съ нимъ, но ему я могу

[1] [нахал]

отвѣчать только презрѣніемъ. Образцомъ, разумѣется, моихъ свѣтскихъ отношеній былъ мой другъ Дмитрій, который былъ аристократомъ съ головы до пятокъ, былъ comme il faut безъ всякаго труда, хотя любилъ выбирать друзей изъ людей не своего общества и былъ либералъ по убѣжденіямъ, но у него былъ тотъ истинно аристократической взглядъ на низшее сословіе, который позволялъ ему не дѣйствовать въ разладъ съ своими убѣжденіями. Всѣ сословія, исключая общества, къ которому онъ принадлежалъ, и избранныхъ имъ друзей, не существовали для него. —

Одно меня смущало въ будущихъ моихъ свѣтскихъ планахъ. Это была моя наружность, которая не только не была красива, но я не могъ даже утѣшать себя обыкновенными въ подобныхъ случаяхъ утѣшеніями, что у меня или выразительная, или мужественная, или благородная наружность. Ничего этаго я не могъ сказать про себя, глядясь въ зеркало, что я часто, дѣлалъ, и всегда отходилъ съ тяжелымъ чувствомъ унынія и даже отвращенія. — Выразительнаго ничего не было — самыя обыкновенныя, грубыя, но очень дурныя черты, даже глаза маленькіе, круглые сѣрые, скорѣе глупые, чѣмъ умные. — Мужественнаго было еще меньше — несмотря на то, что я былъ не малъ ростомъ и очень силенъ по лѣтамъ, всѣ черты лица были мягкія, вялыя, неопредѣленныя. — Даже и благороднаго не было — напротивъ, лицо было, какъ у *простаго*, да еще очень некрасиваго *мужика*, даже такихъ уродливыхъ мужиковъ я и не видалъ никогда. —

* № 4.

— «Знаешь, Николинька, что она написала?» сказала разобиженная Катенька. «Она написала грѣхъ, что влюблена въ твоего друга», проговорила она такъ скоро, что Любочка не успѣла зажать ей ротъ, что она намѣревалась сдѣлать.—

— «Не ожидала я, чтобъ ты была такая злая, сказала Любочка, совершенно разнюнившись, уходя отъ насъ; въ *такую минуту* и нарочно все вводить въ грѣхъ. Я къ тебѣ не пристаю съ твоими чувствами и страданіями, и сиди съ своимъ Дубковымъ и дѣлай ему глазки, сколько хочешь».

«Э-ге! подумалъ я, да дѣвочки-то вотъ какія, обѣ влюблены въ нашихъ пріятелей.— Какже это онѣ влюблены? А вѣдь онѣ еще слишкомъ молоды», спрашивалъ я самъ у себя. Особенно странно и смѣло казалось мнѣ со стороны Любочки влюбиться въ Дмитрія. «Куда ей, глупенькой дѣвочкѣ, любить его? думалъ я — она его ногтя не стоитъ».

* № 5.

[Глава] 26. Настоящія отношенія.

Когда я вернулся на галерею, Варинька не читала, а спорила съ Дмитріемъ, который, стоя передъ ней, размахивалъ

руками и горячо, съ своимъ непріятнымъ, вспыльчиво злобнымъ [видомъ] доказывалъ что-то. Я сначала думалъ, по одушевленію ея и его лица, что споръ шелъ объ очень важномъ дѣлѣ, но услыхалъ, что дѣло шло объ комнатѣ, которую,[1] переѣхавъ на дачу, долженъ былъ занять Дмитрій на все лѣто. Онъ говорилъ, что ему было все равно, одно только онъ желалъ, чтобъ можно было рано выходить, никому не мѣшая, поэтому онъ хотѣлъ ту комнату, гдѣ стоялъ рояль, а Варинька говорила, что, ежели онъ будетъ въ этой комнатѣ, то ей негдѣ будетъ играть, потому что Любовь Сергѣвна (ея не было въ комнатѣ) будетъ мѣшать ей.

— «Изволь, я перенесу рояль, сказала она покраснѣвъ, увидавъ меня, но нисколько не перемѣняя тона: только ужъ я не буду играть совсѣмъ».

— «Отчего же?» началъ было Дмитрій. —

— «Вотъ видишь, mon enfant,[2] — прервала его Княгиня М[арья] И[вановна]: она всегда тебѣ уступитъ, потому что я въ ваши дѣла не хочу вмѣшиваться, а она права». —

— «Она всегда у васъ права», сказалъ Дмитрій.

Княгиня М[арья] И[вановна] что-то отвѣтила и покраснѣла, но въ это время вошла Софья Ивановна и рѣшила, что она перейдетъ, и хотѣла ужъ перейти въ маленькую комнату: такъ ко[illegible] и всѣ спокойны!

Мнѣ нѣсколько совѣстно было быть свидѣтелемъ маленькаго семейнаго раздора, но потомъ я нашелъ, что это было особенно счастливо: я сразу понялъ всѣ отношенія этаго кружка. —

*** № 6.**

[Глава] 33. «Comme il faut».

Притомъ весь родъ человѣческій раздѣлялся для меня на людей comme il faut и не comme il faut, или comme il ne faut pas,[3] по игривому выраженію Дубкова. — Послѣдніе не существовали для меня совершенно. Я уже не говорю о простомъ народѣ. Простой народъ очень добрый, насъ любятъ очень, и весьма красиво сѣнокосъ и жатва, и папа очень любитъ. Мнѣ и въ голову не приходило, что, ежели даже эти три качества: быть страстнымъ, noble[4] и comme il faut, дѣйствительно прекрасныя качества, надо чѣмъ-нибудь еще быть, кромѣ этаго, на свѣтѣ. — Мнѣ казалось — comme il faut и кончено, я счастливъ, и всѣ должны быть очень довольны. Тѣ же мысли, которыя пришли мнѣ весной о разныхъ какихъ-то совершенствахъ моральныхъ и еще о чемъ-то, ко мнѣ не возвращались во все лѣто. Я жилъ, не сводя счеты, до тѣхъ поръ, пока жизнь не

[1] *В подлинникѣ:* который.
[2] [дитя мое,]
[3] [как не надо,]
[4] [благородным.]

показалась слишкомъ тяжелою и не обманула меня и не возбудила къ добру потерями и страданьями. —

** № 7.

⟨Глава 8. Женитьба отца.⟩

⟨Отцу было 48 лѣтъ, когда онъ женился въ другой разъ на Авдотьѣ Владиміровнѣ Макариной, той самой дѣвушкѣ, про которую въ письмѣ писала ему maman, и которую онъ называлъ прекрасной Фламандкой. — Это случилось въ то самое лѣто моихъ первыхъ вакацій, которое я описываю, и я имѣлъ случай слѣдить за ходомъ этаго дѣла, потому что папа, дѣйствительно, возилъ насъ нѣсколько разъ къ Макаринымъ, и они пріѣзжали къ намъ. Но я постараюсь разсказать про это обстоятельство не по однимъ моимъ тогдашнимъ наблюденіямъ, но такъ, какъ, узнавъ и обсудивъ многое, мнѣ послѣ представлялось это дѣло. Макарины были небогатые люди и всегда жили въ деревнѣ въ трехъ верстахъ отъ Петровскаго. Встарину еще при матушкѣ, я думалъ, что тамъ жилъ какой-то страшный злодѣй и врагъ всего нашего семейства, потому что такъ не разъ описывалъ его Яковъ. Этотъ старикъ былъ отецъ моей будущей мачихи, очень добрый и глупый помѣщикъ, придерживавшійся сильно рюмочки и имѣвшій съ нами тяжбу за какіе-то 13 десятинъ луга, которая очень сердила папа. —

Семейство Макариныхъ послѣ смерти отца состояло изъ его вдовы, весьма толстой, еще нестарой, бывшей весьма красивой женщины, бывшаго непремѣннаго Члена Николая Харлампыча, жившаго уже нѣсколько лѣтъ въ домѣ на ногѣ друга семейства и управлявшаго всѣми дѣлами и изъ 2-хъ дочерей: Авдотьи Владимировны, которой въ это время было 24 года, и которая была совершенная красавица, меньшой 13-лѣтней дочери Ненилочки и 8-лѣтней воспитанницы, которая была любимица матери.

Не говоря ужъ о томъ, что мы въ дѣтствѣ считали все это семейство врагами, которые при видѣ насъ способны рѣшиться на все, чтобъ сдѣлать намъ вредъ, мы считали ихъ и теперь такими преврѣнными существами, не имѣющими никакихъ человѣческихъ чувствъ, что между нами и ими не могло быть ничего общаго. Я помню, maman нѣсколько разъ говаривала, когда кто-нибудь упоминалъ о нихъ: «пожалуйста, оставьте ихъ въ покоѣ и при мнѣ и моихъ дѣтяхъ не говорите про это семейство».

Въ годъ своей смерти maman встрѣтила въ Церкви сосѣдку. Вдова почему-то сочла своей обязанностью отрекомендовать дочь, которая очень понравилась матушкѣ. Несмотря на это, извѣстіе въ первый день, что папа ѣздитъ къ нимъ часто и называетъ ихъ добрыми сосѣдями, сильно поразило меня и привело въ недоумѣніе.

Пріѣхавъ одинъ въ деревню, папа, вѣрно, соскучился, тѣмъ болѣе, что находился въ томъ особенно благополучномъ и общительномъ состояніи духа, въ которомъ бываютъ игроки, забастовавъ послѣ большаго выигрыша. — Ему хотѣлось жить веселой, богатой, шумной жизнью. — Подъ предлогомъ окончанія тяжбы, а въ сущности потому, что онъ зналъ, что увидитъ очень хорошенькую женщину, вещь, которая для него не только въ эти годы, но и до глубокой старости была очень привлекательна, онъ велѣлъ заложить колясочку и поѣхалъ къ Макаринымъ, въ самомъ счастливомъ самодовольномъ расположеніи духа, въ которомъ онъ, дѣйствительно, бывалъ обворожителенъ. Пришепетывая, потопывая мягкимъ каблучкомъ, отпуская комплименты, дѣлая сладкіе глазки, онъ совсѣмъ сбилъ съ толку толстую Агафью Николаевну, которая не могла понять сразу всей этой любезности и великодушія, потому что папа съ барскимъ пренебреженіемъ и съ таковою же любезностью предложилъ уступить спорную землю. —

Агафья Николаевна была умная женщина тѣмъ особеннымъ хитрымъ, практическимъ умомъ, которымъ бываютъ умны Русскія, не совсѣмъ строгаго поведенья помѣщицы, подъ 40, но она сразу не поняла, въ чемъ дѣло, прикидывала и на себя и на дочь и на покупку имѣнья, и все ей не вѣрилось. Авдотья Владиміровна въ первый же день съ радостью поняла по своему, къ чему отнести это особенное вниманіе богатаго уже не молодого, но ужасно милаго сосѣда. Притомъ папа умѣлъ съ своей страстностью говорить и дѣлать самые смѣлые вещи, ужасая, пугая, но не оскорбляя женщинъ. И онъ въ первый же день пустилъ въ ходъ и глазки и пожатіе ручьки и ножки и т. п.

Но главное лицо въ домѣ, бывшій Непремѣнный Членъ, сразу понялъ дѣло въ настоящемъ свѣтѣ. Даже онъ понималъ и предвидѣлъ исходъ его гораздо яснѣе, чѣмъ папа. Папа въ первый же день влюбился такъ, какъ въ жизни никогда не влюблялся, и самъ не зная и не думая зачѣмъ, для чего, что изъ этаго выйдетъ, но и не думалъ о возможности когда-нибудь жениться на дѣвушкѣ, написалъ ей страстное письмо на 2-хъ страницахъ, прося свиданья, и, поѣхавъ будто на другой день съ собаками, заѣхалъ въ садъ и бросилъ письмо. — На 3-й день онъ придрался къ слову, чтобъ послать подарокъ, на четвертый выдумалъ какой-то праздникъ съ охотой и иллюминаціей. — Но ему, должно быть, неловко было съ Авдотьей Николаевной при нашихъ дамахъ и поэтому онъ всего два раза приглашалъ къ намъ все семейство, исключая, впрочемъ, Непремѣннаго Члена. Но въ эти дни жалко было смотрѣть на папа, какъ онъ, какъ мальчикъ, подергивался, краснѣлъ, подбѣгалъ и отбѣгалъ отъ нея. Я даже знаю, что онъ въ это время написалъ ей очень хорошіе стихи и ночью, чтобъ никто не зналъ дома, ходилъ за три версты въ ихъ садъ подъ ея окна. —

Авдотья Николаевна, несмотря на свои 24 года, была необык-

новенна хороша, большаго роста, стройна, необыкновенной бѣлизны и съ прелестнымъ цвѣтомъ лица, составлявшимъ рѣзкій контрастъ съ ея льняными пышными волосами, рѣсницами и бровями. Въ лицѣ ея все было правильно и красиво, но во всѣхъ чертахъ была какая-то грубость, особенно въ нижней губѣ, далеко отставшей отъ верхней, но я увѣренъ, что эта грубость очертаній, соединенная съ прелестнымъ сложеніемъ, показывавшая преобладаніе тѣла надъ неразвитымъ духомъ, было еще большею прелестью въ глазахъ папа и такихъ людей, какъ онъ. Пылкая страсть папа такъ сообщилась ей, что ее жалко было видѣть, она краснѣла, какъ только онъ входилъ въ комнату, не спускала съ него глазъ и вдругъ дѣлалась печальна, угрюма, какъ скоро онъ не только подходилъ къ другой женщинѣ, но говорилъ про какую-нибудь женщину. —

Папа совершенно презиралъ Непремѣннаго Члена, а между тѣмъ Н[епремѣнный] Ч[ленъ] былъ человѣкъ, котораго нельзя было презирать, онъ все зналъ, все видѣлъ и ждалъ. Н[епремѣнный] Ч[ленъ] был замѣчательный господинъ. —⟩

* № 8.

⟨Глава 8-я. Женитьба отца.⟩ [Глава] 35. Сосѣдки враги.

Отцу было 48 лѣтъ, когда онъ женился во второй разъ на Авдотьѣ Васильевнѣ Шольцъ, той самой дѣвушкѣ, про которую въ письмѣ своемъ писала матушка, называя ее «прекрасной Фламандкой». —

Я очень удивился узнавъ, что папа ѣдетъ къ Шольцъ и называетъ ихъ славными людьми. Съ дѣтства еще у меня объ этихъ людяхъ составилось на основаніи разговоровъ отца, матушки и Якова совсѣмъ другое понятіе. Я зналъ, что Шольцъ были очень небогатые люди и жили въ деревнѣ Мытищахъ за нашимъ лѣсомъ. Я не имѣлъ яснаго понятія о томъ, изъ кого состояло это семейство, но зная, что у насъ съ ними тяжба, что они *черные люди* и наши *враги* (такіе враги, что нѣтъ такого ужаснаго и низкаго средства, которое бы они не употребили, чтобъ повредить намъ, и что при встрѣчѣ кого-нибудь изъ нашихъ съ ихними должно произойти что-нибудь ужасное) — имѣя такое объ нихъ мнѣніе, я предполагалъ почему-то, что семейство ихъ состоитъ изъ ужаснаго, злаго пьянаго старика, такой же старухи и безчисленнаго числа пьяныхъ дѣтей, которыя всѣ безпрестанно между собой дерутся. Поэтому еще въ годъ кончины матушки, увидавъ Авдотью Васильевну у насъ, потому что матушка какъ-то вынуждена была познакомиться съ ней въ Церкви, я былъ очень изумленъ найти въ ней кроткую, привязчивую и красивую дѣвушку. — Хотя это дѣтское понятіе враговъ уже не существовало, все-таки до того времени, которое я описываю, я имѣлъ самое низкое понятіе о всемъ этомъ семействѣ. — Старуха мать, 5 дочерей и сынъ, отставной

толстый поручикъ, который ходилъ въ венгеркѣ и управлялъ имѣньемъ, имѣли всѣ вмѣстѣ только 70 душъ. Они не только дурно говорили по-французски и носили короткіе ногти, но даже ѣздили въ Церковь въ какой-то ужасной каретѣ съ перегородкой внизу, ѣли только одну размазню всякой день и ходили въ вязанныхъ перчаткахъ. Впрочемъ, я теперь только вспоминаю эти подробности, въ то же время я даже не зналъ, сколько ихъ, кто они и что, такъ глубоко я презиралъ ихъ. — Въ сущности же это было вотъ какое семейство. Старый Шольцъ былъ честный остзейскій нѣмецъ, выслужившійся генераломъ русской службы, женившійся на Русской и, на тепленькомъ мѣстѣ прослуживъ 12 лѣтъ, не нажившій и не оставившій своей вдовѣ и 7 человѣкамъ дѣтей никакого состоянія. —

Генеральша послѣ смерти мужа отдала сына въ корпусъ и уѣхала съ дочерьми жить безвыѣздно въ свою маленькую деревеньку. — Прошло 20 лѣтъ, сынъ давно служилъ въ полку, утѣшая старуху письмами и не требуя отъ нея ни гроша денегъ, исключая тѣхъ 1000 р., которые она дала ему на экопировку. Старушка говорила, что онъ служитъ хорошо, только не бережетъ здоровья, и тужила, что дорогой Петруша ни разу не навѣстилъ ее, потому что онъ говоритъ, по службѣ потеряетъ, коли въ отпускъ проситься. Дочери безприданницы росли, хорошѣли, потомъ старѣлись и дурнѣли, не выходя за мужъ. Маленькое имѣньице разстроивалось больше и больше, доходовъ становилось меньше, а все столько же требовалось башмачковъ козловыхъ, ситцу на обновки въ имянины, сахару, патоки на варенье. —

Уже лѣтъ 8 тесовая крыша домика растрескалась, прогнила и текла во многихъ мѣстахъ. Старушка откладывала въ баульчикъ деньги, и всякій разъ деньги эти надобились на что-нибудь болѣе необходимое: на ригу, которая развалилась, на Совѣтъ, — и только подставлялись лоханки въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ текла крыша, чтобъ полъ не портила капающая красная, перепрѣлая вода. На бѣду еще была тяжба за какія-то 50 десятинъ, которыя оттягивало наше семейство и кажется несправедливо. — Сосѣдъ Никаноръ Михайлычъ присовѣтовалъ подать прошенье, и съ тѣхъ поръ каждый годъ расходы, а земля все была въ чужомъ владѣньи. Уже лѣтъ 15 имѣнье было на волоскѣ отъ продажи съ аукціона, и разъ 10 было подъ опекой Н[иканора] М[ихайлыча], но все какъ-то держалось. Наконецъ такъ увеличился долгъ и годъ пришелъ такой плохой, что приступили къ продажѣ. — Уже добрый Н[иканоръ] М[ихайлычъ] не могъ пособить горю, старушка написала къ Петрушѣ, умоляя его пріѣхать спасти ихъ отъ раззоренья. Она такъ была убита горемъ, которое въ ея глазахъ увеличивалось тѣмъ, что онѣ были одни женщины, которыя ничего не знаютъ, что она не подумала о томъ, что Петрушѣ имъ помочь нечѣмъ. Ей казалось, что уже одно присутствіе мущины облегчитъ ея участь. —

Петруша не тотчасъ пріѣхалъ, а писалъ, что служба его идетъ очень хорошо, даетъ ему кусокъ хлѣба, и онъ надѣится, со временемъ дастъ ему возможность улучшить не только свое, но положеніе всего семейства, такъ ему страшно бросить все, можетъ быть изъ пустяковъ и для такого дѣла, къ которому онъ и не способенъ, въ которомъ онъ не можетъ быть полезенъ. Но несмотря на то, пусть ему обстоятельно напишетъ добрый сосѣдъ Никаноръ Михайлычъ, и матушка прикажетъ пріѣхать: ея воля для него святой законъ. —

Мать все-таки звала сына, умоляя его спасти ее, точно отъ разбойниковъ, и Петруша вышелъ въ отставку и пріѣхалъ въ деревню. —

Дѣла дѣйствительно были въ ужасномъ положеніи, однако, просьбами, обѣщаньями и разными оборотами Петръ Васильевичъ кое какъ удержалъ имѣнье и принялся хозяйничать. Причина разстройства была очень простая: доходовъ было тысяча рублей, а расходовъ полторы. —

«Ежели вы меня вызвали, и я для васъ бросилъ карьеру и все, сказалъ онъ матери и сестрамъ: и ежели вы хотите, чтобъ я сдѣлалъ точно что-нибудь, то первое условіе, безъ котораго я не останусь здѣсь дня: вы должны слушаться меня, и все хозяйство должно зависѣть отъ меня однаго, расходы должны уменьшиться въ четверо. Матушкѣ, что угодно будетъ приказать для себя, все будетъ исполнено, ежели только возможно, а вамъ, сестрицы, я назначаю на туалетъ каждой по 25 р. ассигн., и больше отъ меня вы не получите ни копейки. Обѣдать мы будемъ щи и кашу — больше ничего, лошадей не будемъ держать и ѣздить никуда не будемъ, а коли кто пріѣдетъ къ намъ для насъ, то пусть ѣстъ съ нами, что мы ѣдимъ. Я и самъ, кромѣ этаго парусиннаго пальто и тулупа, себѣ ничего не сошью, пока долги всѣ не будутъ заплочены, а буду ѣздить въ гости въ старой батюшкиной венгеркѣ. Коли кто меня принимаетъ для меня, тому все равно, а коли кому стыдно за мое платье, и самъ его знать не хочу». —

П[етръ] В[асильевичъ] сдержалъ слово, вникъ въ хозяйство, увеличилъ запашку, завелъ картофельный заводъ. Съ мужиками былъ взыскателенъ и строгъ. «Мужичонки», какъ называлъ ихъ Н[иканоръ] М[ихайлычъ] стали жить похуже и [*1 неразобр.*], но дѣла пошли лучше, и дѣйствительно черезъ 5 лѣтъ долги были заплочены, и П[етръ] В[асильевичъ] поѣхалъ въ Москву, сшилъ себѣ триковый пальто и сестрамъ всѣмъ купилъ по шелковому платью. Мать и сестры, испугавшіяся его сначала, теперь обожали его, хотя боялись больше всего на свѣтѣ.

Съ этимъ-то помѣщикомъ Шольцомъ была у насъ тяжба, по которой я составилъ себѣ о немъ и его семействѣ такое странное мнѣніе.

Авдотья Васильевна, которая была меньшая сестра, ѣздила къ матушкѣ, когда еще П[етръ] В[асильевичъ] былъ въ полку.

Какъ скоро онъ пріѣхалъ, то запретилъ ей бывать у насъ, и мы до того лѣта, которое я описываю, ничего не слышали про нихъ.

* № 9.

Анна Ивановна Епифанова съ молоду и даже лѣтъ до 40, говорили, была женщина очень легкого характера — любила повеселиться и не любила стѣсняться ни въ своихъ поѣздкахъ въ столичные и губернскіе города, ни въ домашней деревенской жизни, ⟨гдѣ имѣньемъ ея управлялъ то Непремѣнный Членъ Земскаго суда, то Уездные Доктора, Учитель изъ Семинаристовъ, то крѣпостной, управляющій Митюша.⟩ Но лѣтъ 10 тому назадъ съ Анной Ивановной случилось несчастіе, которое очень поразило ее и измѣнило характеръ. Ея управляющій изъ крѣпостныхъ Митюша, который былъ всячески обласканъ и фаворитомъ своей барыни, хотѣлъ, какъ говорятъ, застрѣлить ее и былъ за то отданъ въ солдаты. Съ тѣхъ поръ Анна Ивановна бросила пустяки, какъ она сама говорила, выписала изъ службы своего почтительнаго и серьезнаго сына Петрушу, передала ему хозяйство, а сама, удержавъ вполнѣ свой веселый и пріятный характеръ, навсегда поселилась въ деревнѣ и занялась устройствомъ домика и садика. — Дѣйствительно, лучше дома и сада и цвѣтовъ Анны Ивановны рѣдко можно было найти по помѣщикамъ. И домъ и садъ были небольшіе, и убранство ихъ было небогато, но все это было такъ акуратно, такъ опрятно, съ такимъ вкусомъ и носило все такой общій характеръ той веселости, которую выражаетъ хорошенькой вальсъ или полька, что слово игрушечка, которое часто употребляли гости, хваля домикъ Анны Ивановны, чрезвычайно шло къ нему. — И сама Анна Ивановна была игрушечка, — маленькая, худенькая, всегда къ лицу одѣтая, въ новенькомъ чепчикѣ, съ крошечными ручками, на которыхъ впрочемъ немного слишкомъ выпукло обозначаются лиловатыя жилки, и хорошенькими пальцами которыхъ она шевелитъ безпрестанно, сидя или съ книгой въ своей хмѣлевой бѣсѣдочкѣ, или за хорошенькими, подъ орѣхъ сдѣланными своимъ столяромъ [пяльцами] въ своемъ хорошенькомъ кабинетѣ, гдѣ поютъ хорошенькія кинареечки въ хорошенькихъ клѣточкахъ, и гдѣ вездѣ стоятъ хорошенькія вещицы на хорошенькихъ столикахъ, и хорошенькая съ разноцвѣтными стеклами дверь отворена на хорошинькія краснымъ пескомъ усыпанныя дорожки, вьющіяся между единственными хорошенькими цвѣточками. Но что всего было лучше въ Аннѣ Ивановнѣ, это то, что она всегда была одинаково весела, одинаково радушна и одинаково умѣла занять каждаго и любила радоваться на удовольствія молодежи. Но в сущности, исключая своихъ цвѣточковъ и комнатъ, Анна Ивановна никого не любила. —

Авдотья Васильевна мало имѣла сходства съ матерью и физически и морально. Она была велика, полна, чрезвычайно

красива и не весела, какъ мать, а напротивъ скучлива. — Когда она хотѣла быть веселой, то выходило какъ-то странно, какъ будто она смѣялась надъ собой и надъ всѣмъ свѣтомъ, чего она вѣрно не хотѣла. — Часто я удивлялся, когда она говорила такія фразы: «Да, я ужасно какъ хороша собой. Какже всѣ въ меня влюблены» и т. п., но зато во всѣхъ пріемахъ ея видно было великодушное желаніе пожертвовать собой для любви къ кому-нибудь. — Мать была акуратна, она неряха. —

Петръ Васильевичъ былъ мраченъ, и, какъ я послѣ рѣшилъ, мрачность эта происходила отъ убѣжденія, что онъ пожертвовалъ своей карьерой матери. Онъ на всѣхъ сердился за то, что онъ былъ почтительный сынъ матери и пожертвовалъ ей собою. Онъ дралъ съ мужиковъ, но самъ Богъ не разувѣрилъ бы его, онъ, сердился бы и на Бога. — Онъ почтит[еленъ] [къ] матери.

* № 10.

Въ то короткое время, когда я видѣлъ вмѣстѣ эти три лица: папа, Дуничку, какъ ее звала мать, и Петра Васильевича, вотъ что я успѣлъ замѣтить.

Папа былъ постоянно въ томъ же расположеніи духа, которое меня поразило въ немъ, когда мы пріѣхали. Онъ былъ такъ веселъ, молодъ, полонъ жизни, что лучи этаго счастія распространялись на всѣхъ окружающихъ. — Онъ со всѣми сталъ еще добрѣе, ласковѣе, особенно съ Любочкой, къ которой, я замѣтилъ, въ немъ въ это время, кромѣ всегдашней любви, присоединилось чувство какого-то уваженія, почти боязни. Разъ онъ, разговаривая о чемъ-то очень веселомъ на балконѣ съ Дуничкой, вдругъ взглянулъ на Любочку, покраснѣлъ и тотчасъ, покряхтывая и подергивая плечомъ, отошелъ отъ Дунечки. —

Съ Мими же, я замѣтилъ, онъ въ это время сдѣлался особенно сухъ и обходилъ ее, какъ непріятное воспоминаніе. Вся его веселость вдругъ пропадала, какъ только онъ обращался къ ней.

Авдотья Васильевна, бывшая большей частью весела, необыкновенно мила и естественна, или вдругъ на нее находила такая застѣнчивость, что жалко было смотрѣть на нее: она боялась каждаго взгляда, каждаго движенья, видимо съ цѣлью преодолѣть свою застѣнчивость начинала безпрестанно говорить и говорила глупости, сама чувствуя и краснѣя еще больше. Кромѣ того, я замѣтилъ въ ея обращеньи двѣ вещи, мнѣ тогда показавшіяся странными — она въ разговорѣ употребляла безпрестанно всѣ обыкновенные выраженія папа, разумѣется, большей частью некстати и часто продолжала съ другими разговоръ, начатый съ папа, и говорила про то, чего мы вовсе не знали, какъ про вещь, которая всѣмъ должна быть извѣстна.

Другая странность была частыя мгновенные переходы отъ самаго веселаго расположенія духа, бывшаго ей обыкновеннымъ, къ какому-то безпомощно-унылому состоянію, которое однако продолжалось недолго. — Какъ я потомъ замѣтилъ, такіе переходы случались всякой разъ, какъ папа оказывалъ расположеніе другой женщинѣ или мущинѣ или даже вспоминалъ о любви своей къ кому нибудь. — Вообще же Дуничка мнѣ очень нравилась. Описывать ея красоту трудно, потому что она была очень правильна. Одинъ ея недостатокъ, общій всѣмъ красивымъ лицамъ, было однообразіе выраженія. Ея постоянное выраженіе было добродушно-веселое и вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ это ни покажется страннымъ, скучающее. —

Петръ Васильевичъ въ своей венгерки, которая была ему и узка и коротка, былъ чрезвычайно забавенъ. — Онъ говорилъ мало, даже боялся и не любилъ, когда его впутывали въ разговоръ, ѣлъ очень много и съ папа и со всѣми нами держалъ себя такъ, какъ будто былъ увѣренъ, что мы всѣ только и ждемъ случая, чтобъ онъ забылся для того, чтобы пустить ему волчка въ волосы или гусара въ носъ, но что онъ *не позволитъ* никому манкировать. Онъ похожъ былъ на паяца, который, обѣдая въ трактирѣ, хочетъ быть просто посѣтителемъ. Съ нашими дамами онъ былъ весьма почтителенъ, со мной учтивъ, съ папа и съ Володей особенно величественъ и строгъ, несмотря на что папа и даже Володя иногда, едва удерживаясь отъ смѣха, все таки называли его *Полковникомъ*.

После Петрова дня, имянинъ папа, Шольцъ ни разу не были у насъ, и я не видалъ ихъ больше, но папа до Августа мѣсяца, почти каждый день, ѣздилъ къ нимъ. — Въ Августѣ, должно быть, что нибудь случилось непріятное, потому что онъ, получивъ какое-то письмо отъ Петра Васильевича пересталъ ѣздить къ нимъ, былъ долго очень разстроенъ и уѣзжалъ въ Тамбовскую деревню и къ Вахтину, своему пріятелю.

* № 11.

Однако вѣрно Оперовъ былъ очень хорошій малый. Передъ экзаменомъ, когда мнѣ понадобились тетрадки, потому что я не записывалъ, онъ предложилъ мнѣ ихъ черезъ другаго товарища сказавъ, что онъ ужъ отдалъ ихъ, но возьметъ назадъ и дастъ мнѣ, и сдержалъ слово. — Но и тетрадки Оперова были мнѣ не въ пользу: я не записывалъ и не слушалъ ничего впродолженіи всего курса, и голова у меня была такъ занята другимъ, что за недѣлю передъ экзаменами я зналъ изъ математики меньше того, что я зналъ на вступительномъ экзаменѣ.— Чѣмъ же я былъ такъ занятъ эту зиму? ⟨Не кутежной веселой жизнью, какъ это часто бываетъ съ молодежью на первомъ курсѣ; я только разъ былъ въ эту зиму на такомъ кутежѣ у однаго товарища и очень остался недоволенъ этой забавой, не свѣтской жизнью, потому что я, кромѣ визитовъ, только

бывалъ у Нехлюдовыхъ по вечерамъ и разъ былъ на одномъ концертѣ, который мнѣ оставилъ самое непріятное воспоминаніе.⟩

* № 12.

Глава 37. Сердечныя дѣла.[1]

Не уединенными размышленіями, потому что я во всю эту зиму, кажется, полчаса не пробылъ одинъ, ежели же это случалось, то я инстинктивно скорѣй брался за книгу какого-нибудь романа съ тѣмъ, чтобы не думать. Даже разъ, приведя въ порядокъ свою комнату и найдя въ бумагахъ тетрадь съ надписью: *Правила жизни*, я только на секунду задумался, и какъ будто мнѣ жалко стало чего-то, но я тотчасъ же опомнился и съ усмѣшкой спряталъ тетрадь въ ящикъ комода. «Интересно будетъ вспомнить объ этой глупости черезъ нѣсколько лѣтъ, когда я буду уже женатый, высокій мущина въ чинѣ Колежскаго Совѣтника или что-нибудь такое», подумалъ я. Музыкой тоже упражнялся я мало, потому что по пріѣздѣ мачихи внизу всегда бывали гости, а у меня фортепьянъ не было. Но зато я вздумалъ было сочинить сонаты и купилъ себѣ для этой цѣли Генералъ-басъ Фукса. Довольно долго я читалъ Фукса, стараясь увѣрить себя, что я понимаю что-нибудь, также, какъ читаютъ книги на плохо извѣстномъ языкѣ, но какъ только я бралъ нотную бумагу и начиналъ писать, то выходило, уже не говоря о томъ, каково на слухъ, на видъ выходила такая дичь, что я скоро бросилъ это занятіе, рѣшивъ, что книга Фукса никуда не годится. Изъ уединенныхъ занятій главнымъ все-таки было чтеніе французскихъ романовъ, ⟨которымъ я продолжалъ предаваться со страстью⟩. Не смотря на то, что уже начиналъ обсуживать то, что я читалъ, и дѣлать критическіе открытія, которыя очень радовали меня, и которыя я тотчасъ же сообщалъ всѣмъ своимъ знакомымъ. Я, напримѣръ, открылъ вдругъ, что только тотъ романъ хорошъ, въ которомъ есть мысль, открылъ тоже, что Монте Кристо не натурально, не могло быть, и потому невѣроятно, вслѣдствіи чего самая мысль романа не можетъ принести пользу, и всѣмъ нѣсколько дней разсказывалъ это открытіе, ⟨что мнѣ не мѣшало однако проглатывать по 5 томовъ такихъ романовъ въ сутки⟩. —

* № 13.

⟨Дмитрій признался мнѣ, что ему приходитъ мысль, чтобы его брата убили на Кавказѣ для того, чтобы онъ былъ богаче, а я признался, что желалъ, чтобы умерла бабушка.⟩ И эти при-

---

[1] *Глава имеет и другой вариант заглавия, написанный карандашом:* [*1 неразобр.*] любви.

знанія не только не стягивали больше чувство, соединявшее насъ, но сушили его и разъединяли насъ, а теперь вдругъ его самолюбіе не допустило его сдѣлать самое пустое признанье, и мы въ жару спора воспользовались тѣми орудіями, которыя прежде сами дали другъ другу и которыя поражали ужасно больно. —

45. Дружба.

Кромѣ того, въ это время вліяніе Дмитрія становилось мнѣ тяжело, я стыдился этаго вліянія, и самолюбіе мое безпрестанно мнѣ указывало недостатки моего друга. — Къ счастію, привычка этаго вліянія была сильнѣе самолюбія, и этому я обязанъ тѣмъ, что въ этотъ первый годъ свободы я еще не смѣлъ думать дѣйствовать противъ совѣтовъ Дмитрія; не употребилъ свои силы молодости на будто бы веселую жизнь съ виномъ и женщинами, на которыя обыкновенно въ эти года бросаются молодые люди. Именно въ эту пору любовь моя къ Дмитрію держалась только потому, что мнѣ стыдно было передъ нимъ и еще больше передъ самимъ собою измѣнить ему. Но это было переходное время отъ любви страстной къ любви разумной. Прежде онъ былъ для меня совершенствомъ во всѣхъ отношеніяхъ, достойнымъ подражанія и недостижимымъ, теперь, открывъ въ немъ недостатки, я готовъ былъ бросить совсѣмъ его и искать другаго совершеннаго друга; по счастію меня удержала его разумная и упорная привязанность. — Хотя мнѣ это было больно, я сталъ вѣрить, что можно любить и не совершенныхъ людей. Кромѣ того, я любилъ уже все его семейство и даже въ это время послѣднее, кажется, больше его. Воспоминаніе о вечерахъ, проведенныхъ въ гостиной Нехлюдовыхъ, было бы совершенно пріятное, ежели бы я не страдалъ очень часто отъ застѣнчивости и не портилъ самъ своихъ отношеній своимъ стремленіемъ къ оригинальности. Казалось, С[офья] И[вановна], М[арья] И[вановна], В[аренька], любили меня и привыкли ко мнѣ, но привыкли ко мнѣ не къ такому, какой я былъ, а къ такому, какой я притворялся.

* № 14.

Главное же, что-то широкое, разгульное было въ этой жизни и этихъ кутежахъ въ «Лисабонѣ» и какихъ-то таинственныхъ домахъ съ рублемъ въ карманѣ и свинчаткой въ рукѣ, которое прельщало меня. Это не было похоже на это притворство съ шампанскимъ у Радзивила. Ихъ было цѣлое общество человѣкъ 15 разныхъ курсовъ, которые были въ компаніи съ М[ухинымъ]; человѣкъ 5 ужъ не было. Одинъ скрывался [?] въ Церкви и пугалъ народъ, другой, изъ дворянъ, продался въ солдаты. Этаго я помню, онъ рѣдко приходилъ въ Университетъ, но приходъ его производилъ волненье; онъ кутилъ ужасно, билъ,

ломалъ, сыпалъ деньги, задолжавъ кругомъ, онъ продался и, гуляя съ полотенцемъ, билъ стекла. Мы пришли къ нему въ казармы. Онъ былъ трезвъ и гордъ съ забритымъ лбомъ въ сѣрой шинели. Тогда я смотрѣлъ на него, какъ на рѣдкость, на великана, но теперь, глядя на Мухина, который часто поминалъ его, эта странная, разгульная поэзія начинала сильно дѣйствовать на меня. —

Кажется, товарищи догадывались, что я не знаю, и притворялись, что вѣрятъ, но часто я замѣчалъ, какъ они пропускали мѣста и не спрашивали меня. —

VIII.

* ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВ «ЮНОСТИ».

Глава I. Что я считаю началомъ юности—нечего передѣлывать.

Гл. II. Весна—насчетъ слога хорошо, описаніе садика можно бы передѣлать.

Гл. III. Мечты — конецъ не совсѣмъ ловко.

Гл. IV. Нашъ семейный кружокъ — такъ себѣ. Все нечего передѣлывать.

Гл. V. Правила — нечего передѣлывать.

Гл. VI. Исповѣдь —

Гл. VII. Поѣздка — хорошо.

Гл. VIII. Вторая исповѣдь — славно.

Гл. IX. Какъ я готовлюсь къ экзамену.

Гл. X. Экзаменъ Исторіи — порядочно, содержанія мало.

Гл. XI. Экзаменъ Математики —

Гл. XII. Экзаменъ Латыни — не совсѣмъ ловко и какъ нее[н]тересно.

Гл. XIII. Я большой — недурно, но нечетко, лучше переписать.

Гл. XIV. Чѣмъ занимались Дубковъ и Володя — не едино. —

Гл. XV. Меня поздравляютъ — по языку плохо.

Гл. XVI. Ссора — хорошо, можно прибавить Володю.

Гл. XVII. Иленька Грапъ — пусто, но ничего.

Гл. XVIII. Валахины — хорошо.

Гл. XIX. Корнаковы — одно мѣсто нехорошо.

Гл. XX. Ивины — хорошо.

Гл. XXI. Князь Иванъ Ивановичъ — порядочно неловко, какъ на меня смотрятъ.

Гл. XXII. Кунцово — порядочно пусто.

Гл. XXIII. Нехлюдовы — хорошо, исключая описанія дамъ. Софью Ивановну надо сдѣлать худой.

Гл. XXIV. Любовь — подушечки, пирож[ное?] добавить, и конецъ вздоръ.

Гл. XXV. Я ознакомливаюсь — хорошо.

Гл. XXVI. Я показываюсь съ самой выгодной стороны — ⟨ничего⟩ ⟨очень слабо⟩.

Гл. XXVII. Дмитрій — хорошо.

Гл. XXVIII. Въ деревнѣ — съ Катенькой нехорошо.

Гл. XXIX. Отношенія между нами и дѣвочками — разсужденія, а не худож[ественное].

Гл. XXX. Мои занятія — плохо, все разсужденія.

Гл. XXXI. Comme il faut — разсужденія, но хорошо.

Гл. XXXII. Юность — начало слабо, растянуто, конецъ превосходный.

Гл. XXXIII. Сосѣди — вяло и по языку слабо.

Гл. XXXIV. Женитьба отца — порядочно.

Гл. XXXV. Какъ мы принимаемъ это извѣстіе — манер[но].

Гл. XXXVI. Университетъ — слабо.

Гл. XXXVII. Сердечныя дѣла — недурно, исключая нейдущаго къ дѣлу начала.

Гл. XXXVIII. Свѣтъ — къ удивленію моему славно.

Гл. XXXIX. Кутежъ — хорошо.

Гл. L. Дружба съ Нехлюдовыми — хорошо.

Гл. LI. Дружба съ Нехлюдовымъ — хорошо, но грубо откровенно.

Гл. LII. Мачиха — порядочно, но обще.

Гл. LIII. Новые товарищи — нескладно, но недурно.

Гл. LIV. Зухинъ и Семеновъ — порядочно, но лучше передѣлать, потому что содержаніе прелестно.

Гл. LV. Я проваливаюсь — ничего, но лучше передѣлать.

IX.

** ДВА ПЛАНА «ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ» «ЮНОСТИ».

1-я страница:

1-я вакація. Отецъ женится. Я читаю романы и учусь музыкѣ (идилическія мечты). Володя охотится и скучаетъ и судитъ объ отцѣ. Мими и Катенька интригуютъ. Любочка покорна. Мачиха подбиваетъ ѣхать въ Москву. — 1-я зима. Я читаю, учусь музыкѣ (аристократъ), отношенія съ семействомъ Нехл[юдова] частыя, дружба съ его сестрою. Володя ѣздитъ въ свѣтъ. Мачиха тоже. Отецъ ⟨много проигры⟩ тоже. Мими хочетъ уйти, примиряютъ. — Я горжусь и проваливаюсь. 2-я вакація. Володя волочится за Катенькой и хочетъ жениться. Я волочусь за сосѣдками. Coq du village.[1] Мачиха ревнуетъ, отецъ — характеръ портится. Любочка кротость. Нехлюдовъ пріѣзжаетъ, начинаетъ она ему нравиться.

2-я зима. Любочка выходитъ за Обол[енского] замужъ, Ивинъ, у отца дѣти, отецъ проигрываетъ, мы раздѣляемся. Я кучу съ музыкантами. Я либералъ и учусь порядочно, перехожу. Володя съ Катенькой ⟨дру⟩ любовь ⟨Мими ссорится и уѣзжаетъ къ сестрѣ. —⟩

3-я Вакація. Володя охладѣлъ, ѣздитъ въ Хабаровку, либералъ. Я за дѣвкой, и философія серьезно. Продаютъ Петровское Сестрѣ. Я лѣто поэтическое съ музыкантами. — Папа уѣзжаетъ въ имѣнье жены.

3-я Зима. Мы одни. Володя уже разсудителенъ, практиченъ, разочарованъ. Я философъ. Папа въ деревнѣ. Мими у нея, и Катенька умираетъ. Сестра въ Петербургѣ. Я болѣнъ и выхожу изъ университета, соединяю философію съ практикой. Ѣду въ Хабаровку хозяйничать. —

3-я страница:

Общій планъ. Я дѣлаю тысячу различныхъ плановъ въ юности, ничто не удается, ѣду 24 лѣтъ на Кавказъ служить. Это начало молодости. —

---

[1] [Деревенский петух.]

1-й годъ университетской вакаціи. Отецъ женится, Володя ⟨волочи⟩ охотится, я читаю книги и философствую. Въ Москвѣ отецъ ѣздитъ въ свѣтъ, Володя тоже, я ⟨кучу и⟩ начинаю учиться музыкѣ и празднствую, не выдерживаю экзамена. 2-й годъ вакаціи. Отецъ скучаетъ. Володя волочится за Катенькой, и Мими уѣзжаетъ отъ насъ. Является тетушка. Я ⟨охочусь⟩ музицирую и охочусь. — Въ Москвѣ отецъ проигрываетъ ужасно много. Володя ѣздитъ въ свѣтъ, Любочка ⟨тоже⟩ выходитъ замужъ, я работаю ⟨и рѣшаю⟩, но начинаю думать, что все не такъ. — 3-й годъ. Вакацій нѣтъ для меня, потому что я болѣнъ; выздоровѣвъ, я пускаюсь въ кутежъ и игру и не выдерживаю экзамена. Володя, напротивъ, работаетъ, изрѣдка выѣзжаетъ. Отецъ въ серединѣ зимы, проигравшись, уѣзжаетъ въ деревню. Его состояніе раздѣляется съ нашимъ. Все время на меня благое вліяніе семейства Нехлюдовыхъ. 4-й годъ. Князь Иванъ Ивановичъ на имя Любочки покупаетъ Петровское. Я живу у сестры. Отецъ живетъ въ деревенькѣ жены. Я ѣду хозяйничать въ Хабаровку, получаю чинъ, дѣлаю глупости, живу тамъ зиму въ уныломъ отчаяніи. Володя живетъ зиму въ Петербургѣ, въ гвардіи. 5-й годъ. Лѣто я живу у сестры, зиму съ ней въ Москвѣ въ длинномъ сюртукѣ. Покупать машину и сдѣлать[ся] членомъ Общества Сельскаго Хозяйства. 6-й годъ. Весну въ Петербургѣ держать экзаменъ, Володя свѣтъ, зиму въ Москвѣ съ успѣхомъ въ свѣтѣ, это coup de grace,[1] я бѣгу на Кавказъ. Въ юности 4 фазы: 1) романтическіе мечты, планы, чтеніе романовъ, дурная музыка, 2) музыкальная, артистическая и либеральная [*2 неразобр.*] у Руссо, 3) ученая, философская (особенно во время болѣзни), 4) Кутежная, игорная, забвеніе всего, 5) Безденежье и страстное хозяйство. ⟨6)⟩ Кончается спокойствіемъ и желаніемъ доживать вѣкъ, 6) свѣтская.

4-я страница:

«Юность» относительно 2-й половины.[2]

---

[1] [последний удар,]

[2] *Это — пометка для памяти, указывающая на то, что весь полулист, согнутый пополам, содержит в себе план второй половины «Юности».*

Часть 2-я. Вторая половина.

Гл. 1. Окончание работы.

Вот паспорта отданы, в ко-
торых прибавлено еще одно поме-
щение в Университете, давшее
мне право ходить на будущее и уже
отданная фотография. Перебо
ями открывалась бурная исто-
рия завершения гимназии и уже
в окончательную школьную пришли
и открывалась путь к достижению
этого совершенства. И это удиви-
ло совершенно чуткого меня
и испытание свое паспорта отдал
в состязание последнего
душевного разбора. — Все мысли
и помыслы прежних страданий, кри-
тиковал меня и предупреждал ме-
ня подразделения бывать и сооб-
ражения. Преимущественно занятия
стали думы и опасения до
Петровского, когда мне скоро ве-
рнулся весь институт. —

Отправились в отпуск Наташу до
времени так близко не грезить, и
после одних без волнения поси-
дели в ней, так что сама
убирала и комнату — и дикорос-
ли писали мне, в таких тонах
сами они меня эти чудные
недавние время от 5 до 6-го
ночь. Когда и были сами сво-
ей перекрыли в их дивных
восхищениях, чувства, мысли, дела
повторили, сравнивали мы, думали

Первая страница рукописи «второй половины» «Юности»

Размер подлинника

X.

* «ВТОРАЯ ПОЛОВИНА» «ЮНОСТИ».

Гл. 1 ⟨Утѣшеніе⟩ Внутренняя работа.

Изъ положенія отчаянія, въ которое привело меня мое посрамленіе въ Университетѣ, вывели меня надежда на будущее и умственная дѣятельность. Передо мной открывалось безконечное моральное совершенство, не подлежащее ни несчастьямъ, ни ошибкамъ, и умъ съ страстностью молодости принялся отъискивать пути къ достиженію этаго совершенства. И это увлеченіе совершенно утѣшило меня и измѣнило мое положеніе отчаянія въ состояніе почти постояннаго душевнаго восторга. — Въ Москвѣ я только перечелъ старыя правила, окритиковалъ ихъ и придумалъ новыя подраздѣленія, выводы и соображенія. Пристальное занятіе этимъ дѣломъ я отложилъ до Петровскаго, куда мы скоро переѣхали всѣ вмѣстѣ. —

Выпросивъ у отца комнатку во флигелѣ, гдѣ никто не жилъ, я одинъ, безъ человѣка, поселился въ ней, такъ что самъ убиралъ комнату, и никто не мѣшалъ мнѣ; и тамъ-то начались для меня эти чудныя незабвенныя раннія утра отъ 4 до 8 часовъ, когда я одинъ самъ съ собой перебиралъ всѣ свои бывшія впечатлѣнія, чувства, мысли, повѣрялъ, сравнивалъ ихъ, дѣлалъ изъ нихъ новые выводы и по своему перестроивалъ весь міръ Божій. Я уже и прежде занимался умозрительными разсужденіями, но никогда я не дѣлалъ этаго съ такой ясностью, послѣдовательностью и съ такимъ упоеніемъ. — Подъ вліяніемъ совершенно другихъ окружающихъ меня предметовъ и — главное, подъ вліяніемъ этаго умственнаго увлеченія, я совершенно забылъ свое Московское несчастье и былъ почти счастливъ. —

Одно изъ главныхъ стремленій на пути къ счастію, вложенныхъ въ душу человѣка, есть стремленіе къ самозабвенію, къ пьянству. Ежели это не пьянство наслажденья или любви, или труда, то это пьянство гордой умственной дѣятельности. Я все это время былъ совершенно пьянъ отъ наслажденія копаться въ этой дѣвственной землѣ дѣтскихъ впечатлѣній и чувствъ и

дѣлать изъ нихъ новые, совершенно *новые* выводы. Ни семейныя дѣла, ни прогулки, ни рыбныя ловли — ничто меня не интересовало. Я въ это время замѣтно охладѣлъ ко всѣмъ нашимъ. И я убѣжденъ, что выводы, которые я дѣлалъ, были не только относительно меня, но положительно новые. Я чувствовалъ это по тому неожиданному, счастливому и блестящему свѣту, который вдругъ разливала на всю жизнь вновь открытая истина. Я внутренно чувствовалъ, что, кромѣ меня, никто никогда не дошелъ и не дойдетъ по этому пути до открытія того, что открывалъ я. Никому не нужно было будить меня. Часто всю ночь я видѣлъ и слышалъ во снѣ великія, новыя истины и правила, которыя днемъ оказывались вздоромъ, но которыя большей частью будили меня. Я вставалъ, умывался, выкладывалъ на столъ обѣ тетради, сшитыя въ четвертушку изъ 12-ти листовъ сѣрой бумаги, садился за столъ, съ удовольствіемъ перелистывалъ прежде написанное, радовался, какъ много, и приступалъ къ дальнѣйшимъ умствованіямъ. Но тотчасъ я чувствовалъ такой наплывъ мыслей, что я вставалъ и начиналъ ходить по комнатѣ, потомъ выходилъ на балконъ, съ балкона перелѣзалъ на крышу и все ходилъ, ходилъ, пока мысли укладывались. Тогда я записывалъ, и снова дѣлался приливъ, и снова я выходилъ иногда даже на лугъ и въ садъ, въ любимую мою чащу малины, гдѣ дѣлались мои великія философскія открытія. —

Одна тетрадь была тетрадь правилъ, въ которой сдѣлалось много новыхъ подраздѣленій, другая тетрадь была безъ заглавія, это была новая философія. Одна была приложеніе къ жизни, другая — отвлеченіе. Помню, что основаніе новой философіи состояло въ томъ, что человѣкъ состоитъ изъ тѣла, чувствъ, разума и воли, но что сущность души человѣка есть воля, а не разумъ, что Декартъ, котораго я не читалъ тогда, напрасно сказалъ cogito ergo sum,[1] ибо онъ думалъ потому, что хотѣлъ думать, слѣдовательно, надо было сказать: volo, ergo sum.[2] На этомъ основаніи способности человѣка раздѣлялись на волю умственную, волю чувственную и волю тѣлѣсную. Изъ этаго вытекали цѣлыя системы. И помню радость, когда я въ согласіи выводовъ находилъ подтвержденіе гипотезы. Правила на томъ же основаніи подраздѣлялись на правила: 1) для развитія воли умственной, 2) воли чувственной, и 3) воли тѣлѣсной. Каждое изъ этихъ раздѣленій подраздѣлялось еще на а) правила въ отношеніи къ Богу, в) къ самому себѣ и с) къ ближнему. Пересматривая теперь эту сѣрую криво исписанную тетрадь правилъ, я нахожу въ ней забавно-наивныя и глупыя вещи для 16-ти лѣтняго мальчика; напримѣръ, тамъ есть правило: не лги никогда, ибо этимъ, ежели и выиграешь на время въ мнѣніи людей, потеряешь потомъ; или въ правилахъ для

[1] [я мыслю, следовательно, я существую,]
[2] [я хочу, следовательно, я существую.]

развитія воли умственной: занимаясь какимъ-нибудь [дѣломъ], устремляй на него всѣ свои силы. Но въ душѣ своей я нахожу вмѣстѣ съ тѣмъ трогательное воспоминаніе о томъ радостномъ чувствѣ, съ которымъ я открывалъ и записывалъ эти правила. Мнѣ казалось, что теперь ужъ, когда правило записано, я всегда [буду] сообразоваться съ нимъ. — Потомъ въ жизни я старался прилагать эти правила, выписывалъ изъ нихъ важнѣйшія и задавалъ себѣ, какъ урокъ, пріучаться къ нимъ. И много, много другихъ внутреннихъ движеній и переворотовъ произошло со мной въ это время; но къ чему разсказывать эту грустную по безплодности, закрытую моральную механику каждой души человѣческой. — Кромѣ того, въ это же лѣто я прочелъ Principes philosophiques [1] Вейса и нѣсколько вещей Руссо и дѣлалъ на нихъ свои письменныя замѣчанія. Въ головѣ моей происходила горячечная усиленная работа. Никогда не забуду сильнаго и радостнаго впечатлѣнія и того презрѣнія къ людской лжи и любви къ правдѣ, которыя произвели на меня признанія Руссо. — «Такъ всѣ люди такіе же, какъ я, думалъ я съ наслажденіемъ: не я одинъ, такой уродъ, съ бездной гадкихъ качествъ родился на свѣтѣ. — Зачѣмъ же они всѣ лгутъ и притворяются, когда уже всѣ обличены этой книгой?» спрашивалъ я себя. И такъ сильно было въ то время мое стремленіе къ знанію, что я ужъ не признавалъ почти ни дурнаго ни хорошаго. Одно возможное добро мнѣ казалась искренность какъ въ дурномъ, такъ и въ хорошемъ. Разсужденіе Руссо о нравственныхъ преимуществахъ дикаго состоянія надъ цивилизованнымъ тоже пришлось мнѣ чрезвычайно по сердцу. Я какъ будто читалъ свои мысли и только кое-что мысленно прибавлялъ къ нимъ.

. . . . . .

Одно было нехорошо. Не считая никого достойнымъ понимать мои умствованія, я никому не сообщалъ ихъ и все болѣе и болѣе разобщался и холодѣлъ ко всему семейству. Я не только не привязывалъ себя къ жизни новыми нитями любви, я понемногу разрывалъ тѣ, которыя существовали. Я думалъ, что мнѣ никого не нужно въ жизни. Впрочемъ, это не былъ эгоизмъ, это была неопытная гордость молодости. Ежели я хладѣлъ къ другимъ, то не потому, что бы я любилъ себя. Напротивъ, я все это время былъ недоволенъ собой, не любилъ себя. Одно, что мнѣ нравилось въ себѣ, это умъ, который доставлялъ мнѣ наслажденія. Но я любилъ ни себя, ни другихъ, а чувствовалъ въ себѣ силу любви и любилъ что то такъ, in's blaue hinein. [2] Скоро однако эта потребность любви приняла болѣе положительное направленіе. —

---

[1] [Философские принципы]
[2] [сам не зная что.]

Гл. 2. Троицынъ день.

Это было дней 10 послѣ нашего пріѣзда. Было чудесное весеннее утро, я совершенно забылъ про праздникъ — это вовсе меня не интересовало — и часовъ въ 6, разсуждая о чемъ-то, ходилъ по росистой еще крышѣ, когда меня поразили экипажи, выкаченные изъ сараевъ, на дворнѣ болѣе, чѣмъ обыкновенно, оживленное движеніе и яркіе, чистые, розовые, голубые и бѣлые цвѣта рубашекъ и платій, которые виднѣлись то около дворни, то около колодцевъ и закутъ. Несмотря на увлеченіе, съ которымъ я занимался умозрительными занятіями, я съ величайшимъ вниманіемъ слѣдилъ всегда за каждымъ женскимъ, особенно розовымъ, платьемъ, которое я замѣчалъ или около пруда или на лугу или въ саду передъ домомъ. Въ это утро я видѣлъ ихъ нѣсколько и на лугу и въ саду; снѣ нагибаясь собирали что-то. Тутъ только я вспомнилъ, что нынче Троицынъ день, и что папа вчера спрашивалъ, въ чемъ кто хочетъ ѣхать въ Церковь. Я спряталъ свою тетрадь и пошелъ въ садъ зачѣмъ-то; въ ту сторону, гдѣ много было сиреней. —

КОММЕНТАРИИ

I.

ПЕРВЫЙ ПЛАН РОМАНА «ЧЕТЫРЕ ЭПОХИ РАЗВИТИЯ».

Впервые печатаемый (по рукописи, описанной в 1 т., стр. 314) план романа «Четыре эпохи развития» (стр. 241 — 242),[1] можно думать, был набросан в начале работы над второй редакцией «Детства», вероятно, в сентябре 1851 года.[2] Этот план содержания «Отрочества» и «Юности» значительно отличается не только от их окончательных редакций, но и от первоначальных, поскольку о них можно судить по сохранившимся рукописям, но весьма вероятно, что по этому плану не писалось ни «Отрочество», ни «Юность». Из плана видно, что содержание каждой из первых трех частей задуманной тетралогии должно было составлять описание двух дней, но это было выполнено более или менее только в «Детстве» содержание же «Отрочества» и «Юности» вышло из этих тесных рамок.

---

[1] Первые строки его, относящиеся к «Детству», напечатаны нами и в 1 том. (стр. 307).

[2] См. 1 том в объяснительной статье „История писания «Детства»", стр. 306—307

II.

ВТОРОЙ ПЛАН РОМАНА «ЧЕТЫРЕ ЭПОХИ РАЗВИТИЯ».

Впервые печатаемый (по рукописи, описанной в 1 т., стр. 314) второй план романа «Четыре эпохи развития» (стр. 243 — 245), на основании имеющегося в нем указания, что „«Детство» уже написано", можно датировать 1852 годом. Точнее определить время его писания затруднительно, так как о «написанном» «Детстве» Толстой мог сказать, закончив работу и над II ред., и над III, и над IV. Вторая редакция «Детства» закончена была в январе 1852 г., четвертая — 3 июля 1852 г. [1]

---

[1] См. 1 том в объяснительной статье „История писания «Детства»", стр. 306, 311.

«ОТРОЧЕСТВО».

III.

ОДНА ИЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ РЕДАКЦИЙ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ «ОТРОЧЕСТВА».

Впервые печатаемый (по рукописи, описанной ниже под № 3) текст соответствует тому, что намечено, как начало «Отрочества», в первом плане «Четырех эпох развития» (стр. 241): «Первый день. Мы опять в Москве с сестрой. ⟨у нас новый гувернер. Бабушка очень огорчена.⟩ Мне 15 лет. ⟨классы⟩ брату 16. Утро. Он едет держать экзамен, разговор с ним. Мои классы...». Время написания этой главы — декабрь 1852 г. — первая половина мая 1853 г. См. дальше „История писания «Отрочества»".

IV.

ТРИ РЕДАКЦИИ «ОТРОЧЕСТВА».

История писания „Отрочества".

Первое упоминание о работе над «Отрочеством» находим в дневнике Толстого, в записи под 29 ноября 1852 г. „...Примусь за... «Отрочество»".[1] На другой день такая запись: «... вечером за Отрочество, которое окончательно решился продолжать. 4 эпохи жизни составят *мой* роман до Тифлиса. Я могу писать про него, потому что он далек от меня. И как роман человека умного, чувствительного и заблудившегося, он будет поучителен...». Затем до мая 1853 г. записи дневника молчат об «Отрочестве», и можно думать, что в период времени с декабря 1852 г. по апрель — первая половина мая 1853 г. были написаны лишь два начала «Отрочества»: начало I главы (напечатано в этом томе, стр. 246—251), по тексту близкое к началу первого плана, напечатанного выше (стр. 241—242), и отрывок, озаглавленный «Отрочество» и начинающийся словами: «Мы все опять в Москве» (см. дальше „Сравнительный обзор состава глав трех редакций «Отрочества»", о главе IV).

Снова к «Отрочеству» Толстой обратился, вероятно, не ранее второй половины мая 1853 г. В записи дневника, датированной: «15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мая», находим: «... пишу Отрочество с такой же охотой, как

[1] Здесь и везде дальше цитируем по подлинникам дневников, хранящихся в Публичной библиотеке Союза ССР им. Ленина.

писал «Детство». Надеюсь, что будет так же хорошо». В следующей записи: «22, 23, 24, 25, 26, 27 мая. Писал мало, зато окончательно обдумал О[трочество], Ю[ность], М[олодость], которые надеюсь кончить». Об этом же на другой день: «Писал и обдумывал свое сочинение, которое начинает ясно и хорошо складываться в моем воображении». 31 мая: «История Карла Ивановича [т. е. главы VIII — X окончательной (III) редакции] затрудняет меня».

На этом работа приостановилась, о чем говорит запись в дневнике под 25 июня: «Почти месяц не писал ничего. В это время ездил с кунаками в Воздвиженскую.... Приехав домой, решился пробыть здесь [в ст. Старогладовской] месяц, чтобы докончить Отрочество, но вел себя целую неделю так безалаберно.... Не могу писать.... бросил писать.... Тщеславился сочинениями перед Громаном, которому читал Историю Карла Ивановича. — Завтра. Встать рано, писать Отрочество до обеда».

После этого, почти месячного, перерыва идет полоса напряженной работы до 21 июля, о чем говорят почти ежедневные записи дневника, из которых приведем запись от 3 июля: «.... Встал поздно, писал хорошо.... Завтра писать, писать и писать Отрочество, которое начинает складываться хорошо». Числа 9 июля Толстой уехал из Старогладовской в Пятигорск, где жила в это время сестра его Марья Николаевна. Здесь и была закончена первая редакция «Отрочества», что видно из записи дневника от 24 июля: «.... писал довольно много, так что кончил Отрочество, но еще слишком небрежно».

Рукопись первой редакции «Отрочества» сохранилась — она описана ниже (см. „Описание рукописей, относящихся в «Отрочеству»“, № 5). Конец рукописи подтверждает слова записи дневника, что «Отрочество» кончено еще слишком небрежно: последние страницы только намечают конспективно содержание задуманных последних глав. После текста идет перечень глав, позволяющих судить о том, как складывалось в сознании автора содержание повести уже после того, как вчерне она была написана.

Вот этот перечень:

I часть.

1) Путешествіе.
2) Гроза. —
3) Новый взглядъ и наблюд[енія].
4) Разговоръ съ К[атенькой].
5) В[асилій] и М[аша].
6) Но[вый] образъ жизни.
7) Дробь.
8) Странная перемѣна.
9) Исторія К[арла] И[вановича].

2 часть.

10) Новый порядокъ вещей.
11) St. Jerome.
12) ⟨Володя⟩ Мои наклонности.
13) л[? любовь?] къ М[ашѣ].

14. Классъ.
15. ⟨Страшный поступокъ⟩ Кризисъ.
16. ⟨Раская[ніе] Ужас⟩ Мечты.
17. ⟨Размышленія и мечты⟩.
18. ⟨Отчаяніе⟩ Наказаніе.
19. ⟨Новый образъ жизни⟩ Отрочество.
20. ⟨Дѣвичья⟩ В[асилій] и М[аша].
21. ⟨Быстрый взглядъ⟩ В[олодя] поступаетъ въ Университетъ.
22. Л[юбочка] и К[атенька].
⟨23⟩ ⟨Папа⟩ Третья часть.
⟨24⟩ 23 ⟨Д[убковъ] и Н[ехлюдовъ]⟩ Странная новость.
⟨25⟩ ⟨24⟩ ⟨Начало Дружбы Чт⟩ Что-то неладно.
Дубковъ и Нехлюдовъ.
⟨26⟩ ⟨25⟩ ⟨Новое направленіе и др[угіе] разговоры съ Нехлюдовымъ⟩.
⟨Главы нѣтъ⟩
⟨27⟩ К[атенька?] и М[ими?] доброе дѣло.
⟨28⟩ 24 ⟨Бабушка⟩ Концертъ.
⟨29⟩ 25 ⟨Концертъ⟩ Поте[ря бабушки].
⟨30⟩ ⟨Смерть Бабушки умерш и горесть Гаши⟩
Начало дружбы.
⟨31⟩ 26 ⟨Пере⟩ Мы всѣ разъѣзжаемся.

---

32. Сѣнокосъ въ саду, пріѣздъ Нехлюдова и разговоръ съ нимъ о В[олодѣ] и П[апа].
33. Пріѣздъ папа и разсказъ В[олоди] моимъ[?].
34. Мечты моего друга.

Из этого наброска видно, что первоначально было намечено тридцать четыре главы. Затем были вычеркнуты главы 23, 27, 28, 29 и 30, а главы 24, 25, 26 и 31 сделаны 23, 24, 25 и 26, после чего вычеркнуты 24 (бывшая раньше 25) и 25 (бывшая раньше 26), а из вычеркнутых 28 и 29 сделаны 24 и 25. Поставив черту-концовку под 26 главой, сделавшейся после перестановок последней, Толстой отбросил и главы 32 — 34, хотя и не зачеркнул их в перечне.

Через день после окончания вчерне «Отрочества» Толстой приступает к работе над отделкой, в результате которой явилась вторая редакция повести. В дневнике под 23 июля записано: «Переписал I главу порядочно». На следующий день: «.... переправил I-ую главу.... Встать рано и писать, не останавливаясь на том, что кажется слабо, только чтобы было дельно и гладко. Поправить можно, а потерянное без пользы время не воротишь». Под 25 июля: «Исключая часов 3, проведенных на бульваре, занимался целый день, но переписал только $1^1/_2$ главы. Н. В. [т. е. «Новый взгляд», глава III-ья окончательной редакции] натянуто, но *Гроза* [II глава окончательной редакции] превосходна... Завтра утро писать, взять с собой тетради, обедать у Маши [1] и опять писать». На следующий день: «... докончил главу «Грозу». Мог бы написать лучше».

---

[1] Сестра Льва Николаевича, гр. Марья Николаевна Толстая.

С 27 июля, когда в дневнике записано: «Ничего не делал», писание прерывается. 1 августа Толстой уезжает из Пятигорска в Железноводск, а оттуда в Кисловодск. 26 августа запись: «Ничего не делал. Решился бросать Отрочество... Жалко бросать Отрочество, но что делать? лучше не докончить дело, чем продолжать делать дурно». Тем не менее, делаются попытки преодолеть нежелание писать повесть. На следующий день записано: «Ничего не делал, хочу однако продолжать Отрочество». 11 сентября в дневнике записывает: «Я писал утром и вечером, но мало. Не могу одолеть лень. Придумал в присест писать по главе и не вставать не окончив». На следующий день: «.... Окончил Историю Карла Ивановича.... После обеда полежу и обдумаю главу Отрочества — *непременно*». Но работу над «Отрочеством» перебивает писание «Записок маркера»: в записи, датированной: «20, 21, 22, 23 сентября», читаем: «Только два последние дня писал понемногу Отрочество. Коли приняться, то можно кончить его в неделю». С 29 сентября снова прилив творчества. Под этим днем записано: «Утром написал главу «Отрочества» хорошо.... В «Смерть бабушки» [XXIII глава окончательной редакции] придумал характерную черту религиозности и вместе непрощения обид». В записи, датированной: «30 сент.—1 окт.»: «Вчера и нынче писал по главе, но не тщательно». На следующий день: «Писал главу «Отрочества»... Все «Отрочество» предстаёт мне в новом свете, и я хочу заново переделать его». 7 октября: «.... начал было писать «Дев[ичью]» [XVIII глава окончательной редакции], но так неаккуратно, что бросил — нужно пересматривать сначала». 8 октября: «.... Выехал в до[рогу?] в 6 прие[хал] в Георг[иевск] и здесь написал $^{3}/_{4}$ листа «Дев[ичьей]». 11 октября Толстой возвращается с Минеральных вод в Старогладовскую и через день записывает в дневнике: „С нынешнего дня примусь. Утро писать «Отрочество».... Написал $^{1}/_{4}$ л. «Дев[ичьей]»“. 15 октября: „докончил «Девичью»“. 16 октября: «писал У. В. [вероятно нужно понимать «Университет Володи», т. е. XX глава «Володя» окончательной редакции], которую и кончил». Но работа идет вяло: 22 октября отмечает: „«Отрочество» опротивело мне до последней степени. Завтра надеюсь кончить“. На следующий день: «Я берусь за свою тетрадь «Отрочества» с каким-то безнадежным отвращением, как работник, принужденный трудиться над вещью, которая, по его мнению, бесполезна и никуда не годна. Работа идет неаккуратно, вяло и лениво.

Докончив последнюю главу, нужно будет пересмотреть всё сначала и сделать отметки и начерно окончательные перемены. Переменять придется много. Характер «я» вял, действие растянуто и слишком последовательно во времени, а не последовательно в мысли. Например, прием в середине действия описывать для ясности и выпуклости рассказа прошедшие события с моим разделением глав совсем упущен.

.... снова сел за отвратительное «Отрочество»... Опять поработал над Отрочеством, кое-как дописал одну главу». И дальше, опять под 23 октября записано: «Отвращение к «Отрочеству». Недостатки его. Упущение ясного литературного приема».

Под 24 октября о том же: «Встал раньше вчерашнего и сел писать последнюю главу. Мыслей набралось много; но какое-то непреодолимое отвращение помешало мне окончить ее. Как во всей жизни, так и в сочи-

нении прошедшее обусловливает будущее — запущенное сочинение трудно продолжать с увлечением и следовательно хорошо. Обдумывал перемены в «Отрочестве», но не сделал никаких. Надо на легкую руку набросать заметки и просто начать переписывать снова».

Таким образом работа над второй редакцией «Отрочества» растянулась на целых три месяца — с 23 июля до 24 октября 1853 года.

Рукописи второй редакции полностью не сохранилось. Она описана ниже. (См. „Описание рукописей, относящихся к «Отрочеству»“, № 6).

С 25 октября началась работа над III редакцией. Под этим числом в дневнике записано: «С утра пересмотрел Отрочество и решился переписывать его снова и насчет изменений, перемещений и прибавлений, которые нужно в нем сделать». На следующий день: «.... С утра работал порядочно над перепиской и приведением в порядок Отрочества.... а после обеда.... сделал очень мало, когда и мог бы — до ужина, чтобы сделать удовольствие Гр[оману], вызвавшемуся переписывать мне, диктовал и читал ему». 27 октября: «.... целый день ничего не делал, потому что застрял на Н. В. [т. е. «Новый взгляд», глава III окончательной редакции], для которого, ничего нейдет в голову».

Судя по дневнику, работа прервалась до 5 ноября, когда записано: «Начал пересматривать Отрочество, но кроме вымарок ничего не сделал.... Вчера Акршевский, которого я пригласил к себе с тем, чтобы дать переписать ему свое Отрочество, принес мне свою....». На следующий день: «.... поправлял Отрочество, которое переписывает Акршевский». В эти дни Толстой принимал участие в набеге. В записи, датированной: «7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ноября», читаем: «Оставил Акршевскому почти половину Отрочества для переписки.... и уехал из Хасав-Юрта....»; «17, 18 ноября»: «.... писал мало. Две главы «Девичья» и «Отрочество» [XVIII и XIX главы окончательной редакции], которые я так долго не могу окончательно обработать, задерживали меня». 20 ноября, будучи в Кизляре, Толстой послал с Хастатовым Акршевскому, надо полагать, в Хасав-Юрт, две главы Отрочества для переписки (запись в дневнике, датированная: «19, 20, 21, 22 ноября»). 2 декабря в дневнике записано: «.... хотел приняться за «Отрочество», но без предыдущих тетрадей нашел неудобным, на новое же ни на что еще не решился». В записи, датированной: «4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 декабря», отмечено: «Акршевский всё не присылает тетрадей» В записи 19, 20 декабря: „Чтоб сочинение было увлекательно, мало того, чтобы одна мысль руководила им, нужно, чтобы всё оно было проникнуто и одним чувством, чего у меня не было в «Отрочестве»“. На следующий день: «... Получил письмо от... Акршевского, он не переписал и не прислал мне «Отрочество» Это меня бесит. «Отрочество» из рук вон слабо— мало единства и язык дурен».

После этой записи перерыв до 13 января 1854 г., когда записано: «.... Только немного переписал «Песни Лебедя» [«История Карла Ивановича», главы VIII — X окончательной редакции] и пересмотрел старое». 15 января: «.... Утром окончил П. Л.» [т. е. «Песнь Лебедя»]. На следующий день: «.... После обеда написал порядочно главу «Дружба» [«Начало дружбы», глава XXVII окончательной редакции], переправил Янушкев[ича] писанье, так что нынче Отрочество должно быть кончено....

Сочинение кажется обыкновенно в совершенно другом и лучшем свете, когда оно окончено». Переделка глав «Отрочества» производилась 17 и 18 января. 19 января, в день отъезда из Старогладовской в Ясную Поляну, записано: «*Докончить Отрочество и уехать*. Исполнил. Встал рано и до самого отъезда писал или хлопотал.... Перечел «Отрочество» и решил не смотреть его до приезда домой.... В «Отрочестве» я решил сделать следующие поправки: 1) Укоротить главу *Поездка на долгих* [I глава окончательной редакции], 2) *Грозу* [II глава окончательной редакции], упростить выражения и исключить повторения, 3) Машу сделать приличней, 4) соединить Единицу с Дробью [т. е. главу VII окончательной редакции «Дробь» с главой XI окончательной редакции «Единица»], 5) *Ключик* [глава XII окончательной редакции] прибавить то, что найдено в портфеле, 6) Мечты о матери изменить, 7) Приискать заглавие «Перемелется — мука будет» [глава XVI окончательной редакции], 8) Дубков и Нех[людов], переменить начало и добавить описание нас самих и нашего положения во время беседы».

Первая из намеченных поправок — „укоротить главу «Поездка на долгих»“ — была сделана: во II редакции глава начиналась абзацем, отсутствующим в III редакции (см. «Сравнительный обзор состава глав» гл. I и вар. № 2). Вторая поправка — «упростить выражения и исключить повторения» во II главе — тоже была сделана, поскольку об этом можно судить по дошедшим до нас частям этой главы во II редакции. Третья поправка — «Машу сделать приличней» — выразилась, вероятно, в исключении места в VI главе (III редакции), помещенного нами в вариантах (см. вар. № 8). Четвертая и пятая поправки не были сделаны. Шестая поправка — «мечты о матери изменить» — вероятно имеет в виду главу XV (III редакции), но ее не сохранилось во II редакции, и потому нельзя сказать, что́ хотел в ней изменить Толстой. [1] Седьмая поправка — переменить заглавие XVI главы — была сделана: в тексте, напечатанном в «Современнике» (1854 г. кн. X), глава эта названа «Болезнь», но в изд. 1856 г. снова названа «Перемелется — мука будет» Восьмая поправка непонятна, так как рукописей этих глав не сохранилось.

На этом кончаются записи в дневнике о работе над «Отрочеством», если не считать еще одной, сделанной уже в Бухаресте 14 марта 1854 г.: „Вечер просижу дома и займусь «Отрочеством»“.

Каков был текст окончательной (III) редакции, посланный Толстым Некрасову, мы, в сущности, не знаем, так как рукописи этого текста не сохранилось; текст же, напечатанный в «Современнике», был очень искажен цензурой, и искажения эти не полностью были исправлены в издании 1856 года и последующих.

Описание рукописей, относящихся к «Отрочеству».

В архиве Толстого, хранящемся в Публичной библиотеке СССР им. Ленина, имеются следующие рукописи, относящиеся к «Отрочеству».

---

[1] Возможно, что имеется в виду и XIX глава III ред., в которой в I редакции тоже было место о матери (см. вар. № 22), но и от этой главы во II редакции сохранились лишь отрывки.

1. Рукопись первого плана романа «Четыре эпохи развития», описанная в I томе. Печатается полностью впервые (стр. 241 — 242).

2. Рукопись второго плана романа «Четыре эпохи развития», описанная в I томе. Печатается впервые (стр. 243 — 245).

3. *(Папка V, I, 6, Б, 2)*. Рукопись, озаглавленная: «1-я глава. Учитель Французъ» — автограф Толстого, представляющий собою два полулиста белой писчей бумаги (без водяных знаков), сложенных пополам, и одну четвертушку. Полулисты перенумерованы—1, 2, четвертушка—без пагинации. Написано порыжевшими, «кавказскими» чернилами. Оставлены поля, частью записанные. Первая часть текста (до слов: «Только-что я услышалъ») написана более мелким почерком, чем вторая. Печатается впервые (стр. 246—251 и в объяснительной статье „История писания «Отрочества»“).

4. *(П. V, I, 6, Б, 1)*. Рукопись, озаглавленная: «Отрочество» и начинающаяся словами: «Мы всѣ опять...» — автограф Толстого на двух листах (размером в лист) белой писчей бумаги (без водяных знаков), вырванных из переплетенной тетради. Написано порыжевшими, «кавказскими» чернилами. Печатается впервые (не полностью) в настоящем томе (см. вар. № 4 и в объяснительной статье „Сравнительный обзор состава глав трех редакций «Отрочества»“, о главе IV).

5. *(П. V, I, 6, Б, 3)*. Рукопись «Отрочества», везде далее называемая «I редакцией» — автограф Толстого, представляющий собою пять тетрадок, сшитых белыми нитками из сложенных пополам полулистов белой писчей бумаги (без водяных знаков). Ни тетради, ни страницы не перенумерованы. В первой тетради 24 страницы, во второй — 24, в третьей — 48, в четвертой — 56 и в пятой — 42, из которых последние 19 — чистые. Во всей рукописи, следовательно, всего 194 страницы в 4°. Судя по тексту, первые четыре тетради сохранились полностью, из пятой же вырвано сколько-то страниц, так что два последние исписанные листка оказались оторванными. Первые две тетрадки и первая половина третьей написаны порыжевшими, местами очень жидкими, чернилами («кавказскими»), начиная же со слов: «Не ручаюсь за достовѣрность...» (в «Истории Карла Ивановича») и до конца написано более черными чернилами; этими же чернилами сделаны и разметки глав в первой части рукописи. [1] На верху первой страницы первой тетрадки имеется заглавие: «Отрочество». Текст испещрен поправками, зачеркиваниями (горизонтальными линиями по словам и крест-на-крест по ряду строк), вставками, написанными между строк, и пометами, написанными поперек строк текста. Деление на главы не проведено последовательно, и во второй половине рукописи текст разделяется короткими чертами-концовками. После текста повести, сейчас же под словом «конецъ», идет перечень глав. [2]

По копии (не без ошибок) с этой рукописи П. И. Бирюковым в «Полном собрании сочинений Л. Толстого», изд. Сытина 1912 (в 20 томах), том I (стр. 393 — 405) впервые напечатано пять вариантов. [3] Нами

[1] Об этих разметках см. в „Сравнительном обзоре состава глав трех редакций «Отрочества».“

[2] Он полностью напечатан в „Истории писания «Отрочества»“ (см. стр. 352).

[3] Они все указаны в сносках в „Сравнительном обзоре состава глав трех редакций «Отрочества»“.

печатается по этой рукописи двадцать вариантов (№№ 1, 3, 5, 6, 9 — 14, 16, 18 — 22, 25 — 28).

6. *(П. V, I, 6, Б, 4)*. Рукопись «Отрочества», везде далее называемая «II редакцией» Это — автограф Толстого — 72 листка в 4°, из которых 36 листков — сложенные пополам полулисты белой писчей бумаги (без водяных знаков) и 36 четвертушек такой же бумаги. Листки не сшиты, и рукопись представляет собою пачку листков. Страницы рукописи перенумерованы рукой Толстого и сохранились не все, а именно: с 1-й по 34-ю + 4 ненумер., затем с 35-й по 46-ю + 4 нен., после чего пропуск (в 24 страницы), затем с 71-й по 102-ю, после чего опять пропуск (в 12 страниц), затем с 115-й по 138-ю, после чего третий пропуск (в 40 страниц), затем с 179-й по 182-ю, после чего четвертый пропуск (в 5 страниц), затем с 186-й по 191-ю + 4 нен. страницы. Кроме этого, имеется: две четвертушки с нумерованными страницами — 15, 16, 17 (четвертая страница чистая и без номера) с текстом, соответствующим тексту основных с этими же номерами страниц; одна четвертушка с нумерованными страницами — 133 и 134 с текстом, соответствующим тексту основных с этими же номерами страниц; четыре четвертушки без нумерации с текстом, повторяющим с незначительными отличиями текст основных (нумерованных) страниц. Страницы 51 — 54 «Песнь Лебедя. Глава» написаны рукой не Толстого; им сделаны лишь поправки. Наконец, имеется еще один полулист, сложенный пополам (четыре страницы), с четвертушкой с текстом, написанным рукой не Толстого, а переписчика (см. в «Сравнительном обзоре состава глав» о гл. II). Чернила — жидкие черные. Текст по сравнению с рукописью I ред. менее испещрен поправками и вставками. Текст этой рукописи ни целиком, ни частями в печати не появлялся. Нами из него печатается семь вариантов (№№ 2, 7, 8, 15, 17, 23 и 24).

7. *(П. V, I, 6, Б, 5)*. Рукопись — автограф Толстого на 6 листках в 4° белой писчей бумаги (без водяных знаков); некоторые из них вырваны из какой-то тетради. Страницы нумерованы (рукой Толстого) 120 — 129 и 126, 127. Чернила — жидкие черные. Незначительное количество поправок указывает на то, что это — не первая редакция. На верху первой страницы другим почерком (тоже Толстого) написано: «Странная новость». Текст дает без начала одну из глав и начало следующей главы, не вошедших ни в одну из сохранившихся редакций «Отрочества», и печатается нами впервые. См. вар. № 27.

Сравнительный обзор состава глав трех редакций «Отрочества».

Не считая возможным в настоящем издании опубликовать полностью текст I и II редакций «Отрочества», мы печатаем из них лишь отрывки. Для указания местонахождения их в рукописях дается настоящий обзор, позволяющий вместе с тем следить за тем, как шла работа автора. За основание сравнения взята окончательная (III) редакция, с текстом которой и сравниваются тексты первых двух редакций.

Глава I. «Поездка на долгих». В I ред. глава носит название «Путешествіе» и начинается абзацем: «Со смертью матери», по тексту очень близким к соответствующему абзацу II редакции (вар. № 2). Затем идет

абзац, помещаемый нами в вариантах *(см. вариант № 1)*, после чего идет текст, близкий к тексту III редакции до (исключительно) последнего абзаца: «Но вот и деревня». Текст I ред. кратче текста III ред. Из мелких отличий отметим, что лакей назван здесь не Василием, а Михеем.

Затем в I редакции, вместо последнего абзаца III редакции, идет такой текст:

Иногда чепецъ съ черными лентами Мими высовывается изъ окна кареты, и она грозитъ намъ головой. Но вообще все время путешествія Мими необыкновенно добра. Мнѣ почему то непріятна ея снисходительность: она напоминаетъ мнѣ, что мы сироты.—

Во II редакции этой главе соответствует: «Поѣздка на долгихъ. Глава I», начинающаяся с зачеркнутого абзаца, отсутствующего в III редакции и помещаемого нами в вариантах *(см. вариант № 2)*. Затем идет текст, весьма близкий к тексту III редакции.

Кроме этого, на двух отдельных листках в 4°, перенумерованных: 15, 16 и 17 стр., имеется текст части главы, начиная со слов «На крутом спуске (второй от конца абзац III редакции) до конца главы. Текст этот весьма близок к тексту III редакции.

Глава II. «Гроза». В I редакции после первой главы начата была глава: «Наблюденія» (сделанная потом третьей), но несколько написанных строк зачеркнуты, и вслед за ними идет глава: «Гроза. II». Текст ее близок к тексту III редакции, но кратче и не отделан.

Во II редакции эта глава, названная: «Гроза 2» [1] первоначально была третьей. Текст ее сохранился не полностью и обрывается на слове «подсѣдомъ» (в абзаце III редакции: «Но вот дождь становится...»). Сохранившаяся часть близка к тексту III редакции.

Кроме этого, на шести отдельных листках в 4° имеется три куска этой главы: 1) начиная со слов: «минуты на минуту ожидаю» (в абзаце III редакции: «Колеса вертятся скорее и скорее...»), кончая: «третья, четвертая» (в абзаце III редакции: «Василий, в дороге подающий»). Текст этого места весьма близок к тексту III редакции, отличаясь от последнего лишь тем, что в нем есть отдельные слова, исключенные в III редакции; 2) начиная со слов: «покачивается передъ нами» (в абзаце III редакции: «Но вот дождь...») до конца главы. Текст этого места близок к тексту III редакции и 3) начиная со слов: «усиливало мое нетерпѣніе (в первом абзаце III редакции), кончая словами: «сквозь сѣровато» (в абзаце III редакции: «Но вот дождь...»). Это место написано старательным почерком не рукой Толстого и вероятно или Акршевским или Янушкевичем (см. „История писания «Отрочества"). Текст этого места весьма близок к тексту III редакции, но не тождествен с последним.

Глава III. «Новый взгляд». В I редакции, мы уже сказали, первоначально была второй и называлась «Наблюденія», но начало ее зачеркнуто. После же второй главы «Гроза» идет глава, первоначально названная «Разговоры». Под этим позднее (другими чернилами) написано:

---

[1] Цыфра «2» переделана из «3».

«Новый взглядъ. III» и еще: «К[атенька] хочетъ итти въ монастырь». Все три варианта названия не зачеркнуты. Текст ее значительно отличается от текста III редакции. Помещаем его полностью в вариантах *(см. вариант № 3)*.

Во II редакции эта глава идет после первой и носит два варианта названия: «*Новый взглядъ. Глава 2*» и «Богатство и бѣдность». Текст ее весьма близок к тексту III редакции, кроме двух мест, исключенных в III редакции: 1) в абзаце: «Случалось ли вам, читатель....» после слов «неизвестною еще страной» идет зачеркнутое:

〈Со мной это случалось нѣсколько разъ, и я убѣжденъ, что ежели Богу угодно будетъ, чтобы я прожилъ до послѣдняго предѣла человѣческой жизни, то еще нѣсколько разъ долженъ буду испытать эту моральную перемѣну.—〉

2) в абзаце: «Мне в первый раз пришла...» после последних слов: «чувствовал этого» идет зачеркнутое:

〈Кто не испытывалъ почти того-же въ изученіи исторіи? Ребенокъ не сомнѣвается въ достовѣрности ея; но не можетъ вѣрить въ нее до тѣхъ поръ, пока наблюденія надъ дѣйствительностью и опытность чувства не покажутъ ему возможности прошедшаго. Я только тогда сталъ сомнѣваться въ истинѣ Исторіи, когда сталъ вѣрить въ нее.—〉

Остальные отличия текста II редакции от текста III редакции чисто стилистического характера.

Кроме этого, на отдельном листке в 4° имеется очень близкое к тексту III редакции начало этой главы (кончая словом: «встречал» в первом абзаце), носящей здесь название: «Богатство и Бѣдность. Глава 3».

Глава IV. «В Москве». Ранний (вероятно, до I редакции «Отрочества») вариант этой главы имеется на двух листах (см. „Описание рукописей, относящихся к «Отрочеству»“, № 4). Это — вероятно, один из первых набросков начала «Отрочества»; он имеет заглавие *Отрочество* и по тексту значительно отличается от текста IV главы III редакции. Начинается:

Мы всѣ опять въ Москвѣ, въ томъ же памятномъ мнѣ бабушкиномъ домѣ. Семейство наше составляютъ тѣже лица; даже Мими, Любочька и хорошенькая Катенька живутъ съ нами навѣрху, въ недавно для нихъ отдѣланномъ веселенькомъ, чистенькомъ мезонинѣ. Но какія огромныя перемѣны произошли за два года, которыя я пропускаю, во всѣхъ мнѣ знакомыхъ предметахъ и лицахъ!

Бабушка уже не внушаетъ мнѣ столько страха и уваженія, какъ прежде; а чувства эти замѣнились въ отношеніи ея сожалѣніемъ и любовью, къ которымъ такъ способна моя дѣтская душа.

Затем идет характеристика бабушки, довольно близкая к той, которая дана в I редакции (вар. № 5), но кратче последней. Затем идет текст-помещаемый нами в вариантах *(см. вариант № 4)*.

В I редакции этой главе соответствует глава: «Дробь. IV».[1] Текст ее значительно отличается от текста IV главы III редакции. Помещаем начало его в вариантах *(см. вариант № 5)*. В напечатанном в вариантах всё написанное с начала главы до слов: «Бабушка много, очень много...» перечеркнуто крест-на-крест, в нескольких местах, и поперек текста позднейшая помета: «Отъ себя описаніе отношеній нашихъ къ папа и бабушкѣ».

Во II редакции этой главе соответствует глава, стоящая после главы «Гроза» и названная: «*Новый взглядъ. Глава 4*». Эта глава имеется здесь в двух вариантах. В первом дана лишь характеристика бабушки (т. е. то, что в III редакции второй абзац IV главы), по тексту занимающая среднее положение между текстом I редакции (вар. № 5), будучи кратче последнего, и текстом второго варианта, будучи несколько пространнее его. Во втором варианте текст уже весьма близок к тексту III редакции. По этому тексту идет помета: «Они не перемѣнились вдругъ; но постепенная ихъ перемѣна вдругъ поразила меня».

Глава V. «Старший брат». В I редакции место, соответствующее этой главе, находится после места, соответствующего XVII главе III редакции. Здесь (в I редакции) текст близок к тексту V главы III редакции с начала ее и кончая словами: «по целым дням и ночам» (в абзаце: «То вдруг на него...»). Затем идет текст, помещаемый нами в вариантах *(см. вариант № 6)*. Поперек помещенного в вариантах текста позднейшая помета: «Мои страсти то къ силѣ [?] то къ цвѣтамъ». Затем идет текст, соответствующий тексту III редакции, начиная с абзаца: «Однажды во время...» до конца главы. В I редакции текст этого места (в конце его стоит черта-концовка) близок к тексту III редакции, будучи несколько пространнее последнего. Обозначаем это место I редакции *А*.

Во II редакции этой главе соответствует глава, названная: «*Старшій братъ. 5*»[2] и стоящая после главы 8-й (вар. № 15). Текст ее весьма близок к тексту III редакции.

Глава VI. «Маша». Этой главе в I ред. соответствует текст, идущий после текста *А* и близкий к двум последним абзацам VI главы III редакции, после чего идет текст, соответствующий тексту III редакции, начиная со слов: «Иногда, притаившись...» (в абзаце: «Я по целым часам проводил...») до конца этого абзаца. Текст I редакции близок к тексту III редакции. Затем в I редакции идет:

Когда были гости, и мы играли съ дѣвочками или танцовали? Опять то же самое скрытое чувство зависти и страданія. — Я напрягалъ, сколько могъ, свои умственныя способности, чтобы найдти дурное въ этихъ удовольствіяхъ и находить наслажденіе въ гордомъ одиночествѣ. —

Обозначаем эти строки *Б*.

Во II редакции этой главе соответствует: «Глава 10-я. ⟨Дѣвичья⟩ Маша», стоящая после главы 5-й (первоначально бывшей 9-й) «Старшій

[1] Цыфра приписана позднее, другими чернилами.

[2] Цыфра «5» переправлена из «9».

братъ». Здесь (во II редакции) глава начинается зачеркнутым местом, помещаемым нами в вариантах *(см. вариант № 7)*. Затем идет текст, близкий к тексту VI главы III редакции, начиная со второго абзаца до конца главы, с тем лишь отличием, что во II редакции после абзаца: «Не могу выразить....» идет зачеркнутый абзац, помещаемый нами в вариантах *(см. вариант № 8)*.

Кроме этого, на отдельном листке в 4° (вне нумерации) имеется текст начала этой главы, названной здесь: «Глава 6. Маша». Он начинается местом, близким к тексту вар. № 7 со слов: «Отчего мне не признаться...», после чего идет еще абзац, очень близкий к тексту первого абзаца VI главы III редакции.

Глава VII. «Дробь». В I редакции этой главе соответствует вторая половина 4-й главы «Дробь» (см. выше о главе IV). Помещаем начало второй половины главы в вариантах *(см. вариант № 9)*. Среди строк текста, напечатанного нами в качестве варианта, имеется помета: «спокойный, разсудительный характеръ Л. [?]». Затем идет текст весьма близкий к тексту III редакции, начиная с абзаца: «Когда папа пришел» до конца главы.

Во II редакции этой главе соответствует: «Дробь. Глава 7».[1] Здесь текст весьма близок к III редакции, и места, соответствующего вар. № 9, нет.

Глава VIII. «История Карла Ивановича». В I редакции перед главой, соответствующей этой (VIII главе III редакции), имеется еще глава: «Странная перемѣна. V».[2] Помещаем начало ее в вариантах *(см. вариант № 10)*.

Затем идет сцена появления пьяного Карла Ивановича, написанная первоначально для главы XXIV «Детства», но оттуда исключенная. Текст ее здесь в общем довольно близок к тексту вар. № 27 «Детства».[3] Затем идет место, помещаемое нами в вариантах *(см. вариант № 11)*, после чего идет текст, довольно близкий к тексту начала VIII гл. III редакции, кончая абзацем: «Карл Иванович облокотился...». Затем идет глава: «Исторія Карла Ивановича. VI» (заглавие и цыфра написаны позднее, другими чернилами). Начало ее близко к тексту III редакции, начиная с абзаца: «Я был несчастлив» до слов: «Тогда маменька сказала» (в абзаце: «В жилах моих»). Из мелких отличий I редакции отметим, что здесь есть такое место: «Часто мой добрый маменька говорилъ мнѣ ⟨Karlchen⟩ Фрицъ (я на родинѣ имѣлъ имя Феодора)», а местом его родины названо «мѣстечко Ruhleben въ Саксоніи». Затем в I редакции идет место, помещаемое нами в вариантах *(см. вариант № 12)*, после чего идет текст, весьма близкий к тексту III редакции, начиная с абзаца: «Я взял его за руку» до конца главы.

Во II редакции главы I редакции «Странная перемена» нет, и VIII главе III редакции соответствует глава: «⟨Исторія Карла Ивановича⟩ Пѣснь Лебедя. Глава 6». От нее сохранилось лишь начало, соответствую-

---

[1] Цыфра «7» переправлена из «5».

[2] Цыфра «V» написана позднее, другими чернилами.

[3] См. 1 том, стр. 203.

щее началу VIII главы III редакции, кончая абзацем: «Вы не дитя...». Текст II редакции близок к тексту III редакции, будучи несколько пространнее последнего.

Глава IX. «Продолжение предыдущей». В I редакции этой главе соответствует место, помещаемое нами в вариантах *(см. вариант № 13)*, после чего идет текст, близкий к тексту III редакции, начиная с абзаца: «На четвертые сутки...» до конца главы.

В сохранившихся листках II редакции этой главы нет.

Глава X. «Продолжение». В I редакции после эпизода с баронессой идет эпизод с шпионом, т. е. место, соответствующее тексту III редакции, начиная со слов: «В одно воскресенье...» (в абзаце: «Но Богу не угодно....») и кончая словами (в этом же абзаце): «zum Fenſter hinaus». Затем в I редакции идет эпизод появления в родном доме, т. е. то, что в III редакции имеется в первых трех абзацах этой главы. Текст I редакции близок к тексту III редакции. Затем в I редакции идет такой (незачеркнутый) текст:

Какъ я уже сказалъ, я не знаю, былъ-ли справедливъ разсказъ Карла Ивановича, но положительно, то, что въ то время, какъ онъ передавалъ его, въ его словахъ была такая ясная послѣдовательность въ жестахъ, такъ много истины и чувства, что трудно было сомнѣваться въ словахъ несмотря на то, что разсказъ этотъ по своему слишкомъ классическому расположенію внушалъ недовѣріе.

Между строками этого текста написано:

Не ручаюсь за достовѣрность обстоятельствъ разсказа, но ручаюсь за достовѣрность самаго разсказа. Описаніе войнъ, безпрестанныхъ бѣгствъ, самопожертвованій, свиданія съ родителями, имѣющее[1] сходство съ свиданіемъ[2] Іосифа Прекраснаго, въ движеніяхъ лица и слезахъ, которыя проливалъ онъ [съ] своими братьями, всѣляютъ недовѣріе во мнѣ теперь, но тогда такія похожденія такъ хорошо гармонировали съ моими идеально-благородными, неопытными дѣтскими понятіями, что эти-то самыя несообразности внушали мнѣ болѣе всего довѣрія.

Затем идет текст, помещаемый нами в вариантах *(см. вариант № 14)*.

В сохранившихся листках II редакции этой главы нет.

После «Истории Карла Ивановича» в I редакции следовала глава, не вошедшая в III редакцию и названная: «Новый ⟨Гувернеръ⟩ порядокъ вещей. VII». Текст ее с начала, будучи несколько пространнее, близок к тексту VII главы II редакции, до абзаца (исключительно): «На крыльце Карл Иванович...» (вар. № 15). Затем идет текст, помещаемый нами в вариантах *(см. вариант № 16)*, после чего идет текст, в общем довольно близкий к тексту II редакции, начиная с абзаца: «Растроганный сценой»

[1] В подлиннике: имѣющему

[2] В подлиннике: свиданія

и кончая словами: «часто подвергался этому наказанию» в абзаце VIII гл.: «Никто не ездил....» (вар. № 15) [1]

Во II редакции глава I редакции «Новый порядок вещей. VII» разбита на две, помещаемые нами (полностью) в вариантах *(см. вариант № 15)*.

Глава XI. «Единица». В I редакции этой главе соответствует место, идущее после строк *Б* (см. выше о гл. VI). Оно начинается таким текстом:

Но вотъ обстоятельство, окончательно удалившее меня отъ забавъ и удовольствій моего возраста и внушившее мнѣ страсть къ уединенію, мечтамъ и размышленію.

Затем в I редакции идет текст, неразработанный и неотделанный, но близкий к тексту XI главы III редакции. Он заключается чертой, концовкой.

Во II редакции этой главе соответствует: «Глава 9 [2] ⟨Классъ Исторіи⟩ Единица». Текст ее весьма близок к тексту III редакции.

Глава XII. «Ключик». В I редакции этой главе соответствует текст, который идет после текста, соответствующего тексту XI главы III редакции. Здесь (в I редакции) начало (до многоточия) близко к тексту III редакции. Затем идет место, близкое по тексту к тому, что́ имеется во II редакции (вар. № 17). Из отличий текста I редакции отметим, что имена корреспонденток здесь: Sophie, Esther и Настя, и на колоде надпись: «понтерки, на которыя въ 1814 году я въ ночь 17 Генваря отыгралъ все проигранное свое состояніе». [3] Затем в I редакции идет текст, близкий к тексту III редакции, но значительно более краткий, заключающийся чертой-концовкой.

Во II редакции этой главе соответствует: «Глава 10 [4] ⟨Становлюсь все болѣе и болѣе виноватымъ⟩ Ключикъ». Текст начала этой главы весьма близок к тексту III редакции (до многоточия), вместо которого во II редакции идет место, помещаемое нами в вариантах *(см. вариант № 17)*, после чего идет текст, весьма близкий к тексту III редакции.

Кроме этого, на отдельном листке в 4° (страницы листка перенумерованы: 133, 134) имеется текст, близкий к тексту III редакции, начиная с абзаца: «Детское чувство...», до конца главы.

Глава XIII. «Изменница». В I редакции этой главе соответствует место, идущее за текстом, соответствующим тексту XII главы III редакции. В I редакции текст близок к тексту III редакции, но не разработан.

Во II редакции от этой главы, названной: *«Глава 14. Измѣнница»*, сохранилось лишь начало, соответствующее первым трем абзацам XIII

---

[1] Текст главы «Новый порядок вещей» I редакции (с начала ее и кончая местом, соответствующим месту II редакции, кончающемуся словами: «часто подвергался этому наказанию») впервые напечатан по копии П. И. Бирюковым в «Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого», изд. Сытина, 1913, т. I, стр. 393—397.

[2] Цыфра «9» переделана из «10».

[3] Текст этого места (I ред.) впервые напечатан по копии П. И. Бирюковым в назв. собр. соч. Толстого, т. I, стр. 400.

[4] Цыфра «10» переделана из «11».

главы III редакции. Текст II редакции весьма близок к тексту III редакции.

Глава XIV. «Затмение». В I редакции этой главе соответствует место, идущее после места, соответствующего XIII главе III редакции. Начинается оно иначе, чем в III редакции. Помещаем его в вариантах *(см. вариант № 18)*.[1] Затем идет место, соответствующее тексту III редакции, начиная со слов: «Я должен был быть....» (в абзаце: «Он сказал это...») до конца главы. Текст этого места I редакции близок к тексту III редакции и так же, как и последний, кончается многоточием, после которого — черта-концовка.

В сохранившихся листках II редакции этой главы нет.

Глава XV. «Мечты». В I редакции этой главе соответствует место, идущее после места, соответствующего XIV главе III редакции. Текст I редакции довольно близок к тексту III редакции, но не разработан и не отделан.

В сохранившихся листках II редакции этой главы нет.

Глава XVI. «Перемелется — мука будет». В I редакции этой главе соответствует место, идущее после места, соответствующего XV гл. III редакции. Текст I редакции довольно близок к тексту III редакции с начала главы, кончая абзацем: «Хотел ли я убежать...», после чего в Iре дакции идет место, помещаемое нами в вариантах *(см. вариант № 19)*. Затем в I редакции идет текст (кончается чертой-концовкой), близкий к тексту последнего абзаца XVI главы III редакции.

Глава XVII. «Ненависть». В I редакции этой главе соответствует глава, названная «⟨Ненависть⟩ Униженіе», стоящая после места, кончающегося во II редакции словами: «часто подвергался этому наказанию» (см. вар. № 15, абзац 8-й главы: «Никто не ездил...»). Она начинается абзацем:

Исключая Илиньки Грапъ, который приходилъ учиться съ нами, мы не видали никого сверстниковъ. Съ Ивиными мы встрѣчались изрѣдко на Т[верскомъ] бульварѣ и въ манежѣ, къ намъ же никто не ѣздилъ почти цѣлый годъ траура подъ предлогомъ траура и безпокойства, которое могло причинить бабушкѣ, и еще болѣе потому, чтобы мы не развлекались отъ классовъ, особенно Володя, поступавшій будущей весной въ Университетъ.[3]

После этого идет текст, близкий к тексту III редакции, начиная с абзаца: «St.-Jérôme жил у нас...» и кончая абзацем: «Карл Иванович ставил нас...». Затем идет место, помещаемое нами в вариантах *(см.*

---

[1] Из этого места, со слов «St.-Jérôme вышел...» кончая словами: «выговаривал это последнее слово» впервые напечатано по копии П. И. Бирюковым в назв. собр. соч. Толстого, т. I, стр. 400 — 401.

[2] Это место впервые напечатано по копии П. И. Бирюковым в назван. собр. соч Толстого, т. I, стр. 403 — 405.

[3] Этот абзац впервые напечатан по копии П. И. Бирюковым в назван. собр. соч. Толстого, т. I, стр. 397 — 398.

вариант № 20).[1] В напечатанном в вариантах тексте перед словами: «Я понимал, что чувство, возбуждаемое во мне...» имеется помета: («Отношенія мои съ St.-Jérôm'омъ изъ 3-й тетради последняго листа)». Текст последнего листа 3-й тетради, это — место со слов: «в классной, как будто занимаясь», кончая: «Как он, француз, смел ударить нашего русского человека». Очевидно Толстой хотел, выбросив эпизод с Василием, оставить лишь описание чувства, которое ему внушал St.-Jérôme.

После напечатанного в вар. № 20 идет близкое к тексту III редакции место, соответствующее первому абзацу XVII главы III редакции.

Во II редакции от этой главы сохранилось лишь несколько строк, соответствующих концу вар. № 20.

Глава XVIII. «Девичья». В I редакции этой главе соответствует глава: «⟨Маша⟩ Дѣвичья», стоящая после текста, помещенного нами в качестве вар. № 22. Помещаем ее в вариантах *(см. вариант № 21).* Поперек текста, кончающегося словами: «заплакала и вышла на лестницу», написано: «конецъ».

Во II редакции этой главе соответствует: «Глава 19. ⟨Дѣвичья⟩ ⟨Василій и Маша⟩ Дѣвичья», стоящая после места, соответствующего тексту XIX главы III редакции. Здесь (во II редакции) сначала идет зачеркнутый крест-на-крест текст, повторенный сейчас же за ним в таком виде:

Глава 29. Дѣвичья.

> If nature has so wowe her web of kindness that some threads of lowe and desire are entangled with the piece; must the all piece be rent in drawing them aut. —
>
> Sterne.[2]

⟨Какъ только я, задумавшись о чемъ нибудь, забывался на минуту, я безсознательно вставалъ съ мѣста, выходилъ на лѣстницу, осторожно ступалъ по скрипящимъ ступенямъ и вдругъ, совершенно неожиданно для самаго себя, находилъ себя сидящимъ за дверью дѣвичьей, безъ всякой мысли устремивъ взоры на давно изученные мною до малѣйшихъ подробностей предметы⟩.

Затем идет описание девичьей, довольно близкое к описанию, имеющемуся в I редакции, начиная со слов: «В дверь, в которую я смотрел...» и кончая: «пристально шьет (см. вар. № 21, в абзаце «Однажды в праздник...»), после чего в рукописи пропуск, а затем небольшой отрывок, соответствующий в общем абзацу: «Несмотря на то, что...» III редакции. На этом отрывке кончается рукопись III редакции.

---

[1] Часть этого варианта (с начала и кончая словами: «ударить нашего русского человека!») впервые напечатана по копии П. И. Бирюковым в назв. собр. соч. Толстого, т. I, стр. 398 — 399.

[2] [Если природа соткала ткань нежных ощущений так, что нити любви и желаний тесно переплетены в ней, то не пострадает ли сама ткань, если вырывать из нее эти нити. Стерн.] Сохранена орфография Толстого в английском тексте. Цитата взята из гл. «Победа» «Сентиментального путешествия».

Глава XIX. «Отрочество». В I редакции этой главе соответствует место, стоящее после места, соответствующего последнему абзацу XVI главы III редакции. Текст этого места I редакции отличен от текста III редакции, и мы помещаем его полностью в вариантах *(см. вариант № 22)*.[1]

Во II редакции эта глава сохранилась не полностью: здесь имеется текст, соответствующий тексту III редакции, начиная с абзаца: «Мысли эти представлялись...» и кончая абзацем: «Другой раз, вспомнив...». Текст II редакции отличен от текста III редакции, и мы помещаем его в вариантах *(см. вариант № 23)*. Затем идет пять строк, весьма близких к началу абзаца III редакции: «Но ни одним...», после чего в рукописи пропуск (страниц в пять). Затем идет текст, соответствующий абзацам III редакции: «То раз, стоя....» и следующему. Даем его в вариантах *(см. вариант № 24)*. Затем идет текст, близкий к трем абзацам III редакции: «Слабый ум...», «Из всего этого...» и «Однако философские открытия...».

Глава XX. «Володя». В I редакции этой главе соответствует место, стоящее после вар. № 21. Здесь (в I редакции) текст близок к тексту XX главы III редакции с начала ее и кончая словами: «le fond de la bouteille»[2] (в абзаце: «Володя с сияющим лицом....»). Затем идет текст, помещаемый нами в вариантах *(см. вариант № 25)*.

Затем в I редакции идет место, близкое к тексту III редакции со слов: «Он обедает однако регулярно...» (в предпоследнем абзаце) до конца главы.

В сохранившихся листках II редакции этой главы нет.

Глава XXI. «Катенька и Любочка». В I редакции этой главе соответствует место, стоящее после места, соответствующего концу XX главы III редакции. Здесь (в I редакции) сначала идет текст, близкий к первому абзацу XXI главы III редакции, после чего имеется фраза:

Одно было жалко это то, что у нея, Богъ знаетъ, откуда, привились дурныя манеры. Какъ не вѣрить послѣ этаго въ породу.

Затем идет текст, соответствующий тексту III редакции, начиная с абзаца: «Несмотря на то, что Любочка...» и до конца главы. В I редакции текст близок к тексту III редакции, но местами кратче последнего.

В сохранившихся листках II редакции этой главы нет.

Глава XXII. «Папа». В I редакции этой главе соответствует место, стоящее после места, соответствующего XXI главе III редакции. В I редакции текст близок к тексту первых трех абзацев XXII главы III редакции, но кратче последнего. Затем идет текст:

Вѣрно всякій замѣчалъ, что даже въ одномъ родѣ игры у каждаго есть непремѣнно своя неуловимая особенность, какъ въ голосѣ, въ походкѣ, въ рукѣ каждаго человѣка, въ листкѣ каждаго дерева: но эта то особенность игры такъ отразилась до тончайшихъ оттѣнковъ въ игрѣ Любочки, такъ что, слушая

---

[1] Часть этого текста, со слов: «После обеда я не вмешивался...» кончая: «для моих отроческих мечтаний» впервые напечатана по копии П. И. Бирюковым в назван. собр. соч. Толстого, т. I, стр. 401 — 403.

[2] [дно бутылки]

ее часто, мнѣ случалось закрывать глаза и думать: вотъ открою глаза и увижу ее.

Затем в I редакции идет место, соответствующее тексту III редакции, начиная с абзаца: «Папа вошел в комнату....» и кончая словами: «останавливаясь посреди коридора (в абзаце: «— Вольдемар! скоро ли ты?»). Затем идет место, помещаемое нами в вариантах *(см. вариант № 26)*. Поперек этого текста идет помета: «Вас. сидитъ въ части».

В сохранившихся листках II редакции этой главы нет.

Текст рукописи, описанной выше под № 7 (см. „Описание рукописей, относящихся к «Отрочеству»"), представляет собою без начала главу, названную: «Странная новость» и намеченную 23-й в напечатанном выше перечне глав, написанном в конце рукописи I редакции (см. „История писания «Отрочества"", стр. 352).

Текст страниц 120 — 129 рукописи № 7 помещаем в вариантах *(см. вариант № 27)*. Кроме этого, шестой листок, страницы которого нумерованы 126, 127, дает более ранний, менее разработанный вариант конца напечатанного (вар. № 27) текста (со слов: «Пришло конец тому делу, что и платить надо...» до конца напечатанного), после чего идет:

Глава 24. Концертъ.

Бабушкѣ становилось слабѣе и слабѣе. Изъ креселъ она перешла уже въ высокую кровать съ подушками, обшитыми кружевами. Колокольчикъ и ворчливый голосъ Гаши еще чаще были слышны на ея половинѣ. 28 Апрѣля, когда мы пришли здороваться съ ней, и она дала мнѣ цѣловать свою руку, я съ тѣмъ болѣзненнымъ чувствомъ, которое испытываешь, находя что нибудь отвратительное въ людяхъ, которыхъ любишь, замѣтилъ, что рука

На этом рукопись обрывается. Это начало 24 главы близко к началу главы XXIII «Бабушка» III редакции, от которой больше ничего в рукописях не сохранилось.

Глава XXIV. «Я». Этой главы нет в рукописях ни I, ни II редакций.

Глава XXV. «Приятели Володи». В I редакции этой главе соответствует глава «Начало дружбы. XXX», стоящая после текста вар. № 26. Текст ее значительно отличается от текста III редакции, и мы помещаем всё, что сохранилось от нее в вариантах *(см. вариант № 28)*. Дальше в тетради вырвано сколько-то страниц, а затем идет текст, помещаемый нами в вариантах *(см. вариант № 29)*. Поперек начала текста помета: «Гробовщикъ», а поперек последних строк этого текста написано: «Условіе говорить другъ другу все и никогда не говорить другъ про друга. Я говорю объ отцѣ. Онъ останавливаетъ меня». —

Первая часть варианта № 28 соответствует намечавшейся 24 главе (см. перечень глав в рукописи I редакции в „Истории писания «Отрочества"" стр. 352) «Концерт», а вторая часть представляет собою как бы конспект глав 32 и 33 указанного перечня.

Глава XXVI. «Рассуждения». Этой главы нет в рукописях ни I, ни I редакций.

Глава XXVII. «Начало дружбы». Этой главы нет в рукописях ни I, ни II редакций.

История печатания «Отрочества» в «Современнике» 1854 г.

В архиве Толстого сохранилась почтовая квитанция:

«Росписка. В Букарестской Почтовой Конторе для отправления принято и в книгу Апреля 27 дня 1854 года под № 49 записано в С.-Петербург, Николаю Некрасову письмо и посылка с рукописью на 31 пиастр от Графа Толстого.

Взято: весовых 11 ⟨руб.⟩ пиа. 10 ⟨коп.⟩ па., страховых—руб. 14 ⟨коп.⟩ и пошлины 15 ⟨коп.⟩ па. серебром.

11 — 39 пар.
Почтмейстер (подпись).
За Помощника (подпись).»

Оцененная в три с лишним рубля [1] рукопись эта — «Отрочество». Письмо к Некрасову, посланное вместе с рукописью, не сохранилось, как не сохранилось и другое письмо к Некрасову, написанное Толстым 23 июня.[2] С нетерпением ждал ответа Толстой. В дневнике под 11 июля записано: «.... я опять в самом затруднительном денежном положении: ни копейки, по крайней мере до половины августа не предвидится ниоткуда, исключая фуражных, и должен доктору. Не предвидится, я говорю, потому что нынче получил Современник и убежден, что рукописи мои сидят где-нибудь в таможне».

Только 24 августа, т. е. через четыре месяца после отправки «Отрочества», получил Толстой ответ Некрасова, о чем в дневнике записано: «Получил лестное об Отрочестве письмо Некрасова, которое, как и всегда, подняло мой дух и поощрило к продолжению занятий... гордился письмом Некрасова».

Редактор «Современника» писал Толстому:

Милостивый Государь
Лев Николаевич,

Исполняю ваше желание и посылаю те номера Современника, в которых помещены ваши рассказы. — Если я скажу, что не могу прибрать выражения, как достаточно похвалить вашу последнюю вещь, то, кажется, это будет самое верное, что я могу сказать, да и не совсем ловко говорить в письме и вам больше. Перо, подобно языку, имеет свойство застенчивости — это я понял в сию минуту, потому что никак не умею, хоть и попутное, сказать кой-что, из всего, что думаю, выберу только, что талант автора «Отрочества» самобытен и симпатичен в высшей степени, и что такие вещи, как описание летней дороги и грозы, или сидение в каземате,

---

[1] Турецкий пиастр равняется приблизительно 10 копейкам.

[2] В дневнике под этим числом записано: «Написал письма... Некрасову...» Может быть письмо это и не было послано.

и многое, многое дадут этому рассказу долгую жизнь в нашей литературе. Я напечатаю «Отрочество» в IX или X кн. Современ. Не знаю, получите ли вы его — но он вам в Бухарест высылался.

Примите уверение в моем душевном уважении и преданности

Н. Некрасов.

1854, Июля 10.
СпБург.[1]

«Отрочество» было напечатано в десятой (октябрьской) книжке «Современника» за 1854 г. (цензурное разрешение было подписано В. Бекетовым 30 сентября), на стр. 81 — 146 под заглавием: «Отрочество. Повесть», к чему было сделано (в сноске) примечание: «В «Современнике» 1852 г., № 9, помещен был рассказ под названием «Детство», без сомнения, оставшийся в памяти у читателей нашего журнала. Этот рассказ был собственно началом романа, которого общее заглавие «Четыре эпохи развития». Ныне мы представляем вторую часть этого романа, имеющую, подобно первой, интерес и как отдельное целое. *Редакц.*». В конце текста, вместо фамилии, инициалы: Л. Н. Т.

По выходе книжки в свет, Некрасов писал Толстому:

Спб. 1854, 2 Ноября.

Милостивый Государь
Лев Николаевич,

Видно уж такова судьба Ваша, что и «Отрочество» в печати подверглось значительным и обидным урезываньям. Случилось несколько ценсурных историй, выговоров — и на ценсора нашего, как и на других, напал панический страх, в следствие которого он вымарал более, чем бы следовало. Само собою разумеется, что были употреблены все старания, чтоб отстоять что можно; к счастию, как Вы заметите, лучшие вещи все уцелели в неиспорченном виде. — Вещь эта произвела в читающем мире то, что называется *эффект*, а что касается литераторов, разумеется, смыслящих, то они сознаются, что очень давно ничего подобного не было в русской литературе. В самом деле, хорошая вещь.

Конечно, вам теперь не до писанья, но если б — сверх чаяния — вы что-нибудь написали, то это было бы для нас теперь вдвойне приятно. — Война подействовала у нас на всё, даже и на литературу, и нужно употреблять большие усилия, чтоб поддержать существование журналистов в это тяжелое время. Теперь время подписки, и после *Отрочества*, которое всем так понравилось, напечатание вашей новой повести в Современнике принесло бы ему пользу существенную.

Я пишу это письмо между прочим с тем, чтоб узнать от вас, куда послать Вам деньги за *Отрочество*. Я так давно не имею от Вас известия, что не решаюсь послать по старому адресу.

Примите уверение в моей совершенной преданности

Н. Некрасов.[2]

---

[1] Альманах «Круг». Книга шестая, М. 1927, стр. 189 — 190.
[2] Там же, стр. 190 — 191.

Ни книжек «Современника» с «Отрочеством», ни писем от Некрасова Толстой не получал еще и 19 декабря 1854 г., когда писал Некрасову:

Милостивый Государь
Николай Алексеевич.

Или мои или ваши письма или те и другие — не доходят — иначе я не могу объяснить себе вашего 6-ти месячного молчания, а между тем мне бы очень многое было интересно знать от вас. Современника тоже с Августа я не получаю.

Напечатаны ли и когда будут напечатаны *Рассказ маркера* и *Отрочество?* и почему не получаю я Современника? уведомьте меня пожалуйста об этом и письмом страховым, чтобы это было вернее. Адрес мой всё тот же: в Кишинев, в главный штаб Южной армии....

Получив это письмо 16 января 1855 г., Некрасов на следующий же день отвечал большим письмом, в котором объяснял, что посылал Толстому четыре письма, и что несколько дней тому назад Тургенев, уезжая в Москву, сказал Некрасову, что увидит там сестру Толстого и ее мужа, и Некрасов дал Тургеневу деньги за «Отрочество», прося послать их Толстому, если его родные знают верный его адрес. Об «Отрочестве» Некрасов писал: «Ваше «Отрочество» вышло в свет в Октябре 1854 г. (Его изрядно общипала ценсура, вымарав многое из первых проявлений любви в отроке и кое-что там, где рассказчик говорит об отце) и произвело то, что называется эффектом, т. е. некоторый говор в Петербурге. Что касается до литературного круга, то все порядочные люди единогласно находили эту вещь исполненною поэзии, оригинальною и художественно выполненною. Так как я пишу вам об Вашем «Отрочестве» уже в 3-й раз, то Вы извините меня за угловатость этих фраз, да я же и вечно тороплюсь — вот и теперь мне помешали дописать письмо. Мои приятели Тургенев и Анненков в восторге от этого произведения в таком же, как и я. (Это приписано через час)...

10-й № «Современника», где «Отрочество»... велю я завтра же отослать к Вам *по легкой почте* в виде посылки.... Деньги тоже на днях отошлю к Вам, послал бы при этом письме, да не знаю, не сделал ли уже этого Тургенев...».[2]

О гонораре за «Отрочество» писал 3 мая 1855 г. Толстому и Панаев, заменявший в редактировании «Современника» Некрасова, уехавшего весной 1855 г. в деревню: «Деньги, следовавшие Вам, отданы Некрасовым, если не ошибаюсь, через Тургенева Вашему зятю. Потрудитесь уведомить — получили ли Вы их».[3]

Толстой деньги эти, наконец, получил, о чем и писал Панаеву 14 июня 1855 г.[4]

---

[1] Цитирую по подлиннику. См. «Архив села Карабихи. Письма Н. А. Некрасова и к Некрасову. Примечания составил Н. Ашукин», М. 1916, стр. 201.

[2] Альманах «Круг». Книга шестая, М. 1927, стр. 193 — 194.

[3] «Красная новь» 1928, 9, стр. 215.

[4] «Новый сборник писем Л. Н. Толстого» под ред. А. Е. Грузинского, изд. «Окто», 1912, стр. 1 — 2.

История печатания «Отрочества» отдельным изданием в 1856 году.

История печатания книги Толстого «Детство и Отрочество», на основании записей дневника Толстого и писем к нему Д. Я. Колбасина, ведавшего издание этой книги, изложена нами в объяснительной статье I тома настоящего издания. Здесь же, в добавление к имеющемуся там, мы приведем места из писем Колбасина, касающиеся «Отрочества».

2 июня 1856 г. Колбасин писал из Петербурга: «.... Вчера я возвратился из Москвы и нашел, к полному своему удовольствию, что «Детство и Отрочество» уже пропущены обязательным Бекетовым без всяких пропусков, кроме 28 строк из религиозных сомнений, начиная словами: «Всё это было бы смешно и забавно, если бы я не распространял своих сомнений и т. д. до — по ночам вставал и по нескольку раз перечитывал все известные мне молитвы...». Вот и весь пропуск, если Вы находите, что он не важен, то не для чего и тревожить Ковалевского.[1] Мне кажется, что пропуск этот нисколько не вредит целому, и если мы захотим постоять на своем, то это затянет дело надолго, пойдет на рассмотрение попов и т. д. и выйдет та же длинная история, что и с Муму Тургенева, а еще пожалуй и хуже. Во всяком случае жду от вас скорого ответа насчет этого пропуска...».

Не пропущенное цензором место находилось, конечно, в XIX главе окончательной редакции, рукопись которой была послана Толстым Некрасову. Рукопись эта не сохранилась, в сохранившихся же рукописях «Отрочества» этого места нет.

21 июня Колбасин снова пишет об этом же: «Писал я к Вам, Лев Николаевич, два письма, не знаю получили ли Вы их; если нет, то знайте, что «Детство» и «Отрочество» Бекетов пропустил без всяких помарок, исключая, кажется, 18 строк из «Отрочества» в *религиозных сомнениях*, что, мне кажется, ничуть не повредит целому и даже остальным *сомнениям*. Поэтому, не получая от Вас известий, я решился приступить к набору только на этой неделе...».

В дневнике Толстого под 13 августа имеется запись: «Написал письмо с поправками «Детства и Отрочества» Колбасину». Письмо это неизвестно, как неизвестны и поправки, посылавшиеся Толстым. Вероятно, в этом письме Колбасину Толстой просил прислать ему текст мест, исключенных цензурою при печатании «Отрочества» в «Современнике» и теперь появлявшихся впервые в печати; ему, очевидно, хотелось просмотреть эти места, а копии рукописи (с полным текстом повести), посланной в 1854 году Некрасову, у Толстого в Ясной Поляне не было. В ответ на это Колбасин пишет (20 августа): «Пишу к Вам, Лев Николаевич, в кратких словах — очень занят. Деньги все получены, поправки тоже, кажется, можно будет обойтись без Цензора. Пропуски из «Отрочества» постараюсь прислать, хотя их очень много. Печатание началось, но я приостановил, ожидая поправок...».

---

[1] Речь идет о писателе и государственном деятеле Егоре Петровиче Ковалевском (181 — 1868), во время Крымской кампании состоявшем в штабе кн М Д. Горчакова, руководившего обороной Севастополя с февраля по август 1855 г.

Неизвестно, послал ли Колбасин Толстому, что он просил, а потому неизвестно, выправлял ли Толстой места, не попавшие в текст «Современника».

Из вышеприведенного письма Некрасова к Толстому от 2 ноября 1854 г. мы знаем, что «Отрочество» в «Современнике» подверглось значительным и обидным урезываньям, что объяснялось, как писал Некрасов, «паническим страхом» перед начальством цензора, вымаравшего «более, чем следовало».

Установить совершенно точно, что было искажено цензором в тексте, посланном Толстым Некрасову, в настоящее время невозможно, так как, с одной стороны, мы не знаем этого текста, с другой — как мы только-что видели, Толстой что-то поправлял в тексте «Современника», а потому разночтения, даваемые последним по сравнению с текстом издания 1856 г., не всегда можно объяснить цензурными требованиями.

В 1876 г. Толстой выпустил в свет «второе издание» «Детства и Отрочества» в двух книжках в 16⁰ (в одной — «Детство», 176 + 2 нен. стр., и в другой — «Отрочество» 140 + IV + 2 нен. стр.). Как значится на обложках второго издания 1877 г. «Книг для чтения», это — «новое дешевое издание, переделанное автором для детского чтения».

Переделка Толстым текста «Отрочества» «для детского чтения» выразилась в исключении из текста издания 1856 г. семи мест: [1] 1) исключена целиком VI глава «Маша»; 2) в главе VIII «История Карла Ивановича» в абзаце: «В жилах моих...» исключено со слов: «я родился шесть недель» кончая: «не любил меня»; 3) в главе IX «Продолжение предыдущей» исключено со слов: «Когда она *видела* меня» кончая: «весь задрожал»; 4) исключена целиком XVIII глава «Девичья»; 5) в главе XXII «Папа» в первом абзаце исключено со слов: «я с тем же искренним» кончая: «моральных страданий.»; 6) в той же главе исключены последние четыре абзаца (со слов: «— Вольдемар! скоро ли» до конца главы) и 7) в главе XXIV «Я» исключены абзацы: «Наблюдения мои» и «Когда *молодые*».[2]

Во всех изданиях «собрания сочинений» Толстого текст «Отрочества» печатался по тексту издания 1856 г. без каких-либо авторскхх изменений, как и печатается нами. В текст издания 1856 г., кроме указанных в «печатных вариантах» двух отступлений, введены три конъектуры.

Стр. 11, стр. 15 сн. — образовавшуюся — *вместо:* образовавшейся
» 14, « 14 св. — фаталистическою — *вместо:* фаталическою
» 17, « 7 сн. — предавался — *вместо:* предался

---

[1] Текст «Детства» в издании 1876 г. не отличается от текста издания 1856 г.

[2] В Архиве Толстого (Публичная библиотека СССР им. Ленина) хранится экземпляр издания «Детства и отрочества» 1856 г., подаренный в свое время Толстым тетке Пелагее Ильинишне Юшковой. По этой книге Толстой читал в 1876 г. «Отрочество» и отмечал, что нужно выкинуть для детского издания

«ЮНОСТЬ».

V.

ПЛАН «ЮНОСТИ».

План, печатаемый нами по рукописи, описанной ниже под № 3, набросан, вероятно, 1 июля 1855 г. Текст I редакции «Юности» довольно близок к первым семи главам этого плана, но уже и в I редакции распределение содержания по главам несколько иное, II же редакция отступает и от намеченного планом содержания и от порядка глав, так что можно определенно утверждать, что по этому плану «Юность» не писалась.

VI — VII.

ТРИ РЕДАКЦИИ «ЮНОСТИ».

История писания «Юности».

В дневнике Толстого записи о работе над «Юностью» начинаются в Симферополе с 12 марта 1855 г., когда записано: „Утром написал около листа «Юности»". Такие же записи в следующие дни: 13 марта: „Писал «Юность»", «14, 15, 16 марта»: „Вчера писал «Юность»", 17 марта: «Написал около листа «Юности» хорошо, но мог бы написать больше и лучше», 18 марта: „....Написал нынче около листа «Юности»". После этого перерыв до 28 марта, когда записано: „Утром написал страницы к «Юности»". На следующий день: «Написал страниц 8 «Юности» и не дурно...». Затем опять перерыв, о чем читаем в дневнике под «3, 4, 5, 6, 7 апреля» уже в Севастополе: «Все дни эти так занят был самыми событиями и отчасти службой, что ничего, исключая одной нескладной странички «Юности», не успел написать еще». 11 апреля: „Очень, очень мало написал в эти дни «Юности"». 13 апреля: „.... немного написал «Юности"». На следующий день: „Вчера дописал главу «Юности» и очень не дурно. Вообще работа «Юности» уже теперь будет завлекать меня самой прелестью начатой и доведенной почти до половины работы. Хочу нынче написать главу «Сенокос»".

Главы «Сенокос» нет ни в одной из дошедших до нас редакций «Юности», но в конце рукописи I редакции «Отрочества» сохранился отрывок главы, подходящий по содержанию к этому заглавию.[1] Кроме этого, в плане «Юности» содержание 12 главы намечено: «Сенокос, планы...».[2]

---

[1] См. в этом томе вар. № 28 «Отрочества» со слов: «Я проснулся от шума.. ».

[2] См. в этом томе, стр. 297.

Написанное в этот период — с 12 марта по 14 апреля 1855 г. — надо думать, не сохранилось.

После записи под 14 апреля о работе над «Юностью» дневник молчит до 30 июня, когда записано: „Завтра примусь за «Юность»". На следующий день: «Ничего не делал, хотя и пытался писать план «Юности», но не мог собраться с мыслями».

В записной книжке под 8 июля 1855 г.: «*Н. З. М.* [1] В «Юности» «цветочек, сувенир, который я беру только потому, что видал, все так делают. *Н. З. Ф.* [1] В «Юности» — характер семейства [*2 неразобр.*] передают. Руку целуют у мачихи после обеда». Первая из этих записей использована в XXXVII главе «Юности» (четвертый абзац).

10 июля в записной же книжке: «*Н. З. М.* для «Юности». Смутность понимания дел, враг. *Н. З.* для «Юности» разочарование в математике 48 — 13 дроби (К. И.) [Карл Иванович?] A + b, в геометрии метод. Философия математики, увлекающая меня в педагогию, философию вообще и удаляющая от истории.... *Н. З. М.* для «Юности». Жечь перья, ожидая химического соединения. *М. Она* перенесла с предмета своей любви на меня блестящий [*1 неразобр.*] взгляд, и я чувствую, как прелесть взгляда, глядя на мое дурное лицо, умирает».

По поводу этих записей, значение которых для нас непонятно, Толстой в дневнике под 10 июля отмечает: «Пропасть есть мыслей для «Юности», записанных в записную книжку. Скоро употреблю их не переписывая. Лень! Лень! Лень».

Под 12 июля в записной книжке записано: «для «Юности» 1) Я невольно говорю грубости женщинам, в которых влюблен; 2) Студент, читая, гладит руку [*1 неразобр.*]. *Н. З. Ф.* глупости, пошлости французской литературы et la manière dont elle attaquait le T. accusait le despotisme du cœur. [2] *М.* для «Юности»: 1) злоба беспричинная на человека, с которым живешь и 2) история за К[атеньку?] с В[олодей]. В[олодя] скрытен, ревность, храбрость Володи. Отец отдал счеты. Сцена в пруду, спасение Володи и утешения Василья.... *М.* для «Юности». Я болен, и Матрена подает мне чай с засученным рукавом и от взгляда моего опускает его..... *М.* для «Юности». В манеже падает с лошади».

В этот же день (12 июля) в дневнике записано: «... Завтра пишу «Юность» с утра». Но несмотря на это только в записи под «24, 25 июля» читаем: «Вчера начал писать «Юность», но ленился, написал только $^1/_2$ листа, нынче целый день раскладывал пасьянс. Пр[авила]. Каждый день написать из головы по крайней мере лист и переделать столько же. До этого не ложиться спать..... Ф[акт] для «Юности». Гроза в доме, как затворяют окна», 27 июля: «.... ленился, написал только $^1/_4$ листочка....».

30 июля в записной книжке: «.... *Н. З.* для «Юности». Человек прощаясь вздыхает». После этого и дневник и записная книжка молчат о «Юности» до 10-11 августа, когда в дневнике записано: „Завтра непремепно

---

[1] В это время у Толстого было правило заносить мысли в записную книжку и в дневник по отделам: Н. — Наблюдения, З. — Замечания, М. — Мысли, Ф. — Факты, Пр. — Правила.

[2] [и способ, с которым она нападает на Т., обозначает деспотизм сердца.]

с утра пишу «Юность»". 12 августа: «Встал рано, дописал I главу «Юности». Весьма мало».

На основании последней записи, можно думать, в июле — первой половине августа 1855 г. «Юность» была начата во второй раз с начала, по новому плану, набросанному 1 июля, о чем говорит вышеприведенная запись в дневнике под этим числом. Вероятно, это план, напечатанный выше на стр. 297.

На следующий (13 августа) день записано: «Написал весьма мало, хотя и был в духе». И опять перерыв на месяц с лишним. 17 сентября в дневнике записано: „.... завтра ..... утром пишу «Юность»". 19 сентября: „«Юность» хочу издать сам". Под 26 и 27 сентября и 1 и 2 октября имеются в одних и тех же выражениях записи о том, что „завтра пишу «Юность»" и „не писал «Юности»". Только 23 октября записано: «Писал вчера и нынче, немного, но легко».

Написанное за время с июля по октябрь 1855 г., надо думать, и дает рукопись, описанная ниже под № 4, условно называемая нами I редакцией и впервые напечатанная полностью выше, стр. 298 — 320.

21 ноября Толстой приехал из Севастополя в Петербург. Хотя в день приезда в дневнике между прочим записано: „Завтра пишу «Юность»", но из дальнейших записей не видно, писалась ли действительно в это время «Юность». Вероятно, не писалась. В записи, датированной «13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 февраля» 1856 г., читаем: „Завтра работаю 6 часов и даю себе правило не засыпать без этого... Пишу прежде всего Епишку или Беглеца. Потом комедию, потом «Юность»". Несмотря на это, записи дневника ничего не говорят о работе над «Юностью» до 25 мая, когда записано (уже в Москве), что „писать ужасно хочется «Юность»". В записной книжке 29 мая (в Ясной Поляне) такая запись: «11 часов, у высоких окон на сад стоят пяльцы, и какая-нибудь женщина шьет в них, сторы до половины опущены и отдувают, темнозеленый сад блестит в окна и сквозь деревья бегает по пяльцам. Есть наслаждение в мысли, что вся, вся эта зеленая земля — моя. Лесная грязная дорога тотчас после дождя. Тени дерев блестяще-черны, и солнце уже светит. Идешь по выколосившейся ржи, она хрустя прямо падает под ногами — жалко.

Я на 4-й версте застал себя поющим мысленно эту штуку». Начало этой записи (до слов «Есть наслаждение...») было использовано в XXXII главе (III редакции) «Юности», четвертый абзац, а «и по два - ат - цать по се-емь» находим в этой же главе (конец третьего абзаца). [1]

В записной же книжке есть такие еще записи (по положению и содержанию (Троицын день) датируются — между 3 и 7 июня): «Девки боси-

[1] Во II редакции этого еще нет, вместо чего сказано: «твердишь 1000 раз сряду мысленно нараспев заглавие какой-нибудь немецкой басни....».

ком в розовых платках ходят в утро Троицына дня по мокрому от ночного дождя лугу, собирать цветы для венков в церковь». Это находим во II главе «Троицын день» «второй половины Юности».[1]

Затем: «Вчера винный поверенный Беленко красный, как говядина, старичок, знающий околодок, как свои карманы, рассказывал В[алерьяну][2] про соседние именьи; бо́льшую часть описаний он начинает так: «Тоже мужичонки разорены, но богатое именье...». Это «мужичонки» имеется в 35 главе II редакции (см. вар. № 8 «Юности», абзац «Петр Васильевич сдержал слово....»).

Под 9 июня в записной книжке: „«Юность» писать для денег нужнее всего". На следующий день в дневнике: «Главное, что «Юность» надо писать предпочтительно». На следующий день: «Встал в 9, перечел «Юность». Лень страшная». Затем только 22 июня: „Вечером долго не мог заснуть, был в мечтательном расположении духа и составил ясно не на бумаге, а в голове план «Юности". 26 июня: «..... перечел «Юность», хотел писать, но так и остановился». Работа над II редакцией «Юности» началась на следующий день, когда записано: «Перечел «Юность», поправил кое-что...», 28 июня: «... отделал первую главу «Юности» с большим удовольствием», 30 июня: „Написал страничку «Юности", 1 июля: „.....написал странички 2 «Юности", 3 июля: „... писал немного «Юность"".

За это время (по положению нужно датировать — между 12 июня и 8 июля) в записной книжке: «Есть 3 рода любви: 1) находящая наслаждение в самоотвержении, хотя бы оно было вредно для любимого; 2) находящая наслаждение в изяществе выражения — П[елагея] И[льинишна][3] и 3) в деятельности».

Эта запись развита в главе XXIV «Юности».

Затем: «К «Юности». Я смотрю, как на недоступные совершенства образования, ума, деликатности, на русских франтов, как Столыпин, Трубецкой, Строганов, потом узнаю и нахожу, что они на меня смотрят с зависью и притворяются, что презирают. Было время, что я старался стучать ногами, когда будто бы сердит, всё это, чтобы быть похожим на деда [?] и сообщил для общего сведения об этом обстоятельстве Аг[афье] М[ихайловне]».[4]

И еще: «К «Юности». Отец женится на дочери врага Детское понятие о враге». Это — тема XXXIII и XXXIV глав «Юности».

Под 14 июля в записной книжке: «Приятно в постороннем кружке, который показывает вам одну ложную лицевую сторону жизни, поднять такой вопрос, который задевает всех членов кружка за живое. Как скоро соскакивает тогда эта ложная обстановка, и вы видите все настоящие отношения. Иногда этот вопрос не об состоянии, не об неверности мужа, а о кружевах или супе, посредством спора сделанный жолчным».

Запись эта — в эмбриональном виде третий абзац XXV главы «Юности».

---

[1] См. в этом томе, стр. 345 — 346.

[2] Граф Валерьян Петрович Толстой — муж сестры Толстого Марьи Николаевны.

[3] Гр. Пелагея Ильинишна Толстая, по мужу Юшкова — тетка Толстого, сестра его отца.

[4] Горничная бабки Толстого гр. Пелагеи Николаевны Толстой. О ней см. в книге Т. Л. Сухотиной-Толстой «Друзья и гости Ясной поляны», изд. «Колос», 1923.

После записи от 3 июля в дневнике о «Юности» ничего нет до 27 июля, когда записано: «Писал немного «Юность» и с большим удовольствием. Непременно, с моей привычкой передумыванья, мне надо привыкнуть писать сразу».

Ко времени между 14 и 31 июля относятся записи в записной книжке: «К «Юности». Я замечаю, что руки у брата особенно pouce,[1] когда он берет что-нибудь, как у большого; мне кажется, что он это нарочно.... Тип Валерьяна, любящий имя и отчество и вещи, имеет маленькие, закругленные, пухлые ручки, похожие на кисточки». Это использовано в XIV гл.[2] Затем: «К «Юности». Характер Д. Нехлюдова. иногда нежен и ребячлив, иногда жесток и упрям, но всегда честен, на художества туп».

Напряженная работа над «Юностью» пошла с 29 июля, когда записано: „Писал утро «Юность», дописал главу «Исповедь»". На следующий день: «Писал главу «Экзамен», написал листочка два». 31 июля: «Писал главу экзаменов». 1 августа: «Просыпался рано и в пробуждении пробовал придумывать свои лица. Воображение ужасно живо. Успел представить себе отца отлично. Дописал экзамены». 2 августа: «Писал целый день», 3 августа: «Писал много», «4, 5, 6 августа»: «... писал с удовольствием»; 7 августа: «.... в эти дни писал каждый день часа по два»; 10 августа: «Писал утро»; 11 августа: «Писал дома 6-ю главу по 2-й переписке. Кончил.»; 12 августа: «... пописал немного»; 13 августа: «писал до 2»; 14 августа: «.... принимаюсь писать 7-ю главу.[3] Написал листа 2, но в целый день, который был свободен, этого мало»; 15 августа: «Целый день дома писал довольно много»; 17 августа: «Утро дома мало писал. Женитьба отца поставила меня в тупик...». Затем идут каждый день отметки «писал» до 22 августа, когда записано: «Кончил начерно «Юность» 1-ую половину».

Таким образом работа над II редакцией продолжалась почти два месяца, с 27 июня по 22 августа 1856 г.

Текст этой редакции дают рукописи, описанные ниже под №№ 5, 6, 7.

Ко времени между 31 июля и 18 сентября относится ряд записей в записной книжке о «Юности»:[4]

«К «Юности» I главе. Краткой очерк всех отношений. Характер Дмитрия. Дмитрий глуп, но я не смею думать этого. Дома расстроены. Гость приехал, все другие спали.

К «Юности». Сладострастие отца, ссора с Семеновым. От Князя А. И[вановича] мы ждем наследства.[5]

---

[1] [большой палец,]

[2] Во II редакции о руках Дубкова текст ближе к записи книжки, чем текст окончательной редакции. Во II редакции это место читается: «У Дубкова, напротивъ, руки были маленькія, пухлыя, загнутыя внутрь, чрезвычайно ловкія съ мягкими пальцами, похожими на кисточки, именно тотъ сортъ рукъ, на которыхъ бываютъ перстни, и которыя принадлежатъ людямъ, помнящимъ имена и отчества всѣхъ знакомыхъ, имѣющимъ хорошій, даже щеголеватый выговоръ на иностранныхъ языкахъ, любящимъ имѣть красивыя вещи!».

[3] В это время 6 глава, называвшаяся «Семейство Нехлюдовыхъ», соответствовала тексту в III редакции, начиная со второй половины XXI главы, кончая XXVII, а 7 «Въ деревнѣ»—XXVIII — XXXII главам III редакции.

[4] Записи не датированы и извлечены нами из ряда других записей, не имеющих отношения к «Юности». Каждая запись печатается нами с красной строки.

[5] Ср. XXI главу III редакции.

В[олодя]. не кончив курс, поступит в гвардию. Я не хочу подчиняться долее влиянию Д[митрия], и дружба уничтожается. Дубкову не могу смотреть в глаза: или я, или он.[1] Робеем с братом друг за друга. Мы уже не говорим своих мыслей о планах женитьбы на сестрах. Как только сделает что-нибудь хорошее, находит кроткое расположение.[2] Т. П. Дипломат.

У Нехлюдова есть брат. Непременно переделать всю первую главу.

Тип belle Flamande: ревнива, добра и любит наряд.[3] Дмитрий жесток с людьми.[4] К 1-й главе порвано было нормальное положение. Жизнь только подготавливала их — ссоры, дома[шние]. Катенька. Пашенька. Володя. Валерьян.

Любовь Дмитрия к Любовь Сергеевне и Полубояринову.[5] — Хорошо, когда автор только чуть-чуть стоит вне предмета, так что — беспрестанно сомневаешься, субъективный или объективно. Рассказы про отца и мать как про людей.

Лунная ночь в беседке с Ф. и Катенькой и Володя.

К I-ой главе «Юности» городские мечты... Нехлюд. Тетка Т. А.[6] Молодежь смеется над теткой, что она покраснела, когда ей сказали, что она влюблена в сына, а она была влюблена в отца. Я убеждаюсь, что, коли всё говоришь, то ничего не делаешь, разговор с Д[митрием]. У князя Ивана Ивановича солгал, и он..... К. И. [Карл Иванович] в Хабаровке.....

Варенька художническая натура, драмат., быстрая.[7] А. худож. сосредоточен.

К «Юности». Брат везет другого (некрасивого) в гости и любуется на него, как на молодую же[нщину].[8] В Хабаровке.

Глупое занятие музыкой и романами.[9]

Д[убков] лгун. Каждый должен говорить своим языком.

Троицын день вклеить и следующее лето.[10]

Кутеж — притворство.[11]

Comme il faut ногти.[12]

Ноги благородные и подлые.[12] Понимание известная степень тонкости иронии.[13]

К «Юности» деятельность.

Ложь в первую главу. В главу «Любовь» — почему Дмитрий любит Любовь Сергеевну, а не тетку».[14]

---

[1] Ср. в гл. XIV абзац: «Несмотря на всё мое...» и в гл. XVI абзац: «Может быть, я бросился бы...».

[2] Ср. гл XXVII и XLI.

[3] Ср. гл. XLII.

[4] Ср гл. XXVII.

[5] Ср гл. XLI. Полубояринов — Безобедов (во II редакции Полубезобедов).

[6] Татьяна Александровна Ергольская. Эта запись указывает, что некоторые черты тетки Нехлюдова Софьи Ивановны взяты у Т. А. Ергольской.

[7] Ср. гл. XXVI.

[8] Ср. гл. XXXVIII.

[9] Ср. гл. XXX.

[10] Это вошло во вторую половину «Юности».

[11] Ср. гл. XXXIX.

[12] Ср. гл. XXX .

[13] Ср. гл. XX X и пометы карандашом в тексте 9 главы II редакции.

[14] Ср. конец XXIV гл.

С 27 августа 1856 г. начинается переработка II редакции в III и переписка написанного при помощи писаря, приезд которого (вероятно из Тулы) отмечает дневник под 26 августа: «Приехал писарь». 27 августа записано: «Утро работал с писарем, и идет медленно, написано 5 глав в день».

На следующий день: «.... переправил 4 главы, $^1/_2$ переписал»; 29 августа: «Утром дописал главу понимания». Такой главы нет ни во II, ни в III редакциях, но в последней, в главе XXIX, есть абзац о понимании, вероятно составлявший одно время отдельную главу. 30 августа: «Написал начисто главу, продиктовал немного». 31 августа: «Написал начисто главу, продиктовал». 1 сентября: «Диктовал и написал [главу] «Юность» [в III редакции, XXXII глава] с удовольствием до слез». 2 сентября: «С утра диктовал». 3 сентября: «С утра после гадкого сна всё видел во сне «Юность»... продиктовал главу». 4 сентября: «Продиктовал 3 главы и последняя очень хороша». 5 сентября: «Ночью кошмар неспособности. Продиктовал 3 и поправил 3 главы». 6 сентября: «.... продиктовал и порядочно главу «Кутеж» [в III редакции XXXIX глава]. 7 сентября: «После ужина написал страничку 40-й главы». 11 сентября: «... вчера диктовал, нынче... додиктовал всё, но переделки много». 13 сентября: «Поправлял «Юность». 14, 15 сентября: «Вчера переправил слегка всю «Юность». Нынче начал окончательно отделывать». 21, 22 сентября: „..... переделывал «Юность». Порядочно, кажется. Получил от Дружинина письмо и отвечал ему. Посылаю «Юность»". 23 сентября: «Поправил «Юность». Вторая половина очень плоха». 24 сентября: «Кончил «Юность». Плохо. Послал ее». Эта же дата (24 сентября) стоит и в конце текста «Юности» в «Современнике».

Перед отправкой рукописи Толстой перечел критически еще раз свое произведение и записал свои любопытные оценки каждой главы. Записи эти сохранились и напечатаны выше, стр. 339 — 340.

Рукопись «Юности» (от нее сохранилось лишь двадцать две страницы, описанные ниже) [1] была послана Толстым А. В. Дружинину с письмом (до сих пор неопубликованным), в котором Толстой просил его высказать свое мнение об этом произведении, которым сам Толстой был не очень доволен.[2]

Описание рукописей, относящихся к «Юности».

В архиве Толстого, хранящемся в Публичной библиотеке СССР им. Ленина, имеются следующие, относящиеся к «Юности», рукописи.

1. Первый план романа «Четыре эпохи развития». Рукопись эта описана в I томе настоящего издания, в „Описании рукописей, относящихся к «Детству»", под № 1. Текст ее напечатан (впервые) в этом томе, стр. 241 — 242.

2. Второй план романа «Четыре эпохи развития». Рукопись эта описана в I томе настоящего издания, в „Описании рукописей, относящихся

[1] См. в „Описании рукописей, относящихся к «Юности»", № 11.

[2] Уже после отсылки рукописи — между 7 и 15 октября в записной книжке записано: «Чтение, воротничек прибавить к «Юности», ежели успею». Ср. помету к гл. VIII: «Запонка. Причастье».

к «Детству»", под № 2. Текст ее напечатан (впервые) в этом томе, стр. 243 — 245.

3. *(П. V, I, 6, B, 1)*. План «Юности». Автограф Толстого на листке в 4° белой бумаги (без вод. знака). Исписана одна страница, другая — чистая. Судя по почерку и цвету чернил, план писался в два присеста. Текст плана впервые напечатан П. И. Бирюковым в «Полном собрании сочинений Л. Толстого», изд. Сытина [1912 г.] (в 20-ти томах), т. I, стр. 409 — 410. В этом томе напечатан стр. 297.

4. *(П. V, I, 6, B, 2)*. Рукопись, нами называемая „Ередакция «Юности»". Автограф Толстого на 12 полулистах желтоватой, плохого качества, бумаги (без водяных знаков), согнутых пополам и дающих таким образом 48 страниц в 4°. Страницы не нумерованы, и согнутые полулисты не были первоначально сшиты. Позднее кем-то сшиты белыми нитками наружным швом. Тетрадь эта заключена в полоску белой бумаги, на которой рукой Толстого написано: «Черновая Юность». На верху первой страницы написано: «Юность. Глава I. Выставляютъ окна». Текст испещрен многочисленными поправками, вставками и пометками, сделанными частью одновременно с писанием текста, частью — позднее. Вторая половина 13-й страницы занята рисунком (пером) — 12 мужских голов. На последней странице последние строки текста (со слов: «разъѣзжаясь, онъ.....») написаны поперек строк, что позволяет думать, что дальше эта рукопись не писалась. Чернила рыжеватые. Текст этой рукописи не печатался ни полностью, ни частями. Нами печатается полностью (кроме зачеркнутого) в этом томе, стр. 298 — 320.

5. *(П. V, I, 6, B, 3 и 4)*. Рукопись, называемая нами „II редакция «Юности»". Автограф Толстого. Состав ее такой. Три полулиста белой бумаги (без вод. знака), согнутых пополам и дающих таким образом 12 страниц в 4°. Нумерованы 2-й и 3-й полулисты. Чернила черные. На верху первой страницы написано: «Юность. Глава 1-я ⟨Новый взглядъ⟩. Что я считаю началомъ юности». Текст сильно испещрен поправками и вставками и кончается местом, напечатанным выше в вариантах (вар. № 3). Поперек строк в двух местах карандашем — пометы.

С этими полулистами кем-то сшиты белыми нитками наружным швом согнутые пополам полулисты и отдельные четвертушки другого качества бумаги. Этих страниц 24. Нумерованы полулисты 1, 2, 3 и 4-й. В последнем (4-м) полулисте исписаны первые две страницы, на третьей лишь две строки, а четвертая — чистая. После 4-го полулиста имеется еще ненумерованный совершенно чистый полулист Между первым и вторым полулистом четвертушка (с цыфрой 2) и еще четвертушка (без цыфры) между третьим и четвертым полулистом. На верху первой страницы написано: ⟨«Юность. Часть первая. Глава 1-я. Выставляютъ окна.»⟩ Позднее (другими чернилами) из «1» сделано «3», но потом всё зачеркнуто и написано: «⟨Юность⟩. Глава 3-я. Моральный порывъ». Текст начинается: «В этот год, как я вступил в университет....» и кончается местом, напечатанным нами в вариантах (вар. № 2). Текст испещрен поправками и вставками (на указанных отдельных четвертушках). Чернила рыжеватые. Судя по бумаге, чернилам, почерку и тексту, эти страницы более раннего происхождения, чем описанные предыдущие и последующие

Описанные полулисты заключены в полоску белой бумаги, на которой рукой Толстого написано: «Переписанное начало Юности».

За описанными полулистами идут согнутые пополам полулисты белой бумаги (без вод. знака) такого же качества, как и описанные первые 12 страниц этой рукописи. Чернила их — черные, такие же, какими написаны первые 12 страниц. Полулистов 45 и одна четвертушка (всего 182 страницы). Первые два полулиста не нумерованы, третий имеет цыфру 7, четвертый — 8 и т. д. до полулиста с цыфрой 35, после которого идет полулист «35-а», затем 36, и т. д. до полулиста с цифрой 42, после которого идет «43а», затем 44 и т. д., кончая листом с цифрой 48. Четвертушка вложена в полулист 10. Полулисты не сшиты и заключены в полулист белой бумаги, на первой странице которого приклеен кусок бумаги, на котором писарской рукой написано: «№ IV-й Черновая Юность». На верху первой страницы написано: «Глава 4 Обѣдъ. Папа эту ⟨зиму⟩ весну рѣдко ⟨обѣдалъ⟩ бывалъ дома».

Текст испещрен поправками, вставками и пометами чернилами и карандашом. Последние (пометы карандашом) сделаны после того, как вся рукопись была написана. Тогда же карандашом Толстой разметил главы приблизительно так, как в окончательной редакции. Первоначально было одиннадцать глав. По этой рукописи (или копии?) два отрывка (у нас вар. №№ 2 и 7) впервые напечатаны П. И. Бирюковым в «Полном собрании сочинений Л. Толстого», изд. Сытина [1912 г.] (в 20-ти томах), т. I, стр. 406 — 409. Нами печатается четырнадцать отрывков (см. выше стр. 321 — 338).

6 *(П. V, 1, 6, B, 5)*. Автограф Толстого части XXXII главы «Юность» (со слов «яркое солнце...» в 4-м абзаце) и начало XXXIII «Соседи». [1] Рукопись размером в лист белой писчей бумаги (без вод. знака), 8 страниц. Чернила черные.

7 *(П. V, 1, 6, B, 6)*. Писарская копия с поправками Толстого карандашом части XXXIII главы, начинающаяся словами: «По этимъ даннымъ....». Рукопись в лист белой писчей бумаги (без вод. знака). Один лист (4 стр.). Исписаны первые три страницы. [2] Чернила черные.

8 *(П. V, 1, 6, B, 7)*. Перечень глав «Юности». Автограф Толстого на листе (4 стр.) белой писчей бумаги (без вод. знака), размером в лист. Исписана первая страница. Текст печатается в настоящем издании впервые. См. стр. 339 — 340.

9 *(П. V, 1, 6, B, 1)*. Два плана второй части «Юности». Автограф Толстого на согнутом пополам полулисте белой бумаги (без вод. знака). Один план, начинающийся словами: «1-ая вакація....», написан на первой странице, вторая — чистая, на третьей — другой план, начинающийся словами: «Общій планъ. Я дѣлаю....», на четвертой написано только: „«Юность» относительно 2-й половины“. Первый из этих планов напечатан впервые П. И. Бирюковым в «Полном собрании сочинений Л. Толстого», изд. Сы-

[1] См. дальше в „Сравнительном обзоре состава глав трех редакций «Юности»“ о XXXII — XXXIII главах.

[2] См. дальше в „Сравнительном обзоре состава глав трех редакций «Юности»“ о XXXIII главе.

тина [1912 г.] (в 20-ти томах), т. I, стр. 410. Нами печатаются оба плана. См. стр. 341 — 342.

10 *(П, V, I, 6, В, 8.)*. Рукопись начала „Второй половины «Юности»". Автограф Толстого на четырех перенумерованных отдельных листах (всего 8 страниц) почтовой бледно-голубоватой бумаги (без вод. знаков). Оставлены поля, частью исписанные. Исписаны первые семь страниц и половина восьмой. На верху первой страницы написано: «Юность. Вторая половина. Глава 1. ⟨Утѣшеніе⟩. Внутренняя работа». Печатается нами впервые. См. стр. 343 — 346.

11. Кроме описанных рукописей, профессором Петербургского университета И. А. Шляпкиным в 1908 г. в числе книг известного библиографа П. А. Ефремова была приобретена „небольшая тетрадка в четвертушку писчей бумаги, писанная писарской рукой на 22-х страницах. Шестнадцать листиков тетради сшиты шелковым полосатым черного и желтого цвета шнурком. Среди писарской руки есть вставки, сделанные другой рукой, напоминающей руку гр. Л. Н. Толстого, непонятных или пропущенных переписчиком слов (на стр. 8, 9, 15, 17, 19 и 20). На 2-й стр. в начале текста стоит заглавие «Глава LIV. Зухин и Семенов»".[1] Это, конечно, часть рукописи «Юности», писавшейся писарем под диктовку Толстого летом 1856 г. и посланной Толстым Дружинину. Здесь глава XLIV «Зухин и Семенов» ошибочно помечена Толстым «LIV», т. е. сделана та же ошибка, что и в перечне глав «Юности» (см. выше, стр. 340). Эта рукопись содержит текст XLIV главы полностью, т. е. и конец, не пропущенный в 1856 г. цензурой. Нами это место введено в текст окончательной редакции.[2]

Сравнительный обзор состава глав трех редакций «Юности».

Сохранившийся текст I редакции напечатан выше полностью. Не считая возможным в настоящем издании опубликовать полностью текст II редакции, мы печатаем из него лишь отрывки. Для указания их местонахождения в рукописи дается настоящий «обзор», позволяющий вместе с тем следить, как шла работа автора. За основание сравнения взята окончательная (III) редакция, с текстом которой и сравниваются тексты первых двух редакций.

Глава I. «Что я считаю началом юности». В I редакции этой главы нет.

Во II редакции этой главе соответствует: «Глава 1-я ⟨Новый взглядъ⟩. Что я считаю началомъ юности». Текст ее отличен от текста III редакции, и мы помещаем его в вариантах *(см. вариант № 1)*. В напечатанном в вариантах тексте после слов: «уму, чем чувству», идет зачеркнутое место, близкое к тексту, напечатанному в вариантах со слов: «Но пришло время....» до конца главы. Кроме этого, поперек начала главы имеется позднейшая помета карандашом: «Росписанъ Д[митрій?] аристократъ религіозенъ невиненъ. Подражаніе есть необходимая форма развитія».

[1] См. брошюру: Проф. И. А. Шляпкин. Памяти графа Л. Н. Толстого. Спб., 1911. Тип. Вольфа, стр. 30.

[2] См. здесь в „Истории писания «Юности»", в „Истории печатания «Юности»" и в „Сравнительном обзоре состава глав трех редакций «Юности»" о главе XLIV.

Глава II. «Весна». В I редакции этой главе соответствует первая половина главы I «Выставляютъ окна». Здесь (в I редакции) она гораздо кратче. Поперек текста пометы: «планы усовершенствованія и ранняго вставанья. Непоэтическая дѣйствительность, невыдержанность энтузіазма», т. е. намечено содержание конца II — начала III главы окончательной редакции и того, что было написано во II редакции.

Во II редакции этой главе соответствует первая часть главы, озаглавленной: «⟨Глава 3-я.[1] Выставляютъ окна.⟩ Глава 3-я. Моральный порывъ». Судя по бумаге, эта глава представляет собою в сущности вариант I главы I редакции. В части ее, соответствующей II главе III редакции, текст несколько пространнее последнего и кончается таким местом:

⟨Когда онъ смолкъ, и я вернулся къ сознанію дѣйствительности, не могу передать, до какой степени противна мнѣ стала эта дѣйствительность и болѣе всего моя собственная особа. Мои широкія руки, выпачканныя въ мѣлу и чернилахъ, панталоны, безпрестанно выбивавшіяся изъ-подъ запятнаннаго жилета, неуклюжія ноги на стоптанныхъ сапогахъ, торчавшіе, спутанные волосы и широкій носъ съ вѣчными каплями пота показались мнѣ отвратительны⟩.

Глава III. «Мечты». В I редакции этой главе соответствует вторая половина I главы, дающая в эмбриональном виде текст первых двух абзацев III главы окончательной редакции. Поперек текста помета: «Больше развить мечты о женщинѣ, какъ искалъ ее, сочинялъ ей письма, дѣлалъ знаки. *Начнется. О Сонечкѣ.* Я узналъ ужъ многое».

Во II редакции этой главе соответствует часть III главы, идущая непосредственно после приведенного сейчас места («Когда он смолк»). Здесь текст[2] (обозначим его *А*) близок к тексту окончательной редакции, кроме следующего:

1) После слов «читать какую нибудь хорошую книгу» (второй абзац) здесь есть еще зачеркнутое:

⟨Всѣ сочиненья Руссо (я недавно прочелъ Эмиля, и онъ произвелъ на меня весьма сильное впечатлѣніе)⟩.

2) После места, соответствующего месту окончательной редакции, оканчивающемуся словами: «ожидал где-нибудь встретить» (последний абзац) идет текст·

⟨Эта она была немножко Соничка, немножко Надежда, горничная Мими, немножко женщина, [которую] я видѣлъ гдѣ-то очень давно, и немножко матушка. Было ли это въ Петровскомъ, на постояломъ дворѣ давно, давно, когда насъ возили въ Хабаровку, въ Москвѣ, или наверху въ спальнѣ, я никакъ не могъ рѣшить этого. Я вѣрилъ въ ее существованіе до такой степени, что сочинялъ ей французскія письма, придумывалъ

[1] Первоначально было написано «1», но потом тогда же, когда написано: «Глава 3-я. Моральный порывъ», переделано на «3».

[2] Позднее он помечен: ⟨Глава 4-я. Мечты.⟩

длинные разговоры съ ней, тоже на французскомъ языкѣ и всматривался въ каждую женщину, надѣясь узнать ее. Впрочемъ эта мечта или воспоминаніе было такъ туманно, что каждая женщина, которую я видѣлъ, ежели она была черноволоса и хороша, мнѣ казалось она⟩.

Это место Толстой снова дважды пробовал развить, но всё написанное зачеркнул. Второй приступ читается так:

⟨Помню только, что вотъ что было когда то: Карлъ Иванычъ и мы всѣ — дѣти, сидѣли въ комнатѣ и рисовали. Вдругъ она вошла. Карлъ Иванычъ взялъ ее за руку и подвелъ къ стулу. Она сѣла. И мы всѣ по перемѣнкамъ подходили къ ея рукѣ. Меня она погладила по головѣ; потомъ мы всѣ взялись за руки, стали кругомъ и начали танцовать. Моя рука была въ ея рукѣ. Помню, какъ она прыгала очень высоко, и моя рука дергалась въ ея рукѣ, которую она при этомъ сжимала и отпускала. Помню, какъ Карлъ Иванычъ, никогда не смѣявшійся, при этомъ смѣялся ужасно. ⟨Больше я ничего не помню, и самъ сомнѣваюсь, была ли это дѣйствительность или часто повторенное воспоминаніе? Тѣмъ болѣе, что⟩ Всѣ домашніе, у которыхъ я уже гораздо послѣ спрашивалъ объ этомъ обстоятельствѣ, говорили, что никогда не помнятъ, что бы какая-нибудь дама приходила къ намъ и танцовала бы съ Карлъ Иванычемъ⟩.

Глава IV. «Наш семейный кружок». В I редакции этой главы нет. В свою очередь II глава «Хоръ» I редакции отсутствует в других редакциях.

Во II редакции соответствующий этой главе текст имеется в трех вариантах. Первый вариант дает текст, идущий непосредственно после текста *А* и первоначально озаглавленный (позднее зачеркнуто): ⟨«Глава 2-я. Постный обѣдъ.»⟩ Помещаем его в вариантах *(см. вариант № 2)*.[1] Этот вариант можно относить скорее к I редакции. Второй вариант дает «Глава II. Наше семейство», стоящая непосредственно после текста, помещенного в вариантах (см. вар. № 1). Начало этой главы близко к тексту первого абзаца IV главы окончательной редакции, затем идет место, соответствующее тексту окончательной редакции со слов: «Вообще это последнее время....» (в третьем абзаце) до конца абзаца. Во II редакции это место гораздо кратче. Затем идет текст, помещаемый в вариантах *(см. вариант № 3)*.

Поперек текста о людях comme il faut имеется помета: «C[omme] i[l] f[aut] уничтожить». Третий вариант дает «Глава 4-я. Обѣдъ», текст которой весьма близок к тексту IV главы окончательной редакции.

Глава V. «Правила». В I редакции этой главы нет.

Во II редакции этой главе соответствует ⟨«Глава 5-я. Исповѣдь. Обѣдъ и правила⟩. Къ исповѣди». Текст ее весьма близок к тексту окончательной редакции, кроме двух мест: 1) в абзаце окончательной редакции: «Я

[1] Часть этого варианта (первый абзац) впервые опубликована П. И. Бирюковым в «Полн. собр. соч. Л. Толстого», изд. Сытина 1913, т. I, стр. 406 — 407.

спрятал...» между словами: «свечами» и «Папа в одно время....» во II редакции имеется абзац:

Отецъ Макарій, сѣдой, высокой монахъ, съ прелестнымъ, строгимъ старческимъ лицомъ, сидѣлъ на диванѣ рядомъ съ Ольгой Петровной и пилъ чай. (Я до сихъ поръ не знаю, кто такая была Ольга Петровна, знаю только, что она была московская барыня и появлялась всегда у насъ въ домѣ, когда нужно было дѣлать какія нибудь покупки или имѣть дѣла съ духовенствомъ. Въ томъ и другомъ она слыла великой мастерицой и гордилась этимъ.) Любочка, Катенька и Мими, не вступая въ разговоръ о Преосвѣщенномъ, который вела самодовольная Ольга Петровна, съ вытянутыми лицами сидѣли тутъ-же.

2) Вместо последних двух абзацев окончательной редакции, во II редакции имеется текст, помещаемый нами в вариантах *(см. вариант № 4)*. Кроме этого, поперек начала главы помета: «Когда умнѣй, отчего теперь не пишу правилъ».

Глава VI. «Исповедь». В I редакции этой главе соответствует начало главы 2-й. Здесь текст гораздо кратче.

Во II редакции этой главе соответствует «Глава 6. Исповѣдь». Текст ее весьма близок к тексту VI главы окончательной редакции. В самом конце текста поперек помета карандашом: «Милостыня».

Глава VII. «Поездка в монастырь». В I редакции этой главе соответствует средняя часть 2-й главы. Здесь текст гораздо кратче.

Во II редакции этой главе соответствует «Глава ⟨7⟩ 6. Поѣздка въ монастырь». Текст ее близок к тексту окончательной редакции, кроме следующего: после слов: „«Покорно вас благодарю», сказал я“ во II редакции идет:

Монахъ пристально посмотрѣлъ на меня, встряхнулъ развесанными волосами, показалъ мнѣ языкъ и запрыгалъ дальше.—

Часто я послѣ думалъ и теперь думаю: для чего этотъ монахъ показалъ мнѣ языкъ, и одно объясненіе, которое я могу придумать, — то, что у меня, вѣрно, была очень глупая рожа, и что онъ во взглядѣ моемъ прочелъ что-нибудь слишкомъ молодое и смѣшное вмѣстѣ.

Весьма удивленный такимъ страннымъ поступкомъ монаха и особенно пораженный видомъ его пушистыхъ, какъ пѣна, волосъ и вычищенныхъ сапоговъ, я вдругъ понялъ, что предпріятіе мое слишкомъ смѣло.

Весьма вероятно, что это место было и в рукописи, по которой набиралась «Юность», но было вычеркнуто духовным цензором Иоанном. На это, может быть, намекает многоточие (четыре точки), стоящее в печатном тексте после слов: «сказал я».[1]

Глава VIII. «Вторая исповедь». В I редакции этой главе соответствует конец 2-й главы, дающий текст довольно отличный от текста окончатель-

[1] См. здесь в „Истории печатания «Юности»“.

ной редакции. В начале его поперек строк пометы: «Я думаю, что онъ долго говоритъ, что я самый хорошій мальчикъ на свѣтѣ», «Усовершенствованіе» и «Запонка. Причастіе».

Во II редакции этой главе соответствует «Глава 7. Еще исповѣдь». Текст ее близок к тексту окончательной редакции, кроме конца главы: вместо текста окончательной редакции со слов: «Так дымом разлетелось это чувство...» до конца главы, во II редакции имеется:

Такъ дымомъ разлетѣлось это чувство, и ужъ не помню, какимъ моральнымъ путемъ дошелъ я до этаго, но къ стыду моему это дѣйствительно было такъ. Когда я сталъ одѣваться въ церковь, чтобъ со всѣми вмѣстѣ идти причащаться, и оказалось, что мои панталоны съ французскими низками [?], которыя, я находилъ, очень шли ко мнѣ, не были перешиты, и ихъ нельзя было надѣть, я нагрѣшилъ пропасть: ⟨назвалъ Василья дуракомъ, швырнулъ другія черныя панталоны къ ногамъ Николая и вовсе не думалъ раскаиваться въ этомъ⟩, мысленно ругалъ портнаго, ворчалъ на Василія, говорилъ, что это все дѣлаютъ нарочно, и что меня такъ разстроили, что лучше не ходить въ Церковь. И, надѣвъ другое платье, я пошелъ въ церковь въ какомъ то странномъ положеніи торопливости мыслей и съ совершеннымъ недовѣріемъ къ своимъ прекраснымъ наклонностямъ.

Глава IX. «Как я готовлюсь к экзамену». В I редакции этой главе соответствует один первый абзац 3-й главы «Экзамены».

Во II редакции этой главе соответствует: «Глава 8.[1] Экзамены. Какъ я готовлюсь къ экзамену». Текст ее весьма близок к тексту окончательной редакции. Из мелких отличий отметим, что «Соловья» наигрывает не Гаша, а «Анна Терентьевна, наша экономка».

Глава X. «Экзамен истории». В I редакции этой главе соответствует часть 3-й главы. Текст этого места отличен от текста окончательной редакции.

Во II редакции этой главе соответствует «Глава ⟨10⟩ 9. Экзаменъ исторіи». Текст ее весьма близок к тексту окончательной редакции. Поперек текста помета: «Подлыя и благородныя ноги».

Глава XI. «Экзамен математики». В I редакции этой главе соответствует часть 3-й главы, текст которой кратче текста окончательной редакции.

Во II редакции этой главе соответствует «Глава 11. Экзаменъ математики». Текст ее весьма близок к тексту окончательной редакции.

Глава XII. «Латинский экзамен». В I редакции этой главе соответствует конец 3-й главы, по тексту довольно близкий к тексту окончательной редакции. Поперек текста, предшествующего переводу Горация, помета: «Притворя[ется]», намечающая «тему» профессора.

Во II редакции этой главе соответствует «Глава 12. Экзаменъ латыни». Текст ее весьма близок к тексту окончательной редакции. Фамилия профессора здесь «Нейзер», переделанная на «Нецер».

---

[1] Первоначально было «3».

Глава XIII. «Я большой». В I редакции только эпизоду курения трубки соответствует начало 6-й главы, названной здесь «Трубка. ⟨Ложь⟩. Я хочу убѣдиться въ томъ, что я большой». Поперек начала главы помета: «Въ нетрезвомъ состоянiи духа я больше люблю Дубкова чѣм Дмитрiя. До обѣда Дубковъ и Нехлюдовъ ушли куда-то». Поперек конца главы помета: «Куренiе послѣ».

Во II редакции этой главе соответствует «Глава 13. Я большой». Текст ее весьма близок к тексту окончательной редакции.

Глава XIV. «Чем занимались Володя с Дубковым». В I редакции этой главы нет. Во II редакции этой главе соответствует «Глава 14. Дубковъ», первоначально имевшая заглавие: «Глава 4. Я большой». Текст ее близок к тексту окончательной редакции с незначительными отличиями. Поперек первого абзаца помета карандашом: «Дружба сильнѣе».

Глава XV. «Меня поздравляют». В I редакции этой главы нет, но первый абзац окончательной редакции имеет сходство с концом 6-й главы.

Во II редакции этой главе соответствует «Глава 15. Обѣдъ». Текст ее близок к тексту окончательной редакции, но кратче последнего. Поперек текста карандашом помета: «Немного пьемъ».

Глава XVI. « Ссора». В I редакции этой главы нет.

Во II редакции этой главе соответствует «Глава 16. Ссора», имеющая перед абзацем: «Что это с нашимъ...» помету карандашом: ⟨«Глава 17. Другая ссора.»⟩

Глава XVII. «Я собираюсь делать визиты». В I редакции этой главы нет.

Во II редакции этой главе соответствует «Глава 18. И. Грапъ», первоначально носившая заглавие: «Глава 5. Визиты».[1] Текст ее сначала соответствует первым трем абзацам окончательной редакции, после чего идет место, соответствующее последнему абзацу окончательной редакции.

Глава XVIII. «Валахины». В I редакции этой главы нет. Во II редакции этой главе соответствует «[Глава] 19. Валахины». Текст ее близок к тексту окончательной редакции, но несколько кратче последнего. Про Сонечку здесь сказано, что за границей она «была больна оспой, которая будто испортила ее хорошенькое личико». В начале главы поперек текста помета: «боюсь важная».

Глава XIX. «Корнаковы». В I редакции этой главы нет.

Во II редакции этой главе соответствует «[Глава] 20. Корнаковы». Текст ее весьма близок к тексту окончательной редакции.

Глава XX. «Ивины». В I редакции этой главы нет.

Во II редакции этой главе соответствует: «[Глава] 21. Ивинъ». Текст ее весьма близок к тексту окончательной редакции.

Глава XXI. «Князь Иван Иванович». В I редакции этой главы нет. Во II редакции этой главе соответствует «[Глава] 22. Князь Иванъ Иванычъ», имеющая перед абзацем раннюю помету, позднее зачеркнутую карандашом: «Глава 6. Семейство Нехлюдовыхъ». Текст ее весьма близок к тексту окончательной редакции.

---

[1] Слово «Визиты» написано по раньше написанному: «Въ гостяхъ»

Глава XXII. «Задушевный разговор с моим другом». В I редакции этой главы нет.

Во II редакции этой главе соответствует: «[Глава] 23. Кунцево». Текст ее значительно кратче текста окончательной редакции. К словам: «Иванъ Яковлевичъ» сделана сноска:

Иванъ Яковлевичъ былъ извѣстный сумашедшій, содержавшійся весьма долго въ Москвѣ и пользовавшійся между московскими барынями репутаціей предсказателя.

Речь идет об юродивом И. Я. Корейше.

Глава XXIII. «Нехлюдовы». В I редакции после 3-й главы идет «5-я Семейство Нехлюдовыхъ». Очевидно, Толстой хотел из 3-й главы сделать две, но не отметил этого. Третий абзац XXIII главы окончательной редакции в кратком виде имеется в 5 главе I редакции, есть в ней и некоторые подробности, вошедшие в последующие редакции, но в общем глава подверглась существенной переделке. Поперек текста пометы: «Сцена картины природы послѣ чая»; «Стремленіе къ оригинальности и ридикюльный разговоръ, служащій выраженіемъ ее. Разговоръ Н-ыхъ при мнѣ о постороннихъ»; «Мечты о томъ кому на чьей сестрѣ жениться и самопожертвованіе —, и разговоръ поэтическій. Исполненіе обещанія откровенности».

Во II редакции этой главе соответствует «Глава 24. Нехлюдовы». Текст ее близок к тексту окончательной редакции, кроме первого абзаца, который здесь (во II редакции) читается:

Изъ лицъ всего этаго общества поразило меня во время этой минутной остановки преимущественно Любовь Сергѣвна, которая особенно внимательно посмотрѣла и даже съ верхней ступеньки еще разъ оглянулась на меня. Болѣе уродливаго существа, чѣмъ эта Любовь Сергѣвна, я въ жизни своей никогда не видывалъ. — Не знаю, почему Володя называлъ ее рыженькой. Во первыхъ, она была ростомъ большая и старая, во вторыхъ, волосъ на головѣ у нея было мало, а тѣ, которые оставались, были черные съ просѣдью и помадой. Прическа у нея была какая то странная, съ проборомъ сбоку (одна изъ тѣхъ причесокъ, которыя придумываютъ себѣ плѣшивыя женщины), но несмотря на это во многихъ мѣстахъ видна была голая помаженная голова. Черные маленькіе глаза ея скрывались между опухшими нижними и верхними веками; носъ былъ до того сплюснутъ и широкъ, что, казалось, кость была вынута изъ него, а одна кожа расшита по серединѣ лица; губы толстыя, особенно верхняя, и всегда влажныя. — Правое плечо было выше лѣваго; руки большія, жосткія и красныя. — Дѣйствительно, уродливѣе этаго существа, котораго описаніе вѣрно покажется преувеличеннымъ, трудно было что нибудь себѣ представить.

Первый абзац XXIV главы окончательной редакции здесь (во II редакции) — последний 24-й главы.

В начале главы помета: «Дмитрій смотритъ съ вопросомъ: Каково? Мнѣ очень хорошо».

Глава XXIV. «Любовь». В I редакции этой главы нет.

Во II редакции этой главе соответствует «Глава 25. ⟨Любовь⟩. Отступленіе». Текст ее близок к тексту окончательной редакции, но во II редакции нет абзаца окончательной редакции: «Вы одни живете...», нет также и последнего абзаца окончательной редакции, вместо которого зачеркнутое:

⟨Любовь же Марьи Ивановны къ своимъ дѣтямъ, кажется, больше всего была любовь красивая. Помню, она любила ущипнуть Вареньку за щеку, сказать въ разговорѣ: votre vieille mère [1] ⟨и называя дѣтей mon enfant.⟩[2] Любовь самоотверженія читатель вѣрно часто встрѣчалъ въ жизни и скоро рѣзкой примѣръ таковой встрѣтитъ въ моемъ разсказѣ⟩. —

Глава XXV. «Я ознакомливаюсь». В 5-й главе I редакции имеется краткий очерк второй половины этой главы (с абзаца: «Этот кружок...»)

Во II редакции этой главе соответствует: «[Глава] 26. Настоящіе отношенія». Начало ее отличается от текста окончательной редакции. Помещаем его в вариантах *(см. вариант № 5)*. Затем во II редакции идет текст, весьма близкий к тексту абзаца окончательной редакции: «Как часто бывает....» кончая словами: «.... натруженного места», после чего во II редакции идет:

Это натруженное мѣсто въ этомъ семействѣ были отношенія сестры съ братомъ, который чувствовалъ, что мать всегда предпочитала ему сестру. Но выйдя наружу, эти отношенія были все-таки благородны, откровенны и дружественны.

Затем во II редакции идет: «Вообще этотъ кружокъ...», т е. текст, близкий к тексту абзаца окончательной редакции: «Этот кружок....», после чего во II редакции идет:

За чаемъ, который, разумѣется, разливала Софья Ивановна, когда мы всѣ сѣли вокругъ стола, и Любовь Сергѣвна сидѣла подлѣ меня, я поговорилъ и съ ней, но несмотря на все мое желаніе убѣдиться, согласно съ мнѣніемъ моего друга, въ рѣдкомъ совершенствѣ ея души, я ничего не слышалъ отъ нея, кромѣ самыхъ пошлыхъ фразъ о томъ, въ какомъ я факультетѣ, какъ пріятно жить на дачѣ и лѣтомъ и т. п. Но за то ротъ ея, полный слюнями, когда она говорила, и выраженье ея лица были самыя непріятныя. Какъ я уже говорилъ, въ ту пору моей юности я ничего столько не боялся и не презиралъ, какъ пошлости, то Любовь Сергѣвна мнѣ не понравилась. Разговоръ мой въ это время блестѣлъ оригинальностью, весьма милой, какъ мнѣ казалось, и очень часто, долженъ признаться, самой нелѣпой и безпричинной ложью. —

На этом кончается глава во II редакции.

---

[1] [ваша старая мать]
[2] [мое дитя.]

Глава XXVI. «Я показываюсь с самой выгодной стороны». В I редакции этой главы нет, но содержание первых двух абзацев окончательной редакции намечено во второй половине 5-й главы I редакции.

Во II редакции этой главе соответствует: «[Глава] 27. Ложь», с пометой карандашом поперек текста в конце главы: «Стремленіе къ оригинальности, никогда не говорить того, что могли сказать другіе», и «[Глава] 8. Прогулка». Текст близок к тексту окончательной редакции, но значительно кратче. Дача кн. Ив. Ив. — в Кузьминках.

Глава XXVII. «Дмитрий». В I редакции этой главы нет.

Во II редакции этой главе соответствует: «[Глава] 29. Дмитрій». Текст ее только намечает содержание XXVII главы окончательной редакции.

Глава XXVIII. В деревне. В I редакции этой главы нет.

Во II редакции этой главе соответствует: «[Глава] 30. Пріѣздъ въ Петровское», первоначально называвшаяся: «Глава 7. Въ деревнѣ». Текст ее значительно кратче текста окончательной редакции, второй абзац которой только намечен. Фамилия Епифановых здесь — «⟨Макарины⟩ Шольцъ». Поперек текста помета карандашом: «Я понимаю какъ славно быть съ отцомъ какъ съ товарищемъ».

Глава XXIX. «Отношения между нами и девочками». В I редакции этой главы нет.

Во II редакции этой главе соответствует: «Глава 31. Отношенія [?] сестры». Текст ее значительно кратче текста окончательной редакции, нет, например, абзаца о пониманіи: «Отдельно от общих....». Девочки у Володи спрашивают, хороши ли романы Жорж-Занд.

Глава XXX. «Мои занятия». В I редакции этой главы нет.

Во II редакции этой главе соответствует: [Глава] 32. «Музыка и чтенье». Текст ее гораздо кратче текста окончательной редакции и кончается на словах: «и наконецъ главное быть comme il faut» (в последнем абзаце). Кроме названных (в третьем абзаце) французских писателей, во II редакции упомянут еще Victor Hugo.

Глава XXXI. «Comme il faut». В I редакции этой главы нет.

Во II редакции этой главе соответствует «[Глава] 33. «Comme il faut». Помещаем текст ее в вариантах *(см. вариант № 6)*.

Глава XXXII. «Юность». В I редакции этой главы нет.

Во II редакции этой главе соответствует: «[Глава] 34. Юность». Текст ее гораздо кратче текста окончательной редакции. Поперек конца главы помета чернилами: «Сто рублей». Кроме этого, на отдельных листах (см. „Описание рукописей, относящихся к «Юности»“, рук. № 6) имеется текст части этой главы, а именно: начиная со слов: «яркое солнце кладет на всё...» (в четвертом абзаце окончательной редакции) и кончая словами: «рысью бежал на галерею» (в абзаце: «При каждом звуке босых шагов»). Текст этот весьма близок к тексту окончательной редакции, после чего идет зачеркнутое:

⟨И вотъ я одинъ съ луной. Молчаливо, таинственно величавая природа, свѣтлый притягивающій къ себѣ прозрачный кругъ мѣсяца, который, остановившись зачѣмъ то на одномъ случайномъ неопредѣленномъ мѣстѣ блѣдно голубаго неба,

ѣмѣстѣ съ тѣмъ какъ будто стоитъ вездѣ и наполняетъ собой все необъятное пространство, и я, ничтожный червякъ, со всѣми мелкими бѣдными людскими страстями и со всей могучей необъятной силой мышленья и воображенія и любви. Какая-то непонятная, но истинная, сильная связь тѣсно соединяетъ, и я чувствую, что мы всѣ трое одно и тоже.—〉

Затем идет текст, весьма близкий к тексту окончательной редакции со слов: «И вот тогда-то....» (в абзаце: «При каждом звуке босых шагов...») до конца главы.

Глава XXXIII. «Соседи». В I редакции этой главы нет.

Во II редакции после 34-й главы идет глава, первоначально называвшаяся: 〈«Глава 8-я. Женитьба отца»〉, дающая текст, весьма отличный от текста XXXIII и XXXIV глав окончательной редакции. Она вся зачеркнута крест-на-крест. Помещаем текст ее в вариантах *(см. вариант № 7)*.[1] После этого текста идет второй вариант этой главы, озаглавленной позднее «[Глава] 35. Сосѣдки враги». Текст ее соответствует тексту XXXIII главы и второму, третьему и четвертому абзацам XXXIV главы окончательной редакции. И этот текст отличен от текста окончательной редакции. Помещаем его в части, соответствующей тексту XXXIII главы окончательной редакции в вариантах *(см. вариант № 8)*. Поперек начала этой главы карандашом помета: «На дочери развратной веселой добродушной старушки у нее состояніе 80 душъ».

На отдельных листах, о которых сказано выше (см. о главе XXXII), имеется часть текста этой главы, дающая ее третий вариант. Глава, озаглавленная здесь: «Глава . Сосѣди»,[2] стоит непосредственно после главы XXXII. Начало ее весьма близко к тексту первых двух абзацев XXXIII главы окончательной редакции. Затем идет текст, помещаемый нами в вариантах *(см. вариант № 9)*. На этом рукопись обрывается. Наконец, в писарской копии (в «Описании рукописей» рук. № 7) имеется текст, списанный с рукописи II редакции и дающий текст вар. № 9.

Глава XXXIV. «Женитьба отца». В I редакции этой главы нет.

Во II редакции после текста, помещенного в вариантах (см. вар. № 8) идет текст, близкий ко второму, третьему и четвертому абзацам XXXIV главы окончательной редакции, после чего идет «[Глава] 36. 〈Отецъ женится.〉». Текст ее с начала близок к тексту окончательной редакции, начиная с абзаца: «Мне известно только то....» и кончая абзацем: «Любочка рассказывала мне...». Затем во II редакции идет текст, соответствующий четвертому, третьему и второму от конца абзацам XXXIV главы окончательной редакции, но довольно отличный от последнего. Помещаем его в вариантах *(см. вариант № 10)*. Последний абзац XXXIV главы окончательной редакции составляет первый 37-й главы II редакции.

Глава XXXV. «Как мы приняли это известие». В I редакции этой главы нет.

Во II редакции этой главе соответствует «[Глава] 37. Какъ мы это при-

[1] Этот вариант по рукописи Толстого напечатан П. И. Бирюковым в «Полном собрании сочинений Толстого», изд. Сытина, 1913 г. т. I, стр. 407 — 409.

[2] После слова «Глава» оставлено незаполненное место для цыфры.

няли». Текст ее довольно близок к тексту окончательной редакции, но абзаца: «На другой день....» нет, вместо чего в соответствующем месте рукописи имеется помета: «Погода вѣтренная — крапива». Поперек текста конца главы помета: «Онъ былъ въ 12 году».

Глава XXXVI. «Университет». В I редакции этой главы нет.

Во II редакции этой главе соответствует глава, первоначально называвшаяся: «Глава 9. ⟨В Москвѣ⟩», затем переименованная: «38. Въ Университетѣ» и, наконец, названная: «36. Университетъ». Текст ее весьма близок к тексту окончательной редакции, но только, вместо последнего абзаца окончательной редакции, здесь имеется текст, помещаемый нами в вариантах *(см. вариант № 11)*. Поперек текста об Оперове карандашная помета: «Ну ка тряпка».

Глава XXXVII. «Сердечные дела». В I редакции этой главы нет.

Во II редакции этой главе соответствует «[Глава] 37. Сердечныя дѣла». Здесь глава начинается абзацем, отсутствующим в окончательной редакции. Помещаем его в вариантах *(см. вариант № 12)*. Затем идет текст, весьма близкий к тексту окончательной редакции.

Глава XXXVIII. «Свет». В I редакции этой главы нет.

Во II редакции этой главе соответствует «[Глава] 38. Свѣтъ». Текст ее близок к тексту окончательной редакции. В конце текста главы помета «Кутежная, какъ бы можно думать, тоже не удалась, притворялись; деньги считал шампанскимъ», т. е. намечено содержание главы XXXIX «Кутеж».

Глава XXXIX. «Кутеж». Ни в I, ни во II редакции этой главы нет.

Глава XL. «Дружба с Нехлюдовым». Ни в I, ни во II редакции этой главы нет.

Глава XLI. «Дружба с Нехлюдовым». В I редакции этой главы нет

Во II редакции этой главе соответствуют: «[Глава] 43. Откровенность», «44. Откровенность» и «45. Дружба». Глава 43-я начинается так:

Отношенія наши съ Дмитріемъ во многомъ измѣнились въ эту зиму. Я уже начиналъ очень и очень обсуживать его. Потомъ правило наше полной откровенности уже давно не соблюдалось.—Мы, хотя и не согласились въ томъ, что оно невозможно, инстинктивно чувствовали это и особенно послѣ однаго *откровеннаго* разговора уже никогда не упоминали объ этомъ правилѣ. — ⟨Разъ, разговаривая о будущихъ планахъ Дмитрія въ хозяйствѣ, онъ сказалъ мнѣ, что мать его дурно управляетъ имѣньемъ, но что онъ себѣ за правило взялъ никогда ей не говорить объ этомъ и ничего не совѣтовать, — «потому что имѣнье это отцовское, слѣдовательно, наше», сказалъ онъ, «неловко, понимаешь, хотя мнѣ доходы все равно, но пріятно, чтобы шло такъ, какъ слѣдуетъ.» —⟩

Затем идет текст, близкий к тексту XLI главы окончательной редакции, начиная со второго абзаца и кончая словами: «то, что я сейчас сказал ему» (в последнем абзаце), после чего идет текст, помещаемый нами в вариантах *(см. вариант. № 13)*. Глава 44-я начинается с абзаца: «Зачѣмъ ты злишься?» Студент здесь носит фамилию Полубезобедова. Поперек текста помета: «Напомнилъ что».

Глава XLII. «Мачиха». В I редакции этой главы нет.

Во II редакции этой главе соответствует глава, первоначально называвшаяся: «Глава ⟨10⟩. Мачиха», потом названная: «Глава 46. Мачиха». Текст ее в общем близок к тексту окончательной редакции, но распределение частей иное; многое неразвито, но есть и подробности, опущенные в окончательной редакции. Поперек строк о позднейших отношениях папа к мачехе помета: «Мнѣ простота эта казалась мила тогда». Дальше помета: «Она на видъ была порядочна какъ ее пристр[оили?], а какъ я ее зналъ». Поперек строк о ссоре Мими с мачехой помета: «Л[юбочка] понимаетъ про Мими и заступается за нее». Все три пометы сделаны карандашом.

Глава XLIII. «Новые товарищи». В I редакции этой главы нет.

Во II редакции этой главе соответствует глава, первоначально называвшаяся: «Глава ⟨11⟩. Я проваливаюсь», потом: «Глава 47. Новые товарищи». Текст ее в общем близок к тексту окончательной редакции, но гораздо кратче, лишь намечая то, что дает текст окончательной редакции. Студент Зухин здесь назван Мухиным.

Глава XLIV. «Зухин и Семенов». В I редакции этой главы нет.

Лишь отдельные места из первого абзаца этой главы в окончательной редакции имеются в «Главе 48. Русскій студентъ» II редакции, кончающейся местом, помещаемым нами в вариантах *(см. вариант № 14)*.

В рукописи, описанной И. А. Шляпкиным, имеется окончание главы, не пропущенное цензурой. Оно начинается с абзаца: «Зухинъ вышелъ и скоро вернулся».[1] Мы его вводим в основной текст по тексту брошюры Шляпкина. См. ,,Описание рукописей, относящихся к «Юности»“ (рук. № 11), и ,,История печатания «Юности»“.

Глава XLV. «Я проваливаюсь». В I редакции этой главы нет.

Во II редакции этой главе соответствует «[Глава] 49. Я проваливаюсь». Текст ее довольно близок к тексту окончательной редакции, но кратче. После слов: «нашла минута раскаяния и морального порыва» (в предпоследнем абзаце окончательной редакции) во II редакции идет «[Глава] 50. Правила либеральныя».[2] Текст ее такой:

Оправившись, я рѣшился писать правила исправленій и Франклиновскій журналъ. Въ первой графѣ я поставилъ: тщеславіе. Первымъ размышленіемъ я написалъ: Тщеславіе есть главный и вреднѣйшій людской порокъ.— Первымъ правиломъ я написалъ: Избѣгай всѣхъ отношеній съ людьми, которые выше тебя по положенію — въ нихъ больше пороковъ. Какъ исполнялъ я эти правила, долго ли продолжался этотъ моральный порывъ, въ чемъ онъ заключался, и какія новыя начала положилъ онъ моему моральному развитію, я разскажу въ слѣдующей, болѣе счастливой половинѣ юности.

На этом кончается рукопись II редакции.

---

[1] В тексте «Современника» абзац: «Семенов перед самыми» кончается тремя точками.

[2] Ср. запись в дневнике от 8 августа 1857 года: «Главный мой камень преткновения есть тщеславие либерализма».

История печатания «Юности» в «Современнике» 1857 г.

Большой успех среди читателей «Детства», а потом «Отрочества» естественно заставлял редакторов «Современника» с нетерпением ожидать присылки «Юности». Еще 15 июня 1855 г. Некрасов, посылая из Москвы Толстому гонорар за «Севастополь в декабре», напечатанный в июньской книжке «Современника» за 1855 г., писал: «Для «Юности» также уже определено место в 9 № «Современника». Уведомьте меня или Панаева, можете ли доставить ее к этому времени, т. е. к половине августа».[1]

В ответ на это Толстой несколько опрометчиво обещал (в письме к Панаеву от 8 августа 1855 г.) прислать «Юность» «не ранее, как в половине сентября»,[2] на что Панаев 28 августа пишет: «Буду ждать с нетерпением к $^1/_2$ Сентября Вашей «Юности».[3] Через несколько дней (2 сентября) об этом же писал Толстому возвратившийся в Петербург Некрасов: «Панаев передал мне Ваше письмо, где вы обещаете нам скоро прислать «Юность». Пожалуйста, присылайте. Независимо от журнала я лично интересуюсь продолжением Вашего первого труда. Мы приготовим для «Юности» место в X или XI кн., смотря по времени, как она получится».[4] Но ожидания эти были преждевременны. «Юность» не была прислана ни в сентябре, ни в октябре, не привез ее и сам Толстой, приехавший в Петербург из Севастополя в ноябре 1855 г.

Просьбы о присылке «Юности» снова начинаются в июле 1856 г. 22-го Некрасов пишет. «Дайте мне знать, в какой книжке можно рассчитывать на «Юность».[5] 7 августа Толстому пишет Колбасин: „Некрасов уезжает 11-го числа и очень обрадовался известию Вашему о «Юности"".[6]

По отъезде Некрасова за границу заботы о журнале перешли к Панаеву, который 16 августа писал Толстому: «Почтеннейший Лев Николаевич, Некрасов уехал за границу 11 августа и передал мне, между прочим, Ваше обещание доставить в «Современник» в непродолжительном времени первую половину вашей «Юности». По составленной нами программе для будущих книжек журнала «Юность» назначается для Ноября, и я теперь прибегаю к Вам с покорнейшею просьбой уведомить меня, когда Вы можете выслать Вашу рукопись? Это необходимо знать предварительно для распоряжений по журналу. Я пристаю к Вам теперь смело, потому что дело «Современника» столь же близко Вам, как и нам, и от состава осенних месяцев зависит подписка... Бога ради, Лев Николаевич, не забывайте и не оставляйте «Современника» (объявление о Вашем постоянном участии уже печатается). Вы знаете, что Ваша повесть необходима к осени. Она должна служить лучшим украшением журнала, я в

---

[1] Альманах «Круг» Кн. шестая. М. 1927, стр. 197.

[2] «Красная новь», 1928, кн. 9, стр. 222.

[3] Там же стр. 224.

[4] Литературные приложения к «Ниве», 1898 г. 2, стр. 344.

[5] Альманах «Круг». Кн. шестая, М. 1927, стр. 199.

[6] «Известие» это было вероятно в одном из не дошедших до нас писем Толстого к Некрасову или к Колбасину. Подлинник письма (не опубликованного) Колбасина от 7 августа 1856 г. хранится в архиве Толстого. Оно получено Толстым 16 августа (запись в дневнике).

этом уверен и говорю Вам это без лести и без всяких комплиментов. В вас теперь — сила и власть. Поддерживайте же этою силою «Современник».... Жду с нетерпением Вашего ответа и возлагаю надежды на Вас. Без Вашей «Юности» просто гибель.

Преданный Вам И. Панаев».

[сбоку поперек страницы:] «Если бы напечатать «Юность» в X (Октябр.) книжку, это было бы еще лучше. 10 книжка — очень важная. Не приготовите ли вы «Юность» к X? Простите, что мучу Вас этими вопросами. Я в ужасном беспокойстве».[1]

На эти просьбы Толстой ответил письмом, не дошедшим до Панаева.

Окончив «Юность» 24 сентября, Толстой, как мы уже говорили, послал ее на отзыв Дружинину, о чем писал Панаеву 6 октября: «Первая часть «Юности» объемом такая же или побольше, чем Детство, я уже недели две, как совершенно кончил, но, никому не читав из нее ни строчки, я нахожусь в сильном сомнении, стоит ли она того или нет, чтобы печатать ее, и послал ее одному господину, на суд которого я положился; ежели получу удовлетворительный ответ, то тотчас же пришлю ее вам, в противном случае тоже уведомлю вас очень скоро».[2]

В ответ на это Панаев писал Толстому 13 октября: «Я получил, почтеннейший Лев Николаевич, Ваше письмо от 6 Октября вчера, другого никакого я не получал от Вас... Радуюсь окончанию I части «Юности», но я откровенно скажу Вам, что меня удивляет Ваше недоверие к самому себе, простирающееся даже до того, что Вы не знаете, стоит ли ее печатать. Я не имею понятия о Вашей «Юности», но убежден (и нет сомнения, что я прав), что печатать ее не только можно, но должно. Такие таланты, как Ваш, не обманывают. Совет, конечно, дело хорошее, особенно с человеком в литературе смыслящим, но и Пушкин был прав, когда говорил:

«Всех строже оценить умеешь ты свой труд...
Ты им доволен ли, взыскательный художник?»
и проч.

Я убежден, что Вы для себя — судья самый строгий... «Юность» будет напечатана (я не сомневаюсь в этом и не боюсь Вашего сомнения) в Январской книжке (без нее она выйти не может)... Но умоляю Вас прислать мне «Юность» тотчас, как Ваши сомнения рассеются — не позже 15 ноября. Я материал для 1 № запасаю заранее и хочется выдать отличный».[3]

По прочтении в рукописи «Юности» Дружинин написал 6 октября 1856 г. Толстому большое письмо, содержащее интересный отзыв критика об этом произведении.

«Порадовали вы меня, дорогой и милейший баши-бузук, писал Дружинин, письмом вашим и доверием к моему вкусу, и «Юностью», которую я сейчас кончил. Я вас очень люблю и вижу перед вами славную дорогу, на которой однако будут и Кирюши, и напрасные труды, и огорчение и борьба с литературным безобразием, весь аккомпанимент самой

[1] «Красная новь» 1928, кн. 9 стр. 225 — 226.

[2] См. «Толстой. Памятники творчества и жизни». 2. Ред. В. И. Срезневского, изд. «Задруга». М. 1920, стр. 19.

[3] «Красная новь» 1928, кн. 9, стр 228.

лучшей деятельности. Но участь ваша решена, литератором вы должны быть навсегда».

О «Юности» надо написать двадцать листов. Я читал ее с озлоблением, с криками и ругательствами — не по случаю литературного ее достоинства, а по случаю тетради и почерков. Это смешение двух рук, знакомой и незнакомой, отвлекало мое внимание и мешало толковому чтению. Будто два голоса кричали мне в ухо и нарочно меня сбивали, и я знаю, что от этого впечатление не имело нужной полноты. Однако скажу вам, что могу.

Задача ваша ужасна, и вы ее выполнили очень хорошо. Ни один из теперешних писателей не мог бы так схватить и очертить волнующийся и бестолковый период юности. Для людей развитых ваша «Юность» доставит великое наслаждение, и если кто вам скажет, что эта вещь хуже «Детства» и «Отрочества», тому вы можете плюнуть в физиономию. Поэзии в вашем труде бездна — все первые главы превосходны, только вступление сухо до описания весны и выставления рам. Потом превосходен приезд в деревню, перед ним описание семейства Нехлюдовых, объяснение отца перед вступлением в брак, глава «Новые товарищи» и «Я проваливаюсь!». От многих глав пахнет поэзией старой Москвы, никем еще не подсмотренной, как должно. Кутеж у барона З. удивителен. Недостатки (я всё говорю с точки зрения понимающих людей, а о массе скажу потом) заключаются в следующем. Некоторые главы сухи и длинны, например, все разговоры с Дмитрием Нехлюдовым, изображение отношений к Вареньке, и та, где говорится о семейном понимании. Длинна также пирушка у Яра, и перед ней визит Грапа с Илинькой. Рекрутство Семенова нецензурно.

Рассуждений не бойтесь, они все умны и оригинальны. Есть у вас поползновение к чрезмерной тонкости анализа, которая может разрастись в большой недостаток. Иногда вы готовы сказать: у такого-то ляжки показывали, что он желает путешествовать по Индии! Обуздать эту наклонность вы должны, но гасить ее не надо ни за что в свете. Вся ваша работа над своим талантом должна быть в таком роде. Каждый ваш недостаток имеет свою часть силы и красоты, почти каждое ваше достоинство имеет в себе зернышки недостатков. Слог ваш совершенно подходит к этому заключению. Вы сильно безграмотны — иногда безграмотностью нововводителя и сильного поэта, переделывающего язык на свой лад и навсегда, — иногда же безграмотностью офицера, пишущего к товарищу и сидящего в каком-нибудь блиндаже. Наверно можно сказать, что все пассажи, писанные с любовью, у вас превосходны, — но чуть вы холодеете, у вас слог путается, и являются адские обороты речи. Поэтому места, писанные с холодностью, надо бы пересмотреть и выправить.

Я пробовал было выправлять местами и кинул, эту работу только вы сами можете и должны сделать. Для системы же разумного поправления могу сказать главное только: избегайте длинных периодов. Дробите их на два и три, не жалейте точек. С частицами речи поступайте без церемонии, слова *что*, *который* и *это* марайте десятками. При затруднении берите фразу и представляйте себе, что вы ее кому-нибудь хотите передать гладким разговорным языком.

Пора кончать, а надо бы говорить еще много, много. Для массы читателей, мало развитых, «Юность» понравится гораздо менее, чем «Детство» и «Отрочество». За эти две вещи говорил их малый объем и некоторые эпизоды в роде рассказа Карла Ивановича. Самый пустой человек храни несколько детских воспоминаний и радуется, когда ему истолковывают их поэзию, но период юности, — (той смутной и нескладной юности, обильной щелчками и унижениями, которую вы перед нами раскрываете), обыкновенно затаивается в душе, а оттого меркнет и забывается. Приблизить ваш труд к пониманию масс можно весьма долгим трудом, двумя, тремя забавными эпизодцами и так далее, — но сделать его совершенно по вкусу большинству всему, едва ли кто может. По замыслу и по сущности труда — ваша Юность будет гастрономическим куском лишь для людей мыслящих и чующих поэзию. Уведомьте, пересылать ли вам рукопись, или отдать ее Панаеву. Ею вы не сделали огромного шага в какую-нибудь новую сторону, но показали, что́ в вас есть, и чего мы еще от вас дождемся. Имени вашего вы не уроните даже у массы читателей».[1]

Письмо это Толстой получил в Ясной Поляне 15 октября, когда в дневнике записано: «... получил письмо от Дружинина. Хвалит «Юность», но не слишком».

7 ноября 1856 г. Толстой приехал в Петербург хлопотать об отставке. Пробыл он здесь до 12 января 1857 г., когда уехал в Москву. Во время пребывания Толстого в Петербурге набирались и печатались «Утро помещика» в 12-й книжке «Отечественных Записок», «Встреча в отряде с московским знакомым» в 12-й книжке «Библиотеки для чтения» и «Юность» в 1-й книжке за 1857 г. «Современника». О последней вещи в дневнике под 14 ноября читаем: «Завтра написать Некрасову и объявить цену за «Юность» и предложить Давыдову». Давыдов — это петербургский книгопродавец-издатель, и, судя по этой записи, можно думать, что у Толстого был план издать «Юность» отдельной книжкой.[2] Но, кроме этой записи, мы ничего не знаем об этом плане, и от Дружинина рукопись «Юности» получил Панаев, по прочтении пославший ее Толстому с такой запиской, сохранившейся в архиве последнего: «Посылаю Вам Вашу «Юность». Это вещь прекрасная — и если уж надо делать какие-нибудь замечания, то — по моему мнению, местами надо немного посжать, поопределеннее сделать Дмитрия, что вам говорил Дружинин, и что вы сами заметили, да в цензурном отношении смягчить последние главы — в таком виде, в каком они есть теперь, их не пропустят. Переписчик наврал страшно, но независимо от переписчика периоды, кажется, кое-где длинноваты и темноваты от длинноты, частое повторение одних слов, всё это я заметил в рукописи и проч.; пожалуйста, Лев Николаевич, по мере исправлений присылайте ко мне тетради. Через несколько дней надо будет начать печатать. Преданный Вам Панаев. Среда».[3]

---

[1] Подлинник хранится в архиве Толстого. Впервые часть письма опубликована П. И. Бирюковым в его биографии Л. Толстого (т. I, изд. 2-е, стр. 294 — 6). Нами печатается тоже не всё письмо.

[2] См. выше запись 19 сентября 1855 г.: „«Юность» хочу издать сам".

[3] «Красная новь» 1928, кн. 9, стр. 230. На основании приводимых далее записей дневника Толстого записку эту можно датировать 5 декабря.

В дневнике Толстого под 3 декабря записано: «У Боткина [В. П.] Панаев хвалит «Юность» очень Приятно... Панаеву условие». 5 декабря: «... объяснялся с Панаевым». Следующая запись о «Юности» 10 декабря: „... Переправлял «Юность"". Затем 12 декабря: «Утром поправил «Юности» первую тетрадь». 13 декабря: „Встал поздно, едва успел переправить тетрадку «Юности"; 14 декабря: «... поправил тетрадку...»; 15 декабря: „На гимнастику очень опоздал, переправляя 3 тетрадь «Юности"". 17 декабря: «Проснулся в 11, стал поправлять 3-ю тетрадь, принесли перемаранные корректуры духовной цензурой... Завтра ехать к Иоанну...». Хотя в последней записи не названо произведение, перемаранное духовной цензурой, но, кажется, можно определенно утверждать, что речь идет о «Юности», только V—VIII главы которой могли просматриваться духовным цензором. На следующий день запись в дневнике: „Разбудили меня в 11. Поехал к Отцу Иоанну. Стерва... У Панаева обедал, Боткин в восхищении от «Юности"". «Отец Иоанн»—духовный цензор, Иоанн Соколов(1818—1869), архимандрит, член Петербургского духовно-цензурного комитета в 1848 — 1857 гг. Вероятно, в связи с затруднениями прохождения «Юности» через духовную цензуру находятся и следующие слова записи дневника под этим же числом (13 декабря): «Ездил к Блудову с Вяземским. Неловко». Кн. П. А. Вяземский в это время в качестве товарища министра народного просвещения ведал делами цензуры.[1] 19 декабря: «Встал поздно, едва успел поправить одну тетрадку». На следующий день: «Ездил к Вяземскому, хорошо». 22 декабря: „... поправлял «Юность"". 24 декабря: «Ездил к Вяземскому по цензурным делам». 28 декабря: «Вяземский запретил последнюю главу». 29 декабря: «... нелепость и невежество цензуры ужасны».

Запись 28 декабря говорит о запрещении Вяземским, конечно, второй половины XLIV (предпоследней, а не последней, как записал Толстой) главы «Юности». Именно об этом месте Дружинин писал в вышеприведенном письме от 6 октября Толстому: «Рекрутство Семенова нецензурно», и Панаев советовал «в цензурном отношении смягчить последние главы: в таком виде, в каком они есть теперь, их не пропустят». Опасения эти, как видим, оправдались, и XLIV глава «Юности» появилась в «Современнике» урезанной и в таком виде перепечатывалась во всех последующих изданиях. Впервые непропущенное цензурой место напечатал И. А. Шляпкин по той самой рукописи, которую Толстой послал Дружинину и текст которой исправлял в Петербурге. На основании вышеприведенной записи в дневнике Толстого от 28 декабря мы сочли себя в праве опубликованный Шляпкиным текст ввести в основной текст «Юности» в изд. Гиза «Полного собрания художественных произведений Л. Толстого» прил. к ж. «Огонек», М. 1928 (т. I, стр. 277 — 279), что делаем и в настоящем издании.[2]

---

[1] Гр. Д. Н. Блудов в 1856 году был главноуправляющим II Отделения собственной его величества канцелярии и президентом Академии наук.

[2] Текст, напечатанный Шляпкиным, перепечатан П. И. Бирюковым в «Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого», изд. Сытина. «Библиотека русского слова», М. 1913, т. 1, стр. 322 — 324. В примечании (стр. 296) П. И. Бирюков говорит, что не считает себя в праве вставить это место в текст Толстого, так как подлинность рукописи, принадлежавшей Шляпкину, необходимо засвидетельствовать серьезным расследованием.

«Юность», корректуры которой правил сам Толстой, была напечатана на стр. 13 — 163 1-й (январской) книжки «Современника» за 1857 г. (разрешение цензора И. Лажечникова 31 декабря 1856 г.), вышедшей, вероятно, во второй половине января, под заглавием: «Юность. Первая половина». В конце текста стоит: «Граф Л. Н. Толстой. 24 сентября. Ясная Поляна». В течение всей своей жизни больше текстом «Юности» Толстой не занимался, и потому текст «Современника» является единственным авторитетным. Он перепечатывался без изменений с бо́льшим или меньшим количеством опечаток во всех последующих изданиях, начиная с издания Ф. Стелловского «Сочинений гр. Л. Н. Толстого в двух частях» 1864 г.

Нами «Юность» печатается по тексту «Современника» с введением в текст последнего, как выше указано, второй половины XLIV главы по тексту, опубликованному Шляпкиным, и следующих конъектур:

Стр. 112,	строка 5	сн.	— вглядываясь	— *вместо:*	взглядываясь
Стр. 123,	» 25	св.	— без усов	— *вместо:*	с усами
» 140,	» 11	сн.	— заволокло,	— *вместо:*	заволокало,
» 143,	» 11	св.	— за ними	— *вместо:*	за ним
» 158,	» 13	сн.	— постелют	— *вместо:*	постелят
» 176,	» 18	св.	— увлажненные	— *вместо:*	увлаженные
» 178,	» 17	св.	— из гостиной	— *вместо:*	в гостиной
» 210,	» 22	св.	— притворно	— *вместо:*	приторно

VIII

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВ «ЮНОСТИ».

Перечень этот (рукопись его описана выше под № 8) был написан Толстым, вероятно, 24 сентября 1856 г., когда была кончена «Юность», и рукопись ее, написанная под диктовку Толстого писарем, была послана Дружинину. В этой рукописи Толстой (или писарь) после XXXIX главы написал ошибочно «L», вместо «XL», и все следующие пять глав также неверно были обозначены: LI, LII, и т. д.

Перед отправкой рукописи Дружинину Толстой перечел ее и по ней написал печатаемый перечень, в котором повторена ошибочная нумерация последних шести глав.

По сравнению с текстом «Современника» в перечне названия двух глав даны иные: XVII в перечне названа «Иленька Грап» (в «Современнике»— «Я собираюсь делать визиты») и XXII — «Кунцево» (в «Современнике»— «Задушевный разговор с моим другом»),

IX

ДВА ПЛАНА «ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ» «ЮНОСТИ».

Напечатанные выше (стр. 341 — 342) два плана «второй половины» «Юности» (рукопись их описана выше под № 9) на основании ниже приводимых записей дневника и записной книжки нужно датировать 1857 годом и вероятнее первой его половиной.

X

«ВТОРАЯ ПОЛОВИНА» «ЮНОСТИ».

По первоначальному замыслу четвертая часть романа «Четыре эпохи развития» должна была называться «Молодость». Потом Толстой стал называть ее «второй половиной» «Юности».

Заглавие повести в «Современнике» — „«Юность». «Первая половина»" и заключительные слова ее определенно указывают на намерение автора продолжать свое повествование.

В записной книжке не ранее 25 октября и не позднее 18 ноября 1856 г., т. е. уже после того, как «первая половина» «Юности» была написана и послана в Петербург, записано: «К «Юности» — два коротко знакомые мне человека, но незнакомые между собой сходятся и мне странно и очевидно, как они оба ломаются друг перед другом». Это, очевидно, должно было быть использованным во «второй половине» «Юности». Затем в зап. кн. в январе 1857 г. есть такая запись: «К п[овести] Ю[ность]. Он не знает почему, но жизнь в условиях невозможна. Ему необходимо вдохновенье. Его благодетель добрый поэтической эгоист».

О решении писать продолжение «Юности» говорит и запись в дневнике под 12 января 1857 г. (в Москве): „Писать не останавливаясь каждый день: 1) «О[тъезжее] П[оле]», 2) «Ю[ность]» 2-ю п[оловину], 3) «Б[еглец]», 4) «К[азаки]», 5) «П[ропащий]», 6) «Роман женщины»". Такого же содержания и запись под 3 апреля 1857 г. (в Женеве): „Думаю начать несколько вещей вместе: «Отъезжее Поле» и «Юность», и «Беглеца»".

9 июня этого же года (в Кларане) в дневнике записано: «Славно написал 1-ю главу «Юности» и написал бы больше, но хочется скорее сделать полный круг». Написанное в то время, конечно, рукопись, описанная выше под № 10 и впервые печатаемая нами на стр. 343—346. В этот же день занесено в записную книжку: «К «Юности». Пробует ученой, помещичьей, светской, гражданской деятельности и наконец военной. Эта удается ему, потому ли что она ничего не требует или, потому, что, потеряв всю энергию, по всякой дорожке он может итти, ничего на ней уж не сделает, но зато не свихнется. Минуты отчаяния сначала...

К «Юности» музыка и устройство комнаты».

В записной книжке есть еще две записки, относящиеся к «Юности».

27 июня [1857 г.]: «К «Юности». Я лежу один в постели — муха жужжит».

20 июля [1857 г.]: «К «Юности». Прочел Элоизу».

Через месяц — 29 августа (в Ясной Поляне) в дневнике записывает: «Все мысли о писаньи разбегаются и «Казаки», и «Отъезжее поле», и «Юность», и «Люб[овь]». Хочется последнее вздор. На эти 3 есть серьезные матерьялы».

Наконец, последнее упоминание о «Юности» находим в записи дневника под 6 ноября 1857 г. (в Москве): „Время писать «Юность»".

Несмотря на эту запись, работа над «Юностью» была оставлена, по крайней мере от нее ничего не сохранилось.

УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН.

В настоящий указатель введены имена личные и географические: названия исторических событий (войн, революций и т. п.), учреждений, издательств; заглавия книг, названия статей, журналов, газет, произведений (слова, живописи, скульптуры, музыки); имена героев художественных произведений не Толстого и Толстого, когда последний упоминает их не в тех произведениях, где они выведены. Знак || означает, что цыфры страниц, стоящие после него, указывают на страницы текста из Толстого.

Агафья Михайловна (1812—1896) — горничная бабки Толстого, гр. Пелагеи Николаевны Толстой — || 377.

Адам Виктор (1801—1866) — французский живописец и литограф — 110, 111.

Академия наук. См. Императорская Академия Наук.

Акршевский — переписчик «Отрочества» Толстого, вероятно, из сосланных на Кавказ в 1832 г. поляков — || 355, 359.

«Алгебра Франкера». См. Франкер Л.Б., «Полный курс чистой математики».

Алябьев Александр Александрович (1787—1851) — композитор, автор весьма популярных в свое время романсов — 98 («Соловей»), 170 (idem), || 387 (id).

Английский клуб — в Москве, существовал с времен Екатерины II до революции (1917 г.), помещался с 1831 г. в д. ныне № 39 на Тверской — 323.

Анненков Павел Васильевич (1813—1887) — писатель — || 371.

Арбат — улица в Москве — 92, 130, 317.

Арбатские ворота — площадь в Москве — 92.

«Архив села Карабихи». Письма Н. А. Некрасова и к Некрасову. Изд. К. Ф. Некрасова. Примечания составил Н. Ашукин. М. 1916 — || 371.

Аустерлиц — город в Моравии, где 2.XII/20.XI 1805 г. произошло, так называемое, сражение трех императоров (Наполеона, Франца I и Александра I), закончившееся решительной победой французов — 27, 267.

Бастанжогло. См. Бостонжогло.

Бекетов Владимир Николаевич (р. 1809) — цензор — || 370, 372.

Беленко — «винный поверенный» — || 377.

Бетховен Людвиг (1770—1827) — немецкий композитор — 62 («сонаты»), 170 («Sonate Pathétique» и Cis-moll-ная соната).

«Библиотека для чтения» — журнал, издававшийся в 1834—1864 гг. под редакцией О. С. Сенковского — || 398.

Бирюков П. И., «Биография Л. Н. Толстого», I, изд. 2 «Посредник». М. 1911. — || 398, 399.

Бланка Кастильская (1187—1252) — мать Людовика IX Святого, в детстве которого правила Францией — 35 («мать Людовика Святого»).

Блудов (с 1842 граф) Дмитрий Николаевич (1785—1864) — государственный деятель — || 399.

Бостонжогло (Бастанжогло) — табачная фабрика в Москве на Ст. Басманной, существовала до революции (1917 г.) — 112, 317.

Боткин Василий Петрович (1811—1869) — писатель — || 399.

Бухарест. См. Бухарест.

Бухарест (Букарест) — столица Румынии на р. Дымбовице — || 356, 369, 370.

Ваграм (Wagram) — местечко в 17 *км* к северо-востоку от Вены, на левом берегу р. Дуная, где 5—6 июля н. с. 1809 г. произошло сражение между армиями Наполеона и австрийского эрцгерцога Карла, окончившееся победой Наполеона и решившее участь кампании — 37.

Вальтер Скотт. См. Скотт. В.

Вейс Франциск-Рудольф (1751—1797) — швейцарский генерал и писатель — 345 («Principes philosophiques»).

«Великий князь». См. Михаил Павлович в. к.

Вена (Wien) — главный город Австрии — 30, 267.

Виктор Адам. См. Адам В.

«Вниз по матушке по Волге» — народная песня — 201.

Воздвиженка — улица в Москве — 93.

Воздвиженская — укрепление в 26 *км* к югу от Грозной (Кавказ), на правом возвышенном берегу р. Аргуна — || 352.

Волконский кн. Николай Сергеевич (1753—1821) — дед (по матери) Толстого — || 377.

Воробьевы горы — местность под Москвой — 83, 84, 299.

«Второй концерт» Фильда — 63.

Вяземский кн. Петр Андреевич (1792—1878) — поэт и критик; в 1855—1858 гг. товарищ министра народного просвещения — || 399.

«Генерал-бас Фукса». См. Фукс И., «Новая метода».

Георгиевск — город Терской области (Кавказ) — || 354.

Германия — 27, 266.

Гораций Флак-Квинт (65—8 до нашей эры) — римский поэт — 106 («оды»), 107 («книга»), ||387.

Горчаков кн. Михаил Дмитриевич (1791—1861) — главнокомандующий крымской армией в 1855 г.; троюродный дядя Толстого — || 372.

Горчакова кж. Пелагея Николаевна. См. Толстая гр. П. Н.

Гостиный двор — в Москве, позднее верхние торговые ряды — 322, 323.

Громан Цезарь — прапорщик (из юнкеров) батарейной № 4 батареи 20-й артиллерийской бригады — || 352, 355.

Грузинский царевич — один из трех грузинских царевичей Георгиевичей: Ильи, Ираклия и Окропира, живших в Москве в 1840-х гг. — 86.

Давыдов Алексей Иванович — книгопродавец-издатель в Петербурге — || 398.

Дациаро — художественный магазин на Кузнецком мосту в Москве существовал до 1917 г. —111.

«Дед». См. Волконский кн. Н. С.

Декарт Рене, также Картезиус (1596—1650) — французский философ — 344.

«Демон» — поэма М. Ю. Лермонтова — 195, 205.

Дерптский университет — 199, 200.

Дефо Даниель (1661—1731) — английский писатель — 274 («Робинсон Крузое»).

Донской монастырь — в Москве (основан в 1593 г.) — 298, 302, 303.

Дружинин Александр Васильевич (1824—1864) — критик и беллетрист — || 380, 383, 396, 398—400.

Дюма Александр, отец (1803—1870) — французский писатель — 171, 218, 333 («Монте Кристо»).

Европа — 121, 299.

Ергольская Татьяна Александровна (1792 — 1874) — троюродная тетка Толстого — || 379 («тетка Т. А.»).

Ефремов Петр Александрович (1830—1907) — писатель и библиограф — || 383.

Железноводск — город Терской области (Кавказ) — || 354.

Женева — город в Швейцарии — || 401.
Жильбер (1751—1780) — французский поэт — 204 («Au banquet de la vie infortuné convive»).
Жорж-Занд. См. Занд.
Жукова Василия Григорьевича табачная фабрика в Петербурге. Табак этой фабрики имел широкую известность — 111 («табак»), 317 (id).
Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — поэт — 218.

Занд (Жорж-Занд) (псевдоним Амантины Авроры Дюпен, бар. Дюдеван) — французская романистка — 391.

Иван Яковлевич. См. Корейша И. Я.
«Ивангое» («Айвенго») — роман Вальтер-Скотта — 315.
Иерусалим — главный город в Палестине — 35.
Императорская Академия Наук — || 398.
Индия — || 397.
Иоанн (Соколов) (1818—1869) — архимандрит, член петербургского духовно-цензурного комитета в 1848—1857 гг. — || 386, 399.
Иоанн III Васильевич (1440—1505) — Московский царь — 307 («Уделы Иоанна III»).
Иосиф Прекрасный — герой Библии — || 363.
«Исповедь» («Признание») — сочинение Ж. Ж. Руссо — 345.
Италия — 86.

Кавказ — 225, 336, 341, 342.
Кайданов Иван Кузмич (1782—1843) — историк, автор учебников — 33 («книга Кайданова»).
Кайданов И. К., «Краткое начертание всемирной истории». В 1822—1854 гг. выдержало 16 изданий — 33 («книга Кайданова»).
Калькбреннер Фридрих (1788—1849) — немецкий композитор — 170 («Le Fou»).
Карл Великий (742—814) — франкский король — 101.
Карл Людвиг Иоанн (1771—1847) — австрийский эрцгерцог и знаменитый полководец. В 1809 г., при начале войны с Наполеоном, был поставлен во главе всех австрийских армий. В походах 1813—1814 гг. не принимал участия — 264.
Карр Жан-Альфонс (1808—1890) — французский писатель — 75.
Кизляр — город Терской области (Кавказ) — || 355.
Кисловодск — город Терской области (Кавказ) — || 354.
Кишинев — город Бессарабской губернии на р. Быке — || 371.
Кларан — местечко на берегу Женевского озера в Швейцарии — || 401.
«Книга Кайданова». См. Кайданов И. К., «Краткое начертание всемирной истории».
«Книга речей Цицерона». См. «Речи» Цицерона.
«Книга Смарагдова». См. Смарагдов С. Н., «Руководство к познанию древней истории для средних учебных заведений».
Ковалевский Егор Петрович (1811—1868) — писатель — || 372.
Кок (Поль-де-Кок) (1794—1871) — французский писатель — 171.
Колбасин Дмитрий Яковлевич — || 372, 373, 395.
Концерты Фильда — 62, 63 («второй концерт»).
Корейша Иван Яковлевич (1780—1861) — известный московский юродивый — 139, 140, 151, 152, || 389.
«Красная новь» — журнал, издающийся с 1921 г. — || 371, 395, 396, 398.
Кронеберг Иван Яковлевич (1788—1838) — профессор Харьковского университета — 89 («латинский лексикон»).
Кронеберг И. Я., «Латинско-Российский лексикон» в двух частях, В 1819—1876 гг. выдержал восемь изданий — 89 («латинский лексикон»).
«Круг» Альманах. Книга шестая. М. 1927 — || 370, 371, 395.
Крым — 86.
Крымская кампания — война 1853—1855 гг. (Восточная война) между Россией и Турцией в союзе с Англией, Францией и Сардинским королевством — || 372.
Кузминки — в 1840—1850-х гг. имение кн. Голицыных (в 21 *км* от Москвы) — 391.

Кузнецкий мост — улица в Москве — 110, 111.

Кунцево — дачная местность в 11 *км* от Москвы — 138, 140, 339, || 389, 400.

Лажечников Иван Иванович (1792—1869) — писатель — || 400.

«Латинская грамматика Цумпта». См. Цумпт К.-Г., «Краткая латинская грамматика».

«Латинский лексикон». См. Кронеберг И. Я., «Латинско-Российский лексикон».

«Лексиконы Татищева». См. Татищев И. И., «Полный Французской и Российской Лексикон».

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — поэт — 195 («Демон»), 205 (id).

Лесаж Ален-Рене (1668—1747) — французский писатель — 218.

«Лиссабон» — трактир в Москве — 217, 219, 234.

Лист Франц (1811—1886) — композитор—170.

Литературные приложения к «Ниве», издававшиеся в 1894—1918 гг. — || 395.

Лондон — столица Англии — 155.

Людовик Святой IX (1215 — 1270) — французский король — 34, 35, 231.

Мазепа Иван Степанович (1644—1709) — гетман Малороссии, герой поэмы Пушкина «Полтава» — 84.

Мария Кочубей (Матрена Васильевна) — героиня поэмы Пушкина «Полтава» — 84.

Матерн Филипп — владелец гастрономического магазина и при нем помещения для посетителей в Москве на Моховой ул. в 1830—1840-х гг. — 214, 224.

Мать Людовика Святого. См. Бланка Кастильская.

Мессалина Валерия (I в. нашей эры) — жена римского императора Клавдия, известная своим развратом и жестокостью. Слово «Мессалина» сделалось нарицательным —181.

Минеральные воды — район минеральных вод на Кавказе (курорты: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Кумагорск) — || 354.

«Монте Кристо» — роман Дюма А., отца, «Граф Монтекристо» — 336.

Москва — 1, 13, 16, 86, 88, 123, 127, 154, 155, 182, 186, 190, 209, 228, 241, 244—246, 250, 253, 256, 258, 259, 269, 285, 305, 332, 341—343, || 351, 360, 371, 372, 376, 380, 384, 393, 395, 397, 398. См. еще Арбат, Арбатские ворота, Воздвиженка, Воробьевы горы, Кузнецкий мост, Нескучный сад, Никитская, Остоженка, Пресненские пруды, Сивцев вражек, Сокольники, Тверская, Тверской бульвар, Трубный бульвар.

Московский университет — 246.

Московское общество сельского хозяйства — существует с 1819 г. — 342.

Мытищи — село в 18 *км* от Москвы — 180, 181.

Наполеон I (Napoléon, Napoleon) (1769—1821) — французский император — 27, 266, 267.

Неаполь — город в Италии — 155.

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) — поэт, редактор «Современника» в 1847—1866 гг. — || 356, 369, 370 — 373, 395, 398.

Нескучный сад — в Москве за Калужскими воротами — 360.

Никитская — улица в Москве — 136.

«Новый сборник писем Л. Н. Толстого» под ред. А. Е. Грузинского. Изд. «Окто», М. 1912— || 371.

Ньютон Исаак (1643—1727) английский математик и физик — 103 («бином»), 104 (idem), 105 (id)., 308 (id), 309 (id).

«Ныне силы небесные» — церковное песнопение на т. н. «литургии преждеосвященных даров» — 200, 201.

«Общество Сельского Хозяйства». См. Московское общество сельского хозяйства.

«Оды» Горация — сборник од в четырех «книгах» Горация — 106, 307.

Орест — герой «Илиады» Гомера — 122.

Остоженка (Стоженка) — улица в Москве — 222.

«Отечественные записки» — журнал, издававшийся в Петербурге в 1839—1884 гг. А. А. Краевским — || 398.

Пажеский корпус — военное учебное заведение в Петербурге, существовавшее с 1802—1917 г. —124.

Панаев Иван Иванович (1812—1862) — беллетрист и журналист; в 1847—1862 гг. редактировал журнал «Современник» — || 371, 395, 396, 398, 399.

Париж — 155.

Парнас — гора в Греции, у древних греков посвященная Аполлону и девяти музам — 191.

Паскаль Блез (1623—1662) — французский мыслитель и математик — 287.

Педотти — кондитерская в Москве на Кузнецком мосту в 1840—1860-х гг. — 83.

Петербург — 86, 124, 163, 180, 256, 341, 342, ||369—372, 376, 395, 398, 399.

Петербургский университет — 135.

Пилад — герой «Илиады» Гомера, дружба которого с Орестом сделала их имена нарицательным названием истинных друзей — 122.

Полубояринов Алексей Иванович — студент казанского университета 1843—1845 гг., однокурсник с гр. Дмитрием Николаевичем и гр. Сергеем Николаевичем Толстыми — || 379.

Правоведение — «Училище Правоведения», аристократическое закрытое учебное заведение (1835—1917) в Петербурге, учрежденное принцем Петром Георгиевичем Ольденбургским «для образования благородного юношества на службу по судебной части» — 124.

Пресненские пруды — в Москве — 318, 319.

«Признание» Руссо. См. «Исповедь».

Публичная библиотека Союза ССР им. Ленина (б. Румянцевский Музей) — || 351, 356, 373, 380.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — 218, || 396.

Пятигорск — город Терской области (Кавказ) — || 352, 354.

Радклиф Анна (1764—1823) — английская писательница — 262 («роман», «сочинения»).

Раппо Карл — известный в свое время силач-гимнаст, прозванный «Северным Геркулесом». Давал представления в Москве в мае—июле 1839 г. — 84, 200.

«Рассуждение Руссо о нравственных преимуществах дикого состояния над цивилизованным». См. Руссо Ж. Ж. «Рассуждение о том, содействовало ли возрождение наук и художеств очищению нравов».

Рейн — река в Германии — 266.

«Речи» Цицерона — имеется в виду какое-нибудь из многочисленных школьных изданий избранных речей Цицерона — 310.

«Робинсон Крузое» — произведение английского писателя Даниеля Дефо: «Жизнь и приключения Робинсона Крузо» — 274.

«Роб Рой» — роман Вальтер-Скотта — 145.

Россия — 32, 83, 249, 250, 268, 272, 299.

Руссо Жан-Жак (1712—1778) — французский писатель, философ — 342, 345 («Признание», «Рассуждение»), || 384 («Эмиль»).

Руссо Ж.-Ж., «Рассуждение о том, содействовало ли возрождение наук и художеств очищению нравов» — трактат (1749 г.) на тему, объявленную Дижонской академией — 345.

Садовая — улица в Москве — 312.

Саксония — 266, || 362.

Севастополь — город в Крыму — || 372, 374, 376, 395.

Сенат — высший орган царского правительства в России — 209, 223.

Серпухов — уездный город Московской губернии — 13, 253.

Сивцев Вражек — улица в Москве — 126.

Симферополь — губернский город в Крыму — 374.

Синод — высший орган дореволюционной России, управлявший делами церкви — 86.

Скотт Вальтер (1771—1832)— английский романист — 145 («Роб-рой»), 315 («Ивангое»).

Смарагдов Семен Николаевич (1805—1871) — автор учебников истории — 33 («книга Смарагдова»).

Смарагдов С. Н., «Руководство к познанию древней истории для средних учебных заведений» в 1840—1859 гг. выдержало семь изданий; то же по средней истории в 1849—1859 гг. — шесть изданий; то же по новой истории в 1844—1864 гг.—пять изданий—33 («книга Смарагдова»).

Совет Опекунский — высшее учреждение ведомства «учреждений имп. Марии», управлявшее Воспитательными домами и состоявшими при них кредитными установлениями, принимавшими под залог имения — 331.

«Современник» — журнал, издававшийся в Петербурге в 1847—1866 гг. — 227—237, || 356, 369, 370—373, 380, 395, 396, 398—400.

Сокольники—парк в Москве — 118.

«Соловей» — романс (1826—1828 гг.) А. А. Алябьева — 98, 170, || 387.

«Сонаты» Л. Бетховена — 62.

«Соната cis-moll» Л. Бетховена — 170.

Старогладковская(Старогладовская) — станица Терской области (Кавказ), на левом берегу Терека. Описана Толстым в «Казаках» под именем Новомлинской станицы — 352, 354, 356.

Старогладовская. См. Старогладковская.

Стерн Лауренс (1713—1768)— английский писатель — || 366.

Стерн Л. «Сентиментальное путешествие через Францию и Италию» — || 366.

Стоженка. См. Остоженка.

Столыпин — вероятно, Аркадий Дмитриевич (1821—1899) — в Крымскую кампанию адъютант начальника артиллерии действующей армии, впоследствии генерал-адъютант, генерал-от-инфантерии— || 377.

Строганов Григорий Александрович (1823—1878) — с 1855 г. муж в. к. Марии Николаевны — || 377.

Сухотина-Толстая Т. Л. «Друзья и гости Ясной Поляны», изд. «Колос». М. 1923. — || 376.

Сю Евгений (1804—1857)— французский писатель — 171 («романы»), 218.

«Тайны» — романы: Феваля «Тайны Лондона», Сю «Парижские тайны», Фереаля «Тайны инквизиции». Эти романы на русском языке были весьма распространены в 1840-х гг. — 171.

Тамбовской губернии деревня — 335.

Татищев Иван Иванович (1743—1802) — составитель лексикона — 56 («Лексиконы Татищева»).

Татищев И. И., «Полный Французской и Российской Лексикон» — был издан в двух частях в 1786 г. в 4°, в 1798 г. в двух частях в 8° и в 1824 г. в четырех частях в 8° — 56 («Лексиконы Татищева»).

Тверская — улица в Москве — 111, 133.

Тверской бульвар — в Москве — 44, 53 || 365.

«Тетка Т. А.». См. Ергольская Т. А.

Тифлис — главный город Грузии (Кавказ) — || 351.

Толстая гр. Мария Николаевна (1830—1912) — сестра Толстого — || 352, 353, 371, 377.

Толстая гр. Пелагея Ильинична. См. Юшкова П. И.

Толстая гр. Пелагея Николаевна, рожд. кж. Горчакова (1762—1838) — бабка Толстого — || 377.

Толстой гр. Валериан Петрович (1813—1865) — муж гр. М. Н. Толстой, сестры Толстого — || 371, 377—379.

Толстой Л. Н. «Альберт» («Пропащий») — || 401.

— «Беглец». См. «Казаки».

— «Встреча в отряде с московским знакомым» — || 398.

— «Детство» — || 349, 350, 352, 370, 373, 380, 381, 395—398.

— «Детство и Отрочество». Сочинение графа Л. Н. Толстого. С.-Петербург. В типографии Эду-

арда Праца. 1856.—227—237, || 356, 362, 372, 373.
— «Детство и Отрочество», изд. 2. М. 1876 г. — || 373.
— Дневники и записные книжки 1853—1856 гг. Толстого — || 351 — 356, 369, 372, 374—378, 380, 395, 398—400.
— «Епишка». См. «Казаки».
— «Записки маркера» («Рассказ маркера») — || 354, 371.
— «Казаки» («Беглец», «Епишка») — || 376, 401.
— «Комедия» — || 376.
— «Любовь» — || 401.
— «Молодость» — || 352.
— «Отрочество» —1—75, 227—296, || 348—401.
— «Полное собрание сочинений» под ред. П. И. Бирюкова. Изд. Сытина, М. 1912 (в 20 томах) — || 357, 381, 382.
— «Полное собрание сочинений» под ред. и с прим. П. И. Бирюкова. «Библиотека Русского слова». Изд. Сытина. М. 1913 (в 24 томах)— || 364—367, 385, 392, 399.
— «Правила» — 343, || 374,
— «Правила жизни» — 226.
— «Пропащий».—См. «Альберт».
— «Рассказ маркера». См. «Записки маркера».
— «Роман женщины» — || 401.
— «Севастополь в декабре» — || 395.
— «Сочинения». Изд. Ф. Стелловского. Спб. 1864, в двух томах. — || 399.
— «Утро помещика» — || 398.
— «Франклинов журнал» —297, || 394.
— «Четыре эпохи развития» — || 349—351, 357, 370, 380.
— «Юность» — 78—226, 297—348, || 349—401.

Письма Толстого к:
Дружинину А. В. — || 380.
Колбасину Ю. Я. — || 373.
Некрасову Н. А. — || 369, 371.
Панаеву И. И. — || 371, 395, 396

Письма к Толстому:
Акршевский — || 355.
Дружинин А. В. — || 380, 396, 399.
Колбасин Д. Я. — || 372, 395.
Некрасов Н. А. || 369, 370, 371, 373, 395.
Панаев И. И. — || 371, 395, 396.
«Толстой. Памятники творчества и жизни» вып. 2, под ред. В И. Срезневского. Изд. «Задруга». М. 1920 — || 396.
Трубецкой кн. — вероятно Сергей Васильевич — в 1840-х гг. был офицером, в 1850-х был заключен в Шлиссельбургскую крепость— || 377.
Трубный бульвар — в Москве — 214.
Тула — || 380.
Тургенев Иван Сергеевич (1818 — 1883) — писатель — || 371, 372 («Муму»).

Ульм — город и крепость в королевстве Вюртембергском (Германия); 20 октября 1805 г. н. с. Наполеону удалось под Ульмом окружить австрийскую армию ген. Макка и заставить ее сдаться на капитуляцию — 27.

Феваль Поль (1817—1887)— французский писатель — 218.
Фильд Джон (1782—1837) — пианист, с 1804 г. живший в России — 62 («Фильдовские концерты», 63 («второй концерт»).
Франкер Луи-Бенжамен (1773 — 1849) — французский математик. Его учебники пользовались большим распространением не только во Франции, но и вне ее. В России учебниками Франкера широко пользовались при чтении лекций в университете, они же служили главным источником и образцом для составления русских учебников —80—82 («Алгебра» 298 (id), 299 (id).
Франкер Л. Б., «Полный курс чистой математики». Изд. 2 (перевод с французского 4 издания, исправленного и значительно дополненного) Ч. I—II. Спб. 1830—1840. (Изд. I. «Курс чистой математики», перевод с французского М. 1819)—80—82 («Алгебра»), 298 (id.), 299 (id.).
Франклинов журнал — так Толстой называл свои ежедневные записи слабостей, по имени американского ученого и государственного деятеля Вениамина Франклина, у которого он заимствовал этот обычай — 297, || 393.

Франкфурт на Майне — город в Германии — 29.

Франц II Иосиф-Карл (1768—1835) — император австрийский — 31.

Франция — 35 («Французское королевство»).

Фрейтага манеж в Москве — 194.

Фукс Иоганн-Леопольд (1770—1850-х гг.) — музыкальный деятель, саксонец родом, жил в Петербурге. В 1830-х гг. был известен как выдающийся педагог; издал ряд книг на немецком и русском языке — 336 («Генерал-бас»).

Фукс И. Л., «Новая метода, содержащая главные правила музыкальной композиции и руководство к практическому применению их». Второе вновь переделанное издание «Практического руководства к сочинению музыки». Перевод с немецкого К. Арнольда. Спб. 1843. (I изд. «Практическое руководство к сочинению музыки», перевод с немецкого, Спб. В типографии Карла Крайя. 1830 г.) — 336 («Генерал-бас»).

Хасаф-Юрт — укрепление на правом берегу р. Ярак-су, в 42 *км* от Старогладковской — || 355.

Хастатов Аким Акимович — отставной штабс-капитан, шелковаводский помещик — || 355.

Цицерон Марк-Туллий (106—43 до нашей эры) — римский государственный деятель, оратор и писатель — 106 («книга речей»), 310 (id.).

Цумпт Карл-Готтлиб (1792—1849) — немецкий филолог, автор латинской грамматики, 106, 247 («латинская грамматика»), 310.

Цумпт К.-Г., «Краткая латинская грамматика». Москва. В1832—1847 гг. выдержала пять изданий. Этот учебник ясностью и четкостью изложения приобрел мировую известность — 247 («латинская грамматика Цумпта»).

Шекспир Вильям (1564—1616) — английский драматург — 215.

Шеллинг Фридрих-Вильям (1775—1854) — немецкий философ — 57.

Шляпкин Илья Александрович (1858—1918) — профессор истории русской литературы петербургского университета — || 383, 394, 399.

Шляпкин И. А. «Памяти графа Л. Н. Толстого. Спб. 1911— 383, 394, 399, 400.

«Эмиль» — сочинение Ж. Ж. Руссо — || 383.

Эмс (Ems) — курорт в прусской провинции Гессен-Нассау на р. Лане — 32.

Юшкова Пелагея Ильинична, рожд. гр. Толстая (1798—1875) — тетка (сестра отца) Толстого — || 373, 377.

Янушкевич — юнкер на Кавказе, переписчик «Отрочества» Толстого — || 355, 359.

Яр — ресторан в Москве по имени его основателя, существовал до 1917 г. — 110, 116, 198, 201, 225, || 397.

«Ярославль» — трактир в Москве на Остоженке — 222.

Ясная Поляна — имение Толстого, Крапивенского уезда Тульской губернии — 226, || 356, 372, 376, 398, 400.

«Au banquet de la vie, infortuné convive» — стихотворение французского поэта Жильбера — 204.

«Cis — moll-ная соната» Л. Бетховена — 170.

Ems. См Эмс.

«Fou (Je)» — пьеса для фортепьяно Ф. Калькбреннера — 170.

«Jeune fille aux yeux noirs» — французская песенка — 313.

«Gaudeamus igitur» — студенческая песня — 118.

N a p o l é o n. (Napoleon). См. Наполеон I.

«**P r i n c i p e s p h i l o s o p h i q u e s** (politiques et moraux)» — сочинение Ф. Р. Вейса — 315.

R u h l e b e n — местечко в Саксонии — || 362.

«**S o n a t e P a t h é t i q u e**» Л. Бетховена — 170.

S t e r n e. См. Стерн.

W a g r a m. См. Ваграм.

W i e n. См. Вена.

СОДЕРЖАНИЕ.

		Стр.
Предисловие ко второму тому		VII
От редакции		XI

ОТРОЧЕСТВО

Глава I.	Поездка на долгих	3
Глава II.	Гроза	8
Глава III.	Новый взгляд	12
Глава IV.	В Москве	16
Глава V.	Старший брат	17
Глава VI.	Маша	19
Глава VII.	Дробь	21
Глава VIII.	История Карла Иваныча	24
Глава IX.	Продолжение предыдущей	27
Глава X.	Продолжение	30
Глава XI.	Единица	32
Глава XII.	Ключик	37
Глава XIII.	Изменница	38
Глава XIV.	Затмение	40
Глава XV.	Мечты	42
Глава XVI.	Перемелется, мука будет	46
Глава XVII.	Ненависть	49
Глава XVIII.	Девичья	51
Глава XIX.	Отрочество	55
Глава XX.	Володя	58
Глава XXI.	Катенька и Любочка	61
Глава XXII.	Папа	62
Глава XXIII.	Бабушка	64
Глава XXIV.	Я	66
Глава XXV.	Приятели Володи	67
Глава XXVI.	Рассуждения	69
Глава XXVII.	Начало дружбы	73

Стр.

ЮНОСТЬ.

Глава I.	Что я считаю началом юности	79
Глава II.	Весна	80
Глава III.	Мечты	83
Глава IV.	Наш семейный кружок	86
Глава V.	Правила	89
Глава VI.	Исповедь	91
Глава VII.	Поездка в монастырь	92
Глава VIII.	Вторая исповедь	95
Глава IX.	Как я готовлюсь к экзамену	97
Глава X.	Экзамен истории	99
Глава XI.	Экзамен математики	103
Глава XII.	Латинский экзамен	106
Глава XIII.	Я большой	109
Глава XIV.	Чем занимались Володя с Дубковым	113
Глава XV.	Меня поздравляют	116
Глава XVI.	Ссора	119
Глава XVII.	Я собираюсь делать визиты	123
Глава XVIII.	Валахины	126
Глава XIX.	Корнаковы	130
Глава XX.	Ивины	133
Глава XXI.	Князь Иван Иваныч	136
Глава XXII.	Задушевный разговор с моим другом	138
Глава XXIII.	Нехлюдовы	142
Глава XXIV.	Любовь	147
Глава XXV.	Я ознакомливаюсь	151
Глава XXVI.	Я показываюсь с самой выгодной стороны	154
Глава XXVII.	Дмитрий	158
Глава XXVIII.	В деревне	162
Глава XXIX.	Отношения между нами и девочками	165
Глава XXX.	Мои занятия	169
Глава XXXI.	Comme il faut	172
Глава XXXII.	Юность	175
Глава XXXIII.	Соседи	180
Глава XXXIV.	Женитьба отца	183
Глава XXXV.	Как мы приняли это известие	186
Глава XXXVI.	Университет	190
Глава XXXVII.	Сердечные дела	194
Глава XXXVIII.	Свет	196
Глава XXXIX.	Кутеж	198
Глава XL.	Дружба с Нехлюдовыми	202
Глава XLI.	Дружба с Нехлюдовым	205

Стр
Глава XLII. Мачеха 209
Глава XLIII. Новые товарищи 213
Глава XLIV. Зухин и Семенов 219
Глава XLV. Я проваливаюсь 223
Печатные варианты 227

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ, НЕОТДЕЛАННОЕ И НЕОКОНЧЕННОЕ.

*I. Первый план романа «Четыре эпохи развития» 241
*II. Второй план романа «Четыре эпохи развития» 243
*III. Одна из первоначальных редакций первой главы «Отрочества» 246
*IV. Варианты из первой и второй редакции «Отрочества» . 252
**V. План «Юности» 297
*VI. Первая редакция «Юности» 298
*VII. Варианты из второй редакции «Юности» 321
*VIII. Перечень глав «Юности» 339
*IX. Два плана «второй половины» «Юности» 341
*X. «Вторая половина» «Юности» 343

КОММЕНТАРИИ.

М. А. Цявловский:
Первый план романа «Четыре эпохи развития» 349
Второй план романа «Четыре эпохи развития» 350
«Отрочество».
Одна из первоначальных редакций первой главы «Отрочества». 351
ТРИ РЕДАКЦИИ «ОТРОЧЕСТВА» 351
История писания «Отрочества» 351
Описание рукописей, относящихся к «Отрочеству» 356
Сравнительный обзор состава глав трех редакций «Отрочества» 358
История печатания «Отрочества» в «Современнике» 1854 г. . 369
История печатания «Отрочества» отдельным изданием в 1856 г. 372
«Юность».
План «Юности» 374
ТРИ РЕДАКЦИИ «ЮНОСТИ» 374
История писания «Юности» 374
Описание рукописей, относящихся к «Юности» 380
Сравнительный обзор состава глав трех редакций «Юности» . 383
История печатания «Юности» в «Современнике» 1857 г. . . . 395
Перечень глав «Юности» 400
Два плана «второй половины» «Юности» 400
«Вторая половина» «Юности» 401
Указатель собственных имен 403

ИЛЛЮСТРАЦИИ.

Фототипия с фотографического портрета Толстого 1855 (?) г. (размер подлинника) между XII и 1 стр.

Фототипия с первой страницы рукописи II редакции «Отрочества» (размер подлинника) — между 252 и 253 стр.

Фототипия с рукописи плана «Юности» (размер подлинника) — между 296 и 297 стр.

Автотипия с тринадцатой страницы рукописи I редакции «Юности» (размер подлинника) — между 302 и 303 стр.

Фототипия с первой страницы рукописи «второй половины» «Юности» (размер подлинника) — между 342 и 343 стр.

Настоящее юбилейное издание первого полного собрания произведений Л. Н. Толстого печатается на основании постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 24 июня 1925 г.

6-я — 10-я тысяча

Отпечатано с матриц во 2-ой тип. Трансжелдориздата НКПС им. Лоханкова, ул. Правды, 15. Заказ Изд-ва № Х-00[в] 552. Тир. 5.000. Ленгорлит № 8393. Формат бумаги 68×100 в 1/16. 77.060 зн. в 1 бум. л. 12 бум. л. 24 печ. л. Заказ тип. № 3093. Корректор М. ПЕРФИЛЬЕВА

Техническая редакция
Н. И. ГАРВЕЯ